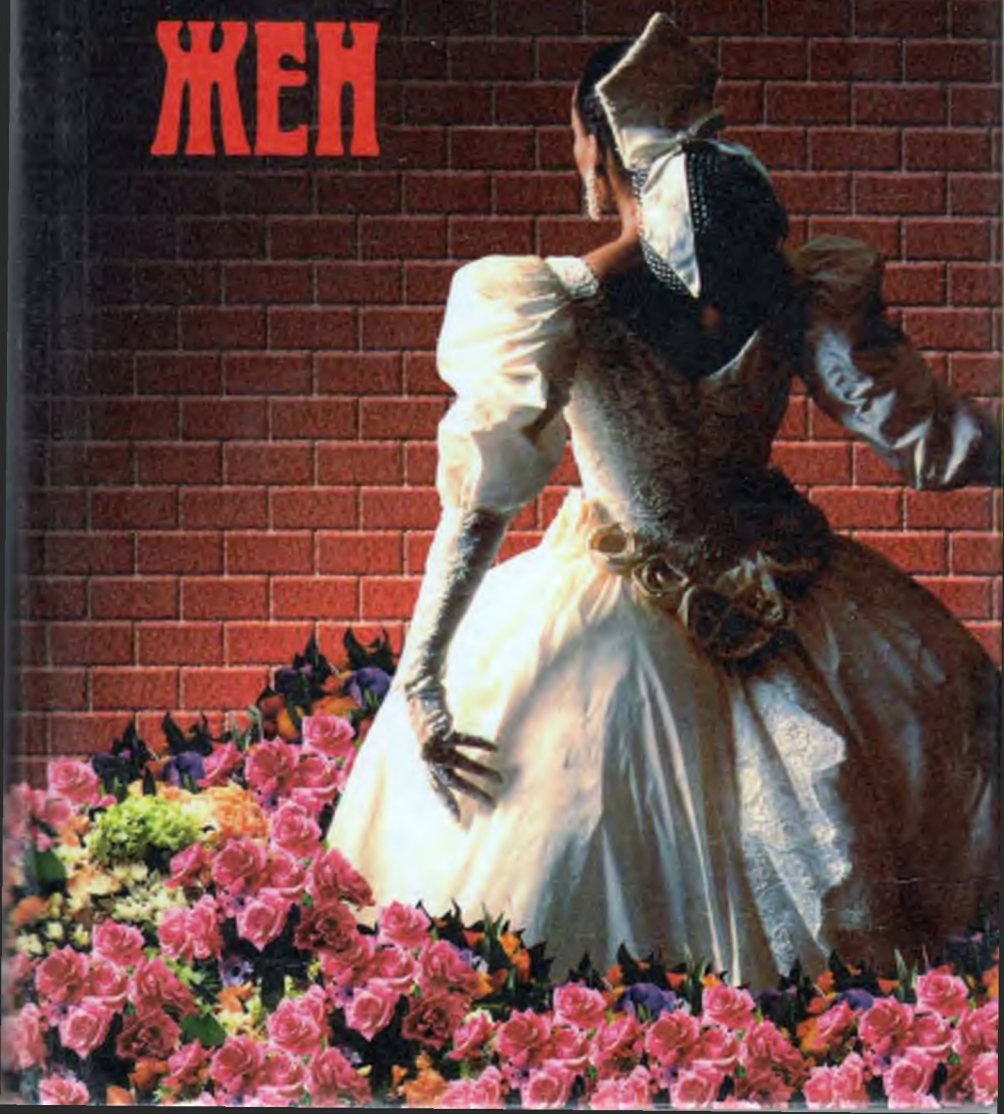


ГАЛИНА КРАСНАЯ

# ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН



**ГАЛИНА КРАСНАЯ**

**ТАЙНЫ**

**КРЕМЛЕВСКИХ**

**ЖЕН**

**УДК 947**  
**ББК 63.3(2)**  
**К 78**

*Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части, а также реализация тиража запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.*

**Красная Г. Н.**

**К 78 Тайны кремлевских жен. — Мн.: Литература,**  
**1997. — 544 с.**

**ISBN 985-437-408-4.**

Новая книга Галины Красной «Тайны кремлевских жен» посвящена женщинам особой категории, создающим проблемы, переступившим грань заурядности, заставившим заговорить о себе. Эти женщины вызывают удивление. На страницах этой книги вы встретитесь также с персонажами уже знакомыми вам, с судьбами родных и близких наших давних и современных вождей из прошлого и настоящего России.

**ББК 63.3(2)**

**ISBN 985-437-408-4**

**© Г. Красная, 1997**  
**© Литература, 1997**

# **О ЖЕНЩИНАХ, КОТОРЫЕ СОЗДАВАЛИ ПРОБЛЕМЫ**

**(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)**

Не каждая женщина согласится быть безмолвной тенью своего мужа, хотя говорят, что мужчина мыслит себя и без женщины, она же без него непредставима...

Меня интересуют различные проявления жизни, мне нравится задавать вопросы и выслушивать ответы. Я спросила у знакомого депутата, какой, по его мнению, должна быть женщина. И он ответил мне: «Она не должна создавать проблемы».

— И все?

— Конечно, нет, но это главное.

И тут я поняла: женщины, создающие проблемы, — это особая категория.

Именно таким женщинам посвящена моя новая книга — женщинам, переступившим грань заурядности, заставившим заговорить о себе. Эти женщины вызывают удивление (это совсем не значит, что они должны служить примером для подражания).

Пусть вас не смущает то, что на последующих страницах вы встретитесь с персонажами, уже знакомыми вам. Человеку свойственно проявлять свои разные качества или же самому проявляться в различных качествах. Кроме того, на одни и те же со-

бытия можно смотреть с противоположных точек зрения.

В классической новелле Акутагавы «В чаще» все герои рассказывают одну и ту же историю, но абсолютно по-разному. Когда сопоставляешь их рассказы, то выясняется, что ни один из них не совпадает ни с другими, ни с действительностью.

Таким образом, посмотрев с точки зрения общечеловеческой (а не классовой, партийной и т. п.) морали на многих героинь, можно увидеть преступницу, которая преступает вековые законы во имя иллюзорных идей.

Возможно, зачастую преступление трактуется как шаг к свободе.

Знаток женской души Мирабо когда-то говорил эмиссарам парижского мятежа, что «если женщины не вмешиваются в дело, то из этого ничего не выйдет». В ВЧК женщины густо вмешивались. Роман Гуль писал: «Надежда Островская — в Севастополе, эта сухонькая учительница с ничтожным лицом, писавшая о себе, что у «нее душа сжимается, как мимоза, от всякого резкого прикосновения», была главным персонажем ЧК в Севастополе, когда расстреливали и топили в Черном море офицеров, привязывая к телам груз. Известно, что опустившемуся на дно водолазу показалось, что он на митинге мертвецов. В Одессе действовала чекистка венгерка Ремовер, впоследствии признанная душевнобольной на почве половой извращенности, самовольно расстрелявшая 80 арестованных, причем даже большевистское правосудие установило, что эта чекистка лично расстреливала не только подозреваемых в контрреволюции, но и свидетелей, вызванных в ЧК и имевших несчастье возбудить ее болезненную чувственность. Но стоит ли говорить о смерти 80 человек, тем доставивших сексу-

альное удовольствие коммунистке Ремовер? (...) Не-ведомая бакинская «чекистка Любка», рыбинская «чекистка Зинка»; какая-то захолустная Теруань де Мерикур, прозванная «Мопсом», о которой в истории осталось только то, что она, как и Теруань, одевалась в короткие мужские брюки и ходила с двумя наганами за поясом, своими зверствами заставляя дрожать население».

Множество преступлений в этом мире совершалось и совершается в окружении ореола славы — во имя идеи. При этом идеи могут быть любыми: патриотическими, политическими и т. д. Шпионки, террористки, доносчицы, следователи-садистки, тайные агенты; женщины, готовые жертвовать человеческими жизнями ради «светлого будущего», — одержимы идеями. Большинство из них уверовали в свою чистоту, и ничто не омрачало их веры в это.

Зачастую они боролись со своими истинными и воображаемыми врагами ужасающими методами.

С. С. Маслов рассказывает о женщине-палаче, которую он сам видел. «Через 2—3 дня она регулярно появлялась в Центральной тюремной больнице Москвы (1919 г.) с папиросой в зубах, с хлыстом в руках и револьвером без кобуры за поясом. В палаты, из которых заключенные брались на расстрел, она всегда являлась сама. Когда больные, пораженные ужасом, медленно собирали свои вещи, прощались с товарищами или принимались плакать каким-то страшным воем, она грубо кричала на них, а иногда, как собак, била хлыстом. Это была молоденькая женщина... лет 20—22».

Были и другие женщины-палачи в Москве.

Среди одержимых идеями достаточно и мучениц и преступниц. И бывает трудно разобраться: кто есть кто.

Часто женщины вдохновляют на борьбу.

Взгляды на женскую преступность менялись соответственно эпохам. Так, у древних иудеев женщине под страхом смертной казни запрещалось одевать мужскую одежду. А что такое супружеская неверность — преступление или стремление освободить женское естество, чтобы оно заблестало всеми гранями своей уникальности?..

Философ и теолог Фома Аквинский (1225—1274), сочинения которого оказали большое влияние на духовную жизнь Европы, адаптируя ранние сочинения Аристотеля, рассматривал женщину как испорченный вариант мужчины. «Самка является таковой в силу известной неполноценности, — говорил Аристотель. — Следует признать, что женщина страдает природной ущербностью». Вслед за ним философ Фома Аквинский объявлял женщину «недоделанным мужчиной», «побочным существом». Она была сотворена после Адама, следовательно она существо вторичное.

Очень часто женщины, увлекаясь честолюбивыми стремлениями, погружаясь в мир мелких интриг и низких страстей, падали под ударами событий, оставив после себя скандальную память.

В 1891 году в России вышла брошюра «Женщина перед судом уголовным и судом истории». Ее автор г. Рейнгардт свел «возвышенные женские характеры» к трем типам: Пенелопы, Эгерии и Сивиллы. Из этих «возвышенных характеров» особенной симпатией автора пользуется тип Пенелопы: «Деятельность Пенелопы, по-видимому, ничтожна, неширока, она вся сосредоточена на интересах семьи, на мелком домашнем хозяйстве, но, однако, эта скромная муравьиная работа, незаметная для простого наблюдателя, но представляющая грандиозной по своим результатам. Женщина

типа Пенелопы оказала величайшую услугу человечеству: этот тип создал семью, возбудил в непостоянной и беспокойной натуре мужчины любовь к постоянству, сделал милым домашний очаг, родную землю».

Однако скромной, но великой ролью Пенелопы г. Рейнгардт не ограничил жизненное поприще женских характеров. Эти характеры могут выражаться в типе нимфы Эгерии, советницы и вдохновительницы мужчин, и прорицательницы Сивиллы, которая самостоятельно совершает благие или злые дела, независимо от мужчины. Автор называет Сивиллами всех женщин, действующих на свой страх и риск.

Мне такая классификация представляется упрощенной. К какому типу вы, например, отнесете Раису Максимовну Горбачеву? Вот какой предстает она в воспоминаниях телохранителя, выбравшего себе псевдоним Ян Касимов (как видим, Александр Коржаков не был первопроходцем на пути создания мемуаров телохранителя):

«Горбачев, сбросив костюм, слегка поужинав, одевал легкую спортивную курточку, если позволяла погода, и шел вместе с Р. М. гулять по аллеям. И не важно, сколько было времени: полночь, час ночи или даже позже. И вот идут они, очень быстрым шагом, час, два часа, кружат, и все говорят, говорят, и никак не наговорятся.

А у меня работа такая — следовать за ними, чтобы страховать от любых ЧП. Вдруг дождь пойдет — тогда в мои обязанности входит подать им зонты. «Светиться» мне не нужно, чтобы не утомлять их своим присутствием. Поэтому я мог быть либо сзади, либо с боку — в кустах, но, естественно, на близком расстоянии. Это я к тому, что, конечно, слышал основную часть этих ночных бесед.



В основном они даже отдаленно не напоминали диалог мужа и жены. М. С. рассказывал жене о событиях, произошедших за день, делился тревогами, планами на ближайшие дни. Р. М. выступала в роли активного советчика.

Вообще, молва много сложила легенд о «первой леди», часть из них — не более чем легенды. Но мнение, что Р. М. энергично вмешивалась в политику, не лишено оснований. Вспоминаю, как Р. М. на тропинке долго, настойчиво пыталась «уломать» мужа в одном назначении. Наконец М. С. не выдержал, рубанул рукой воздух: «Мать твою, я со своими министрами сам как-нибудь разберусь!»

Мои коллеги, работавшие с Горбачевым до того, как М. С. стал первым человеком страны, вспоминают, что тогда Р. М. была совсем другой. Она могла кататься за городом на велосипеде, общаться с окружающими. В общем, вела себя вполне естественно.

К сожалению, я застал ее уже взбалмошной, избалованной всеобщим вниманием и внешним поклонением женщиной. Впрочем, «благодарить» за это следует ее и ее ближайшее окружение. Сколько раз я слышал семейные голоса Кручины, Болдина, обращенные к ней. Но только ли они? Высокопоставленный дипломат умилялся: «Ах, какой у вас замечательный английский! Это же нью-йоркский диалект!»

Если М. С. был пунктуален, то Р. М. — типичная «копуха». Когда за рубежом супруги готовились идти на официальный прием, то М. С. вечно ждал жену, которая мучительно долго выбирала, в какой наряд ей облачиться. Она пристально следила и за его внешним видом. Ходят многочисленные слухи о ее расточительности за границей. В зарубежных поездках я был при Р. М. только эпизодически и чего-то подобного не припомню.

Скажу больше, у нее с собой не было не только «золотой» кредитной карточки, но и элементарной наличности. И приходилось как-то выходить из положения. Р. М. изобрела нехитрый способ — пользуясь тем вниманием, которое естественно или искусственно создавалось вокруг нее, она выбирала магазинчик и заходила «поглядеть».

В Мадриде — это была чуть ли не последняя их поездка в качестве главы государства и «первой леди» — Р. М. приглянулся парфюмерный магазин. Она зашла в него и, как написали в светской хронике, «выразила восхищение» дорогими духами. По практике нескольких лет она, видимо, предполагала, что хозяин вручит приглянувшийся флакон в подарок.

На сей раз вышла осечка. Тогда Р. М. в растерянности повернулась к начальнику протокола Владимиру Шевченко. Он же — хранитель финансов во время визитов. Шевченко, конечно, не мог отказать».

Воспоминания Владимира Медведева, начальника охраны Брежнева и Горбачева, — еще одно свидетельство того, что Александр Коржаков не одинок в своих попытках запечатлеть и обессмертить образ Хозяина на бумаге. Я так думаю, что эта традиция в советском летописании ведется от Бориса Бажанова — личного секретаря Сталина, бежавшего на Запад.

Так вот, в воспоминаниях Владимира Медведева Раиса Максимовна Горбачева предстает такой:

«Жена первого президента СССР во время визитов любила менять наряды раз по пять в день. Прилетели в Ташкент для встречи с лидером Афганистана Наджибуллой. После прибытия Раиса Максимовна решила поменять костюм, вызвала меня: где вещи? А вещи в дороге, местные гаишники не разобрались и притормозили машину с багажом. Еще

раз она меня спросила, потом еще, а потом вызвали меня уже вдвоем, накачала она мужа крепко, он еле сдерживался: «Почему так долго не было вещей? А какого черта ты здесь делаешь?» «Я занимаюсь своими обязанностями». — «На хрена ты мне здесь нужен, ты должен был вещи доставить!» Он так кричал, что крик разносился по всему коридору. Я вдруг почувствовал, что он готов меня ударить, лицо его покрылось краской: «Прилетим в Москву — я тебя выгоню!» «Я готов».

Особые хлопоты доставляли нам взаимоотношения супруги президента с телекорреспондентами. Она требовала, чтобы кассеты с записями давали ей на просмотр, и всегда спешила к программе «Время», чтобы увидеть себя. Но снимать ее было сложно. На встречах, приемах стоит при Михаиле Сергеевиче спокойно, а как только наводят на нее камеру, тут же начинает кому-то указывать, поднимать зонтик, и потом делала замечания: снимают «неудачно».

Кто-то осмелился намекнуть Горбачеву, что, может, не стоит так часто брать жену в поездки. Он резко ответил: «Ездила и будет ездить».

В этой книге вас ждет встреча с разнообразными женским характерами.

Исследуя личность женщин-преступниц, специалисты отмечают следующие отличительные признаки: отсутствие раскаяния; спокойное, детальное описание картины преступления, хладнокровие. Криминалисты пытались найти главную, стержневую причину преступного поведения. Ломброзо и его последователи называли эту потребность «преступным импульсом».

Чезаре Ломброзо писал: «Одно высокопоставленное лицо, которое не скрывало от себя гибель-

ных последствий деморализации аристократии, рассказывало: «Если бы разврат существовал только среди придворных дам, зло было бы ограничено; но он распространяется также среди остальных женщин, которые заимствуют у придворных куртизанок их моды и образ жизни и, стараясь подражать им также в разврате, говорят: при дворе одеваются так-то, танцуют и веселятся таким-то образом; мы сделаем то же самое».

Дорогие читатели, мы с вами отправимся в Кремль — совершим своеобразное путешествие во времени и пространстве. В 1928 году Кремль посетил писатель Стефан Цвейг. Записанные по «живому следу» впечатления о поездке поражают своей искренностью и правдивостью:

«Потребовались дни, чтобы получить разрешение войти через постоянно охраняемые ворота этой древней крепости, которая полтысячи лет была резиденцией царей, а теперь стала резиденцией новых властелинов. Мы увидели волшебной красоты церкви с удивительными светлыми и темными фресками, украшающими их по всей высоте, роскошные парадные покои, а потом опять соборы, один и другой, стоящие плотно друг возле друга. Мы прошли через бесчисленные залы, в которых были собраны сокровища искусства многих поколений, оружие и художественные произведения этой необъятной страны. Глаз устаёт, чувства при-тупляются от созерцания такого огромного собрания, чтобы обозреть его, потребуется, пожалуй, целая жизнь; мы прервали истощающее духовные силы путешествие в мир безмерно богатого русского искусства и решили посмотреть со стен Кремля на Москву, наверно, самый удивительный и своеобразный город мира.

Возможно, именно здесь, на этом месте стоял Наполеон, великий безумец, приведший сюда шестьсот тысяч солдат из Франции и Испании через Германию, Польшу, через бескрайние степи без единого дерева, без воды. Его влек обманчивый свет Востока, ради этого света он бросил Париж с Оперой и Комеди Франсез, отправился сюда, преодолев пятидесятидневный путь. Здесь, в Кремле, у его ног развернулось страшное зрелище — горящий город. Это было, вероятно, поразительное зрелище. Город ошеломляет и сейчас. Варварская мешанина, бесплановая неразбериха стародавних времен и нынешние постройки сделали его еще живописнее. Выкрашенные в ярко-красный цвет барочные соборы расположены рядом с бетонным небоскребом, широко раскинувшиеся дворцовые строения — рядом со скверно белеными деревянными домишками, со стен которых обваливается штукатурка; полувизантийские, полукитайские церкви с луковичными куполами притаились за гигантскими эйфелеобразными силуэтами радиоантенн, дворец — скверное подражание строениям эпохи Возрождения, соседствует с кабаком. И между всем этим — справа и слева, спереди и сзади, всюду — церкви, церкви, церкви с их поднимающимися вверх башенками, сорок сороков, как говорят русские, но каждая отличается от других цветом, формой, ярмарка всех стилей, чудовищно перемешанная фантастическая выставка всех архитектурных форм и колоритов.

Ничто не соответствует друг другу в этом построенном без плана, пожалуй, самом импровизированном городе, но именно эта повсеместная разбросанность противоположностей делает его поразительным. Гуляешь по улице, сделал сотню шагов и думаешь, что находишься в Европе, а до-

шел до угла — и кажется, что тебя занесло в Испанию, на базар, в татарское, в монгольское. Вошел в церковь — отдыхаешь в средневековой Византии, переступил порог нового здания телеграфа — совершил прыжок в современный Берлин.

Золоченые купола собора расточительно отражаются в битых оконных стеклах стоящих напротив деревянных домов-развалюх; с черного хода такого убогого дома выходишь мимо грязной помойки, кудахтающих кур и вонючего отхожего места на улицу, звенящую трамваем, и оказываешься перед музеем, в хорошо содержащихся залах которого хранятся сокровища Западной Европы.

Ничто не соответствует друг другу, этот город грозит и опьяняет, он подобен чудовищной атональной симфонии, в которой смешались самые смелые диссонансы и самые резкие ритмы. Не решусь утверждать, что он кому-нибудь нравится, этот своеобразный город, но он более чем красив — он незабываем».

**Галина КРАСНАЯ,**  
август 1997 года

## **«РАЗНУЗАННЫЙ БОЛЬШЕВИЗМ» И ФАВОРИТКА ИМПЕРАТОРА**

Согласитесь, что-то странное есть в том, что особняк фаворитки императора превратили в музей революции. Революция в будуаре? А ведь именно так у нас и было: в 1957 году в особняке балерины Кшесинской, фаворитки императора Николая II, открылся музей революции.

Фаворитка императора пыталась наладить контакты с новой властью, но не с пользой для себя: в марте — июле 1917 года в ее прекрасном особняке размещался ЦК большевиков, а 3(16) апреля с балкона особняка выступил возвратившийся из эмиграции Ленин.

По словам лидера кадетов Владимира Набокова, Временное правительство было бессильно «против таких явлений прямо уголовного характера, как захват особняка Кшесинской и устройства в нем цитадели и публичной кафедры самого разнузданного большевизма».

Следует отметить, что имя знаменитой балерины в 1917 году трижды возникало в ходе судебных разбирательств в Петрограде. Об этих трех эпизодах из жизни фаворитки последнего российского императора поведал Михаил Куценогий. Предыдущие публикации, посвященные этой теме, расплывчаты, содержат много недомолвок. В них априорно утверж-

дается правота большевиков. Пришло время разобраться, как все происходило в действительности.

«М. Ф. Кшесинская на свои средства по проекту модного на рубеже XIX—XX вв. архитектора А. И. Гогена построила особняк для себя и своего сына. Престижное положение в труппе Мариинского театра, гонорары за частные выступления, подарки состоятельных покровителей позволяли ей делать такие расходы. К осени 1906 года полностью были завершены строительные и отделочные работы. К февралю 1917 года Кшесинская уже «11 лет блаженствовала в особняке», как писал лет двадцать назад журнал «Юность».

До нас дошли сведения, что после февральских дней, невероятно усложнивших жизнь балерины, она постаралась найти защиту у большевиков. Обратившись к председателю Петербургского комитета РСДРП(б) Л. М. Михайлову (настоящая фамилия Елинсон, партийный псевдоним Политикус), Кшесинская предложила открыть в особняке пансион и вкусно кормить своих покровителей в обмен на доброе их расположение. Но из этой ее затеи ничего не вышло. В дальнейшем события развивались так, что Кшесинская вынуждена была искать защиты от большевиков. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

26 февраля 1917 года под звуки выстрелов на улицах города в Александрийском театре состоялась премьера мейерхольдовского «Маскарада», приуроченная к 25-летию юбилею актера театра Ю. М. Юрьева, исполнявшего в спектакле роль Арбенина. Это был второй премьерный спектакль. Спектакль, назначенный на 27 февраля, был отменен... Жил Юрьев тогда в построенном Ф. Лидвалем доме № 1 по Каменноостровскому проспекту.



Видя, что события в городе стали совершенно неуправляемы, опасаясь за свою жизнь и жизнь сына, в ночь с 26 на 27 февраля, захватив принадлежащие ей ценности, Кшесинская направилась к Юрьеву.

«...Так как дом, где я жил, — вспоминал Ю. М. Юрьев, — находился на перекрестке двух улиц и, следовательно, представлял собою выгодную позицию, то обыски в нашем доме следовали один за другим. Я жил на верхнем этаже, над моей квартирой — чердачные окна... А тут еще ночью ко мне явилась растерянная М. Ф. Кшесинская — она бежала из своего дворца, расположенного недалеко от моего дома, и теперь искала у меня убежища, опасаясь эксцессов, и не без оснований...»

Кшесинская не отличалась ангельским характером. Пользуясь покровительством царя и великих князей, не раз становилась она инициатором всевозможных закулисных интриг в Мариинском театре. Балерина постоянно была на виду и имела достаточно недоброжелателей, имя ее не сходило со страниц газет и журналов, раздувавших скандалы, связанные с ее именем.

Вот одно из сообщений тех дней: «М. Ф. Кшесинская уехала... из своего особняка, захватив с собою свои бриллианты. Достоинно примечаний, что она бежала... как раз накануне выступления рабочих. На крыше ее особняка, по словам «Петроградского листка», оказались пулеметы» («Театр и искусство», 1917, № 10—11). (Если и были на крыше дома Кшесинской пулеметы, то, естественно, к ним балерина не имела никакого отношения.)

Спустя некоторое время Кшесинская навестила свой дом.

В особняке по решению Петросовета разместил-

ся бронедивизион. А он, в свою очередь, как сообщала позднее «Петроградская газета», предоставил приют нескольким организациям: ПК Российской с.-д. партии, ЦК той же партии, центральному бюро профессиональных союзов, районному комитету партии с.-р., клубу военных организаций, кандидату прав В. И. Ульянову.

Кшесинская тогда явилась к А. Ф. Керенскому и «заявила, что она и не думала скрываться и готова отдать себя в руки власти». Керенский успокоил актрису, сказал, что в ее аресте нет необходимости, и взял у нее подписку о невыезде. Вскоре Кшесинская обратилась к градоначальнику с ходатайством о розыске похищенных в ее квартире ценностей на сумму около полумиллиона рублей. И вот, совершенно оправившись от испуга, балерина развивает бурную деятельность, — она стремится во что бы то ни стало выселить из своего дома непрошенных гостей. Кшесинская рассчитывает на помощь и поддержку известного петербургского адвоката Н. П. Карабчевского. О нем, кстати, следует рассказать подробнее.

Николай Платонович Карабчевский родился в 1851 году в дворянской офицерской семье. По окончании гимназии поступил в Петербургский университет на естественный факультет, а потом перешел на юридический. Однако к профессии адвоката, очевидно, не без влияния пьес Островского и Сухово-Кобылина, относился с презрением. Ведь он мечтал о литературе!

Он играл в любительских спектаклях Благородного собрания, занимался литературным трудом и на адвокатскую деятельность смотрел всего лишь как на источник существования. Но именно адвокатская деятельность принесла ему громкую славу.

Карабчевский был женат на дочери промышлен-

ника Константина Варгунина Ольге и жил в особняке тестя. Вскоре этот дом на Знаменской, 45 получает известность как один из культурных центров Петербурга. Гости Карабчевского: Савина, Комиссаржевская, Давыдов, Варламов, Юрьев, Шаляпин, Мейерхольд.

Выступление в особняке на Знаменской считалось престижным, достать сюда билеты было чрезвычайно трудно. Н. Л. Карабчевский дружил со многими артистами петербургских театров. В 1912 году на сцене домашнего театра в квартире Карабчевского Мейерхольд поставил пантомиму «Влюбленные» на музыку К. Дебюсси, в оформлении художников А. Яковлева и В. Шухаева.

Выступала на этой сцене и Кшесинская. Николай Платонович, страстный поклонник балерины, предлагал ей даже убить кого-либо, чтобы доказать свою преданность.

26 февраля Карабчевский был на премьере «Маскарада». События февральских дней, обесценивших человеческую жизнь, основы правопорядка и законности, подействовали на знаменитого адвоката угнетающе, подавили его волю. Он отказался защищать Кшесинскую.

Чувствуя вину перед нею, он в своих мемуарах, вышедших в 1921 году в Берлине, с осуждением вспоминал этот процесс. «Затейный поверенным балерины Кшесинской... В. С. Хесиным гражданский процесс о восстановлении нарушенного владения ее особняком дал повод к публичной пропаганде в самой камере мирового судьи идей беззакония и правовой анархии. Со стороны ответчиков выступило два поверенных — М. Ю. Козловский и помощник присяжного поверенного Богатьев. Их речи были явным вызовом самой идее правосудия.

Первый, ловкий и талантливый эрудит, софическим туманом окутал свою явно большевистскую пропаганду; второй, более робко и осторожно, подпевал ему. По заявлению Хесина, совет присяжных поверенных возбудил о них дисциплинарное производство. Они оба аккуратно являлись в заседания совета...»

20 апреля 1917 года было опубликовано интервью с присяжным поверенным Владимиром Савельевичем Хесиным, адвокатом Кшесинской: «Дело это само по себе несложное, но оно обостряется тем непримиримым положением, которое заняла группа лиц, объединившихся в партийной работе на программе Ленина. Целый месяц я старался путем переговоров миролюбиво добиться восстановления прав моей доверительницы, но мои старания, к сожалению, успехом не увенчались.

Ленинцы, настаивая на своем праве революционного захвата, заявляют, что оставят особняк только в том случае, если им предоставят Аничков дворец. Но это, разумеется, не в моей власти». На вопрос: «Явятся ответчики в суд?» Хесин ответил так: «Насколько мне известно, явятся не только сами ответчики, но и значительное число их единомышленников. Ленинцы даже выразили желание, чтобы дело было рассмотрено не в тесном помещении мирового суда, а на Марсовом поле. Но, конечно, это невысказано, ибо суд и митинг — вещи разные» («Петроградская газета»).

5 мая 1917 года на Большой Зелениной в камере мирового судьи М. Г. Чистосердова было назначено слушание дела.

«У входа в камеру, — писал «Петроградский листок», — усиленный наряд милиционеров с ружьями. Всех входящих они опрашивают. У представителей

печати требуют удостоверения. Камера переполнена публикой.

Некоторые спрашивают:

— Здесь судят ленинцев?

Им разъясняют, что никого здесь не судят, а рассматривают иск о выселении Ленина и других из дома балерины Кшесинской».

«Мировой судья допускает Козловского в качестве поверенного всех партийных с.-д. организаций, поселившихся во дворце, так как ПК не только не прислал своего представителя, но и отказался принимать повестку» (газета «Новая жизнь»).

Один из ответчиков, студент Агабабов, рассказал на суде:

«Дело было так. Я явился реквизировать автомобили и занять гараж г-жи Кшесинской в первые дни революции, точно выполняя предписание военной организации при Гос. думе — реквизировать все автомобили и занимать гаражи. Автомобилей там не оказалось, но служащие Кшесинской просили меня остаться во дворце, чтобы охранять имущество от покушений уличной толпы. Я там и остался и прожил до 10—11 марта (газета «День»).

Многие ответчики, включая и адвоката Козловского, доказывали свое право на проживание в особняке. Представитель ЦК партии большевиков уверял судью, что захватили они особняк только с целью его охраны. На что Хесин резонно ему возразил: «Здесь хотят даже создать особое право на дворец Кшесинской, как бы в виде благодарности за услуги. За услуги спасибо, но дворец вы все-таки верните».

Звучал и такой довод: де, Кшесинская бросила дом и слуг без провизии, и организации, поселившиеся в доме, вынуждены были кормить прислугу. Хесин возразил: «У повара был запас провизии на

месяц, а в погребке были вина, было два ящика шампанского... Гости провизию съели и шампанское выпили» («Петроградский листок»).

Адвокат М. Ю. Козловский: «Если бы не броневики, занявшие дом в первые дни революции, то возможно, что от дворца Кшесинской не осталось бы и следа... Это надо понимать так, что инициаторы беспорядков в городе ставят себе в заслугу, что они невольно выступили защитниками дома против стихии этих беспорядков. В конце концов дом все же был разграблен уличной толпой». И дальше: «Ведь молва считала, что в доме Кшесинской — очаг реакции. Для всех было понятно, что нити, которые связывают г. Кшесинскую с царствующим домом, дают основания предполагать, что в доме Кшесинской гнездится опасность для революции. Не будем скрывать: народная масса... относится к г. Кшесинской если и не как к члену императорской фамилии, то во всяком случае как к члену той среды, которая являлась врагом революции. Ведь в народном сознании Кшесинская — фаворитка царя. О каком же тут законе можно говорить?.. Конечно, с точки зрения закона, революция незаконна. С точки зрения закона, на который ссылается поверенный г. Кшесинской, мы все — преступники, нам всем место на виселице, всем, в том числе и Временному правительству. То же можно сказать и о судьбе, к защите которого прибегает поверенный. Ведь судья действует именем незаконно существующего Временного правительства» (газета «День»).

Какие же доводы в защиту Кшесинской привел В. С. Хесин? Человеком он оказался незаурядным, а его выступление в зале суда было пророческим: «Пускаться в область рассуждений о том, как смотрела толпа на дворец, я не буду, потому что если я буду

повторять глас толпы, то я принужден буду коснуться и другого мнения — мнения о том, что те, кто занял дворец Кшесинской, действуют на немецкие деньги. Я должен буду тогда повторять все инсинуации про запломбированный вагон и т. п. Я это говорю только потому, что вынужден защищать честь доверительницы. Истинные деятели революции не ссылаются на мнения толпы... Они действуют с достоинством, настолько с достоинством, что даже владения лиц, принадлежащих и в самом деле к царствующей фамилии, они охраняют и не трогают.

Революцию я понимаю как момент поворота, такой же момент, какой может быть и в будущем при контрреволюции. Длящейся революции не существует, следовательно правом момента я оперировать не могу. Я должен оперировать только с законом, пока он не отменен. Правонарушения, хотя бы и многократные, не создают права» (газета «День»).

Решение суда было категоричным: непрошенные гости в течение 20-ти дней обязаны покинуть особняк. Но, очевидно, Кшесинская не очень верила в возможность исполнения решения суда. Спустя две недели имя ее появляется в материалах нового судебного разбирательства, связанного с поджогом ее дома.

11 мая 1917 года в особняк Кшесинской приходил никому не известный солдат. Он столкнулся со служащей социал-демократической организации Марией Клементьевой. На вопрос, что ему нужно, ответил, что зашел из любопытства. 12 мая около 6 часов утра к особняку на легковом извозчике подъехали трое: двое офицеров и один штатский. На их звонок вышел дворник Григорий Соловьев. Офицеры сказали, что им надо срочно пройти в комитет. У дворника ключей от ворот не было — они находи-

лись у солдата в дежурном помещении. Дворник принес ключи, впустил незнакомцев и вышел мести улицу. Посетителей видел и дворник соседнего дома, он же заметил, что один из офицеров был очень высокого роста. Минут через десять они вышли, при этом высокий сорвал с ворот дома плакат Петроградского комитета и, бросив извозчику, сказал: «Это тебе пригодится на фартук». Компания села в поджидающую их легковую повозку и направилась в сторону Троицкого. А в доме в это время начался переполох — горела кипа газет в столовой, где помещалась экспедиция «Солдатской правды». Горело несколько десятков тысяч экземпляров, облитых какой-то жидкостью. Пожар погасили. Выгорела часть стены и часть пола. Секретарь ЦК РСДРП Е. Д. Стасова вызвала милицию.

Было возбуждено уголовное дело. 30 мая 1917 года была допрошена «в качестве потерпевшей М. Ф. Кшесинская, 44 лет, католичка, не судимая, артистка государственных театров». «Я, — сказала Кшесинская, — теперь в доме не живу и почти в нем не бываю. Какую цель преследовал означенный поджог, был ли он направлен против моего имени, против какой-либо из организаций, самовольно поселившихся теперь в моем доме, я сказать не могу. Кто поджег, я не знаю, и указаний к обнаружению виновных я дать не могу» (ЦГИАЛ, ф. 487). Дело вскоре прекратили из-за невозможности обнаружить виновных.

Остается загадкой: был ли поджог мезтью Кшесинской захватчикам или она все-таки непричастна к инциденту.

В марте 1917 года, когда Кшесинская обдумывала, как ей вернуть свой дом, ее пытались шантажировать.

21 марта, около полудня, на квартиру Феликса



Кшесинского, брата Матильды, у которого она тогда жила, позвонил неизвестный и сказал, что у него имеется два письма: одно — на имя Кшесинской, другое — на имя ее сына, и он готов их вернуть по принадлежности. На вопрос Кшесинской, а именно она подошла к телефону, каким образом попали к нему эти письма, незнакомец ответил, что нашел их во время обыска в одном из домов на Забалканском проспекте. Кшесинская была человеком весьма осторожным. Она сказала, что в данный момент разговаривать не имеет времени, и просила перезвонить вечером. Тут же она связалась с В. С. Хесиным и по его совету подала заявление в комиссариат.

Вечером незнакомец позвонил. Его звонка ждал Хесин. Выяснилось, что у незнакомца личные письма великого князя Андрея Владимировича, которые он может уступить за плату, а если Кшесинская отказывается от свидания с ним, то он передаст их «гражданскому мужу» М. Ф. Кшесинской великому князю Сергею Михайловичу.

Хесин предложил незнакомцу приехать к нему на квартиру, от чего тот резонно отказался. Сошлись на том, что встретятся в ресторане «Слон». Заехав в комиссариат и попросив прислать к назначенному времени в ресторан милиционеров, Хесин направился туда, занял отдельный кабинет, заказал чай и закуски.

В 21.30, как было условлено, в кабинет вошел солдат, заявивший, что он и есть тот самый человек, с которым Хесин говорил по телефону. На просьбу Хесина показать письма, солдат ответил, что отдаст их «по получении 5 тысяч рублей, так как содержание писем таково, что великий князь Андрей Владимирович даст за них 50 тысяч, лишь бы избежать дурного последствия...» Хесин, чтобы

затянуть время до прихода милиционеров, стал торговаться с солдатом. Тот как будто предложил, из причитающихся ему 5 тысяч рублей, одну тысячу Хесину — «за труды».

В это время у дверей кабинета слышались шаги милиционеров...

Арестованный оказался писарем управления запасных гвардейских частей Андреем Ивановичем Шаталовым. У него при аресте изъяли пистолет и два письма великого князя Андрея Владимировича на имя М. Ф. Кшесинской и ее сына.

Шаталов виновным себя не признал. Появление же у себя чужих писем объяснил следующим образом.

Во второй половине февраля 1917 года адъютант Управления штаба капитан Толстой поручил ему отвезти в Кисловодск несколько секретных документов к генералу Чебыркину. Исполнив поручение, он, Шаталов, получил от Чебыркина несколько пакетов, адресованных в Петроград разным лицам. Приехав в Петроград 27 февраля, «в горячке дней революции» пакетов сразу не передал, а «потом решил представить их в Гос. думу, но не имел времени исполнить сам намерений». Тогда он вскрыл один из пакетов и обнаружил конверт на имя Кшесинской, вскрыл его и прочитала письма.

«Убедившись, что они частного характера, первоначально предположил сдать его (т. е. конверт) все-таки в Гос. думу, а затем, 21 марта, будучи немного «под хмельком», решил доставить письмо, адресованное Кшесинской, именно ей, для какой цели и позвонил ей по телефону. Денег он, Шаталов, от Кшесинской не требовал, а она сама предложила ему 5 тыс. р.» (ЦГИАЛ, ф. 487). Шаталов уверял, что Хесин сам требовал себе часть сум-

мы, обещанной балериной, во что верится, конечно, с трудом.

Атмосфера безнаказанности и анархия февральских дней подтолкнули слабохарактерного писаря к такому необычному способу добывания денег. Было возбуждено уголовное дело. Однако 26 июня 1917 года Шаталов вместе с 62-й маршевой ротой убыл в действующую армию, куда следом были направлены и письменные сведения на него».

Как говорят, «время было такое». Заняли особняк? Не самое страшное. В 1918 году (фактически через год) Зинаида Гиппиус писала в «Петербургских дневниках»: «До такой степени «дленбе длитя», что я решила быть мудрее и перестроить свою психологию. Не ждать. Так-таки не ожидать больше ровно ничего. Довлесть дневи...

Защелкнуть задвижку.

Массовый террор в России описать я не могу, — да и не хочу. В Симферополе вырезали две улицы «буржуев». В Ялте... столько убийств, утоплений с ядрами на ногах, что теперь... мертвецы одолевают город, всплывая в бухте в стоячем положении. Вот еще: на юге торговля рабынями: «герои» навезли, убегая с кавказского фронта. Продают женщин рублей по 30—25 (сбили цену, повсюду навезя, а первые шли по сту и 75 р.)».

## ГРЕХОПАДЕНИЕ ВОЖДЯ

Женщины, которые активную сексуальную жизнь совмещают с политикой, представляют особый интерес. Именно такой женщиной была Инесса Арманд — возлюбленная Ленина. Для Инессы страсть и политика были понятиями неразделимыми и, можно даже сказать, составляли одно целое: мы говорим — «секс», подразумеваем — «политика»...

Инесса родилась в Париже 8 мая 1874 года. Ее родители — Теодор Стефан, француз, оперный певец, и Натали Вильд, шотландка, актриса, а потом учительница пения. Отец Инессы умер рано, оставив вдову без средств. Девочку воспитала тетка, сестра матери, учительница музыки и французского языка. Она-то и увезла маленькую Инессу в Москву, где преподавала в богатых домах. Она-то и ввела юную, прелестную парижанку в дом Армандов.

Семья эта отличалась хлебосольством, радикальными взглядами, интеллигентностью. Там было много молодежи; с Инессой, впечатлительной, яркой, одаренной, быстро установились дружеские отношения. Тетка дала ей хорошее образование — домашнее, что считалось тогда наиболее подходящим для девушки; блестяще владела Инесса тремя языками: русским, французским, английским; виртуозно играла на рояле. Словом, девушка незаурядная. Уди-

вительно ли, что ее полюбил молодой Арманд, Александр, сын и наследник главы дома.

В семнадцать лет Инесса сдала экзамен на звание домашней учительницы, в девятнадцать — вышла замуж.

Александр Евгеньевич, ее муж, человек по натуре мягкий, обаятельный, увлекался в ту пору земской деятельностью, благотворительностью. И Инессу вовлек в сферу своих интересов: вместе обдумывали всяческие хозяйственные преобразования, организовали школу в своем подмосковном имении Ельдигино, вместе участвовали во всякого рода филантропических обществах... Безмятежное, благополучное житье-бытье.

Пошли дети. И с рождением первенца — сына Саши — связана верная «трещина» в как будто бы цельном и устойчивом мировоззрении молодой госпожи Арманд. Она была очень религиозна. А тут столкнулась с тем, что православная вера запрещает роженице в течение шести недель посещать церковь. Нелепое запрещение это взволновало, возмутило Инессу.

Но кто же, собственно говоря, «увел» ее в революционный стан? Кто, при каких обстоятельствах превратил «сочувствующую» даму из высшего общества в профессионального революционера?

На это ответила в автобиографии сама Инесса Федоровна:

«С 1901 года стремилась к революционным организациям и в 1902 году познакомилась с некоторыми представителями с.-д. и с.-р., которым оказывала некоторые услуги и которые со своей стороны снабжали (меня) нелегальной литературой, тогда еще весьма скудной. В 1903 году попала за границу, в Швейцарию, и после короткого колебания между

эсерами и эсдеками (по вопросу об аграрной программе) под влиянием книги Ильина «Развитие капитализма в России», с которой впервые смогла познакомиться за границей, становлюсь большевичкой».

Ильин — Ленин — вот кто, оказывается, «увел» Инессу в революционный стан.

Ведя партийную работу в районах Москвы и в Пушкино, Инесса Арманд быстро проходит «первоначальный курс» обучения — овладевает искусством конспирации, техникой революционного подполья, умением работать в массах. Вслед за тем наступает пора «тюремных университетов».

Впервые она была арестована 6 февраля 1905 года. «Отсидки», выходы на волю, снова энергичная партийная работа и снова тюремная камера — общая или одиночная, в зависимости от произвола жандармов. Надо ли говорить, что тюремный воздух отнюдь не укрепляет здоровья молодой женщины. Но зато укрепляет волю.

В этой связи интересно обратиться к письму Инессы Арманд. Написано оно значительно позже первых арестов — в эмиграции, в Швейцарии, и адресовано старшей дочери Инне. Ведя разговор с дочкой, мать признавалась:

«...Скажу про себя — скажу прямо — жизнь и многие жизненные передрыги, которые пришлось пережить, мне доказали, что я сильная, и доказали это много раз, и я это знаю. Но знаешь, что мне часто говорили, да и до сих пор еще говорят: «Когда мы с вами познакомились, вы нам казались такой мягкой, хрупкой и слабой, а вы, оказывается, железная...» И неужели на самом деле каждый сильный человек должен быть непременно жандармом, лишенным всякой мягкости и женственности, — по-моему, это «ниоткуда

не вытекает» — выражение одного моего хорошего знакомого. Наоборот, в женственности и мягкости есть обаяние, которое тоже сила».

Вернемся к первому этапу эмигрантской жизни Инессы Арманд. К тому времени, когда она, бежав из Мезени, после ряда злоключений обосновалась в Брюсселе.

Этот год был посвящен главным образом уче- нию. Поступив в университет, Инесса изучает соци- альные и экономические науки. За один только год был пройден университетский курс, с отличием сда- ны выпускные экзамены и получен диплом лицен- циата экономических наук.

Следует добавить, что позже, в Париже, Инесса слушала лекции в Сорбонне, да и вообще всегда и везде не упускала случая учиться — учиться само- стоятельно работать с книгой, серьезно и система- тически штудировать капитальные труды по по- литэкономии и педагогике, по статистике и эконо- мгеографии...

В один из коротких наездов из Брюсселя в Па- риж Инесса Арманд познакомилась с Владимиром Ульяновым. Заочно знала Ленина давно, но личное знакомство состоялось лишь в 1909 году.

С той поры через всю свою жизнь Инесса, поко- ренная Лениным, пронесла любовь к нему. С той по- ры и до самого смертного часа существование Инес- сы было озарено лучами этого чувства.

Как пишет Н. Валентинов в «Моих встречах с Лени- ным», еще в 30-е годы в издательстве «Bandinere» по- явилась книга «Тайные любовные увлечения Ленина», написанная двумя авторами — французом и русским (первый, скорее всего, был только переводчиком). Впервые в виде статей она появилась в 1933 году в га- зете «Untransigent» («Независимая» — ежедневная га-

зета, выходившая в Париже в 1880—1948 гг.). Книга рассказывала об интимных отношениях Ленина с некой Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В ней приводились даже письма Ленина к этой К., которые даже на глаз неспециалиста выглядели явной фальшивкой. Н. Валентинов же считал (и это не было секретом для старых товарищей Ленина — Зиновьева, Каменева, Рыкова), что тот «был глубоко увлечен, скажем, влюблен в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по-своему, т. е., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и революцией, клеймящей капиталистических акул и империализм».

Как известно, знакомство Ленина с Арманд произошло в 1910 году в Париже, и внимание, которым Ленин окружал Инессу, росло в 1911—1912 годы. Они часто подолгу разговаривали в кафе на авеню d'Orlaans. «Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки», — свидетельствовал французский социалист и большевик Шарль Раппопорт.

Ленин ценил в Арманд твердый характер, неистощимую энергию. «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту», — писал он ей 15 июля 1914 года.

Он не мог не восхищаться ее блестящим знанием пяти языков, благодаря чему Инесса являлась его незаменимой помощницей на Циммервальдской, Кинтальской и других международных конференциях в годы мировой войны, на первых двух конгрессах Коминтерна после Октябрьского переворота. Огромное влияние на Ленина оказывала виртуозная игра на рояле Инессы Арманд. «Десять, двадцать, со-



рок раз могу слушать Sonata Pathetique, и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более», — говорил Ленин.

Н. Валентинов высказывает предположение, что отвергнутая Лениным Инесса, подсознательно желая вызвать у него ревность, присылает ему план брошюры о женском вопросе, в котором звучит требование «свободы любви». В письме от 17 января 1915 года Ленин советует это требование выкинуть, как «не пролетарское, а буржуазное требование». По его мнению, дело не в том, что понимает Арманд под «свободой любви»; «дело в объективной логике классовых отношений в делах любви». Инесса, судя по ленинскому письму от 24 января 1915 года, высказывает несогласие, не понимает, «как можно (так и написано!) отождествлять (!) свободу любви» со свободой адюльтера. Тезис Ленина: «Буржуазки понимают под свободой любви «свободу» от серьезного в любви», «от деторождения», свободу адюльтера. Но у Ленина отличный от Арманд взгляд на «ту проблему: «...Вы, совершенно забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в «атаку» на меня», — жалуется он. И далее:

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?.. Казалось бы: поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популяр-

ной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский... пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь — страсть может быть грязная, может быть и чистая)».

Близкая подруга Инессы по эмиграции большевичка Людмила Сталь дала ей такую характеристику: «Пренебрежение к материальным условиям жизни, внимательное отношение к товарищам и готовность поделиться с ними последним куском были основной чертой ее характера». К этому хочется добавить красочный рассказ рабочего-большевика Григория Котова, встречавшего Инессу в Париже:

«Как сейчас вижу ее, выходящую от наших Ильичей. Ее темперамент мне тогда бросился в глаза... Казалось, жизни в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками этого пламени».

Зима 1913/14 года. Инесса снова в Париже. Этому предшествовало, как мы помним, немало событий. Поездка на нелегальную работу в Россию, арест и «сидка» в петербургской предварилке, бегство за границу. Посещение Ульяновых, которые перебрались тогда из Парижа в Краков, чтобы быть поближе к родине. Участие в Поронинском совещании Центрального Комитета с партийными работниками... И вот — Париж.

Не успела Инесса еще как следует обосноваться, а в очередном письме от В. И. Ленина среди других поручений прозвучал требовательный призыв: «Беритесь архиэнергично за женский журнал!»

Создание нового большевистского журнала и появление нового журналиста-большевика было тесно

связано с краковскими «блонями» (осенью 1913 года в Польше Инесса совершала дальние прогулки по берегам Вислы, покрытым изумрудными душистыми лугами, по-польски их называют «блони»). Недаром ведь и литературный псевдоним себе Инесса выбрала Блонина. С той поры Елена Блонина вошла в строй боевых партийных публицистов.

...Скромное парижское кафе на тихой улочке близ Больших Бульваров. Мраморный столик, бокалы лимонада, чашечки со стынувшим кофе. Чернильница, газеты на палках-держалках, книги с закладками. Две женщины увлеченно работают в этом кафе — ведут какие-то записи, пишут письма, спорят... Эмигрантки-большевички Инесса Арманд и Людмила Сталь — члены заграничной редакции будущей «Работницы» — заняты подготовкой ее первого номера.

Дело налаживалось трудно. Русская часть редакции работала в условиях жесточайшего полицейского террора, каждый час ожидая ареста (это «ожидание» длилось не так уж долго; почти все русские редакторы нового журнала оказались за решеткой). Заграничная часть редакции была разобщена (Арманд и Сталь во Франции, Крупская в Галиции); трудности связи, отсутствие опыта и средств, невозможность собраться всем вместе для выработки общей точки зрения — все, все было преодолено.

И вот, наконец, в руках у Инессы полученный из России первый номер «Работницы». Незатейливо оформленный, отпечатанный на неважной бумаге, скромный журнал. Но свой, родной, долгожданный...

Посылая Инессе в Париж №3 «Работницы», Владимир Ильич писал: «Хорошо ведь! Налаживается дело».

А. Латышев писал: «В годы мировой войны Ленин

не написал никому так много писем, как Инессе Арманд. Но следует отметить, что в секретном архиве Ленина хранится еще ряд неопубликованных писем. Кроме того, составители 48-го и 49-го томов полного собрания сочинений сделали многочисленные купюры, так что часть опубликованных ленинских писем к Арманд следует считать фальсификацией. Чем выделяются купированные места ленинских писем? Во-первых, изъяты абзацы, в которых Ленин особенно несдержан по отношению к своим соратникам по партии, а также те, в которых просматриваются его чувства к Арманд.

Впрочем, и в уже опубликованных письмах к Арманд Ленин был более несдержан, чем в обращениях к другим адресатам. Так, в одном из писем начала февраля 1916 года он писал: «Если Маша оказалась такой, то я лично очень рад, что эта сука отказалась идти в наш журнал». Или: «На такое говно, как Мергейм, не стоит тратить много времени: ясно, что безнадежно».

В письмах к Арманд Ленин мог рассказать и какую-либо сплетню, например о большевичке Размирович, которую он называет «солдатской женой». «Здесь «солдатская жена» и ее новый любовник, — писал он 19 июля 1914 года из Поронино. — Это и в «армии» в высшей степени глупо. Как-нибудь потом я хочу рассказать тебе почему».

Ленин начинает письмо от 25 июля 1914 г. (неопубликованное) с обращения: «Мой дорогой и самый дорогой друг, наилучшие приветствия в связи с приближающейся революцией в России».

Интересно, что в этом письме он обращается к Арманд то на «ты», то на «вы». С началом же первой мировой войны он обращается в письмах к Арманд только на «вы».

В 1952 году умерла Александра Коллонтай, и в том же году на страницах парижского журнала «Prenves» опубликована беседа с ней француза Марселя Боди, который сотрудничал с Коллонтай в России в революционные годы, а затем под ее руководством работал в Осло. Коллонтай хорошо знала Арманд, переписывалась с ней, хотя отношения между ними не были безоблачными. Со слов Коллонтай, Боди сообщил, что Крупская, узнав о любви мужа к Инессе, причем от него самого, хотела «отстраниться», уйти, но Ленин не желал идти на разрыв с ней. «Оставайся», — просил он Надежду Константиновну.

Известны все апологетические описания внешности Инессы Арманд.

А вот «объективистское», непредвзятое агентурное донесение в Московское охранное отделение — из ленинской школы в Лонжюмо: «История социалистического движения в Бельгии — 3 лекции; читала их эмигрантка Инесса, оказавшаяся очень слабой лекторшей и ничего не давшая своим слушателям.

Инесса (партийный псевдоним, специально присвоенный на время преподавания в школе) — интеллигентка с высшим образованием, полученным за границей; хотя и говорит хорошо по-русски, но, должно думать, по национальности еврейка; свободно владеет европейскими языками; ее приметы: около 26—28 лет от роду, среднего роста, худощавая, продолговатое, чистое и белое лицо; темно-русая с рыжеватым оттенком, очень пышная растительность на голове, хотя коса и производит впечатление привязной; замужняя, имеет сына 7 лет, жила в Лонжюмо в том же доме, где помещалась и школа; обладает весьма интересной наружностью».

Агент кое в чем оказался не прав: Инесса — это подлинное имя Арманд, по национальности она не

еврейка, а француженка по отцу (мать была шотландкой). И было ей тогда уже 37 лет.

Не найдены письма Ленина к Арманд периода их близких отношений, которые, по-видимому, имели место короткое время осенью 1913 года. Очевидно, эти письма безвозвратно потеряны. Хронологически первое письмо Ленина к Инессе Арманд, опубликованное в полном собрании сочинений, датировано второй половиной декабря 1913 года, спустя несколько недель после «проведенного» им «расставания». Но все равно некоторые первые опубликованные письма начинаются с отточий, со ссылками: «начало письма не разыскано», «рукопись имеется только с 3-й страницы». Не разысканы также заключительные фразы ряда писем.

После смерти Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление, требовавшее от партийцев, которые хранили письма, записки, обращения к ним вождя, передать их в архив Центрального Комитета, т. е. с 1929 года практически в полное распоряжение Сталина.

Только в мае 1939 года, после смерти Н. К. Крупской, старшая дочь Инессы Инна Арманд передала письма вождя к матери (многие с оторванными началом и концом) директору института Маркса — Энгельса — Ленина.

Характерно, что впервые тщательно отобранные письма Ленина к Арманд и были опубликованы в 1939 году, сразу же после смерти Н. К. Крупской. И лишь через 10 лет, в 1949 году, журнал «Большевик» напечатал другие письма. Только в 1951 году — в 35-м томе четвертого издания сочинений — публикуются некоторые письма вождя, которые свидетельствуют, что Ленин и Инесса были столь близки, что до мировой войны обращались друг к другу на «ты». Мож-

но отметить, что Ленин не любил амикошонства и на «ты» обращался только к членам своей семьи, не считая нескольких писем к друзьям юности О. Мартову и Г. Кржижановскому.

Имелась версия, что Сталин угрожал Крупской в случае ее малейшего неповиновения объявить официальной женой Ленина Инессу Арманд.

Тем не менее теплые, если не восторженные воспоминания об Инессе Арманд оставила Крупская. В 1926 году она являлась редактором сборника «Памяти Инессы Арманд». Самозабвенно посвятив всю себя мужу, она после его смерти стремилась уберечь его личную жизнь от всяких кривотолков. Детей же Инессы Арманд Крупская в своей одинокой старости любила горячо и искренне.

Приведем несколько отрывков из воспоминаний Крупской об Арманд. Они создают хороший фон для показа взаимоотношений Ленина и Инессы.

О знакомстве с Арманд: «В 1910 году в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей Парижской группы. Вместе с Семашко и Бритманом (Казаковым) она вошла в президиум группы и повела обширную переписку с другими заграничными группами. Она жила с семьей, двумя девочками и сынишкой. Была горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика».

Крупская рассказала, как Инесса Арманд снимала дом, в котором жили ученики ленинской школы в Лонжюмо, организовала там столовую для учеников, в которой питались и Ленин с Крупской. После переезда Ленина в Краков Инесса Арманд по его поручению выехала в Россию. И вскоре была там арестована.

В тюрьме Арманд провела целый год и, освободив-

шись благодаря стараниям бывшего мужа, сразу же приехала к Ленину в Поронино. Осень 1913 года — это и был короткий период близости Ленина и Инессы Арманд. Крупская пишет: «Арестованная в сентябре 1912 г., Инесса сидела по чужому паспорту в очень трудных условиях, порядком подорвавших ее здоровье, — у ней были признаки туберкулеза, — но энергии у ней не убавилось, с еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни. Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезду... Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизились с Инессой (!). В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Мы знали Инессу по Парижу, но там была большая колония, в Кракове жили небольшим товарищеским замкнутым кружком. Инесса наняла комнату у той же хозяйки, где жил Каменев. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить. Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса.

Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами и больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы рады были Инессе. Она много рассказывала мне в этот приезд о своей жизни, о своих детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас «партией прогулистов». Ходили на край города, на луг (луг по-польски — «блонь»). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил «Sonata pathétique», просил ее постоянно играть».



«Расставание», которое произошло по инициативе Ленина, безусловно, подтолкнуло ее уехать из Кракова. Крупская дает такую интерпретацию ее отъезда: «Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет к себе детей из России; я ходила с ней искать квартиру даже, но краковская жизнь была очень замкнутая, напоминала немного ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у нее в этот период было особенно много. Решила она объехать сначала наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже, там налаживать работу нашего комитета заграничных организаций».

По приезде в Россию Ленин жил в Петрограде, а Инесса Арманд обосновалась в Москве. Сохранилось несколько коротких писем Ленина к Арманд весны 1917 года. В этих письмах наряду с другим Ленин интересовался: «Как довольны Москвой?», «Желаю всего лучшего и в смысле работы, и в смысле устройства с заработком, и в смысле жизни с детьми», «У нас все то же, что Вы сами здесь видали, и нет «конца краю» переутомлению... Начинаю «сдавать», спать втрое больше других и пр.

Как Вы? Довольны ли Москвой? С удовольствием большим вижу иногда из московского «Социал-Демократа», как Вы берете разную работу в разных районах, но, конечно, из газеты мало видно».

После Октябрьского переворота Инесса Арманд избрана в Московский губисполком и его президиум, в губком партии и его бюро. Она член ВЦИК от Москвы. Это, так сказать, официальные ее посты, выборные должности. А всевозможные поручения растут как снежный ком... Зимой 1918 года «товарищ Инесса» получила новое, трудное и ответственное поручение партии.

Ее назначили председателем Московского губернского совета народного хозяйства. После того как командные высоты экономики были захвачены рабочим классом, предстояло сделать следующий шаг — взять в свои руки управление промышленностью, наладить контроль за производством, вернуть к жизни и поставить на службу Советской власти замолкшие, пустынные, обледеневшие предприятия, безжизненные станки и потухшие вагранки... Можно подумать, что фаворитка «вождя мирового пролетариата» была именно тем человеком, который способен это сделать.

Еще одно направление деятельности Инессы — женотдельское, партийная работа среди женщин. А как же без этого, ведь любимый ею человек говорил: «Идеи становятся силою, когда они овладевают массами». Страсть вдохновляла на партийную работу.

Достаточно сказать, что на первом Всероссийском съезде работниц и крестьянок (ноябрь 1918 года, Москва, Колонный зал Дома союзов, который еще так недавно был Благородным собранием) Инесса прочитала два доклада. Вот как вспоминает о ней участница съезда, старая коммунистка Елизавета Коган-Писманик:

«Большое место в памяти и сердце заняла Инесса Арманд. Худенькая, тихая, она зябко куталась в серый платок, покрывающий ее плечи... Волосы закручены на затылке узлом, большие пронизательные и добрые глаза ее заглядывали прямо в душу. Неутомимая революционерка, она постоянно была окружена делегатками и отвечала на их многочисленные вопросы».

После Всероссийского съезда работниц и крестьянок при ЦК РКП (б) была организована Комиссия по пропаганде и агитации среди женщин. В составе комиссии — Инесса. Позднее в ЦК партии был создан

отдел по работе среди женщин, а в августе 1919 года И. Арманд стала этим отделом заведовать.

Тесные личные контакты с Лениным и Крупской восстановились у нее лишь два года спустя после переворота. Крупская свидетельствовала: «В конце 1919 года к нам часто стала приходить Инесса Арманд, с которой Ильич особенно любил говорить о перспективах движения. У Инессы старшая дочь уже побывала на фронте, чуть не погибла во время взрыва 25 сентября в Леонтьевском переулке. Помню, как Инесса пришла к нам однажды с младшей дочерью Варей, совсем молодой тогда девушкой, потом ставшей преданнейшим членом партии. И Ильич при них, как я по старинке выражалась, «полки разводил»; помню я, как поблескивали глаза у Варюшки».

Ленин проявлял заботу о семействе Арманд, о чем свидетельствуют четыре записки от февраля 1920 г.

1.

*«Дорогой друг!*

*Хотел позвонить к Вам, услышав, что Вы больны, но телефон не работает. Дайте номер, я велю починить.*

*Что с Вами? Черкните 2 слова о здоровье и о прочем. Привет!*

*Ленин».*

2.

*«Дорогой друг!*

*Черкните, пожалуйста, что с Вами. Времена скверные; сыпняк, инфлуэнца, испанка, холера.*

*Я только что встал и не выхожу. У Нади 39° и она просила Вас повидать.*

*Сколько градусов у Вас?*

*Не надо ли чего для лечения? Очень прошу написать откровенно.*

*Выздоровливайте!*

*Ваш Ленин».*

3.

*«Дорогой друг!*

*Напишите, был ли доктор и что сказал.*

*Надо выполнить точно.*

*Телефон опять испорчен. Я велел починить и прошу Ваших дочерей мне звонить о Вашем здоровье.*

*Надо точно выполнить все, сказанное доктором. (У Нади утром 37,3, теперь 38).*

*Ваш Ленин».*

4.

*«16—17 февраля 1920.*

*Выходить с  $t^{\circ} 38^{\circ}$  (и до  $39^{\circ}$ ) — это прямое сумасшествие! Настоятельно прошу Вас не выходить и дочерям сказать от меня, что я прошу их следить и не выпускать Вас 1) до полного восстановления нормальной температуры и 2) до разрешения доктора.*

*Ответьте мне на это непременно точно.*

*(У Надежды Константиновны было сегодня, 16 февраля, утром 37,7, теперь вечером 38,2. Доктора были: жаба. Будут лечить. Я совсем здоров.)*

*Ваш Ленин.*

*Сегодня, 17-го, у Надежды Константиновны уже 37,3°».*

Еще три ленинские записки Инессе в период с 17 февраля по 28 марта 1920 года.

(Записки эти, кстати, не вошли ни в полное собрание сочинений, ни в Ленинские сборники.)

*«Дорогой друг!*

*Посылаю кое-что для чтения. Газеты (английские) верните (позвоните, мы пришлем за ними к Вам).*

*Сегодня после 4-х будет у Вас хороший доктор.*

*Есть ли у Вас дрова? Можно ли готовить дома? Кормят ли Вас?*

*А t° теперь?*

*Черкните.*

*Ваш Ленин».*

*«Товарищ Инесса!*

*Звонил к Вам, чтобы узнать номер калош для Вас. Надеюсь достать. Пишите, как здоровье.*

*Что с Вами?*

*Был ли доктор?*

*Привет!*

*Ленин».*

*«Дорогой друг!*

*После понижения t° необходимо выждать несколько дней. Иначе — воспаление легких.*

*Уверяю Вас.*

*Испанка теперь свирепая.*

*Только испанка у Вас была?*

*А бронхит?*

*Не надо ли еще книжечек?*

*Пишите, присылают ли продуктов для Константинович? (Сестра мужа И. Арманд работала в это время в МК РКП(б)).*

*Напишите поподробнее.*

*Не выходите раньше времени!*

*Ваш Ленин.*

*(Н. К. поправляется)».*

У Арманд появились серьезные разногласия с Александрой Коллонтай (что было естественно для двух «прим» большевистской элиты). В жаркие летние дни Арманд работала с утра и до поздней ночи, являясь делегатом II конгресса Коммунистического Интернационала. По старой памяти ей пришлось переводить многочисленные речи. По сути дела, на ее плечах оказались организация и проведение Международной конференции коммунисток. Не удивительно, что к концу конференции Арманд, по воспоминаниям Крупской, «еле держалась на ногах. Даже ее энергии не хватило на ту колоссальную работу, которую ей пришлось провести». В середине августа Ленин пишет письмо Арманд, которое оказалось последним:

*«Дорогой друг!*

*Грустно очень было узнать, что Вы переустали и недовольны работой и окружающими (или коллегами по работе). (Имелись в виду разногласия с Коллонтай.) Не могу ли помочь Вам, устроив в санаторий? С великим удовольствием помогу всячески. Если едете во Францию, готов, конечно, тоже помочь: побаиваюсь и даже боюсь только, очень боюсь, что Вы там влетите... Арестуют и не выпустят долго... Надо бы поосторожнее. Не лучше ли в Норвегию (там по-английски многие знают) или в Голландию? Или в Германию в качестве француженки, русской (или канадской?) подданной? Лучше бы не во Францию, а то Вас там надолго засадят и даже едва ли обменяют на кого-либо. Лучше не во Францию.*

*Отдыхал я чудесно, загорел, ни строчки не видел, ни одного звонка. Охота раньше была хороша, теперь все разорили. Везде слышал вашу фамилию:*

*«Вот при них был порядок» и т. д. (Ильич охотился в местах, где ранее находилось имение семьи Арманд.)*

*Если не нравится в санаторию, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ! Серго устроит отдых, солнце, хорошую работу, наверное, устроит. Он там власть. Подумайте об этом.*

*Крепко, крепко жму руку.*

*Ваш Ленин».*

Инеcса решила отдохнуть на Кавказе с сыном, и Ленин проявляет много заботы об организации их отдыха. 18 августа 1920 года он обращается к Серго Орджоникидзе (к «власти»!), напоминая ему о необходимости организации отдыха Инеcсы: «т. Серго! Инеcса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас не забыть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфировали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и ее сына как следует и проследить исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сделают.

Ответьте мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и телеграммой; «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю правильно».

Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инеcсой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировать в случае надобности вовремя на Петровск и Астрахань или устроить (сын болен) в горах около Каспийского побережья и вообще принять все меры».

Через два дня он в телеграмме вновь напоминает Орджоникидзе: «Не забыть обещание мне устроить на лечение выехавших 18 августа Инеcсу Арманд и ее больного сына, они, верно, уже в Ростове».

Еще накануне отъезда Арманд Ленин снабдил ее следующим документом, предназначенным для Управления курортами и санаториями Кавказа:

*«17. VIII. 1920 г.*

*Прошу всячески помочь наилучшему устройству к лечению подательницы, тов. Инессы Федоровны Арманд, с больным сыном.*

*Прошу оказать этим лично мне известным партийным товарищам полное доверие и всяческое содействие.*

*Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)».*

Арманд благополучно прибыла в Кисловодск, но время было тревожное, и 2 сентября Ленин телеграфировал Орджоникидзе: «Прошу добавить побольше подробностей о ходе борьбы с бандитизмом и об устройстве Вами в Кисловодске тех советских работников, о коих я здесь Вам говорил лично».

Опасения Ленина оказались не напрасными, все чаще возникала стрельба вокруг санатория, и было принято решение начать эвакуацию отдыхающих. По дороге домой Инесса заразилась холерой и умерла в городе Нальчике. К Ленину пришла телеграмма: «Товарищ Инесса умерла, спасти не удалось».

Двое суток шла борьба со смертью, но истощенный организм не выдержал. Жизнь оборвалась...

Москва хоронила «товарища Инессу». Владимир Ильич проводил ее в последний путь. У открытой могилы на Красной площади, под кремлевской стеной, прозвучал троекратный пулеметный салют. Хор работниц — «кумачовых платочков» — проникновенно спел «Вы жертвою пали...».



Ленин и Крупская обняли осиротевших детей Инессы Арманд. В книге воспоминаний «Зимний перевал» Елизавета Драбкина свидетельствовала:

«...Похороны состоялись не скоро: чтобы доставить гроб с телом Инессы из Нальчика в Москву, потребовалось без малого две недели...

Вечером десятого октября патрульная группа, в которую входила и я, вышла на дежурство.

Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра.

Уже почти рассвело, когда, дойдя до Почтамта, мы увидели двигавшуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно страшный длинный свинцовый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.

Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставляющих ноги костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели шедшего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном свинцовом ящике находится гроб с телом Инессы.

Ее хоронили на следующий день на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых гиацинтов с надписью на траурной ленте: «Тов. Инессе Арманд от В. И. Ленина».

По словам Марселя Боди, Коллонтай также свидетельствовала, что Ленин на похоронах Инессы «был неузнаваем», шатался, «мы думали, что он упа-

дет». Романтичная по натуре Коллонтай считала: «Он не мог больше жить после смерти Арманд. Смерть Инессы ускорила развитие болезни, которая свела его в могилу».

А вот свидетельство третьей очевидицы, известной деятельницы международного рабочего движения Анжелики Балабановой, которая, кстати, достаточно неприязненно относилась к Арманд, считая ее «догматичной большевичкой»: «Я искоса поглядывала на Ленина. Он казался впавшим в отчаяние, его кепка была надвинута на глаза. Всегда небольшого роста, он, казалось, сморщивался и становился еще меньше. Он выглядел жалким и павшим духом. Я никогда раньше не видела его таким. Это было больше чем потеря «хорошего большевика» или хорошего друга. Было впечатление, что он потерял что-то очень дорогое и очень близкое ему и не делал попыток маскировать этого».

Таким образом три женщины-свидетельницы описали, как переживал Ленин смерть Инессы. Конечно, не выдерживает критики предположение Балабановой, что одна из дочерей Инессы Арманд была дочерью Ленина. Они родились задолго до знакомства Ленина и Арманд. Ленин очень тепло относился впоследствии к детям Арманд. Например, в мае 1921 года он писал младшей сестре записку (которая неопубликованной хранится в «секретном фонде» Ленина): «М. И. Ульяновой. Привези, пожалуйста, 1) Надину обувь: а) большие башмаки ее;

б) новые туфли легкие, черные; 2) Армандов.

Привет! Ленин».

А перед этим обращался к председателю Моссовета:

т. Каменев!

*Дети Инессы Арманд обращаются ко мне с просьбой, которую я усердно поддерживаю:*

*1) не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?*

*2) То же — о небольшой плите или камне.*

*Если можете, черкните мне, пожалуйста, через кого (через какие учреждения или заведения) это Вы сделали, чтобы дети могли туда дополнительно обратиться, проверить, дать надписи и т. п.*

*Если не можете, черкните тоже, пожалуйста: может быть, можно приватно заказать? Или, может быть, мне следует написать куда-либо, и не знаете ли, куда?*

*Ваш Ленин».*

Как известно, Ленин и Инесса Арманд возвращались из Швейцарии в Россию через Германию весной 1917 года в одном вагоне. Об этом итальянские кинематографисты создали фильм «Ленин... Поезд», чем вызвали буквально панику в высшем эшелоне власти Советского Союза, о чем свидетельствовала докладная записка Лигачеву, написанная руководителями идеологического и международного отделов ЦК КПСС, а также КГБ СССР за два месяца до 70-летия октябрьского переворота. Они очень боялись, что в фильме «особое внимание будет уделено личной жизни В. И. Ленина». Опасения оказались напрасными.

Но о «грехопадении» вождя остались другие — документальные — свидетельства. Вот купюра из письма Ленина к Инессе Арманд начала июля 1914 года:

«Пожалуйста, привези, когда приедешь (т. е. привези с собой), все наши письма (посылать их заказным сюда неудобно: заказное письмо может быть весьма легко вскрыто друзьями. И так далее...). Пожалуйста, привези все письма, приезжай сама, и мы поговорим об этом».

Сомнений нет — Ленин просил вернуть его письма не для публикации их, а для уничтожения. Но некоторые письма, может быть и вскрытые «друзьями», сохранились до наших дней и сегодня находятся в «секретном фонде» Ленина.

Времена изменились. Ученые знатоки ленинских фондов начали публиковать (в журнале «Свободная мысль» — бывшем «Коммунисте») хотя бы эпистолярное наследие Инессы Арманд. Вот выдержка из письма Инессы Ленину в декабре 1913 г.: «Дорогой, я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя...»

## СЕМЬЯ ВАМПИРОВ

От фаворитки Ленина Инессы Арманд перейдем к его законной жене — Надежде Крупской.

В 1923 году Максим Горький писал В. Ходасевичу:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что... в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн Рескин, Ницше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский(!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие — отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя»...

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще я могу сделать, если все это окажется правдой?»

Перед словами «отнюдь не анекдот» Горький поверх строки вписал: «Будто бы». Прокомментировал это так: «Сверх строки мною приписано «будто бы», ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу указатель».

Таким образом, деятельность Крупской Горький

назвал «духовным вампиризмом». В кровожадности ее супруга в наше время никто не сомневается.

Телеграмма в Саратов Пайкесу:

«...Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Ленин. 22.08.1918».

В 1917 году в статье с невинным названием «Как организовать соревнование» Ленин предлагал: «Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунарами, мелкими ячейками в деревне и городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука в достижении общей единой цели: очистка земли российской от всяких вредных насекомых, от блох-жуликов, от клопов-богатых и прочее, прочее... В одном месте посадят в тюрьму десятков богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят чистить сортиры. В третьем — снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. В пятом придумают комбинацию разных средств».

В 1933 году морально сломленная и уже окончательно выжившая из ума вдова Ленина напечатала в «Пионерской правде» статью для детей: «Быть хорошо вооруженным» (одно название чего стоит!). Крупская объясняла, для чего это нужно: началась партийная чистка (а причем тут дети?). Из партии удаляли «классово чуждых людей»: оппортунистов, нарушителей дисциплины, бюрократов, лиц мо-

рально разложившихся и. т. д. Чистку предстояло пройти всем, кроме членов ЦК.

Заместитель наркома просвещения Крупская призывала детей выявлять вражеские элементы, обманом проникнувшие в партию. Идея с проверкой детьми членов партии была по своей сути преступной, однако она не встретила возражений. «Нужна большая бдительность, нужно уметь своевременно заметить врага, своевременно выявить его работу, вредящую делу, помешать этой работе».

«Пионерская правда» становится центром сбора доносов от своих читателей со всей страны. Здесь они обрабатываются, учитываются и передаются в учреждения, ликвидирующие врагов народа Пионерская организация становится филиалом секретной полиции, Всесоюзной школой стукачей. И сам призыв «Будь готов!», взятый у скаутов, приобретает зловещий смысл — Пишет Юрий Дружников.

Призывы к доносительству — тоже «вампиризм», за каждым доносом — жертва. И цвет кремлевских стен напоминает о невинно пролитой крови.

«Москва. Красная площадь. Эту прямоугольную площадь, сердце Москвы, так называют вот уже тысячу лет из-за красной, выложенной вокруг Кремля зубчатой стены, — писал Стефан Цвейг. — Одной своей стороной площадь ограничена этой стеной. Противоположная сторона площади образуется фасадами торговых помещений и складов; некогда здесь стояли бесчисленные лавки купцов, создавших богатство и славу Москвы. Со стороны площади Кремль охраняют широкие сводчатые ворота, слева на узкой стороне площади поднимается пестрый пятибашенный храм Василия Блаженного из разноцветного камня со сверкающими луковичными крышами. — Поразительное сооружение, не имеющее

себе равных, по-восточному — фантастическое, по-западному — продуманно архитектурное, храм этот представляет собой сочетание византийских, итальянских, древнерусских и даже буддистско-пагодистских форм. Он — ценнейшая жемчужина города, и ничто не славит его больше, чем страшная легенда о Иване Грозном, который в благодарность за высокое мастерство приказал ослепить строителя, чтобы он не смог построить второй такой храм. Площадь эта с древнейших времен была сердцем России. Здесь пересекались торговые пути из стран норманнов и Ингермаландии в Византию, сюда торговцы с Востока привозили пушнину и животных. Здесь гунны и татары взнуздывали коней на смотрах своих войск, здесь в торжественной процессии шествовали первые цари на коронацию в Кремль. Еще сохранилась круглая каменная площадка, на которой рубили головы восставшим стрельцам и где лежал окровавленный труп Лжедмитрия; и именно здесь, где из маленького городка, из ничтожного удельного княжества выросла и расцвела огромная, каких свет не видал, империя, — именно здесь советское правительство проводит свои тщательно подготовленные парады и демонстрации. Здесь стояла трибуна, с которой Троцкий трескучими словами призывал крестьян и солдат к отчаянной борьбе, здесь похоронены вожди народа, борцы за дело большевизма, а в «братских могилах» вдоль кремлевской стены — рабочие, павшие за него. Здесь же покоится в особом здании, в сердце этой площади, сердце русской революции, — Ленин.

Днем на площади множество людей и автомобилей, стоишь и взгляд твой не может насытиться видом этого сверкающего храма, строгими стенами Кремля, не оторвать его от потрясающе выразитель-



ного ряда могил, расположенных здесь, в центре города, являющих собой великолепный символ благодарности и победы. Если в Вене или Берлине к могилам павших на баррикадах в дни мартовской революции следует добираться много часов, а в Париже могила народных вождей просто не разыскать, здесь и в Ленинграде вместо какого-нибудь каменного сооружения или патетических памятников могилы — на центральных площадях, самый могучий и благородный призыв к памяти, самая глубокая благодарность, какую только можно себе представить. Подобно тому как в прежние времена базилика или собор, теперь эти могилы без пафоса, без пышности свободно формируют под открытым небом религиозный центр города. Это гениальное понимание важности подать идею впечатляющим зрелищем присуще революционному правительству и используется им очень широко. Правительство предписало, чтобы во всех общественных местах, в театральных фойе, на вокзалах были огромные фотографии или скульптурные изображения непоколебимого Ленина: вот он говорит, выбросив руку вперед, словно слово — сгусток энергии, вот председательствует на ответственном заседании, вот сидит веселый или смеющийся в скромном пиджаке и крестьянской шапке среди своих сподвижников. Всюду и везде — красный жезл милиционера, красная фуражка трамвайного кондуктора, высеченный на камне серп — постоянно напоминают новое время. Но нет более величественного, более потрясающего зрелища, чем эта площадь. Даже тогда, когда тени смазывают все контуры, мавзолей Ленина стоит словно черный камень в ужасающе пустой темноте сентябрьской ночи, ты видишь там, высоко наверху, над прежней резиденцией царей, развевающийся яркий, пылаю-

щий красный флаг Советов. Гениальная находка художника — этот пурпурный колыхающийся кусок материи освещается снизу, и даже в непроглядной ночной темноте видишь лишь красное пламя, это красное пламя, светящееся высоко над безлюдной площадью, над могилами, над старой крепостью и торговыми рядами, и — далеко от Москвы — над всей русской землей — счастливая мысль руководства создать что-то эффектное, показное, обернулась созданием величественного символа — маяка, указывающего путь к новому времени».

Незадолго до гибели Троцкий написал для «Лайфа» статью «Отравил ли Сталин Ленина?» о богатейшей коллекции ядов, которой обладала советская полиция, о словах Бухарина, что «Сталин способен на все», наконец, об очень странном сообщении, которое в присутствии Троцкого, Зиновьева и Каменева Сталин сделал на заседании Политбюро: будто в конце февраля 1923 года Ленин просил у него яду на случай, если почувствует приближение нового удара. Просьба невероятная, учитывая, что к этому времени Ленин в прах рассорился со Сталиным из-за грубого и оскорбительного разговора того с Крупской, а 4 января продиктовал приписку к своему политическому завещанию о необходимости сместить властолюбца с поста Генсека.

Ленин не мог ничего просить у Сталина не только потому, что он ему не доверял, но и потому, что больше с ним не общался. К тому же самоубийство с помощью яда — это больше восточный, понятный грузину вариант. Решись Ленин в самом деле на самоубийство, он бы использовал скорее один из европейских способов. Только не похож он на самоубийцу, а тем более — на такого, который загодя обсуждает намерение уйти из жизни с кем бы то ни

было, а особенно с лютым своим врагом Сталиным. Сообщение Сталина на Политбюро — чистая выдумка. С его точки зрения, оно должно было послужить для отвода от него — в случае смерти Ленина — подозрений, хотя в действительности само по себе было в высшей степени подозрительно. А еще более подозрительно то, что Сталин телеграфировал Троцкому на Кавказ невероятную дату похорон Ленина. Когда Троцкий приехал, тело вождя было уже забальзамировано, а внутренности кремированы.

И не затем ли выстроил Сталин Мавзолей и уложил ленинские останки в стеклянный гроб, — в вопиющем противоречии с материализмом марксизма, — чтобы с помощью восточного ритуала предотвратить попытки как современников, так и потомков произвести эксгумацию?

Журнал «Лайф» отказался печатать статью Троцкого, и за десять дней до его убийства сталинским агентом она была опубликована в херсонском издании «Либерти». Главный аргумент критиков гипотезы об отравлении Ленина: почему Троцкий хранил свою тайну до 1939 года? На самом деле он ее не хранил — просто не знал. В том была сила Сталина, что никто из его коллег, включая Ленина и Троцкого, даже не предполагал в начале 20-х годов, на что он способен. Сообщение о просьбе Ленина дать яд не казалось Троцкому в 1923 году подозрительным, но он иначе оценил его и связал с другими событиями после процессов над вождями революции в конце тридцатых годов и сопутствовавшего им Большого Террора. Троцкий, с интеллигентской слепотой по отношению к Сталину, принял его только под конец своей жизни и тогда по-новому взглянул на смерть Ленина. Во всех отношениях запоздалое прозрение!..

Троцкий: «Во время уже второго заболевания Ле-

нина, видимо в феврале 1923 года, Сталин на собрании членов Политбюро (Зиновьева, Каменева и автора этих строк)... сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду, он... предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях... и невыносимо мучился... Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер, но на лице его застыла полуулыбка, точно на маске.

— Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы! — воскликнул я.

— Я говорил ему все это, — не без досады возразил Сталин. — Но он только отмахивается. Мучается старик, хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения. Мучается старик, — повторил Сталин... У него в мозгу протекал, видимо, свой ряд мыслей».

И далее Троцкий спрашивает: «Почему тогда Ленин обратился именно к Сталину?»

И отвечает: «Разгадка проста: Ленин видел в Сталине единственного (читай: жестокого) человека, способного выполнить эту трагическую просьбу».

Мария Ульянова также вспомнила об этой просьбе достать яду. Но описала ее совсем в иных обстоятельствах.

Запись была обнаружена среди личных бумаг сестры Ленина после ее смерти и тотчас попала в секретный фонд партархива. Лишь через полсотни лет стала доступной для историков.

«Зимой 1921 года В. И. чувствовал себя плохо, — пишет Мария. — Не знаю точно когда, но в этот период В. И. сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом слу-

чае тот поможет ему достать и даст цианистого калия. Сталин обещал. Почему он обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. Больше ему не к кому было обратиться с такой просьбой».

Э. Родзинский пишет:

«С той же просьбой В. И. обратился к Сталину в мае 1922 года, после первого удара. В. И. решил тогда, что все кончено для него, и потребовал, чтобы к нему вызвали Сталина. Эта просьба была настолько настойчива, что ему не решились отказать. Сталин пробыл у В. И. действительно минут пять, не более, и когда вышел от Ильича, рассказал мне и Бухарину, что В. И. просил ему доставить яд, так как время исполнить данное обещание пришло. Сталин обещал, они поцеловались с В. И., и Сталин вышел. Но потом, обсудив совместно, мы решили, что надо ободрить В. И. Сталин вернулся снова к В. И. и сказал, что, поговорив с врачами, он убедился, что еще не все потеряно и время исполнять просьбу еще не пришло. В. И. заметно повеселел, хотя и сказал Сталину: «Лукавите?» — «Когда же вы видели, чтобы я лукавил?» Они расстались и не виделись до тех пор, пока В. И. не стал поправляться. В это время Сталин бывал у него чаще других...»

Так что Троцкий прав: просьба Ленина о яде была. Только Троцкий относит эту просьбу к 1923 году, когда Ленин и Коба стали врагами. А Мария Ульянова — к 1922 году, к периоду их нежной дружбы. Просьба Ленина была выражением величайшего доверия к Кобе, когда, по словам Марии Ульяновой, «Сталин бывал у него чаще других...».

Я думал прежде, что Троцкий тут ошибся, может быть, даже сознательно. Чтобы читатели поверили,

будто уже ставший врагом Ленина Сталин исполнил его просьбу.

В 1923 году Сталина вновь попросили достать яд для Ленина. Но просьба эта исходила уже не от самого Ленина. Ибо он тогда не только не мог «вызывать Сталина и требовать», как пишет Троцкий, но и говорить уже не мог.

Однако все по порядку.

Мы вновь возвращаемся в 1922 год. О чем же беседовал Ленин с Кобой, когда тот его навещал?

Мария Ульянова: «В этот и дальнейший приезды они говорили о Троцком, говорили при мне, и видно было тут, что Ильич был со Сталиным против Троцкого. Как-то обсуждался вопрос, чтобы пригласить Троцкого к Ильичу. Это носило характер дипломатический. Такой же характер носило предложение, сделанное Троцкому, быть заместителем Ленина по Совнаркому. Вернувшись к работе осенью 1922 года, В. И. нередко по вечерам виделся с Каменевым, Зиновьевым и Сталиным в своем кабинете. Я старалась их разводить, напоминая запрещение врачей».

Так что это не Коба, а Ленин собирал «тройку»: Зиновьев, Каменев, Сталин против Троцкого!

Бедный самоуверенный Троцкий, уверенный до конца жизни, что Ленин считал его своим наследником! Он не понимал, что «у В. И. было много выдержки. И он очень хорошо умел скрывать, не выявлять отношение к людям, когда считал это почему-либо более целесообразным... На одном заседании Политбюро Троцкий не сдержался и назвал В. И. хулиганом... В. И. побледнел как мел, но сдержался и сказал что-то вроде: «У кого-то нервы пошаливают» на эту грубость Троцкого. Симпатий к Троцкому он и помимо того не чувствовал» (Ульянова).

Впрочем, симпатий не чувствовал он и к Зиновь-

еву. «По ряду причин отношение В. И. к Зиновьеву было не из хороших», — пишет Ульянова.

Так что, пожалуй, тогда он любил одного Кобу.

Но все совершенно изменилось осенью 1922 года. «Осенью были... поводы для недовольства Кобой со стороны Ленина». И Ульянова добавляет глухо: «Было видно, что под В. И., так сказать, подкапываются... Кто и как, остается тайной».

Нет, для Ленина это уже не было тайной.

Коба знает: изменился к нему Ленин, и, конечно, понимает почему. Ленин теперь его враг. И Коба предлагает Каменеву общий бунт: «Нужна, по-моему, твердость против Ильича».

Да, он уже не боится. Врачи отчитываются перед Генсеком. У Кобы есть информация: новый удар неминуем. Ленин не выдержал напряжения борьбы и ненависти. 13 декабря два приступа отправляют его в постель. Второй звонок прозвенел.

10 марта Сталин узнал: удар лишил Вождя и чтения, и письма, и речи. Последний звонок прозвучал...

И тогда последовала просьба, о которой Сталин тут же сообщает письмом членам Политбюро: 17 марта Крупская «в порядке архиконспиративном... сообщила мне просьбу Вл. Ильича достать и передать порцию цианистого калия... Н. К. говорила... Вл. Ильич переживает невероятные страдания... Должен заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу, и вынужден отказаться от этой миссии... о чем доведу до сведения Политбюро...».

Вряд ли несчастный Вождь уже мог что-то сообщать. Это сама Крупская пытается исполнить его прежнюю волю — избавить мужа от мучений. И действительно, Сталин сообщает друзьям по «тройке» Зиновьеву и Каменеву, цитируя в кавычках ее слова:

«Надежда Константиновна сообщила... она пробовала дать калий, но «не хватило выдержки», ввиду чего требует «поддержки Сталина».

Он знает нравы своих товарищей: потом они же его обвинят. Нет, пусть Ильич потрудится — умрет сам. И члены Политбюро, естественно, одобрили это решение. Теперь Сталин был чист.

Троцкий писал:

«Ленин скончался 21-го января 1924 года. Смерть уже явилась для него только избавлением от физических и нравственных страданий. Свою беспомощность и прежде всего отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже терпел врачей, их покровительственный тон, их банальные шуточки, их фальшивые обнадеживания. Пока он еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на противоречиях, добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. Как во всяком другом деле, он и тут стремился достигнуть прежде всего ясности.

Единственный из медиков, которого он терпел, был Федор Александрович Гетье. Хороший врач и человек, чуждый царедворческих черт, Гетье был привязан к Ленину и Крупской настоящей человеческой привязанностью. В этот период, когда Ленин уже не подпускал к себе остальных врачей, Гетье продолжал беспрепятственно навещать его. Гетье был в то же время близким другом и домашним врачом моей семьи в течение всех годов революции. Благодаря этому мы всегда имели наиболее добросовестные и продуманные отзывы о состоянии Владимира Ильича, дополнявшие и исправлявшие безличные официальные бюллетени.



Не раз я допрашивал Гетье о том, сохранит ли, в случае выздоровления, ленинский интеллект свою силу? Гетье отвечал примерно так: увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты работы, но виртуоз останется виртуозом. В промежутке между первым и вторым ударом этот прогноз подтвердился целиком. К концу заседаний Политбюро Ленин производил впечатление безнадежно уставшего человека. Все мышцы лица опускались, блеск глаз потух, увядал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз плечи — выражение лица и всей фигуры резюмировалось одним словом: усталость. В такие жуткие моменты Ленин казался мне обреченным. Но проведя одну хорошую ночь, он снова обретал силу своей мысли. Статьи, написанные им в промежутке между двумя ударами, стоят на уровне его лучших работ. Влага в источнике была та же, но ее становилось все меньше и меньше. И после второго удара Гетье не отнимал совсем последней надежды. Но оценки его становились все сумрачнее. Болезнь затягивалась. Без злобы затягивалась, но и без сожаления, слепые силы природы погрузили великого больного в бессилие и безвыходность. Ленин не мог и не должен был жить инвалидом. Но мы все еще не теряли надежды на его выздоровление.

Мое недомогание приняло тем временем затяжной характер».

«По настоянию врачей, — пишет Н. И. Седова, — перевезли Л. Д. в деревню. Там Гетье часто навещал больного, к которому он относился с искренней заботой и нежностью. Политикой он не занимался, но жестоко страдал за нас, не зная, как выразить свое сочувствие. Травля застигла его врасплох. Он не понимал, выжидал, томился. В Архангельском он мне с

волнением говорил о необходимости отвезти Л. Д. в Сухум. В конце концов мы решились на это. Путешествие, длинное само по себе — через Баку, Тифлис, Батум, — удлинялось еще снежными заносами. Но дорога действовала скорее успокаивающим образом. По мере того как отъезжали от Москвы, мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее за последнее время. Но все же чувство у меня было такое, что везу тяжелобольного. Томила неизвестность, как сложится жизнь в Сухуме, окружающие нас там будут ли друзья или враги?»

«21 января застигло нас на вокзале в Тифлисе, по пути в Сухум. Я сидел с женой в рабочей части своего вагона — как всегда в тот период, с повышенной температурой. Постучав, вошел мой временный сотрудник Сермукс, сопровождавший меня в Сухум. По тому, как он вошел, с серо-зеленым лицом, и как, глядя на меня остекленевшими глазами, подал мне листок бумаги, я почувствовал катастрофическое. Это была расшифрованная телеграмма Сталина о том, что скончался Ленин. Я передал бумагу жене, которая уже успела понять все...

Тифлиссские власти получили вскоре такую же телеграмму. Весть о смерти Ленина быстро расходилась кругами. Я соединился прямым проводом с Кремлем. На свой запрос я получил ответ: «Похороны в субботу, все равно не успеете, советуем продолжать лечение». Выбора, следовательно, не было. На самом деле похороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы поспеть в Москву. Как это ни кажется невероятным, но меня обманули насчет похорон. Заговорщики по-своему правильно рассчитывали, что мне не придет в голову проверять их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. Напоминаю, что о первом забо-

левании Ленина мне сообщили только на третий день. Это был метод. Цель состояла в том, чтобы «выиграть темп».

Тифлисские товарищи требовали, чтобы я немедленно откликнулся на смерть Ленина. Но у меня была одна потребность: остаться одному. Я не мог поднять руку к перу. Короткий текст московской телеграммы гудел в голове. Собравшиеся, однако, ждали отклика. Они были правы. Поезд задерживали на полчаса. Я писал прощальные строки: «Ленина нет. Нет более Ленина...» Несколько написанных от руки страниц я передал на прямой провод».

«Приехали совсем разбитые, — пишет жена. — Первый раз видели Сухум. Цвели мимозы — их там много. Великолепные пальмы. Камелии. Был январь, в Москве стояли лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. В столовой дома отдыха висели рядом два портрета, один в трауре — Владимира Ильича, другой — Л. Д. Хотелось снять этот последний — но мы не решились, опасаясь, что будет похоже на демонстрацию».

«В Сухуме я лежал долгими днями на балконе лицом к морю. Несмотря на январь, ярко и тепло горело в небе солнце. Между балконом и сверкающим морем высились пальмы. Постоянное ощущение повышенной температуры сочеталось с гудящей мыслью о смерти Ленина. Я перебирал в уме этапы своей жизни, встречи с Ленным, расхождения, полемику, сближение, совместную работу. Отдельные эпизоды всплывали с фантастической яркостью. Постепенно и целое стало вырисовываться с все большей отчетливостью. Я гораздо яснее представлял себе тех «учеников», которые были верны учителю в малом, но не в большом. Вместе с дыханием моря я всем существом своим ассимили-

ровал уверенность в своей исторической правоте против эпигонов...

27 января 1924 года. Над пальмами, над морем царила сверкающая под голубым покровом тишина. Вдруг ее перерезало залпами. Частая стрельба шла где-то внизу, со стороны моря. Это был салют Сухума вождю, которого в этот час хоронили в Москве. Я думал о нем и о той, которая долгие годы была его подругой и весь мир воспринимала через него, а теперь хоронит его и не может не чувствовать себя одинокой, среди миллионов, которые горюют рядом с ней, но по-иному, не так, как она. Я думал о Надежде Константиновне Крупской. Мне хотелось сказать ей отсюда слова приветя, сочувствия, ласки. Но я не решался. Все слова казались легковесными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от Надежды Константиновны. Вот оно:

*«Дорогой Лев Давидович!*

*Я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам.*

*И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось в В. И. к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти.*

*Я желаю вам, Лев Давидович, сил и здоровья и крепко обнимаю.*

*Н. Крупская».*

А в Кремле впрямую началась битва за власть. И не только за власть — за жизнь.

Забальзамированный труп Ленина превратили в основную реликвию новой коммунистической религии. Говорили, что Ленин лежит в своем гробу «как живой». Так ведь это главное свойство вампира — быть после смерти «живее всех живых».

Стефан Цвейг в 1928 году писал о «старых и новых святынях»:

«В сорока шагах друг от друга находятся старая и новая святыни Москвы — икона Иверской божьей матери и мавзолей Ленина. Старая закоптелая икона стоит, нетревожимая, и сейчас, как несчетные годы до этого, в маленькой часовенке между двумя воротами, ведущими из Кремля на Красную площадь. Бесчисленные толпы людей приходили ранее сюда, чтобы на несколько минут благоговейно пасть ниц перед иконой, поставить свечку, произнести молитву перед Чудотворной. Теперь же поблизости висит плакат новых властей, на нем написано: «Религия — опиум для народа». Но старая народная святыня осталась невредимой, подойти к ней может всякий; и постоянно можно увидеть несколько старушек, стоящих на каменных плитах возле нее на коленях, погруженных в молитву, последних людей — старым сердцем и старыми убеждениями — привязанных к Чудотворной.

Можно увидеть нескольких старушек... но немногих, ибо теперь огромное количество людей поклоняется новой святыне, могиле Ленина. В громадной, образующей шесть или семь петель очереди стоят люди: крестьяне, солдаты, городские женщины, крестьянки с детьми на руках, торговцы, матросы, — весь народ с беспредельных просторов России пришел сюда, желая еще раз посмотреть на своего судь-

бой данного вождя, уже умершего, но как бы живого. Терпеливо стоят эти сотни, тысячи людей перед современным, пожалуй несколько коробкообразным, очень простым и симметричным строением из кавказского красного дерева, ничем не украшенным, лишь пять букв на фасаде — ЛЕНИН. И чувствуешь, здесь проявляется та же набожность того же фанатически верующего народа, которая бросает человека на колени перед иконой божьей матери: умелая рука энергичным движением повернула толпу из сферы религиозной в сферу социальную — не церковную святыню следует почитать народу, а вождя. Но в сущности это одно и то же: сила веры русского народа обдуманно полностью переключается с одного символа на другой, от Христа к Ленину, от народного бога к мифу о единственно правом и правящем божьем народе.

Какое-то время колеблешься, стоит ли спускаться в мавзолей, так как знаешь, что там в гробу под стеклом покоится тело Ленина, забальзамированное с применением современных технических средств, содержится в условиях, создающих страшную иллюзию живого человека. И ты боишься увидеть либо нечто из времен средневековой Византии, либо экспонат паноптикума, музея всяких «дикушин», — и должен сознаться, мысль об утонченной химической имитации жизни, выполненной для всеобщего обозрения давно умершего человека, была мне неприятна. Все же я наконец решился и молча, с другими, тоже молчащими, спустился в ярко освещенную крипту, украшенную советскими символами, чтобы, медленно двигаясь (никто не должен останавливаться), обойти с трех сторон стеклянный гроб. И как бы сильно все еще мои чувства ни противились этому зрелищу, как чему-то совершенно противоеес-

тественному, а также тому, что общественный строй корректирует, подправляет природу, зрительное впечатление осталось незабываемым.

Укрытый по грудь, как будто спящий, Ленин покоится на красной подушке. Руки его лежат на покрывале. Глаза закрыты, эти небольшие серые, известные всем по бесчисленным фотографиям и картинам, страстные глаза, губы некогда прекрасного оратора плотно сжаты, но и в этом сне облик таит в себе силу, она — в гранитном выпуклом лбе, в собранности и спокойствии полных энергии нерусских черт. Давит тревожная тишина в зале, ведь крестьяне, солдаты с шапками в руках, в тяжелых сапогах, сдерживая дыхание, проходят без малейшего шума; еще более потрясающ взгляд женщин, робко, с благоговением смотрящих на этот фантастический гроб, — величественно и единственно в своем роде это торжественное шествие Молчания тысяч и тысяч людей, часами стоящих в очереди, чтобы в течение минуты посмотреть на человеческий образ уже ставшего мифом вождя и освободителя. Не для нас, эстетические чувства которых сопротивляются созерцанию вновь и вновь подкрашиваемого лица мумии, а для народа придумано это зрелище, для народа, столетия верящего тому, что к его святым неприменим закон земного тления, верящего, что от прикосновения к их мощам может произойти чудо, может быть дано знамение. И здесь, обладая непогрешимым инстинктивным пониманием силы массового воздействия, новое правительство опиралось на древнейшее и поэтому самое действенное свойство русского народного духа. Оно очень правильно почувствовало: именно потому, что марксистское учение само по себе материально, немистично, лоточно и совершенно лишено понимания искусства, его, это уче-

ние, следует преобразовать в мифическое, заполнить религиозным содержанием. Поэтому советская власть теперь, через десять лет, создала из своих вождей легенды, из людей, павших за дело революции, — мучеников, из своей идеологии — религию; и, вероятно, эта их психологическая стратегия особенно убедительной представляется здесь, на этой площади, где в какой-то полусотне шагов и одновременно в духовном плане бесконечно удаленные друг от друга находятся две святыни русского народа, два места его паломничества — часовенка с иконой Иверской божьей матери и мавзолей Ленина».

Вампиры — самое чудовищное порождение человеческой фантазии. Только люди, знавшиеся при жизни с нечистой силой, превращаются по смерти в вампиров. По ночам они приходят в дома своих близких друзей (читай — соратников и последователей), ложатся на грудь избранной жертве, припадают губами к ее сердцу и высасывают горячую кровь. Рана остается небольшая, так что ее и не заметишь, тем более что вампир умело навеивает прекрасные грезы спящему, а ранку искусно засасывает. Только по бледному лицу и изможденному виду можно опознать жертву алчности вампира. Увидев вампира, можно узнать, кем он был при жизни, т. к. основные черты он сохраняет и после смерти, только губы у него раздуваются от частого сосания, а язык делается остер, как змеиное жало.

Поверье гласит: чтобы избавиться от вампира, надо прибить его тело к земле осиновым колом. Это считается радикальным средством против вампира. Но это только очень древнее и страшное поверье, а я все же надеюсь, что прах Ленина будет предан земле, а его дух обретет покой.



## СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА С БРАУНИНГОМ

Считается, что отправиться на тот свет Ильичу отчасти помогла Фанни Каплан.

Согласно официальной версии, Каплан была задержана на месте преступления, созналась в том, что именно она стреляла в Ленина.

По версии Олега Васильева, опубликованной в «Независимой газете» (29 августа 1992 года), все было иначе:

«Сейчас трудно восстановить картину покушения. Даже в день происшествия В. Д. Бонч-Бруевич заявил, что «тов. Гиль был почти единственным свидетелем, несмотря на огромную толпу народа...».

...Первого выстрела Гиль не видел, но рядом с Каплан стояла еще одна женщина, которая видела все. Многие очевидцы сообщили, что эта женщина, рассказывая о злоупотреблениях заградительных отрядов, дошла с Лениным до самой машины. Что же стало с этой главной свидетельницей? Ее подобрали раненую недалеко от выхода с завода. «Она сначала не почувствовала ранения, а потом упала и была доставлена в больницу». Далее появляются еще более загадочные сообщения. Так, Н. Я. Иванов проинформировал, что «раненую отвезли в больницу. Когда пришли в Петропавловскую больницу взять белье для раненой, выяснилось, что она кастелянша этой больницы... что она явилась совершенно невинной

жертвой террора буржуазной наймитки». У этой женщины не берут никаких показаний, и дальнейшая ее судьба неизвестна.

(Уважаемый автор здесь ошибается. Протокол допроса этой женщины — Поповой М. Г. от 2 сентября 1918 года имеется в томе 10 фонда «Н-200». В заключении следствия сказано: пособничество со стороны Поповой покушению ничем не подтверждено. Установлено, что она шла по правую руку от В. И. Ленина, отставая на несколько шагов от него и, во всяком случае, не загораживая ему дорогу к автомобилю. Нет никаких данных, что Попова вообще задержала В. И. Ленина и этим помогла Каплан...

Как Попова оказалась на митинге? Согласно ее показаниям следователю Кингисеппу, она возвращалась домой с подругой Московкиной. По пути зашли на митинг, подоспели под самый конец речи Ленина. «Когда митинг закончился, я вместе с Московкиной пошла к двери и оказалась возле самого Ленина, — зафиксировано в протоколе ее допроса. — Я его спросила: «Вы разрешили проводить муку, а муку отбирают!» Ленин сказал: «По новому декрету нельзя отбирать...» Раздался выстрел, и я упала».)

В «Известиях ВЦИК» от 3 сентября 1918 года появилось интересное сообщение, что «следы пули на пиджаке не совпадали с ранениями на теле» (видимо, пиджак Ленина был прострелен заранее. — *О. В.*).

Организаторам инсценировки необходимо было объяснить ранение главного свидетеля и наличие лишнего отверстия на пиджаке Ленина. Для этого надо было доказать, что выстрелов было три, а не два, как утверждал Гиль, и что пуля от этого третьего выстрела пробила пиджак Ленина, не задев его тела, и ранила стоявшую рядом женщину. И вот в «Извес-

тиях ВЦИК» появляется следующее сообщение: «Вчера в ВЧК по объявлению в газете явился один из рабочих, присутствовавших на митинге, и принес револьвер, отобранный у Каплан. В обойме оказалось три нерасстрелянных патрона из шести». Мы помним, что свой браунинг Каплан бросила под ноги Гилю. С. И. Батулин, производивший задержание и обыск Каплан, ни о каком револьвере не сообщает. Что же это за загадочный револьвер, который принес в ВЧК безымянный рабочий по объявлению в газете? И когда же он его успел отобрать у Каплан?

Можно привести многочисленные примеры, как люди из ближайшего окружения Ленина в день покушения проявляли необыкновенный дар предвидения. Так, врач В. А. Обух, которого вызвали к Ленину и не объяснили, в чем дело, вдруг взял с собой хирургические инструменты. Он объяснял это тем, что «инстинктивно почувствовал, что произошло нечто серьезное...». После беглого осмотра Обух заявил: «Выживет... Я в этом уверен... Сложилось такое определенное внутреннее убеждение, — я даже не знаю почему».

Теперь о характере ранения. Газеты явно драматизировали ситуацию, уверяя, что жизнь вождя революции висит на волоске. Однако:

1. После ранения Ленин своим ходом поднялся по крутой лестнице на третий этаж (С. К. Гиль).

2. Приехавший первым врач А. П. Винокуров нашел Ленина раздевающимся у кровати.

3. Когда больному накладывали повязку на левую руку — он не издал ни единого стога. Это всех тогда поразило («Известия ВЦИК»).

4. 3 сентября 1918 года Владимир Ильич встал с постели и без посторонней помощи вышел. За это был наказан дежурный фельдшер (там же).

Только 5 сентября Свердлов сообщает в Петроград, что «жизнь Ильича спасена». Известно, что 2 сентября состоялось решение ВЦИК, а 5 сентября Совет народных комиссаров принял постановление «о красном терроре». Дело было сделано, и поэтому только 5 сентября появляются сообщения в печати, что жизнь Ленина вне опасности.

5 сентября доктор Обух давал интервью газете «Правда». Поскольку в печати не было никаких сообщений об операции, удивленный корреспондент спросил: «А пули? А операция?» В ответ Обух произнес буквально следующее: «Ну что ж, их хоть и сейчас можно вынуть — они лежат на самой поверхности. Во всяком случае извлечение их никакой опасности не представляет, и Ильич будет через несколько дней совершенно здоров». Если пули находились под кожей на поверхности тела, то почему же целую неделю их никто не пытался извлечь? (Особенно если было подозрение, что пули отравлены.) Скорее всего, пуль просто не было — Каплан стреляла холостыми патронами!

Самое неприятное в этой истории то, что инсценировка покушения не могла быть осуществлена без прямого, активного и, главное, осознанного участия в ней Владимира Ильича».

Д. В. Волкогонов не согласился с Васильевым:

«Есть версия, выдвинутая Олегом Васильевым, что покушения не было, а состоялась его инсценировка; роли были заранее распределены, и выстрелы были холостыми. Несмотря на смелость предположения, согласиться с ним очень трудно. Достаточно сказать, что уже 31 августа около Ленина побывало 8(!) врачей и все они при осмотре видели (ощущали) пулю, находящуюся в шее...

Более реально предположить, что стреляла не

Каплан. Она была лишь лицом, которое было готово взять на себя ответственность за покушение, если стрелявший (стрелявшая) не сможет скрыться. Учитывая фанатизм и готовность к самопожертвованию, выработанные на каторге, это предположение является вполне вероятным».

В пользу того, что было все-таки покушение, а не инсценировка, Д. В. Волкогонов приводит следующее доказательство: 23 апреля 1922 года немецкий профессор Борхардт извлек пулю из шеи Ленина, над правым грудинно-ключичным сочленением. И снова загадка: как недавно установлено, эта пуля вылетела не из браунинга, который 2 сентября 1918 года принес в ЧК А. В. Кузнецов. И еще: в деле о покушении отсутствуют листы 11, 84, 87, 90 и 94...

А ведь версия инсценировки очень правдоподобна — совершая покушение на вождя, Фанни Каплан выполняла его волю.

Большевики победили в гражданской войне. После этого началась борьба с идеями.

Решение провести процесс против лидеров правых эсеров было принято ЦК РКП(б) в декабре 1921 года, по предложению председателя ЧК Феликса Дзержинского.

В центре внимания на процессе стояло покушение Фанни Каплан на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона.

Главным «вещдоком» на процессе против эсеров был пистолет, из которого стреляли в Ленина.

Официальное объявление о предстоящем процессе было опубликовано в печати в феврале 1922 года. Незадолго до этого в Берлине появилась брошюра бывшего эсера Григория Семенова. В своей брошюре он «разоблачал» товарищей по партии: ПСР якобы составила заговор против Советской

власти вместе с русскими контрреволюционными организациями и с представителями Антанты, получала от них деньги, готовила мятежи и, самое важное, не исключала из своей деятельности террор. В частности, по словам Семенова, ПСР организовала покушение Фанни Каплан на Ленина 30 августа 1918 года.

«Разоблачения» Семенова, опубликованные в советской печати, спустя несколько дней были подтверждены и дополнены его близкой сотрудницей Лидией Коноплевой. Есть основание предполагать, что Семенов и Коноплева написали свои статьи по поручению ЧК (с февраля 1922 года — ГПУ). Вслед этому ГПУ объявило, что руководители ПСР, которые уже несколько лет сидели в тюрьме, будут преданы суду.

Большевистское руководство не собиралось вести непредвзятого судебного расследования. Это очевидно из инструкций, данных Лениным за неделю до объявления о процессе народному комиссару юстиции Курскому: «Ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно». Ленин настаивал на организации ряда «образцовых процессов» с целью усиления репрессий против меньшевиков и эсеров, образцовых «по разъяснению народным массам, через суд и через печать, значения их», «образцовых, громких, воспитательных процессов», сопровождаемых значительным шумом в печати.

Согласно официальной версии, через четыре дня после теракта Фанни Каплан была расстреляна комендантом Кремля Павлом Мальковым, который, согласно его опубликованным запискам, собственноручно привел приговор в исполнение.

Верный ленинец — комендант Кремля П. Маль-

ков в своих не самых правдивых мемуарах свидетельствовал:

«Я работал у себя в комендатуре, как вдруг тревожно, надрывно затрещал телефон. В трубке слышался глухой, прерывающийся голос Бонч-Бруевича:

— Скорее подушки. Немедленно. Пять-шесть обыкновенных подушек. Ранен Ильич... Тяжело...

Ранен Ильич?.. Нет! Это невозможно, этого не может быть!

— Владимир Дмитриевич, что же вы молчите? Скажите, рана не смертельна? Владимир Дмитриевич!..

Отшвырнув в сторону стул и чуть не сбив с ног вставшего навстречу дежурного, я вихрем вылетел из комендатуры и кинулся в Большой дворец. Там, в гардеробной Николая II, лежали самые лучшие подушки.

Ворвавшись во дворец, ни слова не отвечая на расспросы перепугавшихся служителей, я вышиб ногой запертую на замок дверь гардеробной, схватил в охапку несколько подушек и помчался на квартиру Ильича.

В коридоре около квартиры растерянно толпился народ: сотрудники Совнаркома, кое-кто из наркомов. Обхватив руками голову, упершись лбом в оконное стекло, в позе безысходного отчаяния застыл Анатолий Васильевич Луначарский...

Всегда плотно прикрытая дверь в квартиру Ильича стояла раскрытой настежь: возле двери, загораживая собою вход, держа винтовку наперевес, замер с каменно-неподвижным лицом часовой. Увидев меня, он посторонился, и я передал находившемуся в прихожей Бонч-Бруевичу принесенные мною подушки.

Потянулись томительные, долгие минуты. Я стоял, словно прикованный, не в силах сдвинуться с места, уйти от этой двери. Взад и вперед проходили, пробежали люди, а я все стоял и стоял...

Вот в квартиру Ильича вбежала Вера Михайловна Бонч-Бруевич, жена Владимира Дмитриевича, чудесная большевичка и опытный врач. Ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, стремительно прошел необычно суровый Яков Михайлович Свердлов. В конце коридора показалась, поддерживаемая под руку кем-то из наркомов, сразу постаревшая Надежда Константиновна.

Она возвращалась с какого-то заседания и до приезда в Кремль ничего, ровно ничего не знала. Все расступились. Прерывисто дыша, с трудом передвигая внезапно отяжелевшие ноги, Надежда Константиновна скрылась за дверью.

Наконец появился профессор Минц, еще кто-то из крупнейших специалистов... Наступил вечер, надвигались сумерки, надо было расходиться, а толком все еще никто ничего не знал, не мог сказать, что с Ильичем, насколько опасны раны, будет ли он жив.

Я вернулся в комендатуру, но работать не мог. Все валилось из рук. Мозг упорно сверлила одна неотступная мысль: как-то сейчас он, Ильич?

Ночь прошла без сна, да и думал ли кто-нибудь в Кремле в эту ночь о сне? Несколько раз за ночь я отправлялся к квартире Ильича. Все так же неподвижно стоял перед дверью часовой. Царила глубокая гнетущая тишина. Там, в глубине квартиры, в комнате Ильича, шла упорная борьба со смертью, борьба за его жизнь. Там были Надежда Константиновна и Марья Ильинична, профессора и сестры.

Как хотелось в эти минуты быть рядом с ними,



хоть чем-нибудь помочь, хоть как-то облегчить тяжкие страдания Ильича! Казалось, будь от этого хоть какая-нибудь самая малая польза, самое ничтожное облегчение, всю свою кровь до последней капли, всю жизнь до последнего дыхания я отдал бы тут же, с радостью, с восторгом. Да разве один я?

Но сделать я ничего не мог, даже в мыслях не решился переступить заветный порог и уныло бродил из конца в конец пустынного коридора мимо обезлюдившей в ночные часы приемной Совнаркома, мимо дверей в кабинет Ильича.

Из-под этой двери, за которой еще сегодня днем звучал такой знакомый, такой бодрый голос, в полутемный коридор пробивался слабый свет. Там, за столом Ленина, склонившись над бумагами, бодрствовал Яков Михайлович Свердлов.

Жизнь продолжалась. Пульс революции дал глубочайший перебой, но ничто не могло остановить его мощного биения.

Уже в день покушения на Владимира Ильича, 30 августа 1918 года, было опубликовано знаменитое воззвание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Всем, всем, всем!», подписанное Я. М. Свердловым, в котором объявлялся беспощадный массовый террор всем врагам революции.

Через день или два меня вызвал Варлам Александрович Аванесов:

— Немедленно поезжай в ЧК и забери Каплан. Поместишь ее здесь, в Кремле, под надежной охраной.

Я вызвал машину и поехал на Лубянку. Забрав Каплан, привез ее в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под детской половиной большого дворца.

Комната была просторная, высокая. Забранное

решеткой окно находилось метрах в трех-четыре от пола. Возле дверей и против окна я установил посты, строго наказав часовым не спускать глаз с заключенной. Часовых я отобрал лично, только коммунистов, и каждого сам лично проинструктировал. Мне и в голову не приходило, что латышские стрелки могут не усмотреть за Каплан, надо было опасаться другого: как бы кто из часовых не всадил в нее пулю из своего карабина.

Прошел еще день-два, вновь вызвал меня Аванесов, предъявил постановление ВЧК: Каплан — расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля Малькову.

— Когда? — коротко спросил я Аванесова.

У Варлама Александровича, всегда такого доброго, отзывчивого, не дрогнул на лице ни один мускул.

— Сегодня. Немедленно.

— Есть!

Да, подумалось в тот момент, «красный» террор — не пустые слова, не только угроза. Врагам революции пощады не будет!

Круто повернувшись, я вышел от Аванесова и отправился к себе в комендатуру. Вызвав несколько человек латышей-коммунистов, которых лично хорошо знал, я их обстоятельно проинструктировал, и мы отправились за Каплан.

По моему приказу часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась, и мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину.

Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, собственноручно.

И если бы история повторилась, если бы вновь

перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда...»

Николай Зенькович в книге «Вожди на мушке» пишет: «Самое невероятное: находятся люди, видевшие «неистовую Фанни» после... ее расстрела, игравшую в мяч во дворе тюрем в Верхнеуральске и Златоусте, вязавшую чулок в камере суздальской темницы, слушавшую репродуктор и читавшую газеты в других, тоже не столь отдаленных местах.

Люди, рассказывавшие мне об этом, ссылались на знакомых охранников, надзирателей, которые делились с ними когда-то важной тайной. По одной версии, террористку выпустили в конце мая 1945 года. Это была полуслепая больная женщина. Умерла она якобы в 1947 году, прожив на свободе немногим более года. О том, что она стреляла в Ленина, Каплан узнала только на следствии. В действительности Фанни находилась на другом конце Москвы от завода Михельсона. Следователи, мол, и не настаивали на том, что именно она готовила теракт. Просто ее осудили как эсерку, арестованную в числе других по подозрению в покушении.

Автором другой версии является бывший прокурор отдела по надзору за местами заключения Челябинской областной прокуратуры Иосиф Наумов. Его отец, работавший вместе с Орджоникидзе и Пятаковым, сказал как-то сыну, что по распоряжению Ленина Каплан не расстреляли, а осудили на пожизненное заключение. Став прокурором, Наумов в 1942 году осматривал камеры в Верхнеуральской тюрьме. Сопровождавшие надзиратели сказали, что в одной из лучших камер — 25 кв. м, два больших окна с решетками, деревянный стол и стул — до 1939 года содержалась Фанни Каплан. Отсюда, по-

сле того как тюрьму законсервировали, Каплан вывезли в Соликамск. Вместе с ней якобы уехали Радек и Сокольников.

После посещения Верхнеуральской тюрьмы Наумов поинтересовался судьбой Каплан у начальника тюремного отдела областного управления НКВД. Тот долго молчал в ответ, а потом сурово спросил у любопытного молодого прокурора:

— А разве вам не известно, что это особая государственная тайна?

Все это, как говорится, из серии «Хотите верьте, хотите нет». Находились очевидцы, якобы встречавшие Фанни Каплан то в Сибири, то на Урале, то в Воркуте, а то и на Соловках. Одни уверяли меня, что видели террористку в роли сотрудницы тюремной канцелярии, другие — в роли библиотечарши. Я согласно кивал головой, записывал полученные сведения в тетрадку, не веря услышанному. Но служебное положение принуждало фиксировать все самые невероятные факты.

Обращение в тогда закрытые архивы потрясло. Мне показали протокол допроса Новикова В. А., заявившего в 1937 году, что он встречал Фанни на прогулке в тюремном дворе в Свердловске. Личность Новикова представляла интерес еще и потому, что он проходил по делу как участник покушения на Ленина в 1918 году. Из показаний Новикова следовало, что он встретил Каплан в июле 1932 года во время прогулки в тюремном дворе. Каплан шла в сопровождении конвоира. Несмотря на то, что она сильно изменилась, Новиков сразу же ее узнал. Однако переговорить с ней ему не удалось. На допросе Новиков сказал, что ему неизвестно, узнала она его или нет, во всяком случае вида не подала. Все еще сомневаясь в том,

что встретил Фанни Каплан, Новиков решил проверить это.

В свердловской тюрьме содержался некто Кожаринов, которого привлекли к работе в качестве переписчика. Новиков обратился к нему с просьбой посмотреть списки заключенных. Через некоторое время Кожаринов сообщил Новикову: действительно, в списках свердловской тюрьмы числится направленная из политизолятора в ссылку Каплан Фаня. Но под другой фамилией — Ройд Фаня.

Знойным летним днем 1907 года скрупулезный чиновник Киевской губернской тюремной инспекции, изнывая от жары и усердия, сочинял статейный список № 132.

*Имя, отчество, фамилия или прозвище и к какой категории ссыльных относится?* — Фейга Хаимовна Каплан. Каторжная.

*Куда назначается для отбытия наказания?* — Согласно отношения Главного Тюремного Управления от 19 июня 1907 г. за № 19641, назначена в ведение Военного Губернатора Забайкальской области для помещения в одной из тюрем Нерчинской каторги.

*Следует ли в оковах или без оков?* — В ручных и ножных кандалах.

*Может ли следовать пешком?* — Может.

*Требуется ли особо бдительного надзора и по каким основаниям?* — Склонна к побегу.

*Состав семейства ссыльного.* — Девица.

*Рост.* — 2 аршина  $3\frac{1}{2}$  вершка.

*Глаза.* — Продолговатые, с опущенными вниз уголками, карие.

*Цвет и вид кожи лица.* — Бледный.

*Волосы головы.* — Темно-русые.

*Особые приметы.* — Над правой бровью продолжный рубец сант. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> длины.

*Возраст.* — По внешнему виду 20 лет.

*Племя.* — Еврейка.

*Из какого звания происходит?* — По заявлению Фейги Каплан, она происходит из мещан Речицкого еврейского общества, что по проверке, однако, не подтвердилось.

*Какое знает мастерство?* — Белошвейка.

*Природный язык.* — Еврейский.

*Говорит ли по-русски?* — Говорит.

*Каким судом осуждена?* — Военно-полевым судом от войск Киевского гарнизона.

*К какому наказанию приговорена?* — К бессрочной каторге.

*Когда приговор обращен к исполнению?* — 8 января 1907 года.

В момент составления статейного списка Фейге Каплан исполнилось шестнадцать лет. Девушка прикнула к анархистам и вызвалась осуществить террористический акт в отношении киевского губернатора. Но бомба взорвалась преждевременно, дома, и Фанни получила сильную рану. Военно-полевой суд приговорил ее к смертной казни. Высшая мера наказания была заменена по молодости лет пожизненной каторгой.

«По-еврейски мое имя Фейга, — писала она в своих показаниях. — Всегда звалась Фаня Ефимовна».

До 16 лет Фаня жила под фамилией Ройдман, а с 1906 года стала носить фамилию Каплан. Подруги-каторжанки утверждали, что у нее было и другое имя — Дора. Под этим именем ее хорошо знала Мария Спиридонова.

Отбывая «вечную» каторгу в Акатуе и Нерчинске, Каплан-Ройдман ослепла. Сказалось ранение при внезапном взрыве бомбы. Полная потеря зрения наступила 9 января 1909 года. Она и раньше теряла зрение, но на непродолжительное время. А в четвертую годовщину «кровавого воскресенья» перестала видеть окончательно. Прозрение наступило только через три года, но последствия травмы мучили ее всю оставшуюся жизнь.

Обстоятельство немаловажное, особенно в связи с покушением на жизнь Ленина 30 августа 1918 года.

Возникает вопрос: могла ли полуслепая женщина дважды попасть в вождя, стреляя при этом в темноте? И вообще, когда состоялось покушение?

Определение времени «X» очень важно. К сожалению, в разных источниках оно указывается по-разному. Причем расхождение весьма существенное, достигающее нескольких часов.

Официальное время покушения — 7 часов 30 минут вечера.

Оно фигурирует в многотомной «Истории гражданской войны СССР» и других авторитетных источниках. Это время указано в обращении Моссовета, опубликованном в «Правде». Но в этом же номере газеты в хронике новостей содержится сообщение, что покушение имело место около 9 вечера.

Дальше — больше. Шофер Ленина С. Гиль, который дал показания в день покушения, заявил: «Я приехал с Лениным около 10 часов вечера на завод Михельсона». Это утверждение опубликовано в журнале «Пролетарская революция» (№ 6—7 за 1923 год). Для дотошных читателей назову страницу — 277.

Согласно рассказу Гиля, выступление Ленина на заводе длилось около часа. Стало быть, выстрелы прозвучали не ранее 11 часов вечера. А в это время

уже темно. К тому же Каплан задержали с зонтиком, что свидетельствует о пасмурной погоде.

Зачем ей было брать с собой зонтик в безоблачную погоду? Да и Владимир Ильич, отправляясь на завод, прихватил с собой пальто. Следовательно, можно говорить о том, что 30 августа сумерки наступили раньше, чем обычно, из-за облаков и выпадающего дождя.

Сдвиг времени «Х» в более светлую часть дня произошел, по-видимому, из-за стараний Бонч-Бруевича. Какую цель он преследовал этим, неизвестно, но его воспоминания, ставшие основой хрестоматийной версии, полны противоречий, неточностей и недомолвок. Бонч, например, уверяет, что узнал о покушении в 6 часов вечера. Он вводит в свои воспоминания повествование Гиля, якобы рассказанное ему лично, но основные детали этого рассказа входят в противоречие с опубликованной версией ленинского шофера.

Если, действительно, выстрелы прозвучали около 11 вечера, в темноте, то Каплан, имевшая сильный дефект зрения, вряд ли способна была совершить теракт с той точностью, с какой он был осуществлен.

Сомнений в том, что теракт совершила Каплан, все больше и больше. Хотя полностью ее участия в покушении на Ленина исключать нельзя. Скорее всего, ее использовали только для организации слежки и осведомления исполнителя о времени и месте выступления Ленина на митинге. Ведь на следствии она даже не смогла ответить на вопрос о количестве произведенных выстрелов: «Сколько раз выстрелила, не помню». Согласитесь, это более чем странно для опытной профессиональной террористки.



Должен сразу отметить: обстоятельства покушения на Ленина 30 августа 1918 года очень и очень туманны. При более глубоком ознакомлении с допросами Каплан и другими материалами дела возникает множество вопросов. И самый существенный: нет данных, подтверждающих ее умение владеть оружием.

Некоторые мои собеседники считают, что стреляла вовсе не Каплан. Кстати, в первых документах речь идет о двух стрелявших. В воззвании ВЦИК от 30 августа 1918 года говорится: «Всем Советам рабочих, крест., красноарм. депутат., всем армиям, всем, всем! Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выясняются...» Подписано воззвание Свердловым.

Кто же второй? Его фамилия Протопопов. Он сразу же был расстрелян. Раньше, чем Каплан. Не странно ли? Кстати, о Протопопове нет никаких сведений. Был человек — и нет его. Исчез бесследно.

Через 20 лет — в 1938 году — НКВД «раскрыл», что покушение на Ленина вместе с эсерами организовал Бухарин, что Каплан по его заданию стреляла в Ленина отравленными пулями. Как было на самом деле, сегодня вряд ли кто ответит.

Недоуменных вопросов много. Противоречивы, например, показания помощника военного комиссара 5-й Московской пехотной дивизии С. Батулина, задержавшего Каплан. При первом допросе он заявил, что задержал стрелявшую на месте покушения.

Впоследствии стал утверждать, что «побежал вслед за побежавшими» и неожиданно увидел Каплан,

стоявшую под деревом. Бежала ли она с места покушения — в длинном до пят платье по моде 1918 года, в ботинках с проступившими гвоздями? На первый вопрос Батулина она ответила: «Это сделала не я». И только потом взяла вину на себя.

На допросах в ЧК Каплан твердила: «Из какого револьвера я стреляла, не скажу... Кто мне дал револьвер, не скажу... Когда я приобрела билет Томилино—Москва, я не помню... В Томилино я не была. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду...»

Внешняя простота дела и мощный всплеск возмущения среди рабочих предопределили быстрый исход дела Каплан. Главной вещественной уликой стал револьвер, который после коллективного осмотра был признан оружием покушения. Этот револьвер принес один из рабочих, присутствовавших на митинге, прочитав объявление ЧК о розыске оружия, из которого стреляли в Ленина. Ни дактилоскопической, ни баллистической экспертизы не проводилось. Следствию, очень скоротечному — в ночь на 31 августа арест, а уже третьего сентября расстрел, многое представлялось слишком простым и ясным. В протоколах допросов часто фигурируют такие фразы, как «кто-то сказал», «крикнул» и т. д. Однако попыток установить этих лиц не было. Опрос присутствовавших на митинге не проводился. Похоже, что следствие вполне устраивало признание Каплан в том, что она действовала одна.

В ночь на 1 сентября 1918 года в Москве был арестован британский консул Брюс Локкарт. Чекистам очень хотелось, чтобы в роли сообщника Каплан выступил этот человек. В шесть часов утра к нему в камеру втолкнули Фанни. Увы, она его дотоле не видела.

Спустя много лет Локкарт в мемуарах опишет

женщину, обвинявшуюся в подготовке и осуществлении теракта против Ленина. Британскому супершпиону бросилась в глаза неестественность поведения арестованной. Ему даже показалось, что у нее явные отклонения от нормальной психики.

Обвинение Локкарта в подготовке покушения на Ленина отпало и больше никогда не поднималось.

В качестве вероятной кандидатуры исполнителя теракта называют Коноплеву. Если Степан Гиль видел женскую руку с браунингом, то, за исключением Каплан, это могла быть рука только одной женщины — Коноплевой Лидии Васильевны. Именно она создала вместе с Васильевым боевой отряд с целью организации убийства Ленина. Натура решительная и независимая, она взяла на себя роль исполнителя теракта, считают некоторые исследователи.

До 1917 года Коноплева примыкала к анархистам. В 1918 году вступила в боевую организацию правых эсеров под руководством Г. И. Семенова. После покушения на Ленина в 1918 году Коноплева была арестована ЧК. В тюрьме стала агентом чекистов. В 1921 году вступила в партию большевиков. Кстати, рекомендацию ей дал Бухарин. В 1922 году выступила свидетелем по делу своих бывших товарищей. Именно с ее легкой руки получила документальное подтверждение версия о причастности правых эсеров к покушению на Ленина.

Коноплеву арестовали в апреле 1937 года и расстреляли в июле того же года. Реабилитировали в 1960 году.

В феврале 1918 года она приобрела браунинг и училась стрелять из него. За две недели до выстрелов в Ленина обсуждала технику покушения на вождя. Речь шла о применении браунинга.

Есть сведения, что именно Коноплева вынашивала планы убийства председателя петроградской ЧК Урицкого. Рассказывают, что она специально сломала зуб, чтобы иметь повод посещать стоматолога, кабинет которого находился в доме напротив ЧК.

Коноплева была умна, изобретательна, скрытна и жестока.

Не исключено, что ее использовали для далеко идущих целей. Анализируя обстоятельства, связанные с покушением на Ленина на заводе Михельсона, многие исследователи задаются вопросом: где была и куда смотрела в тот день охрана главы советского государства?

Гиль рассказывал: «Охраны ни с нами в автомобиле, ни во дворе не было никакой, и Владимира Ильича никто не встретил: ни завком, ни кто другой...» Очень странно, особенно если учесть, что в тот день, 30 августа, в Петрограде был убит председатель ЧК Урицкий, и Ленин, выезжая на завод Михельсона, знал об этом убийстве. Более того, он даже написал записку Дзержинскому о проведении ночных арестов. И что же, никто не подумал об усилении охраны главы государства? Почему не оказалось телохранителей в тот день на заводе Михельсона?

Григорий Нилов, книга которого «Грамматика ленинизма» вышла в Лондоне, приходит, например, к заключению, что убийство Урицкого и покушение на жизнь Ленина, произошедшие в один день и положившие начало красному террору, на самом деле организованы... самой ВЧК. Более того, оба происшествия были санкционированы самим Владимиром Ильичем.

Исследователь предполагает, что Ленин дал со-

гласие лишь имитировать покушение на себя, чтобы синхронность выстрелов в Москве и Петрограде усилила впечатление начавшейся вражеской атаки. Иначе, восклицает историк, чем объяснить тот факт, что, оправившись от ранения, он согласился с более чем странными результатами расследования, не назначил нового следствия, не выявил истинных организаторов покушения и не покарал их?! Ведь мягкотелостью по отношению к своим врагам Ленин, как показывают документы, не отличался.

Впрочем, Нилов не исключает и другую версию — покушение организовывалось без ведома Ленина. Но — ВЧК. С участием его ближайшего окружения. Заговорщиков устраивало легкое ранение вождя. Он был нужен живым своим соратникам. Но — отступающим, зависимым от них, послушным, сознающим свою уязвимость. И — постепенно оттесняющим с их пути Троцкого.

Свердлову приписывают фразу: «Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа».

В первом издании «Записок коменданта Кремля» Павел Мальков приводит подробности того, как обсуждался вопрос, где лучше убить Каплан. В последующих изданиях некоторые детали убраны, сглажены. И все равно подтверждается факт расстрела Фанни Каплан в Кремле, под звук работающего мотора автомобиля.

Появились утверждения, что тело террористки было облито бензином и сожжено в железной бочке в Александровском саду.

А как же насчет имеющей хождение в народе молвы о помиловании Лениным Каплан и о ее жизни до глубокой старости?

Иные исследователи считают, что эпизод о расстреле Каплан понадобился из каких-то не-

ведомых нам политических соображений. Мальков был полуграмотным матросом, он мог подписать что угодно, не вникая в суть изложенного за его подписью на бумаге. Были даже туманные намеки на обстоятельства международного плана, поскольку семья Фанни в 1911 году уехала в Америку... У ее отца, еврейского учителя, было четыре сына, и кроме Фанни еще три дочери. Некоторые добились весьма заметного положения в политических и влиятельных финансовых кругах Запада.

Что касается версии о том, что Фанни осталась жива благодаря заступничеству Ленина, то эта молва, имевшая широкое распространение в довоенное время, неоднократно проверялась, о чем имеются сохранившиеся в архивах документы. Однако ни одной заключенной или вольнонаемной с фамилией, сходной с Ройдман Фаней, установить не удалось. Во всяком случае так утверждалось в материалах проверок, проводимых по указаниям высокопоставленных лиц.

Но вот новость, на этот раз относящаяся не к давно минувшим дням, а к нашему времени. Генеральная прокуратура Российской Федерации постановила возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам дела Ф. Е. Каплан (Ройдман). Из материалов уголовного дела «Н-200» по обвинению Каплан нынешняя прокуратура усмотрела, что следствие в 1918 году проведено поверхностно, не назначались судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, не допрошены свидетели и потерпевшие, не произведены другие следственные действия, необходимые для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершенного преступления».

**ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА «Н-200»**  
(«Н-200» — фонд нереабилитированных лиц)

**ИЗ ПОКАЗАНИЙ С. К. ГИЛЯ**  
(живет в Кремле. Шофер В. И. Ленина.  
Сочувствует коммунистам)

После окончания речи В. И. Ленина, которая длилась около часа, из помещения, где был митинг, бросилась к автомобилю толпа человек в пятьдесят и окружила его.

Вслед за толпой вышел Ильич, окруженный женщинами и мужчинами, жестикулировал рукой... Когда Ленин был уже на расстоянии трех шагов от автомобиля, я увидел сбоку, с левой стороны от него, в расстоянии не более трех шагов, протянувшуюся руку с браунингом, и были произведены три выстрела, после которых я бросился в ту сторону, откуда стреляли. Стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе...

...Поправлюсь: после первого выстрела я заметил женскую руку с браунингом.

*30 августа 1918 г.*

**ИЗ ПОКАЗАНИЙ С. Н. БАТУЛИНА**  
(помощник военного комиссара 5-й Московской  
советской пехотной дивизии)

...Подойдя к автомобилю, на котором должен был уехать тов. Ленин, я услышал три резких сухих звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу народа, до этого спокойно стоявшую у автомобиля, разбегавшуюся в разные сто-

роны, и увидел позади кареты автомобиля тов. Ленина, неподвижно лежащего лицом к земле. Я понял, что на жизнь тов. Ленина было произведено покушение. Человека, стрелявшего в тов. Ленина, я не видел. Я не растерялся и закричал: «Держите убийцу тов. Ленина!» И с этими криками выбежал на Серпуховку, по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди.

...Позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей пойти за мной. В дороге ее спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина: «Зачем вы стреляли в тов. Ленина?», на это она ответила: «А зачем вам это нужно знать?», что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина. В это время ко мне подошли еще человека два-три, которые помогли мне ее сопроводить. На Серпуховке кто-то из толпы в этой женщине узнал человека, стрелявшего в тов. Ленина. После этого я еще раз спросил: «Вы стреляли в тов. Ленина?» На это она утвердительно ответила, отказавшись указать партию, по поручению которой она стреляла...

В военном комиссариате Замоскворецкого района эта задержанная мною женщина на допросе назвала себя Каплан и призналась в покушении на жизнь тов. Ленина.

*30 августа 1918 г.*



### **ИЗ ПОКАЗАНИЙ З. УДОТОВОЙ**

(чекистка, принимавшая участие в обыске  
Ф. Каплан)

Мы Каплан раздели донага и просмотрели все вещи до мельчайших подробностей. Так, рубцы, швы просматривались нами на свет, каждая складка разглажена. Были тщательно просмотрены ботинки, вытянуты оттуда и подкладки, вывернуты. Каждая вещь просматривалась по два и по несколько раз. Волосы были расчесаны и выглажены. Но при всей тщательности обнаружено что-либо не было. Раздевалась она частично сама, частично с нашей помощью.

### **ИЗ ПОКАЗАНИЙ Ф. КАПЛАН**

(Допрашивали нарком юстиции Д. Курский, член коллегии наркомата юстиции М. Козловский, секретарь ВЦИК В. Аванесов, зам. председателя ВЧК Я. Петерс, зав. отделом ВЧК Н. Скрыпник)

**Курский.** Где вы взяли оружие?

**Каплан.** Не имеет значения.

**Курский.** Вам его кто-нибудь передал?

**Каплан.** Не скажу.

**Курский.** С кем вы связаны? С какой организацией или группой?

**Каплан.** (Молчит)

**Курский.** Повторяю, с кем вы связаны?

**Каплан.** Отвечать не желаю.

**Курский.** Связан ли ваш социализм со Скоропадским?

**Каплан.** Отвечать не намерена.

**Курский.** Слыхали ли вы про организацию террористов, связанную с Савинковым?

**Каплан.** Говорить на эту тему не желаю.

**Курский.** Почему вы стреляли в Ленина?

**Каплан.** Стреляла по убеждению.

**Курский.** Сколько раз вы стреляли в Ленина?

**Каплан.** Не помню.

**Курский.** Из какого револьвера стреляли?

**Каплан.** Не скажу. Не хотела бы говорить подробности.

**Курский.** Были ли вы знакомы с женщинами, разговаривавшими с Лениным у автомобиля?

**Каплан.** Никогда их раньше не видела и не встречала. Женщина, которая оказалась раненной при этом событии, мне абсолютно незнакома.

**Петерс.** Просили вы Биценко провести вас к Ленину в Кремль?

**Каплан.** В Кремле я была один раз. Биценко никогда не просила, чтобы попасть к Ленину.

**Курский.** Откуда у вас деньги?

**Каплан.** Отвечать не буду.

**Курский.** У вас в сумочке обнаружен железнодорожный билет до станции Томилино. Это ваш билет?

**Каплан.** В Томилино я не была.

**Петерс.** Где вас застала Октябрьская революция?

**Каплан.** Октябрьская революция застала в Харькове, в больнице. Этой революцией я осталась недовольна. Встретила ее отрицательно. Большевики — заговорщики. Захватили власть без согласия народа. Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за него.

**Петерс.** Где вы учились? Где работали?

**Каплан.** Воспитание получила домашнее. Занималась в Симферополе. Заведовала курсами по подготовке работников в волостные ведомства. Жалованье получала (на всем готовом) 150 рублей в месяц.

**Петерс.** Стреляли в Ленина вы? Подтверждаете?

**Каплан.** Стреляла в Ленина я. Решилась на этот

шаг в феврале. Эта мысль назрела в Симферополе. С тех пор готовилась к этому шагу.

**Петерс.** Жили ли вы до революции в Петрограде и Москве?

**Каплан.** Ни в Петрограде, ни в Москве не жила.

**Скрыпник.** Назовите полностью свое имя, отчество и фамилию.

**Каплан.** Меня зовут Фанни Ефимовна Каплан. По-еврейски мое имя Фейга.

*31 августа 1918 г.*

*Приложение № 2*  
ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

**ИЗ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»**

От ВЧК. Чрезвычайной Комиссией не обнаружен револьвер, из коего были произведены выстрелы в тов. Ленина. Комиссия просит лиц, коим известно что-либо о нахождении револьвера, немедленно сообщить о том Комиссии...

*1 сентября 1918 г.*

**ИЗ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК»**

Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая в товарища Ленина правая эсерка Фанни Ройд (она же Каплан).

*4 сентября 1918 г.*

На суде над правыми выяснились такие подробности. Террористка Каплан начала готовить свой подвиг еще в феврале-марте 1918 года, приехав специально для этого в Москву. Она считала, что «будничной работой» сейчас заниматься не

время, нужно «вспомнить старые заветы партии», и организовала небольшую эсеровскую террористическую группу для совершения покушения на жизнь В. И. Ленина.

Осуществить тогда этот план Каплан не удалось, она совершила покушение только после вступления в отряд Семенова.

«Центральный боевой отряд» Семенова, переехавший в Москву, насчитывал в то время около 15 человек. Каплан была принята в состав отряда по рекомендации члена военной комиссии партии эсеров Дашевского. В начале июля он узнал о твердом намерении Каплан совершить террористический акт против Ленина. Дашевский считал необходимым, чтобы такого рода покушения, могущие иметь серьезнейшие последствия, совершались под контролем и руководством ЦК. Поэтому он решил связать Каплан с Семеновым, работа которого санкционировалась и проходила под контролем ЦК.

Отряд Семенова деятельно готовил покушение. В то время в Москве еженедельно по пятницам проходили митинги на предприятиях города, и В. И. Ленин часто выступал на них. Заговорщики разделили город на части и назначили исполнителей, которые должны были стрелять в Ленина, когда он прибудет на митинг. На крупные предприятия посылались дежурные террористы, которые при появлении Ленина должны были сообщить об этом исполнителю. Один из членов террористической группы, подсудимый Усов, говорил на суде: «Все наши руководящие лица: Семенов, Елена Иванова и Коноплева — категорически настаивали, чтобы убийцей Ленина непременно был рабочий. Это, мотивировали они, послужило бы большей агитацией против Коммунистической партии...» Кроме Усова исполнителями

террористического акта были назначены Федоров-Козлов, Каплан и Коноплева.

Усов, встретив на одном из митингов В. И. Ленина, не смог выполнить задуманное. На суде он объяснил это так: «Ленин был встречен громом аплодисментов и восторженными криками, и, конечно, вырвать Бога у полуторатысячной рабочей массы я... не решился. Я стрелять не стал». Так же поступил в другом случае и Федоров-Козлов.

Говорят, что Ленин обладал особым рода магнетизмом. Таким, что под влияние его сильной воли попали даже террористы, которые, как на сеансе гипноза отказывались от собственных планов, подарив пролетарскому диктатору жизнь.

30 августа на заводе Михельсона дежурил член террористической группы Новиков, который и сообщил Каплан о приезде Ленина. Она явилась на завод.

Когда Ленин, окруженный рабочими, выходил из помещения, где только что закончилось собрание, Новиков умышленно споткнулся и застрял в двери, сдерживая выходящих людей. В это время Каплан произвела выстрелы.

Семенов рассказывал: «После покушения на Ленина в газетах появилось сообщение от московского бюро ЦК о том, что партия эсеров не причастна к этому покушению. Это произвело на наш отряд впечатление ошеломляющее... Я предложил, чтобы кто-нибудь из боевиков вместе со мной пошел бы к Донскому... Донской сказал, что партия обратно не возьмет этого решения, что сейчас идет «красный» террор, что если мы это решение возьмем обратно, то вся партия в целом будет подвергнута разгрому... Он сказал, что единственная возможность, которая осталась, — эта мысль ему понравилась, — действо-

вать как народные мстители, черные маски, вот это дело хорошее, тут партия будет в стороне, и, с другой стороны, капитал приобретем, удар основательный нанесем Советской власти...» Причастность членов ЦК партии эсеров к покушению на жизнь В. И. Ленина подтверждали другие данные. Донской, Гоц, Тимофеев, Морозов признали на суде, что Каплан являлась членом их партии, и подтвердили, что эсеровские боевики, уверенные в том, что ЦК партии санкционировал применение террора, выражали свое возмущение отказом признать покушение 30 августа «партийным делом».

Коноплева рассказала о своей беседе в июле 1918 года с Гоцем, который говорил: «Сейчас нужны террористические акты на Ленина и других... Партия эти акты если сейчас не признает, то она их позже признает». Коноплева также рассказала, что член ЦК партии Донской предложил Новикову, участвовавшему в покушении, написать воспоминания об этом, с тем чтобы оставить их в архиве партии. А позже, весной 1919 года, член ЦК партии Морозов приобрел карточку Каплан для партийного архива.

Когда Морозова спросили на суде, для чего ему понадобилась карточка Каплан, он сказал: «Я был секретарем, и все бумаги, которые имели касательство к партии, я всегда собирал». Так эсеровские лидеры, официально отрицая причастность своей партии к покушению, фактически руководили им.

На суде установили, что Каплан стреляла из револьвера, данного ей Семеновым — командиром эсеровского «центрального боевого отряда». Вот почему в 1918 году Каплан упорно не отвечала на вопросы следователей о том, где она взяла браунинг. Теперь стало понятно и то, почему у Каплан

в портфеле находился железнодорожный билет Томилино—Москва.

Из показаний участников семеновского отряда выяснилось, что на даче в Томилино находилась конспиративная квартира отряда и там неоднократно бывала Каплан, приезжавшая из Москвы.

Верховный революционный трибунал после 50-дневного тщательного судебного разбирательства приговорил членов ЦК партии социалистов-революционеров А. Р. Гоца, Д. Д. Донского, Л. Я. Герштейна, М. Я. Гендельмана-Грабовского, М. А. Лихача, Н. Н. Иванова, Е. М. Ратнер-Элькинд, Е. М. Тимофеева, членов различных руководящих органов партии С. В. Морозова, В. В. Агапова, А. И. Альтовского, члена ЦК партии народных социалистов В. И. Игнатьева и членов «центрального боевого отряда при ЦК партии эсеров» Г. И. Семенова, Л. В. Коноплеву и Е. А. Иванову-Иранову к расстрелу.

## АБСОЛЮТ

Абсолют — партийная кличка международной авантюристки. Отец ее, Дмитрий Васильевич, известный юрист, прекрасный музыкант, друг Глинки и Антона Рубенштейна, — один из основателей Петербургской консерватории и Русского музыкального общества.

Дядя, Владимир Васильевич, к которому была особенно привязана юная Леля, — замечательный художественный и музыкальный критик, ученик неистового Виссариона (его и самого называли Белинским в искусстве). Владимир Стасов стоял у истоков двух бурных течений в русской культуре: передвижников в живописи и «Могучей кучки» в музыке.

Леля Стасова с детских лет погрузилась в бескрайний океан высокого искусства. Роясь в огромной библиотеке отца, она рано открывала для себя «Божественную комедию» Данте и «Дон Кихота» Сервантеса.

Она часами простаивала перед замечательными полотнами, висевшими на стенах отцовской квартиры, подарками великих художников. «Осужденный» Маковского, эскизы к «Бурлакам» Репина, «Тройка» Перова, портреты родных, написанные Репиным и Крамским... Скульптуры Антокольского...



Она слушала, притаясь где-нибудь в углу гостиной, новые музыкальные пьесы в исполнении самих композиторов, крупнейших мастеров века Антона Рубинштейна и Милия Балакирева. Она была покорена могучим басом Федора Ивановича Шаляпина.

Но не только в мир чистого искусства погружалась юная гимназистка.

И отец и дядя были людьми прогрессивными.

М. Горький в своих воспоминаниях о В. В. Стасове писал, что каждый арест, о котором тот слышал, искренне огорчал его.

«Губят людей, — говорил он. — Лучшее ни земле раздражают и злят, — юношество. Ах, скоты!..»

В. В. Стасов был лично связан с А. И. Герценом, бывал у него в Лондоне, увлекался сочинениями Чернышевского, поддерживал петрашевцев...

Знаменитый критик, непричастный к политике и не связанный с бунтарскими организациями, негласно помогал своей юной племяннице, когда она вышла на революционную стезю.

Как тайный советник, он получал на адрес Императорской Публичной библиотеки в общем потоке зарубежной литературы и нелегальщину. В том числе два экземпляра «Искры». Один экземпляр шел в секретный архив библиотеки. Другой... в руки племянницы...

Серьезная, вдумчивая не по годам девочка, перерыв всю библиотеку отца, с особым интересом перечитывала сочинения Чернышевского, вспоминала декабристов, книги по истории революционного движения. Якобинцы, чартисты, парижские коммунары...

Часто с большим уважением вглядывалась она в фотографии народовольцев, среди которых были

и женщины. Вера Фигнер, Софья Перовская... Бывавший в доме Стасовых известный юрист А. Ф. Кони подробно рассказывал о процессе Веры Засулич, и Леся слушала его восхищенно, широко раскрыв глаза. Ей хотелось хоть немного походить на эту женщину.

Сдержанная, молчаливая, всегда строго одетая, Елена Стасова конденсировала в себе энергию, которая страстно искала выхода. Начала преподавать в женской воскресной вечерней школе Технического общества, на Лиговке. Ученицами школы были работницы — текстильщицы и табачницы.

Так состоялся выход Елены Дмитриевны в большой мир. Работа в вечерних школах и в музее учебных пособий, долгие душевные беседы с работницами и учительницами сблизили девушку с так называемыми «политиками». Среди них была девушка, сразу завоевавшая уважение и любовь Елены, по имени Надежда, по фамилии Крупская. Крупская привлекла Стасову к работе в политическом Красном Кресте — организации, связанной с революционным движением.

Вскоре Елена стала помогать в хранении подпольной литературы.

Среди нелегально изданных листовок одна, с надписью синим карандашом «Петухи», особенно взволновала Стасову.

Это было воззвание к рабочим фабрики Торнтонна. Забастовка 500 ткачей вспыхнула 5 ноября 1895 года под руководством «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Листовка страстно призывала всех рабочих и работниц фабрики к поддержке бастующих ткачей. В ней были собраны убедительные материалы из жизни торнтоновских рабочих.

Эту листовку написал Ленин.

А название «Петухи» ей дали потому, что звучала она, как петушиный крик.

Забастовка на фабрике Торнтон закончилась для рабочих успешно.

...Все глубже и глубже втягивалась она в политическую, партийную работу.

Ее заметили. Ее уважали. С каждым днем все больше ценили ее знания, энергию, деловитость, организационные способности.

В начале 1898 года петербургские социал-демократы оказали молодой учительнице особое доверие. В один студёный февральский день ей поручили ведать всей техникой комитета, всем партийным «хозяйством».

С этого дня Елена Дмитриевна Стасова уже официально вступила в ряды русских революционных социал-демократов.

...24 декабря 1900 года — одна из самых памятных дат для Елены Стасовой. В этот день вышел первый номер ленинской «Искры». А она в Петербурге действовала как агент, представитель газеты.

К каким только хитростям не прибегали распространители «Искры».

Из-за границы склеенные экземпляры газет, напечатанные на тонкой бумаге, доставлялись заделанные в переплеты невинных книг или альбомов. Сняв переплет, можно было размочить в теплой воде газеты, отделить лист от листа, просушить и свободно читать.

Специальная мастерская на Бассейной улице получила «для продажи» гипсовые фигуры с тайной начинкой. Нелегальная литература. Газеты. Письма...

Одной из баз для хранения нелегальщины была

квартира врача К. А. Крестникова. Приходившие к нему «пациенты» выходили от доктора заметно округлившимися, пополневшими. «Медикаменты» этого замечательного доктора молниеносно излечивали даже самых худых и изможденных.

Елена Стасова уносила из этой квартиры не менее пуда личной литературы. Девушка всегда ходила с портфелем. Даже в театр или на концерт. В донесениях шпииков она так и значилась: «Девушка с портфелем...»

...Кроме распространения литературы, Стасова принимала непосредственное участие в печатании листовок. Сотни забот отнимали полностью ее время с утра до вечера. Гектограф. Желатин и глицерин для варки гектографической массы. Бумага...

Майские дни 1901 года. Полиция произвела много арестов.

Среди арестованных члены Петербургского комитета.

Пишется первомайская листовка. Она выходит, она распространяется по городу, и даже обе-прокурор святейшего синода Победоносцев и министр внутренних дел Дурново находят ее в своих почтовых ящиках.

А высокая девушка в пенсне, целую ночь печатавшая, а потом сама распространявшая листовки, рано утром трясется на извозчике, обмотанная под платьем красным знаменем, чтоб доставить его демонстрантам на Путиловский завод.

Она считала необходимым выработать в себе и практические качества. Точность. Чтобы не опоздать никуда — на явку, на свидание, на маевку — ни на минуту.

Наблюдательность. Чтобы уметь заметить все, до мельчайшей детали, а самой уйти незамеченной. Во-

ля. Умение владеть собой в любую минуту, при любых потрясениях. Умение владеть своим лицом на допросе, когда оно ярко освещается неумолимым светом лампы. Умение не сказать ни одного лишнего слова.

Бдительность. Всегда ощущать десятки глаз. Глаз шпиков и филеров. Умение мгновенно принять решение. Суметь «переиграть» полицию. Ответственность. За каждый свой шаг. За каждое движение. Непреклонность к врагам. Чувство локтя...

...Весна 1904 года. Москва. Первая встреча с будущим любовником Николаем Эрнестовичем Бауманом.

Провокатор выдает руководителей организации. Бауман арестован. Стасова изменяет внешность, одежду, прическу. Она принимает всяческие меры предосторожности, уезжает в Нижний Новгород. Но ее настигают и здесь. И вот... Первый арест. Нижегородская, тюрьма. Потом знаменитая московская Таганка.

Стасова не дает никаких показаний на допросах. Она принимает участие в одиннадцатидневной голодовке заключенных.

Она помнит абсолютно все и абсолютно точно. Недаром партийная кличка ее Абсолют.

После голодовки отец Елены вносит денежный залог, и ее освобождают до суда.

Перед выходом из тюрьмы товарищи поручили Елене просить Ленина написать брошюру о том, как держать себя на допросах и на суде, в разной обстановке.

Ильич немедленно откликнулся. Он прислал Стасовой письмо, известное в истории партии как Письмо к Абсолюту.

Центральный Комитет партии дал Елене Дмит-

риевне новое задание — руководить всей техникой ЦК за границей.

Приехав в Женеву, Стасова прежде всего пошла на квартиру, где жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и мать ее Елизавета Васильевна.

Однажды рано утром Владимир Ильич пришел в пансион, где она жила. Он был очень сосредоточен, молчалив и как-то необычайно грустен. Он стал спрашивать Елену Дмитриевну о близких друзьях, с которыми она работала и вместе сидела в Таганской тюрьме, о Николае Эрнестовиче Баумане.

Елена Дмитриевна вспоминала всякие детали. Николай Бауман был самый близкий ей человек. Они ухитрились переписываться даже в условиях строгой тюремной изоляции. Был у них своеобразный «телефон». Веревочка, на конце которой висел мешочек с песком. В мешочек вкладывалась записка. Стасова высовывала руку из своего окошка, через решетку. Заключённый, сидевший сверху или сбоку, бросал ей мешочек с запиской. А она, в свою очередь, другому заключенному. Бауман сидел за углом в изоляторе. Но все же «телефон» доходил и до него. Так передавались даже материалы для нелегально выходившей в тюрьме рукописной газеты, в которой была помещена и статья о работе Ленина «Шаг вперед, два шага назад»...

Рассказывая, Стасова оживилась. Приятно было вспомнить о друзьях, о том, как обманывали бдительность тюремщиков. В обычное время, всегда живо реагирующий на подобные рассказы, Владимир Ильич посмеялся бы вместе с ней, но на этот раз лицо его было скорбно. Уже предчувствуя несчастье, Елена рассказала, как безрезультатно друзья хлопотали об освобождении Баумана под залог. Она даже почувствовала себя в эти минуты виноватой,

что вот она тут, на свободе, разговаривает с Лениным, а Бауман там, еще за решеткой.

Внезапно Ленин глубоко вздохнул, посмотрел ей прямо в глаза и сказал:

— Его удалось освободить. Он выступал на митинге, а потом... был убит черносотенцами...

Елена окаменела. Он не говорил ей обычных успокаивающих слов. Он рассказывал о том, как московские рабочие хоронили Баумана, какая это была внушительная и грозная демонстрация. Он вынул из кармана и передал Стасовой английскую газету «Обсервер», где об этом было подробно напечатано.

В самом конце марта 1917 года военная организация большевиков занимает дворец известной царской фаворитки балерины Кшесинской.

А Ленин уже в пути...

И вот оно, это 3 апреля 1917 года.

Финляндский вокзал в Петрограде.

...Ленин на броневике. Он призывает к новым боям.

Дворец Кшесинской... Наконец Елена, встречавшая Ленина еще на Финляндском вокзале, сумела пробиться к нему, пожать его руку, поймать его взгляд.

Этот взгляд ощущала она и сквозь толстые стены тюрем, и сквозь густые туманы сибирских бескрайних просторов. Они не виделись годы. И кажется ей, что он не изменился. Он даже помолодел.

...Положение обострялось. Ленин вынужден был покинуть свою квартиру на Широкой улице, скрываться на квартире друзей. В конце июня Владимир Ильич жил у Стасовой. Кстати, туда же был временно переправлен весь партийный архив.

7 июля было опубликовано постановление Вре-

менного правительства об аресте и привлечении к суду В. И. Ленина и других большевиков.

Ленин в Разливе. Отсюда он руководит VI съездом партии. Съезд партии начал свою работу в конце июля, в необычайно тревожной обстановке преследования и травли большевиков.

Оставив свои бесконечные «прозаические» дела, Стасова пришла на заседание съезда. Как и в былые времена, она шла на Сампсониевский проспект осторожно, петляя, используя проходные дворы, следя, чтобы за ней не было никаких «хвостов»... Она уже предвкушала радость встречи с близкими друзьями, соратниками.

Председательствовал Михаил Степанович Ольминский. Заметив Стасову, он как-то (или ей это показалось) нахмурил брови, снял очки, протер их, снова недружелюбно посмотрел на нее. В перерыве Ольминский подошел к Елене Дмитриевне.

— Что это ты пришла? — спросил он недовольно.

— Странный вопрос. Я пришла на заседание съезда.

— А ты не знаешь, именно ты, — сказал он сурово, — что мы заседаем нелегально и что нас могут арестовать? Ты являешься «хранителем традиций партии»... Немедленно уходи!..

Ей было и горько и радостно... «Хранитель традиций»...

Так еще никто не говорил ей... Это было и почетно и тревожно... И это предъявляло какие-то новые требования, накладывало на нее какие-то новые обязательства. «Хранитель традиций»...

На протяжении многих лет в ее руках были сосредоточены партийные связи. Долгие годы подполья она хранила в памяти огромное количество адресов, имен, явок... После провалов, после арестов



большевистские организации быстро восстанавливались, потому что на свободе оставался кто-нибудь из таких «хранителей традиций», верных, беззаветно преданных партии солдат.

...Ее не было на заседании съезда, когда в предлагаемом списке членов и кандидатов Центрального Комитета было написано ее имя: Стасова Елена Дмитриевна. Она была избрана заочно.

...22 апреля 1920 года Ленину исполнилось 50 лет.

Работники Московского комитета партии решили отпраздновать эту дату, собраться и пригласить Владимира Ильича.

Ленин был недоволен.

— Я попрошу, — говорил он сердито работникам МК, — вас всех переписать и предложу ЦК наложить на всех партийное взыскание за бесполезную и напрасную трату времени...

Однако его уговорили, и он, хоть с запозданием, но приехал на собственный день рождения. Выступали Ольминский, Луначарский, Горький.

В этот день Абсолют была больна, не могла быть на собрании и лично поздравить Ленина. Но ей хотелось сделать ему что-либо приятное, и она разыскала в своих бумагах карикатуру известного сатирика Каррика, на которой был изображен юбилей народника Михайловского. За столом, покрытым сукном, стоял растроганный Михайловский. В одной руке он держал пенсне, а в другой — платок, которым только что утирал слезы. Михайловского окружали Южак, Мякотин, Струве, Калмыкова, а перед столом стояли двое детей: мальчик в матроске и девочка в том возрасте, когда заплетенная косичка напоминает крысиный хвостик. Это «марксята» пришли приветствовать народников.

Абсолют вложила карикатуру в конверт, но при-

ложила к ней серьезное письмо: вот, мол, когда был юбилей Михайловского, мы были еще в детском возрасте, а теперь мы большая партия, и все это благодаря вашей работе, вашему таланту... Ленину действительно карикатура очень понравилась.

...Весной 1921 года Елену Дмитриевну Стасову в качестве представителя Коминтерна направили на подрывную работу в Германию. Большевики готовили путч в самом центре Европы. Уезжая в Германию, она пришла к «главному коммунисту» за указаниями.

Ленин пристально посмотрел на испытанную свою соратницу.

— Никаких инструкций я вам не дам, — сказал Ленин. — Это сделали ЦК и Коминтерн. Я же дам вам только два совета: во-первых, когда вы будете на заседаниях Центрального Комитета КПГ и у вас будут несогласия с его мнением, то не диктуйте свои возражения, а советуйте то, что предлагаете. А во-вторых, обязательно работать в низовой ячейке, потому что таким путем, через низовую ячейку, вы будете проверять, как постановления Центрального Комитета воспринимаются и понимаются низовыми организациями и массами. И одновременно вы сможете помочь ЦК исправить то, что неудачно сформулировано...

Так она и поступала в своей подрывной работе. Пять лет работала Стасова как член германской партии. Она — председатель ЦК «Красной помощи» («Rote Hilfe») Германии, член уличной ячейки в округе Моабит в Берлине.

В течение пяти лет Елена Стасова не существовала. В Берлине жила, работала Лидия Вильгельм — по паспорту, Герта — по партийной кличке. С этим паспортом она дважды принимала участие в выбо-

рах в рейхстаг. Ближайшим ее другом был Вильгельм Пик.

Зачем же понадобилось засылать Стасову под чужим именем в Берлин?

Бежавший на Запад секретарь Сталина Борис Бажанов приоткрыл завесу над этой тайной.

В области международной политики Кремлем был разработан обширный план подрыва западных демократий путем организации волнений, заговоров и террористических актов. Наиболее амбициозной из всех намеченных акций была попытка коммунистического переворота в Германии в 1923 году. Как секретарь Политбюро, Бажанов присутствовал на всех заседаниях, где в глубокой тайне вынашивался этот грандиозный замысел. Первое заседание по этому вопросу состоялось в Кремле 23 августа 1923 года. В Москву был вызван представитель Коминтерна Карл Радек, чтобы доложить о положении в Германии и о перспективах, какие обещала планируемая акция. Радек нарисовал радужную картину растущего в рядах немецкого народа революционного движения, которое в ближайшие недели должно достигнуть апогея.

Он ждал дальнейших инструкций. Как и следовало ожидать, Лев Троцкий, страстный защитник, был всецело за то, чтобы нанести немедленный удар по немецкой буржуазии — ковать немецкое железо, пока горячо. Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, утверждал он, то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка, первая брешь в котором была пробита на русском фронте. Он призывал не упустить случай и во что бы то ни стало использовать ситуацию в Германии. Игра стоила свеч. Но Сталин и другие члены Политбюро понимали, что

риск очень велик, и предлагали повременить. В результате было достигнуто компромиссное решение, типичное для Политбюро того времени. Не разделяя в полной мере оптимизма товарища Троцкого, Политбюро все же решило предпринять активные действия с целью вызвать в Германии кризисную ситуацию.

Была выделена руководящая четверка, которой было поручено спровоцировать и возглавить германскую революцию. В ее состав вошли: «связной от Коминтерна» — он же член ЦК партии — Карл Радек, заместитель председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) Юрий Пятаков, заместитель председателя ОГПУ Уншлихт и народный комиссар по вопросам труда Шмидт. Эта четверка, наделенная широкими полномочиями и снабженная фальшивыми паспортами, отбыла в Германию. Каждый имел свой круг задач, которые надлежало выполнить в обстановке абсолютной секретности.

На Пятакова были возложены агитация, пропаганда и связь с Москвой. Радек играл роль эмиссара Коминтерна и немецкой компартии, на него была возложена задача придать акции в целом политически респектабельный вид. Уншлихт — в соответствии со своим положением в ОГПУ — должен был выполнить грязную работу: организовать множество так называемых «красных сотен», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем, после победы, станут костяком германского отдела ОГПУ, необходимого для окончательного искоренения буржуазии и других врагов большевизма. В задачи Шмидта — специалиста по рабочему движению — входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов, кото-

рые должны будут стать «зародышем новой государственной власти».

Вскоре в помощь этой четверке был призван тогдашний посол СССР в Берлине Крестинский. На него были возложены чисто технические функции — получение из Москвы и распределение огромных денежных средств, которые требуются для проведения подготовительной кампании, в частности агитационной (агитаторы, кстати, тоже засылались из Москвы). Руководителям германской компартии, в частности Брандлеру, была отведена только совещательная роль, местные коммунистические организации остались за бортом. Вместо них в качестве командных рычагов планировались советские дипломатические, консульские и торговые службы. «Революционные» агитаторы — немцы и другие лица, говорящие по-немецки, — были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие и поджигательские листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначенных для оплаты обычных торговых операций.

В конце сентября в Москве было получено сообщение Пятакова, что все будет готово в самое ближайшее время, и секретное заседание Политбюро, куда не были приглашены даже члены ЦИК, назначило окончательную дату начала операции. Бажанов, как секретарь Политбюро, заверил это решение своей подписью и запер его в сейф. Решающее выступление была намечено на 7 ноября 1923 года. Появление на улицах толпы народа в день празднования шестой годовщины Октября будет выглядеть вполне естественно. «Красные сотни» должны будут спровоцировать столкновение с полицией, после чего произойдет «стихийное» выступление масс с

оружием в руках, которое завершится захватом государственных учреждений и провозглашением Советской власти.

Что произошло дальше, остается по сей день загадкой истории. «Великая революция» провалилась, похоже, главным образом из-за того, что в последний момент не все центры восстания успели получить депеши из Москвы об отсрочке выступления. Так, например, курьер, направленный с такой депешей в Гамбург, заведомо опоздал: «красные сотни» уже завязали на улицах кровавые бои, которые продолжались три дня. Это вызвало замешательство в других центрах намеченного восстания, не знавших, что им предпринять: то ли воздержаться от участия в путче, то ли поддержать гамбургских товарищей. Несколько беспорядочных и недостаточно подготовленных выступлений в разных частях Германии без труда были подавлены немецкими воинскими частями и полицией.

Из доклада Бажанова следует, что, хотя в немецкой компартии было достаточно тупиц, однако в провале путча большевикам приходилось винить только себя. Политика, проводимая ими в компартии Германии, была типично сталинской — ставить на ключевые партийные посты исключительно рабочих и крестьян, независимо от уровня их образования и способностей. Причем Бажанов особо подчеркивал, что эта политика была не проявлением самодеятельности немцев как добросовестных учеников, а прямо диктовалась из Москвы.

Кто бы ни был ответствен за провал, бажановские разоблачения потрясли французское и английское руководство масштабами советской подрывной деятельности, ведь она велась в самом сердце европейского континента.

Таким образом, Стасова ездила в Германию готовить коммунистический путч.

...Через пять лет она возвратилась на родину. Нет больше Герты... Путч не удался. Тем не менее Стасову избирают в ЦК Международной организации помощи революционеров (МОПР). Кроме того, она была членом Интернациональной контрольной комиссии ВКП(б). Вместе с Роменом Ролланом и Анри Барбюсом она приняла участие в организации Амстердамского Всемирного антивоенного конгресса, но не получила визы для проезда в Амстердам.

Когда началась война, Стасова потребовала, чтобы ее призвали в армию, чтобы использовали ее знание языков. Но ей уже было почти 70 лет, и ей предложили временно уехать в тыл.

В феврале 1942 года Стасова уже в Москве. Она редактирует и французское и английское издания журнала «Интернациональная литература». У каждого журнала свое лицо. Стасова прекрасно знает, что интересует читателей Франции и каковы запросы англичан. Она выступает по радио, проводит десятки бесед на предприятиях, ведет обширную переписку.

И опять идут годы. Ей 80 лет. Она уже не редактирует журналов. Но по-прежнему выступает на заводах, выезжает в Ленинград и Киев. Пишет свои воспоминания о Ленине, редактирует сочинения своего отца Владимира Васильевича Стасова.

В январе 1956 года 82-летняя Стасова в составе советской делегации выезжает в Берлин на юбилейные торжества в связи с 80-летием своего друга Вильгельма Пика. Седая Герта вспоминает первые встречи с молодым Вильгельмом в подполье. Она с ним не раз встречалась потом, в Москве, когда он,

вынужденный покинуть родину, жил в Советском Союзе, работал в Исполкоме Коминтерна и в МОПРе. Теперь Вильгельм Пик — президент... Какие головокружительные скачки совершаются в истории!..

Елене Дмитриевне 88 лет. Знаменательные дни. XXII съезд партии. Стасова избрана делегатом.

13 октября 1961 года, в канун дня своего рождения, Елена пришла в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца зарегистрироваться как делегат съезда от московских коммунистов. «Стасова Елена Дмитриевна, член Коммунистической партии с 1898 года», несмотря на то, что в 1898 году никакой коммунистической партии не было, а была партия РСДРП. А само слово «коммунистическая» появилось в названии партии только в 1918 году.



## **«КАКАЯ АТЛАСНАЯ ГРУДЬ, КАКОЕ ИЗЯЩНОЕ ТЕЛО...»**

В 1918 году, выступая под мужским псевдонимом Антон Крайний, Зинаида Гиппиус написала полемическую статью «Бабская зараза»:

«Еще не было в истории примера, чтобы какой-нибудь народ так обабился, как мы.

Россия — баба, это говорили многие, говорили давно, т. е. указывали на преобладание черт женских, бабьих, рабьих в психике русского народа.

Мы обабались сверху донизу, вдоль и поперек. Рассматривайте Россию как угодно, делите на любые группы, мельчите до индивидуальностей — или берите в общем, — ничего вы нигде не увидите, кроме самого яркого, выпуклого, беспардонного бабизма...

И все и вся жаждут... не самой покорности, а чтобы их покоряли. Вечноженское: «нет, нет!», а в сущности тайное — «возьми меня всю! всю!» И, покоренные, уже покоряются и слушаются со смаком, с упрямством длительным — не оторвешь.

Ну, а если взглянуть на наши «партии»? Эс-эры? Эти когда-то выдавали себя за мужчин. И все им верили. Но теперь приходится думать, уж не было ли это юное мальчишество? Потому что обабиться подобно эс-эрам — вещь беспрецедентная. Они покорны как-то без достоинства.

О партии левых эсеров, знаменательно возглавляемой М. Спиридоновой, — спору не будет. Это типичная истеричка, взбалмошная, капризная, но отдающаяся «по гроб жизни»: то, что французы называют «сгамрон». Она — никуда, как героиня популярнейшей фабричной песенки.

*Каждую минуту, глядишь, —  
Маруся отравилась,  
В больницу повезли...  
Спасайте, не спасайте,  
Мне жизнь не дорога:  
Я милого любила,  
Такого подлеца.*

Отравы, конечно, не до смерти, и опять «маруся» покорно и преданно заглядывает в глаза своему «милке».

«Свой выход на политическую арену и участие в первой российской революции партия социалистов-революционеров ознаменовала серией террористических актов, — пишет К. Гусев. — Наибольшего размаха эсеровский индивидуальный террор достиг в 1905—1906 гг., когда только в течение декабря 1905 — января 1906 гг. в Тамбове, Саратове, Пензе, Чернигове и других городах было совершено 22 покушения на высокопоставленных царских сановников, полицейских чинов, руководителей карательных экспедиций, подавлявших революционные выступления крестьян и рабочих.

Среди выстрелов и взрывов бомб всеобщее внимание привлек, казалось бы, не очень громкий выстрел, раздавшийся 14 января 1906 г. на железнодорожной платформе в г. Борисоглебске. Молодая девушка (ей тогда был 21 год) Мария Спиридонова

смертельно ранила губернского советника Г. Н. Луженовского, усмирителя крестьянских волнений и главу черносотенцев Тамбовской губернии. Луженовский не был столь крупной политической фигурой, чтобы покушение на него после таких террористических актов, как убийства великого князя Сергея Александровича или министра внутренних дел Плеве, вызвало большой резонанс. Внимание привлекли прежде всего личность исполнительницы приговора Тамбовского губернского комитета эсеров и неслыханные даже по тем временам издевательства, которым она подверглась после ареста и о которых через публикацию в либеральных буржуазных газетах «Новая жизнь» и «Русь», а также вышедшую в 1906 г. по горячим следам событий брошюру С. П. М-ина «Дело М. А. Спиридоновой» стало известно самой широкой общественности.

Кто же такая эта Спиридонова? Кто она, эта еще недавно безвестная девушка, сегодня столь близкая и дорогая миллионам русских людей? «Наша жизнь» дает ей такую характеристику:

«Представьте существо чистое, девственное, цвет одухотворенной красоты, какую только выработала высшая культура России, представьте эту юную, незащищенную девушку в косматых лапах скотски отвратительных, скотски злобных и скотски сладострастных орангутангов. Такова была участь Спиридоновой».

Такова и сама Спиридонова.

Ей едва исполнился 21 год. Не сложна ее биография, но почти каждая черта ее рисует перед читателем образ, вызывающий глубокую симпатию к подвергнутой невероятным истязаниям девушке. Мария Александровна принадлежит к буржуазной среде — ее отец имел паркетную фабрику, а затем

служил бухгалтером в банке. У нее есть еще три сестры и брат. В умственном отношении Спиридонова, очевидно, незаурядная девушка. С малых лет родители возлагали на нее большие надежды. Росла Маруся — так ее звали в семье и подруги по гимназии — умницей, способной девочкой. Она с малых лет проявила большие способности. Пяти лет она уже умела читать и писать. В гимназию она поступила во II класс и сразу заняла положение первой ученицы и сохраняла его во все время пребывания в школе. Из VIII класса она была исключена за так называемую «политическую неблагонадежность». Попыталась поступить на Высшие женские курсы, но благодаря аттестации, выданной ей гимназическим советом, ее никуда не приняли. Обычная история, так много калечащая на Руси молодых сил, самых честных, самых талантливых! Неудача с поступлением на курсы не могла, конечно, охладить у Марии Александровны стремления к образованию, и она усердно занялась им дома, много читала, много училась.

Чтобы закончить общую характеристику М. А. Спиридоновой, нужно сказать, что она очень любила музыку, играла на рояле, — особенно ей нравились сонаты Бетховена.

Такова в общих Чертах Мария Александровна Спиридонова, письмо которой, напечатанное в «Руси», наполнило ужасом и негодованием сердца всех честных людей России от столицы до самых ее отдаленных уголков.

Это письмо, дышащее в каждой строчке глубокой искренностью и правдой и каждой своей строчкой вызывающее у читателя содрогание ужаса, а также и данные судебного процесса дорисовывают образ этой удивительной девушки, о которой адвокат Н. В. Теслен-

ко имел полное право сказать судившим ее офицерам:

«Спешите же встать на защиту Марии Спиридоновой! Не уступайте никому чести спасти эту девушку! Вырвите ее из когтей смерти!.. Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридонова: перед вами больная и поруганная Россия!»

Да, М. А. Спиридонова действительно олицетворяла перед этими в блестящих мундирах сидевшими офицерами униженную и поруганную Россию... Но ни крик страстного негодования и скорби, который слышался в речах г. Тесленко, ни безмерные страдания самой Спиридоновой, этой чудной девушки, не были для них убедительны, и напрасно другой защитник — есаул А. И. Филимонов — обращался к «своим братьям по оружию» с горячей мольбой не забывать, подписывая приговор, что «военные люди не убивают женщин», — М. А. Спиридонова была приговорена к повешению, и теперь ей грозит казнь...

Вот это письмо, адресованное ею из тюрьмы товарищам по деятельности:

«Дорогие товарищи! Луженовский ехал последний раз по этой дороге. Из Борисоглебска он ехал в экстренном поезде. Надо было убить его именно тогда. Я пробыла на одной станции сутки, на другой тоже и на третьей двое суток. Утром, при встрече поезда, по присутствию казаков, решила, что едет Луженовский. Взяла билет 2-го класса, рядом с его вагоном; одетая гимназисткой, розовая, веселая и спокойная, я не вызывала никакого подозрения. Но на станции он не выходил.

По приходе поезда в Борисоглебск с платформы жандармы и казаки сгоняли все живое. Я вошла в вагон и на расстоянии 12—13 шагов, с площадки вагона, сделала выстрел в Луженовского, проходившего

в густой цепи казаков. Так как я была очень спокойна, то я не боялась не попасть, хотя пришлось метаться через плечо казака: стреляла до тех пор, пока было возможно. После первого выстрела Луженовский присел на корточки, схватился за живот и начал метаться по направлению от меня по платформе. Я в это время сбежала с площадки вагона на платформу и быстро, раз за разом, меняя ежесекундно цель, выпустила еще три пули. Всего, по показанию Богородицкого, нанесено 5 ран: две в живот, две в грудь и одна в руку.

Обалдевшая охрана в это время опомнилась; вся платформа наполнилась казаками, раздались крики: «бей!», «руби!», «стреляй!». Обнажились шашки. Когда я увидела сверкающие шашки, я решила, что тут пришел мой конец, и решила не даваться им живой в руки. В этих целях я поднесла револьвер к виску, но на подороге рука опустилась, а я, оглушенная ударами, лежала на платформе. «Где ваш револьвер?» — слышу голос наскоро меня обыскивавшего казачьего офицера, и стук прикладом по телу и голове отозвался сильной болью во всем теле. Пыталась сказать им: «Ставьте меня под расстрел». Удары продолжали сыпаться. Руками я закрывала лицо; прикладами руки снимались с него. Потом казачий офицер, высоко подняв меня за закрученную на руку косу, сильным взмахом бросил на платформу. Я лишилась чувств, руки разжались, и удары посыпались по лицу и голове. Потом за ногу потащили вниз по лестнице. Голова билась о ступеньки, за косу внесена на извозчика.

В каком-то доме спрашивал казачий офицер, кто я и как моя фамилия. Идя на акт, решила ни одной минуты не скрывать своего имени и сущности поступка. Но тут забыла фамилию и только

бредила. Били по лицу и в грудь. В полицейском управлении была раздета, обыскана, отведена в камеру, холодную, с каменным полом, мокрым и грязным.

В камеру в 12 или 1 час дня пришли помощник пристава Жданов и казачий офицер Аврамов; я пробыла в их компании, с небольшими перерывами, до 11 часов вечера. Они допрашивали и были так виртуозны в своих пытках, что Иван Грозный мог бы им позавидовать. Ударом ноги Жданов перебрасывал меня в угол камеры, где ждал меня казачий офицер, наступал мне на спину и опять перебрасывал Жданову, который становился на шею. Они велели раздеть меня донага и не велели топить мерзлую и без того камеру. Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками (Жданов) и говорили: «Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную речь!» Один глаз ничего не видел, и правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на нее и лукаво спрашивали: «Больно, дорогая? Ну скажи, кто твои товарищи?»

Я часто бредила и, забываясь, в бреду мучительно боялась сказать что-либо. В показаниях этих не оказалось ничего важного, кроме одной чуши, которую я несла в бреду.

Придя в сознание, я назвала себя, сказала, что я социалистка-революционерка и что показания дам следственным властям; то, что я тамбовка, могут засвидетельствовать товарищ прокурора Каменев и другие жандармы. Это вызвало бурю негодования: выдергивали по одному волосу из головы и спрашивали, где другие революционеры. Тушили горящую папиросу о тело и говорили: «Кричи же, сволочь!» В целях заставить кричать, давили ступни «изящных» — так они называли — ног са-

погами, как в тисках, и гремели: «Кричи! (ругань). У нас целые села коровами ревут, а эта маленькая девчонка ни разу не крикнула ни на вокзале, ни здесь. Нет, ты закричишь, мы насладимся твоими мучениями, мы на ночь отдадим тебя казакам...» «Нет, — говорил Аврамов, — сначала мы, а потом казаки...» И грубое объятие сопровождалось приказом: «Кричи!», я ни разу за все время битья на вокзале и потом в полиции не крикнула. Я все бредила.

В 11 часов с меня снимал показания судебный следователь, но он в Тамбове отказался дать материал, так как я все время бредила. Повезли в экстренном поезде в Тамбов. Поезд идет тихо. Холодно, темно. Грубая ругань Аврамова висела в воздухе. Он страшно ругает меня. Чувствуется дыхание смерти. Даже казакам жутко, «Пой, ребята, что вы приуныли, пой, чтобы эти сволочи подошли при нашем веселии!» Гиканье и свист. Страсти разгораются, сверкают глаза и зубы, песня отвратительна. Брежу: воды — воды нет. Офицер ушел со мной во 2-й класс. Он пьян и ласков, руки обнимают меня, расстегивают, пьяные губы шепчут гадко: «Какая атласная грудь, какое изящное тело...» Нет сил бороться, нет сил оттолкнуть. Голоса не хватает, да и бесполезно. Разбила бы голову, да не обо что. Да и не даст озверелый негодяй. Сильным размахом сапога он ударяет меня на сжатые ноги, чтобы обессилить их, зову пристава, который спит. Офицер, склонившись ко мне и лаская мой подбородок, нежно шепчет мне: «Почему вы так скрежете зубами, — вы сломите ваши маленькие зубки».

Не спала всю ночь, опасаясь окончательного насилия. Днем предлагает водки, шоколаду; когда все



уходят, ласкает. Пред Тамбовом заснула на час. Проснулась, потому что рука офицера была уже на мне. Вез в тюрьму и говорил: «Вот я вас обнимаю». В Тамбове бред и сильно больна.

Показания следующие: 1) Да, хотела убить Луженовского по предварительному соглашению и т. д. 2) По постановлению Тамбовского комитета партии социалистов-революционеров за преступное засекание и безмерное истязание крестьян во время аграрных и политических беспорядков и после них в тех уездах, где был Луженовский, за разбойничьи похождения Луженовского в Борисоглебске в качестве начальника охраны; за организацию черной сотни в Тамбове и как ответ на введение военного положения и чрезвычайной и усиленной охраны в Тамбове и других уездах Тамбовским комитетом партии социалистов-революционеров был вынесен приговор Луженовскому; в полном согласии с этим приговором и в полном сознании своего поступка я взялась за выполнение этого приговора.

Следствие кончено, до сих пор сильно больна, часто брежу. Если убьют, умру спокойно и с хорошим чувством в душе».

Письмо это не могло не вызвать всеобщего крика негодования, и ужаса, и в газету «Русь», где оно появилось, градом посыпались письма с разных сторон, в которых авторы их — между них много женщин и девушек, — протестуя против допущенных по отношению к ней насилий и зверств, требуют «публичного и гласного» суда над насильниками — казачьим офицером Аврамовым и приставом Ждановым.

Суд приговорил М. А. Спиридонову к повешению, но постановил ходатайствовать перед командую-

щим Московским военным округом о замене ей этого наказания, что и было впоследствии сделано, ссылкой на каторжные работы».

Левые эсеры были единственной партией, с которой большевики разделили после Октябрьского переворота власть и создали правительственную коалицию. Ленин отмечал «громадную преданность революции, обнаруженную целым рядом членов этой партии, которые проявляли всегда очень много инициативы и энергии».

К июню 1918 года в отношениях между партиями большевиков и левых эсеров назрел кризис.

В мае 1918 года Советским правительством были приняты законы о продовольственной диктатуре и комитетах бедноты.

Народному комиссариату продовольствия, который возглавлял А. Д. Цюрюпа, предоставлялись чрезвычайные полномочия для закупки хлеба у крестьян. Изъятием хлеба у крестьян занимались «продовольственные отряды», созданные из городских рабочих.

В стране был голод. Большевики стремились справиться с продовольственным кризисом за счет крестьян. Хлеб закупался по «твердым» ценам.

Непопулярные методы, использованные большевиками в деревне, отозвались эхом крестьянских восстаний.

Левые эсеры не поддерживали репрессивных мер, проводимых большевиками в деревне. Левые эсеры выступали за гибкую политику цен на сельскохозяйственные продукты. Влияние партии левых эсеров росло. Эта партия могла бороться за голоса избирателей, оппонировать большевикам во ВЦИК и на съездах Советов.

Выступая на V съезде Советов, Ленин заявил: «Тысячу раз будет неправ тот, тысячу раз ошибается тот, кто позволит себе хоть на минуту увлечься чужими словами и сказать, что это борьба с крестьянством, как говорят иногда неосторожные или невдумчивые из левых эсеров. Нет, это борьба с ничтожным меньшинством деревенских кулаков».

Левые эсеры выступали против заключения мира с Германией. Весной 1918 года в знак протеста против подписания Брестского мира левые эсеры вышли из состава Советского правительства.

С целью срыва заключения сепаратного мира с Германией ЦК левых эсеров вынес свое решение — смертный приговор немецкому послу графу Вильгельму Мирбаху.

Совершив террористический акт, эсеры скрылись в особняке в Трехсвятительском переулке, у Покровских ворот, где размещался штаб одного из отрядов ВЧК, которым командовал Попов.

Председатель ВЧК Дзержинский прибыл в отряд Попова, чтобы арестовать террористов, но был сам арестован вместе с сопровождающими его чекистами.

Вслед за арестом председателя ВЧК эсеры арестовали председателя Моссовета Смидовича, захватили здание ВЧК на Лубянке, 11 и арестовали находившихся там чекистов-большевиков. Сделать это было нетрудно — охрану здания нес отряд чекистов-эсеров.

Из членов коллегии ВЧК удалось захватить только Лациса, все остальные находились в Большом театре на V съезде Советов.

Пока шел съезд, левые эсеры захватили Главный почтамт и разослали по всей стране телеграммы о захвате власти, дали несколько оружейных

выстрелов по Кремлю и отправили делегацию на съезд.

Узнав об аресте Дзержинского, Ленин заявил, что если хоть один волос упадет с его головы, то левые эсеры заплатят за это «тысячью своих голов». Немедленно была арестована вся левоэсеровская фракция съезда вместе с ее лидером — Марией Спиридоновой. В районах Москвы были мобилизованы большевистские рабочие отряды.

Мятеж левых эсеров был ликвидирован 7 июля 1918 года.

В книге Д. Л. Голикова «Крушение антисоветского подполья в СССР» читаем: «Некоторые группы партии левых эсеров работали в 1920—1921 гг. легально. Лидер партии левых эсеров М. А. Спиридонова, которая по приговору Московского революционного трибунала 24 февраля 1919 года была изолирована от политической и общественной деятельности сроком на один год, по указанию В. И. Ленина была помещена в Кремле. Ей предоставили здесь две комнаты для проживания, она получала питание из кухни Совнаркома, вела оживленную переписку, пользовалась литературой. Но 20 апреля 1919 года она бежала, перешла на нелегальное положение и продолжала антисоветскую работу.

20 октября 1920 г. Спиридонова вновь была задержана. Теперь ее уже поместили в тюрьму, а затем, ввиду болезненного состояния, в больницу. 13 сентября 1921 г.

Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение освободить Спиридонову из-под стражи, о чем было дано указание ВЧК. 18 сентября Спиридонову освободили под поручительство председателя центрального организационного бюро партии левых эсеров

(легальных) И. З. Штейнберга и секретаря того же бюро Ю. И. Баккала.

В 1923 году Спиридонова пыталась бежать за границу, но была задержана и осуждена на три года ссылки. Отбыв наказание, отошла от политической деятельности».

Прошло совсем немного времени, и, несмотря на «отход от политической деятельности», Спиридонова оказалась в сталинских застенках. От выстрела в Борисоглебске до расстрела в Орле, от эсеровской террористки до лидера крупной политической партии, от члена высших органов власти до жертвы сталинских репрессий — таков жизненный путь Марии Александровны Спиридоновой, оборвавшийся в 1941.

## ЗАБЫТЫЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ

Год 1898 — первая ссылка Дзержинского. Начальник ковенской тюрьмы Набоков объявил Феликсу о том, что «государь император высочайше повелеть соизволил» выслать его под гласный надзор полиции на три года в Вятскую губернию.

Ссылчных везли на пароходе. Среди других политических Дзержинский был самым молодым и одиноким. Во время прогулок по палубе он познакомился с молодой и симпатичной женщиной — Маргаритой Федоровной Николевой. Они ловили каждую минуту, чтобы быть вместе. Маргарита помогла Феликсу выдержать этап и благополучно добраться до Вятки. Там ее передали под гласный надзор полиции и разрешили свободно передвигаться по городу. Феликса посадили в тюрьму.

Николевой определили местом ссылки уездный городок Нолинск, и она при очередном свидании посоветовала Дзержинскому проситься туда же, чтобы быть вместе.

Расконвоированную Николеву отправили в Нолинск первой, а Феликс остался в Вятке ждать решения губернатора Клингенберга. Губернатор принял его, долго беседовал и удовлетворил его ходатайство.

Пароходик, на котором должны были отправить Дзержинского в Нолинск, застрял где-то из-за мел-

ководья. И тогда он вновь обратился к губернатору с прошением расконвоировать его и разрешить отправиться в Нолинск за свой счет, без конвоя, и это было ему разрешено.

Маргарита встречала пароходик с Дзержинским на пристани Нолинска. На виду у всего населения городка, высыпавшего на берег, она бросилась к Феликсу. И тут же сообщила ему, что с жильем уже все уладила — жить они будут в одном доме.

Нолинск. Все здесь чужое. И природа, и дома, и люди.

Приспособиться к новой жизни было трудно. Феликс отводил душу в письмах к Альдоне, в которых, однако, ни словом не упоминал о Николевой.

«...Дорога была чрезвычайно «приятная», — писал он, — если считать приятными блох, клопов, вшей и т. п. По Оке, Волге, Каме и Вятке я плыл пароходом. Неудобная это дорога. Заперли нас в так называемый «трюм», как сельдей в бочке. Недостаток света, воздуха и вентиляции вызывал такую духоту, что, несмотря на наш костюм Адама, мы чувствовали себя как в хорошей бане. Мы имели в достатке также и массу других удовольствий в этом духе...»

Когда Альдона вновь и вновь перечитывала эти строки, написанные таким знакомым ей мелким, угловатым почерком, она ясно представляла себе, какие физические и моральные муки пришлось пережить Феликсу.

«Я нахожусь теперь в Нолинске, где должен пробыть три года, если меня не возьмут в солдаты и не сошлют служить в Сибирь на китайскую границу, на реку Амур или еще куда-либо. Работу найти здесь почти невозможно, если не считать здешней маховочной фабрики, на которой можно заработать рублей 7 в месяц».

«Костюм Адама?», «Вши?», «Нолинск, Нолинск!» — Альдона с трудом разыскала его на карте.

«Население здесь едва достигает 5 тысяч жителей, — продолжала она читать. — Несколько ссыльных из Москвы и Питера, значит, есть с кем поболтать, однако беда в том, что мне противная болтовня, а работать так, чтобы чувствовать, что живешь, живешь не бесполезно, здесь негде и не над кем».

Маргарита была старше Феликса на три года. Она родилась в семье сельского священника из села Безлесное Балашовского уезда Саратовской губернии. Отец ей дал хорошее домашнее воспитание, он был образованным и терпимым человеком. Маргарите удалось поступить на Бестужевские курсы в Петербурге. Это был питомник бунтарских идей и женского свободомыслия. Маргарита была дружна с семьей Короленко. А красота и ум открыли ей доступ в среду молодых марксистов. Ее арестовали на третьем году обучения.

В Нолинске Феликс и Маргарита были постоянно вместе. Жить было сложно, хотя ссыльному Дзержинскому и ссыльной Николевой выдавалось по одному рублю пятьдесят копеек в месяц на питание и по четыре рубля на жилье. Они объединили свои финансы и кое-как перебивались.

В дневнике Дзержинский обозначал свою возлюбленную одной большой буквой «М»: «Как это М. может со мной дружить? Разве я такой ловкий актер? Мне кажется, что рано или поздно мы не то что поспоримся, а она, узнав меня, прямо прогонит меня. Так должно случиться. А теперь для нас полезно не рвать своих товарищеских отношений».

Маргарита заставила его прочитать «Капитал», труды английского философа Стюарта Милля, про-



изведения российских демократов. Они вместе читали «Фауста» Гете.

Дзержинский выделялся среди ссыльных. Он был одет в темный, сильно поношенный костюм, рубашку с мягким отложным воротничком, бархатный шнурок повязан вместо галстука. Дом, где жили Феликс и Николева, был своеобразным центром ссыльных.

Так повелось: кто оказывался при деньгах, приносил к Николевой фунт дешевой колбасы, связку баранок или кулек конфет. Бывало, что какой-нибудь «богач» с гордым видом вытаскивал из кармана и бутылку вина. Но так как никто этих приношений заранее не заказывал, то иногда получалось, что не хватало заварки или сахару. А без хорошего чая и вечер не вечер.

Все уже расселись, когда в дверях появился молодой человек. Его воспаленные глаза щурились от света лампы.

— Господа, позвольте представить вам нашего товарища: Феликса Эдмундовича Дзержинского, — говорила Николева вновь прибывшим, усаживая Феликса рядом с собой.

Все, кто впервые видел Дзержинского, обращали внимание на его глаза.

— Что с вашими глазами?

— Проклятая грязь, — отвечал Феликс, — профессиональная болезнь табачников. Глаза чешутся от табачной пыли, рабочие трут их грязными руками. И вот результат: большинство рабочих нашей фабрики больны трахомой. Я тоже.

— Бог знает что вы говорите. Зачем же вы пошли на эту фабрику?

— Ну, во-первых, надо где-то хлеб зарабатывать,

а вы знаете, что в Нолинске найти работу трудно, а во-вторых, там я среди рабочих и могу хоть чем-нибудь быть им полезен.

В жизни политических ссыльных всегда было место для эротики. Лучшая подруга Николевой Катя Дьяконова уже здесь, в ссылке, вышла замуж за социал-демократа, родила ребенка. У политических хватало свободного времени.

В 1933 году в Варшаве была издана книга «Красный палач», посвященная Дзержинскому. В ней дается иная версия событий. Ошибочная и возмутительная. Автор утверждает, что Николаева была вдовой, сосланной в Сибирь за участие в деятельности религиозной секты, запрещенной в России. Кроме того, автор неправильно воспроизводит фамилию возлюбленной Феликса, называя ее Николаевой. В книге «Красный палач» утверждается, что ссыльные Лебедев, Якшин, Дзержинский и Николева готовили покушение на губернатора Клингенберга, который должен был посетить Нолинск. Стрелять должен был Дзержинский. Неожиданно перед самым приездом губернатора Дзержинского без видимых причин сослали вместе с Якшиным в село Кайгородское. Покушение провалилось. Феликс был в отчаянии. Причину провала автор видит в том, что планы ссыльных выдала Николева. Кроме того, в книге можно прочитать о том, что Николева состояла в интимных отношениях не только с Дзержинским, но и с исправником, а также и с самим губернатором. Дзержинский, узнав обо всем этом, якобы был даже удовлетворен: он был уверен, что Николева любит только его, кроме того, если бы он убил губернатора, его бы повесили.

Такая версия событий в Нолинске представляется мне надуманной. Во-первых, в маленьком город-

ке Нолинске нельзя было утаить связь с жандармом или исправником, не говоря уже о губернаторе. Женщина, имеющая такие связи, не могла пользоваться доверием политических ссыльных. Во-вторых, слишком большой диапазон приемлемости — от ссыльного до губернатора. Тем более что губернатор находился в Вятке. В-третьих, все сведения про Николеву — ошибочные. Автор не имел достаточной информации. А самое главное, я в этом уверена, такая нимфоманка и провокаторша (если бы Николева была таковой) не сумела бы дожить в Советском Союзе до 1957 года. Она бы не пережила Феликса на 31 год, не настолько мягкое у него было сердце.

Из Нолинска Дзержинского отправили в село Кайгородское. В селе Кайгородское Феликс не забыл Николеву.

Из письма от 10 января 1899 года: «Вчера сюда приходила почта, я так надеялся, что получу от Вас письмо, и не получил. Вот уже прошло около трех недель. Но я сам ведь виноват, что не написал на Слободское. Вы обещали мне писать, получив уже мое. Я отправил отсюда первое — 28 декабря. В Слободское оно пришло 2 января, а к Вам — около 5-го. Завтра оно непременно должно быть. Так хочется знать, что с Вами, что слышно, как чувствуете себя, успешно ли идут занятия? Одним словом, как вам живется.

Село здесь немалое, будет до ста дворов. Лежит в яме, так что только после того, как подъедешь к нему вплотную, становится видным. Лес тянется с двух сторон, версты две от села. Большой лес подальше. Как хорошо шляться по нему, зимой только по дороге. В нем вырубили только лучшие деревья. Кругом же Кая все болота. Теперь это ничего, но летом, с

конца мая до половины июля, масса комаров, прямо миллиарды, как говорят, придется маяться порядочно, чтобы привыкнуть к ним, надо будет ходить в сетках. Зато весной, говорят, можно охотиться на уток, лебедей, хотя последних, по суеверию, здесь не стреляют. Полагают, что кто-нибудь подохнет в хозяйстве или помрет в семье того, кто убил. Но, может быть, окажется то же, что с медведями и волками. А все-таки жаль, не придется испытать сильных ощущений.

Встретили мы сегодня похороны — сразу четырех хоронили. Везли их на худеньких лошадях, в саниках, на гробах сидели мужик, — покойников везли из церкви. Сзади ехали на других санях провожающие родные. Попа не было. Встретили мы его катающимся с дьяконами. Народу было совсем мало, и не получилось впечатления, что это везут люди своих матерей и родных хоронить. Мы провожали их. Ямы не были еще вырыты — земля замерзла почти на два аршина. Поднялась ругань, что не приготовили работники вовремя. Не было ни слез, ни жалоб на жизнь свою. Воспользовавшись минутой, мы спросили их, почему нет попа? «Да где нам, — ответили они, — платить по десять рублей...» И действительно, поп здешний совсем разоряет народ. За свадьбу берет не меньше пятнадцати рублей, да еще тридцать аршин холста, водку, табаку, крендели. За отпевание — два—пять рублей, за крестины — один рубль. Дерет, один словом, неимоверно. Жаловались не раз уж на него, да ничего не выходит. Стал еще больше драть. Никто, абсолютно никто не уважает здешнего попа — пьяница прегорький, деньги всегда вперед берет.

Наконец опустили гроб. Стали засыпать землей — никто и теперь не заплакал, не застонал, не заохал. А

у нас обыкновенно чуть не в истерику падают наши чувствительные люди, когда засыпают землей. Нет здесь того пошлого притворства казаться лучше и чувствительнее, без которого у нас и шагу не ступить...

Зарывши могилу все... уселись на ней (некоторые, конечно, из-за недостатка места стояли около нее) и начали поминать умерших. Здешний напиток — брагу варят из ржи... Эта брага хмельная, вот и стали угощаться ею, закусывали блинами да рыбой. Должно быть, еще от язычества сохранился этот обычай. Звали всех, кто только был, да мы отказались... Более зажиточные ханжи приходят к нам и давай говорить, что православная вера — единственная верная, да православные что-то не стараются, что вера падает, что «не поступаем мы по евангелию. Ох!.. Народ мы темный, грехи наши тяжкие!» Надоели порядочно этим причитанием. Дали мы раз острастку, чтобы не жаловались нам...

Здесь и инструменты-то употребляются еще первобытные, например вместо кос — какое-то косули коротенькие, сохи вместо плугов, и как земство ни бьется, ничего поделать скоро нельзя, а все вводится понемногу, а что будет, когда всюду введется? Есть польская поговорка: «Пока солнце взойдет, роса глаза выест». Так и тут. Например, взять бани здешние! Черные, грязные, негде раздеваться, низенькие — жалеют дрова, а лес за бесценок под рукой, да и свой есть. И как им не толкуй — усмеваются да и только. Белоручкам, думают, не нравится. В таких банях ревматизм можно схватить, а простудиться того легче, да и вымыться порядком нельзя, а они говорят, что для них и так хорошо, что деды их так мылись».

Через месяц Дзержинский напишет Николевой:

«Я боюсь за себя. Не знаю, что это со мной делается. Я стал злее, раздражителен до безобразия». Далее были и такие строки: «Кай — это такая берлога, что минутами невозможно устоять не только против тоски, но даже и отчаяния...»

Николева стала просить разрешение для поездки в село Кайгородское.

Разрешение было получено только в июне, и Николева, нагруженная книгами, журналами, письмами и всякой снедью, отправилась в дальний путь.

В августе 1899 года Дзержинский совершил свой первый успешный побег из ссылки.

Николева отбыла свой сок до конца, до последнего дня. Она возвратилась в Россию, отошла от революционной борьбы, преподавала литературу в школе, жила в Ленинграде. Когда пришлось эвакуироваться из осажденного Ленинграда, она выбрала Пятигорск, там работала научным сотрудником в музее «Домик М. Ю. Лермонтова». Написала книгу «Михаил Юрьевич Лермонтов — жизнь и творчество», изданную в 1956 году.

Маргарита Николева умерла в 1957 на 84-м году жизни. После ее смерти нашли шкатулку с письмами от Дзержинского. Она не оставила ни воспоминаний, ни публикаций о Феликсе. Она молчала.

25 апреля судебная палата приговорила Феликса к лишению всех прав и ссылке в Сибирь на вечное поселение. В середине ноября 1909 года ссыльнопоселенец села Тасеевского Феликс Дзержинский скрылся в неизвестном направлении. В конце декабря 1909 года он благополучно добрался до Берлина. Как и восемь лет назад, после побега, так и сейчас Роза Люксембург настояла на лечении, а Мархлевский сказал:

— Поезжай-ка, Феликс, на Капри. Лучшего зимнего курорта в Европе не найдешь; не зря же сам Горький там обосновался.

В тот период Феликс мало писал друзьям по партии, тем более о делах. Его основной адресаткой стала Сабина Фанштейн.

Феликс написал ей из Берлина, из Цюриха, с Капри... Сабина жила в крохотной швейцарской деревеньке Лиизе, около Цюриха. Еще из Берлина Феликс послал Сабине открытку. Она ответила, и переписка, прерванная тюрьмой, ссылкой, просто временем, которое прошло с тех пор, как они познакомились, возобновилась.

В письмах Феликс называл Сабину своей госпожой — Пани и неизменно писал это слово с прописной буквы. Делился с нею мыслями, впечатлениями, всем, что сотворяет духовный мир человека. Так доверительно и откровенно пишут лишь в дневнике, зная, что он не попадет в чужие руки, да женщине, с которой связывает большая дружба.

### *Письмо первое:*

«Час назад был у врача Миакалиса. профессор сам болен чахоткой. А я совершенно здоров! Только истощение, я похудел и измучен. Анализ ничего не показал. Советовал поехать в Рапалло, но не возражает и против Кардоны. Речь идет только о покое, о регулярном образе жизни, о питании. Я уеду завтра или послезавтра, самое позднее. Поеду через Швейцарию, посетю мою Пани (можно?). Заеду на день-два в Цюрих.

Я еще не решил, куда мне ехать. Решу по дороге. Меня влечет море. Мне кажется, когда я его увижу, забуду обо всем, найду новые силы. Как во сне, все

сейчас переплелось — Десятый павильон, дорога, товарищи. Потом изгнание, кладбищенская тишина лесов, покрытых снегом. Обратный путь. Сестра и ее дети...

Потом снова товарищи давние. Они ждали меня...»

### ***Письмо второе:***

«В пути. Берлин — Цюрих. Я уже еду, а куда — сам не знаю. Со вчерашней ночи ношусь с мыслью о Капри. Опасаюсь ехать в Рапалло. Там нет никого, кто бы дал совет, как подешевле устроиться. Я написал вчера в Париж, чтобы мне дали какой-то адрес на Капри. Ответа буду ждать в Цюрихе. Впрочем, не знаю, может, лучше бы остаться в Швейцарии. В Цюрихе буду ждать писем, решу в последний момент. Хотел бы заглянуть к моей Пани, если она не возражает против этого — прошу написать мне несколько слов. Роза Люксембург советовала мне ехать в Мадерне. Она жила там за шесть-семь франков в день, но для меня это дорого.

Довольно об этом. Еду на Капри! Будет море и голубое итальянское небо».

### ***Письмо третье:***

«Цюрих.

Поздняя ночь. Сажу у знакомого, который называется Верный. Он такой и есть на самом деле. Он мягок, как женщина, тонкий, молодой и полон энтузиазма. Мучения последнего времени словно бы совершенно его не коснулись.

Только что вернулись домой из лесу в Цюрихсберге. Было весело. Видели Альпы, горы, озеро и го-



род внизу при заходе солнца. Блеск пурпура вечерней зари, потом ночь, туман, встающий над долинами. Спутники понравились мне своим юношеским задором. Не было речи ни о мучениях, ни об отсутствии сил, чтобы жить. Каждый готов выполнять свое предназначение.

Утром получил письмо. Признаюсь, не ждал такого ответа. Что-то подсказывало мне — увижу мою Пани. Ну что ж, раз так — не поеду. Двинусь прямо к морю...»

### *Письмо четвертое:*

«В дороге.

Что за прелесть — какая чудесная дорога! Каждое мгновение открывается что-то новое — прекрасные виды, все новые краски. Озера, зелень спящих лугов, серебристый блеск снега, леса, сады. Вытянувшиеся ветви обнаженных деревьев, снова скалы, горы. И вдруг — тоннель, словно бы затмение, для того чтобы поддержать в напряжении, в ожидании нового подарка. Без конца слежу за всем и все впитываю в себя. Хочу все видеть, забрать в свою душу. Если сейчас не впитаю величия этих скал и этого озера, не возьму, не перейму их красоту, — никогда уж не вернется моя весна.

Еду один. Временами принять этого не могу. Охватывает смятение. Нет, нет! Весна вернется!.. О весне мне говорят горы, озера, скалы, зеленые луга. Вернется весна, вернется! Зацветут долины и холмы, и благодарственная песня вознесется к небу, и осанна достигнет сердец наших. Достигнет!

Дорога вьется змейкой по склонам гор, над долинами, над озерами и уносит меня в страну чудес. Я еду на Капри. Получил письмо от Горького. На один день задержусь в Милане. Оттуда напишу».

### ***Письмо пятое:***

«Болонья — Рим.

Я видел заход солнца, оно ложилось спать. Я видел краски неба, которые словно всегда предчувствовал, по которым тосковал, но которых не видел в реальности. Глубокая голубизна неба была наполнена серебром, пурпуром, золотом. И облака, плывущие издалека, и горы, укутанные фиолетом. А где-то вдали — совершенно необозримая плоская Ломбардская долина, сбегающая к Адриатике.

И снова я думал о тебе, мечтал о том, чтобы совершилось чудо. Хочу освободить дремлющие во мне силы. Потому и бегу я к солнцу, к морю.

Если бы ты могла прислать мне, хотя бы на время, свою фотографию...»

### ***Письмо шестое:***

«Рим.

Сажу в ресторане на веранде. Передо мной Вечный город. Его холмы, развалины. Столько цветущих деревьев, столько тепла, зелени! Не верится, что это зима, что это не сон. А небо такое ласковое, такой покой всюду. Там, внизу, европейское кладбище — такие елки, кипарисы. Меня очаровала моя сказка, которую, может быть, я сам придумал, и я хочу так мечтать без конца».

### ***Письмо седьмое:***

«Капри.

Я пишу сейчас только открытку. Здесь настолько красиво, что кажется невероятным то, что я здесь задержался, что у меня есть здесь собственная комна-

та, что я могу без конца смотреть на море и скалы. Что они — моя собственность! Мои на целую вечность — на месяц. Целые сутки я был у Горького. Разве это не сон?! Обычно представлял его издали, а теперь видел вблизи. Сейчас думал о его первых произведениях...

Может быть, хорошо, что я не остался в Швейцарии. Быть может, оставаться вечным странником в погоне за мечтой и есть мое предназначение. Быть может, здесь, в общении с неодолимо влекущим меня морем, я сумею возродить свои силы.

У меня комната с большим балконом, с чудесным видом на море в обрамлении двух гигантских скал. Я питаюсь в приличном ресторане — обед и ужин. На завтрак — молоко и фрукты. Все это у меня есть. Пока здесь довольно холодно. Идет дождь, но скоро все это изменится, выйдет солнце».

### ***Письмо восьмое:***

«Капри.

Я сижу, гляжу на море, слушаю ветер, и все глубже пронизывает меня чувство бессилия, и грусть все больше въедается в мою душу: горестные мысли — что любовь моя ни тебе, ни мне не нужна. Сейчас ты такая далекая и чужая, как это море — постоянно новое и неизведанное, любимое и неуловимое. Я люблю, и я здесь один. Сегодня я не способен высказывать свои чувства, хотя любовь переполняет всю мою душу, все ее уголки. Жажда твоей любви сама материализуется в чувство, которого ты не можешь мне дать.

Что мне делать? Прекратить борьбу, отречься, поставить крест на любви, устремить всю мою волю в другом направлении? Уйти совершенно я не хочу.

А словам любви не разрешу больше подступать к горлу. Буду писать о том, как живу, что делаю. Хочу и от тебя, хоть временами, получать словечко, известие, что ты есть, что ты улыбаешься».

### ***Письмо девятое:***

«Капри.

Прекрасное море, как в волшебной сказке, которую слышал когда-то в детские годы... Многоэтажные нависающие скалы недвижимо стоят на страже, а рядом с ними постоянно живет море... Постоянно изменяются его краски и настроение, и мелодичная нежная музыка моря превращается в бешено пенящиеся проклятья. Оно постоянно другое, постоянно влечет. Я каждый день прихожу в изумление, будто вижу его в первый раз. Не могу ни понять, ни узнать его. Оно встает предо мной, как вечная тайна, как моя собственная жизнь, как та, которую люблю и которая не моя...

До сих пор не могу ни понять, ни осознать моря. Его нельзя ни понять, ни похитить. И ты — как это море, переменчивое и неразгаданное, волнующее, как святыня. Я чувствую красоту моря и его грозы, стремлюсь к красоте этой, хочу жить ею...

Но стоп... Я чувствую на себе кандалы, которые заставляют меня молчать. А я должен бы громко кричать, что эти самые кандалы отравляют радость, отнимают у глаз наших силу и возможность воспринимать красоту. Вспомни — когда-то мы возвращались с тобой из Отцовска, от твоего дяди. Я глядел в твои глаза и, может быть, ревновал. Мы стояли у окна вагона и смотрели в летнее ночное небо. Так и сегодня я говорю: кто видит небо, кто видит море, не может не любить. Для собственного

счастья человек должен видеть других свободными.

Я писал тебе, что познакомился здесь с Горьким. Пришел к нему с большой любовью за то, что он умеет зажигать людей, умеет высекать из себя искры, которые велят ему слагать песни могущества и красоты жизни. Я хотел выразить ему любовь мою, хотел, чтобы он ее почувствовал, но не сумел сблизиться.

Прихожу к нему накоротке и ухожу от него с какой-то грустью. Как далеко от привычной жизни должен он сейчас жить. Ему, вероятно, плохо от этого ощущения...

Сейчас читаю его «Исповедь». Она напоминает мне старые вещи и очень нравится. Вообще, читаю мало, отрываюсь от книги, чтобы посмотреть на море. Много хожу, лазаю по скалам. Голова не кружится, когда гляжу в пропасть. И только ночью я падаю, падаю... Тогда становится страшно. А в общем-то поправляюсь — восстанавливаю силы».

### *Письмо десятое:*

«Капри.

Здесь я познакомился с молодым польским поэтом... Стихоплет без поэзии в душе... Чтобы не потерять ничего «от своей индивидуальности», он ничего не читает и ничему не учится. Представляю себе его произведения.

Когда моя Пани возвращается? Где я могу ее встретить? На обратном пути хочу задержаться в Риме на день-два. И в Генуе. Может быть, еще в Медилолане, чтобы бросить последний взор на чудеса Италии.

Посылаю свою фотографию, сделанную Франей

в Цюрихе. Решетка, на которую я опираюсь, это символ: вечный странник, для которого самое подходящее место за решеткой... Моя улыбка — это, может быть, радость от разрешенной загадки. Радость и страдание, вечная борьба, движение — это и есть диалектика жизни, сама жизнь. Сейчас я настроен не только философски. Чувствую огромный прилив жизненной энергии.

Уже ночь. Тихо. Сквозь открытое окно слышу неустанный шум моря, словно отдаленный топот шагающих людей. И снова слышу голос в душе — что с ними, с этими людьми, я должен идти на долю и недолю.

Когда я вижу Горького, то приписываю и ему то, что болит у меня самого. И этими мучениями я должен поделиться с тобой, как и всем тем, чем живу.

Получил от Кубы письмо. Очень хорошее, сердечное. Мне снова приходит мысль, что он так же, как моя Пани, как многие иные, ценит меня за мою искренность, за то, что делает меня похожим на ребенка. Знаю, что не могу быть твоим сказочным принцем. А может быть, тебе подойдет Куба? Готов на все, лишь бы ты была счастлива. Но ты и его не любишь...

Отсюда поеду в Нерви. Говорят, там необычайно буйная растительность. Есть там товарищ, у которого хочу узнать некоторые подробности того, что было после моего отъезда из «Замка» — тюрьмы. Все это так и не уходит из моего сердца».

### ***Письмо одиннадцатое:***

«И вот я уже не один — с Горьким. Наступило какое-то мгновение, разрушившее то, что нас раз-

деляло. Не заметил, когда это случилось. Из общения с Горьким, из того, что вижу его, слышу, много приобретаю. Вхожу в его, новый для меня, мир. Он для меня как бы продолжение моря, продолжение сказки, которая мне снится. Какая в нем силища! Нет мысли, которая не занимала бы, которая не захватывала бы его. Даже когда он касается каких-то отвлеченных понятий, обязательно заговорит о человеке, о красоте жизни. В словах его слышна тоска. Видно, как мучит его болезнь и окружающая его опека.

Позавчера были на горе Тиберио, видели, как танцевали тарантеллу. Каролина и Энрико исполнили свадебный танец. Они без слов излили мне историю их любви. Не хватает слов, чтобы передать то, что я пережил. Какое величайшее искусство! Гимн любви, борьбы, тоски, неуверенности и счастья... Танец длился мгновения, но он и сейчас продолжает жить во мне, я до сих пор вижу и ощущаю его. Смотрел, зачарованный, на святыню великого божества любви и красоты. Танцевали они не ради денег, но ради дружбы с тем, гостем которого я был. Ради Горького. И в свой танец они вложили столько любви!

Потом Каролина говорила, что готова разорвать на куски тех, кого они должны развлекать танцами, чтобы заработать немного денег. А Энрико через переводчика все убеждал меня: Христа замучили потому, что он был социалистом, а ксендзы — сплошные пиявки и жулики...

А два дня назад я сидел над кипой бумаг, разбирался в непристойных действиях людей, приносящих нам вред. В делах провокаторов, проникших к нам. Как крот, я копался в этой груде и сделал свои выводы. Отвратительно подло предавать то-

варищей! Они предают, и с этим должно быть покончено.

Ночь уже поздняя. Сириус, как живой бриллиант, светит напротив моего окна. Тишина. Даже моря сегодня не слышно. Все спит и во сне вспоминает о карнавале. Вечером было столько музыки, смеха, пения, масок, ярких костюмов. Если бы ты была здесь, если бы мы могли вместе пережить эти дивные мгновенья, отравленные моим одиночеством!..»

### *Письмо двенадцатое:*

«Капри. Утром пришло письмо от Пани, и весь день хожу радостный. Увидел новую прелесть моря, неба, скал и деревьев, детей, итальянской земли... В душе пропел тебе благодарственный гимн за слова твои, за боль и муку твою, за то, что ты такая, какая есть, что ты существуешь, за то, что ты так мне нужна. Мне всегда казалось, что я тебя знаю, понимаю твою языческую душу, страстно желающую наслаждения и радости. Ты внешне тихая и ласковая, как это море, тихое и глубокое, привлекающее к себе вечной загадкой. Море само не знает, чем оно является, — небом ли, которое отражает золотистые волны, звездой ли, горящей чистым светом, или солнцем, которое сжигает и ослепляет. Или оно — отражение той прибрежной скалы, застывшей и неподвижной. Но море отражает жизнь. Оно само мучится всеми болями и страданиями земли, разбивает грудь свою о скалы и никак не может себя найти, не может познать, потому что не в силах не быть самим собой. Вот такая и ты...

Я хочу быть хоть маленьким поэтом для тех, которым жажду добыть луч красоты и добра».



### ***Письмо тринадцатое:***

«Капри.

Ужасно не люблю, не переносу трагедий, которые мне чужды.

Потому что, пока живу, ощущаю лживость трагедий. Больше всяких мучений, всякой боли боюсь неправды. Неправда убивает в нас смысл жизни и человеческую тоску. Я знаю, что ужасно трудно сказать правду. Ежедневно она кажется другой, и понять ее раз и навсегда невозможно.

Я провел последние минуты у Горьких. Принес им цветы... Мне было хорошо. Я не думал о том, что уезжаю, радовался тому, что слышу, вижу, тому, что я не чужой для них».

### ***Письмо четырнадцатое:***

«Неаполь.

Сажу в кафе. Только что приехал, а поезд отправляется дальше только вечером. Погода неважная, и, может быть, поэтому мне грустно. Жалко расставаться с островом. Я прощался с ним, пока он не исчез в тумане. Хорошо мне было там с Горьким. Как-то я с ним сжился, подружился. Прощался с ними весело. Красный домик удалялся, пока не исчез в дымке. Мне сделалось грустно. Пожалуй, уж никогда не вернутся золотые минуты, которые я там провел.

Две последние ночи Сириус опять не давал мне заснуть. Он все разгорался и гас, чтобы снова засверкать еще более сильным блеском...

Пришла в голову мысль — в апреле поехать в Польшу. Там обязательно нужен кто-то подходящий. Не знаю, почему Сириус натолкнул меня на эту

мысль, и вдруг все прояснилось во мне. Я хочу жить, хочу действовать, хочу проявить свой порыв в деле. Мою любовь и чувство красоты, которое увожу с Капри, от Горького, хочу превратить в деяния. Мне немножко грустно, но я радуюсь, что возвращаюсь к работе, к повседневной жизни.

У меня есть опасение, что мои товарищи слишком сентиментальны, что они захотят навязать мне покой, ненужный и бесполезный. А ведь мои мысли — не результат смятенья, это — служение Делу...

Снова пишу. Несколько часов бродил по Неаполю. Осматривал какие-то удивительные деревья с неизвестными мне именами. Они похожи на часовни, оплетенные гирляндами. Осматривал витрины магазинов, дорогие камни с яркой игрой красок, флорентийские изделия из этрусской глины, золотые, серебряные украшения. Все вызывает мое восхищение, приковывает взор. Италия — это прекрасная, чудесная страна.

Итальянцы вообще мне очень нравятся своей живостью, веселым нравом. На улицах полно детей, полно шума, смеха, плач, пение, улыбки, по которым можно узнать душу народа — простую, искреннюю, сердечную. Мы объяснялись исключительно улыбками, и нам было хорошо. В них есть что-то от неба и моря, от цветов и садов, среди которых они живут, хотя они грязные, крикливые и ужасно бедные».

### ***Письмо пятнадцатое:***

«Неаполь—Рим. Вчера был в Лазурном гроте. Поехал с немцами, с которыми познакомился в ресторане и последнее время вместе с ними странствовал. Хотели поехать утром, но кто-то сказал, что после

обеда освещение в гроте красивее. Мы поехали. К сожалению, хозяин лодки сказал, что надо было поехать как раз утром. Но откладывать нельзя было — через день я уже уезжал. Хотел быть в гроте и посмотреть на чудеса. Море было беспокойно. Я смотрел на величественные скалы, нависшие над нами, ласкал рукой прозрачную воду и, как обычно, в мыслях был далеко-далеко.

Мы плыли дальше. С одной стороны был колоссальный остров, с другой — Неаполитанский залив, с великолепной, высеченной в скалах панорамой Сорренто, Везувия, Неаполя.

Через полчаса итальянец показал нам небольшой провал в скалах... Это был грот. Нам пришлось лечь на дно лодки. Сунули головы под скамейки, чтобы итальянец, сам лежа над нами, мог протянуть лодку. И вот мы, наконец, оказались в гроте. Я приподнялся и замер. Скрытый где-то в глубинах свет проходил сквозь темную толщу воды. Наверху и в углах грота притаилась темнота, побежденная, бессильная, навеки прикованная к скале. От воды исходила удивительная побеждающая сила. Вода была прозрачна, и сквозь нее все было отчетливо видно. Она словно бы жила, говорила, осознавая свое могущество, восторгаясь собой.

Мы почувствовали, что здесь мы чужие. Мой спутник не выдержал и захотел возвратиться. Я хотел остаться еще, меня приковало это чудо, я был полон восторга, но не протестовал. Никогда не забуду этих мгновений — это было венцом волшебной, приснившейся мне сказки, какое-то удивительное прощание с чудесной, таинственной природой Италии.

Сейчас я еду. Куда? Бороться за счастье, красоту и радость жизни.

Два последние года измучили меня, оставили после себя такую усталость... Несколько недель, проведенные здесь, придали мне новые силы.

Пора заканчивать. Поезд мчится, мчится. Ужасно трясет. Пишу бессвязно, видимо потому, что полон какого-то внутреннего жара и необъяснимой, непонятной радости. Пишу все это затем, что создать иллюзию, будто рассказываю все тебе, будто ты со мной и слушаешь мои слова».

### ***Письмо шестнадцатое:***

«Нерви.

Здесь собралась нас тройка из Десятого павильона. Мы — противники, стоим на разных политических позициях, но весело смеемся, беседуем, вспоминаем... Из Нерви поезду в окрестности Ниццы. В мыслях уже возникают дела.

Здесь чудесно, в Нерви. Солнечный, теплый день. Много деревьев — стройных кипарисов, эвкалиптов, целые рощи апельсиновых, лимонных деревьев, пальмы. И море здесь ближе. Может быть, другое, но такое же прекрасное, такое же манящее».

### ***Письмо семнадцатое:***

«Генуя—Милан.

Я покидаю Италию. Моря уже не видно, а такое прекрасное оно было, залитое солнцем.

Еду по Миланской равнине. Лунная ночь. Широкие просторы, залитые ласковым светом. Это последний аккорд моих переживаний, моих мечтаний, моих романтических настроений. Ему с мыслью и надеждой, что снова живу и вновь стану деятельным. По поводу здоровья я написал пись-

мо доктору, но порвал на куски и выбросил в море.

Сейчас я прощаюсь с чудесной страной, страной мечтаний. Послезавтра буду в Берне... Потом, если согласятся на выезд в Петербург, заеду в Берлин.

Понравились ли Вам цветы, Пани?! Мы послали их от нас с Ксендзом и от Адама. Хотелось бы получить от Вас несколько слов, однако не могу сообщить адреса. Не знаю, где буду.

Вел здесь себя безрассудно — забыл о деньгах. Поэтому из Менагери пришлось идти пешком и всю ночь провести под открытым небом...

Днем бродил с Ксендзом (партийная кличка. — Г. К.) и его девушкой по горам. Впрочем, не устал. Чувствую себя хорошо, даже весел.

Поезд приближается к Милану. Крепко жму руку Пани».

На этом обрываются швейцарские письма Феликса к Сабине Фанштейн. В Швейцарии они так и не встретились. Феликс понял, что пережитое на Капри, казавшееся ему большим и глубоким чувством, было только воспоминанием, словно бы далеким сном. Об этом и написал он Сабине из Кракова, уже погруженный в повседневную жизнь подпольщика, в борьбу, вновь захваченный своим Делом:

«То, что произошло со мной, напоминает судьбу яблони, которая стоит за моим окном. Недавно она вся была усеяна цветами — белыми, пахучими, нежными. Но вот налетел вихрь, сорвал цветы, бросил на землю... Яблоня стала бесплодной. Но ведь будет еще весна, много весен».

Эта бесплодная любовь зародилась в октябре 1906 года в Варшаве. Сабина, как в свое время Юлия Гольдман, была сестрой друга по партии Здислава

Ледера (Фанштейна). В книгах про Дзержинского ее часто называют Сабина Ледер. Это неправильно. Ледер — партийная кличка ее брата, фамилия Фанштейн.

Дзержинский приехал в Варшаву в связи с провалом в организации — все руководство было арестовано. Знакомство состоялось в квартире на Маршалковской. (Брат Сабины был арестован во Вроцлаве.)

Вологодский историк и писатель Владимир Аринин собирает документальные свидетельства о жизни Сталина до того, как он стал «вождем народов».

— Известно, что Сталин был скрытым человеком, — говорит В. Аринин. — И после его прихода к власти из архивов тех мест, где он жил, были изъяты документы о его прошлом. Но в вологодском архиве каким-то чудом сохранились свидетельства о весьма пикантном приключении молодого Джугашвили.

Итак, 19 июня 1911 года Сталин приехал в Вологду, где ему разрешили жить после ссылки в глухой Сольвычегодск. Он снял комнатку за три рубля в месяц в доме отставного жандарма Корпусова. Разумеется, полиция сразу же установила за ним наблюдение. Первое донесение шпииков об Иосифе Джугашвили датировано 21 июля: «Роста среднего, около 33—35 л., брюнет, небольшая бланже-бородка, продолговатое, со следами натуральной оспы лицо или веснушки, волосы на голове короткие, черные, правильного телосложения, походка ровная, одет в черную полоску пару, черная мягкая шляпа. Тип грузина. Кличка ему дана Кавказец».

— Судя по архивным документам, Иосиф Джугашвили жил в Вологде очень замкнуто и бедно, — рассказывает А. Аринин. — Казна платила ссыльным на пропитание 7 рублей 40 копеек в месяц, но им не

возбранялось работать. Кроме костюма, у него из личного имущества были только простыня, наволочка, подушка, полотенце и поношенный шарф. В те времена Вологду называли «подмосковной Сибирью» из-за множества политических ссыльных. Однако Сталин в местной политической жизни не участвует, а из ссыльных общается лишь с Чижиковым, которому шпики присвоили кличку Кузнец.

Крестьянин Орловской губернии Петр Чижиков работал в Луганске, откуда был сослан на Север за принадлежность к социал-демократической рабочей партии. В Вологде он служил приказчиком фруктового магазина, принадлежавшего купцу Ишмятову.

21 августа 1911 года шпики в своем донесении зафиксировали, что Кавказец гуляет по Вологде не один, а с барышней «роста среднего, лет 23, интеллигентна, темные густые волосы, чистое лицо, правильного телосложения, походка ровная. Одета в черный полусак, черная юбка, модная спереди, красная сзади, черная отделка шляпы, особых примет нет». Шпики дали барышне кличку Нарядная, и с этого дня их донесения стали напоминать конспект любовного романа, изложенный специфическим полицейским языком. Шпики детально фиксируют, когда и где встретились Кавказец и Нарядная, сколько они гуляли по самым красивым местам Вологды, где обедали и сколько часов провели вдвоем в доме, где живет Нарядная.

Таких донесений о встречах Сталина с барышней в архиве три десятка. Любопытная деталь: жандармы не называют имя Нарядной, а лишь упомянули в одном из донесений, что она «проживает, по видимому, в доме Беспаловой — в квартире Кузнеця и должна, видимо, быть приезжая». Странная, по на-

шим понятиям, для силового ведомства деликатность, но что было — то было: в личную жизнь ссыльного Иосифа Джугашвили жандармы не посмели вмешаться.

Кавказец и Нарядная расстались 6 сентября 1911 года. В этот день Джугашвили бежал из Вологды в Санкт-Петербург с паспортом Петра Чижикова, но через три дня был там арестован и приговорен к новой ссылке на три года с правом выбора города.

Он снова выбрал Вологду и был доставлен сюда 25 декабря 1911 года. Но его барышни в Вологде уже не было. Судя по доносу шпика, вечером 11 сентября Нарядная уплыла куда-то на пароходе «Яренск», а куда именно — полиция даже не поинтересовалась.

Сталин тоже не засиделся в Вологде. Глубокой ночью 29 февраля 1912 года он бежал из ссылки, и в этот раз полиция его след потеряла.

Спустя 36 лет секретарь Вологодского обкома коммунистической партии Дербинов, заинтригованный романом Сталина с вологжанкой, велел чекистам найти Нарядную. Видимо, партийный функционер хотел использовать личную жизнь «вождя народов» для своей карьеры. Сталин в 1948 году уже был старым и одиноким мужчиной, а в таком возрасте воспоминания об утехах молодости весьма приятны. Ну а тому, кто о них напомнил, могла обломиться какая-нибудь милость.

Чекисты без особого труда установили, что Нарядная — это Пелагея Георгиевна Ануфриева, родом из богатой крестьянской семьи Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. В 1910—1911 годах она училась в гимназии в Тотьме и там подружилась со ссыльным Петром Чижиковым. А когда Чижикова перевели в Вологду, приезжала к нему в гости и здесь познакомилась со Сталиным. Шпи-



ки почему-то сочли Пелагею Ануфриеву «невестой» Чижикова, и все донесения, в которых она фигурировала, были подшиты к его делу, а не к делу Джугашвили. Поэтому их и не нашли во время сталинской чистки архивов.

В 1912 году Сталин прислал Пелагее Ануфриевой книгу «Очерки по истории литературы» с дарственной надписью: «Умной скверной Поле от чудака Иосифа». В 1917 году Пелагея вышла замуж в Вологде за механика Николая Фомина. У них родились сын и дочь. В начале тридцатых отец и братья Пелагеи были раскулачены и сосланы в Сибирь. А в 1937 году арестовали «за вредительство» мужа, но вскоре отпустили. В 1947 году он был арестован второй раз и осужден по 58-й статье на десять лет как «враг народа».

Секретарь Вологодского обкома компартии Дербинов ничего не сообщил о судьбе Пелагеи Ануфриевой в Кремль. Видимо, испугался, что самого посадят за намеки о дружбе члена семьи врага народа с товарищем Сталиным. И приказал засекретить все сведения о романе Иосифа Джугашвили с вологжанкой. Так и пролежали эти документы в тайниках вологодского архива до наших демократических времен.

Дочь Пелагеи Георгиевны живет в Вологде. Она уже пенсионерка, зовут ее Галина Николаевна, а фамилию просила не печатать — боится публично к себе интереса. По ее словам, семья после ареста отца много лет очень бедствовала: выселили из квартиры, не было работы, жили впроголодь. Но Пелагея Георгиевна лишь один раз напомнила о себе Сталину. Это случилось, когда ее сына Валерия, студента Ленинградского железнодорожного института, лишили стипендии, «как сына врага наро-

да». Ответ пришел немедленно: вашему сыну стипендия сохранена.

— Когда Сталин умер, у нас на работе все женщины плакали, — вспоминает Галина Николаевна. — И я вместе с ними. Пришла домой и говорю маме: «Я ревела». А мама мне ответила: «А я нет».

«Умная скверная Поля» ушла из жизни через два года после «чудака Иосифа». А еще год спустя, после доклада Хрущева XX съезду КПСС о культе личности Сталина, в Вологде закрыли музей «вождя народов». С тех пор этот дом занимает контора общества охраны памятников истории и культуры. А на втором этаже, в комнатке, где жил ссыльный Кавказец, свалено всякое барахло.

## НИМФЫ В ВАЛЕНКАХ

Московская следовательница-чекистка Брауде, собственными руками расстреливавшая «белогвардейскую сволочь», при обыске самолично раздевала не только женщин, но и мужчин. Побывавшие у нее на «личном осмотре» говорили: «Приходилось недоумевать, что это? Особая бездушная машина или разновидность женщины-садистки?»

Кроме женщин такого типа (я имею в виду агрессивного) были и другие, те, кто служил для удовлетворения сладострастия вождей. Очень часто фаворитки пользовались большим влиянием на своих власть имущих покровителей.

Секретарь ЦИК СССР Авель Софронович Енукидзе, о котором жена родственника Сталина, заместителя председателя Правления Госбанка СССР А. С. Сванидзе Мария Анисимовна так писала в своем дневнике:

«Авель... колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя — ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи

эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и, наконец, докатился до девочек в 9—11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. (...) Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем, девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем — шел широко навстречу мужу, бросившему семью, детей, или просто сводил мужа с ненужной балериной, машинисткой и пр. (...) Под видом «добротного» благодетельствовал только тех, которые ему импонировали чувственно прямо или косвенно». (Источник. 1993, № 1.)

Среди фавориток было много актрис. Почему? Во-первых, традиционно. А во-вторых, от голода. Об условиях жизни служительниц муз прекрасно рассказано в книге Ф. Комиссаржевского «Я и театр», которая была издана в Лондоне в 1929 году. К этому времени Комиссаржевский, эмигрировавший из России в 1919 году, был уже хорошо известен на Западе. Его драматические и оперные постановки в театрах Англии, Франции, Германии принесли ему славу режиссера-новатора.

«Моя последняя московская зима (1918—1919) показалась бы лондонцу адом, но для нас, после нескольких лет жизни в таких условиях, она была более или менее обычной.

По ночам улицы, дома с выбитыми стеклами, пустые магазины оставались в крошечной тьме, так как электричество существовало только в правительственных зданиях и некоторых общественных учреж-

дениях. Достать керосиновую лампу или свечи почиталось счастьем. Частные магазины были закрыты, и продовольствие распределялось по карточкам. Горсть сушеного гороха, иногда буханка черного хлеба, на вкус напоминавшего опилки, полусгнившая свекла, полученные в редких государственных магазинах в специально отведенные для этого дни, после многочасовых очередей, служили обедом для целой семьи. Частенько вместо чая мы пили отвар из сушеной моркови. Такие вещи, как бифштекс из конины, сахар, масло или мыло, считались большой роскошью, и приобрести их можно было по спекулятивным ценам в таинственных местах, не известных ЧК. Цена одного фунта масла, например, равнялась максимальному недельному заработку советского государственного чиновника, мешок муки стоил около десяти фунтов (стерлингов), а чашка настоящего кофе с молоком — около фунта.

Не было топлива для обогрева домов. Канализация, вода и отопительные трубы были заморожены — иногда морозы достигали сорока градусов. Все обитатели дома жили, как правило, в одной комнате, часами сидя как эскимосы, сбившись в кружок, около маленькой буржуйки посередине комнаты, которой они были обязаны своим существованием. На растопку шла мебель, и даже двери снимались со своих петель.

Одежда москвичей в то время могла бы показаться слишком экстравагантной даже исполнителям ролей бродяг в английской музыкальной комедии, и обувь без дыр была редкой роскошью. Некоторые носили лапти или сандалии, сделанные из картона.

Нет необходимости говорить о том, что той зимой отсутствовал такой предмет, как такси (о такси! что за штука!), да и извозчика можно было встретить

крайне редко. Правда, ходило несколько электрических трамваев, но они обычно бывали так переполнены, что пассажирам частенько приходилось висеть на подножках. Поездка в таких трамваях была немногим лучше самоубийства, так как многие пассажиры буквально кишели тифозными вшами: от этой болезни тогда умерли тысячи москвичей.

Даже тела русских граждан не находили последнего приюта, так как не хватало времени на рытье могил и сколачивание гробов для всех. Однажды ночью знакомый моей прислуги (так как в то время никому не разрешалось иметь прислугу, эта женщина считалась моей теткой) пришел навестить ее и неожиданно умер прямо в ее постели. Я не имел права трогать его в течение двух дней, и только после вмешательства одного крупного должностного лица он был, наконец, унесен, завернутый в шерстяное одеяло, и похоронен в общей могиле.

Однако на фоне постоянного страха, для многих определявшего их существование, все эти неудобства казались относительно обыденными. Страна была наводнена шпионами ЧК — брат подозревал брата. Они всегда были готовы расценить самый невинный проступок как преступление против революции, неизбежной карой за которое являлась смерть. По ночам люди прислушивались к каждому звуку, нарушавшему тишину улицы, боясь услышать громоханье багажного фургона, ибо именно на этих перевозочных средствах чекисты обычно приезжали с арестами. Однажды ночью они нагрянули с обыском на квартиру одного из моих приятелей, но, ничего не найдя (он так никогда и не узнал, что же они искали), ворвались в квартиру напротив, арестовали жившего там человека и тут же расстреляли его во дворе, под окнами

моего приятеля. Его тело все еще лежало на снегу, когда на следующее утро мой друг вышел из дома, направляясь на репетицию в театр.

Наверно, покажется очень странным, что в этих условиях театры продолжали работать.

В течение первых лет революции только в центре Москвы существовало два театра оперы и балета, около двенадцати драматических театров, театр оперетты (или музыкальной комедии), а также многочисленные студии и театральные школы.

Нужно отдать должное моему шефу — правительственному комиссару московских театров Е. К. Малиновской. Эта милая пожилая леди, одна из соратников Ленина, которую Максим Горький, ее хороший знакомый, назвал как-то «каменной женщиной», помогала мне в то напряженное время чем могла.

Ее энергии и самоотверженной любви к театру и людям, работавшим для него, мы обязаны тем, что уровень постановок в московских театрах после революции был столь высок, что бывшие императорские театры, называвшиеся определенными политическими группами буржуазными учреждениями, смогли уцелеть (хотя я лично полагал, что хорошая встряска не помешала бы этим цитаделям интриг), и значительное число артистов избежало голода или даже худшей участи. У нее был свободный доступ к Ленину: однажды, благодаря ее настойчивости, он прервал важное заседание Совета Народных Комиссаров (государственных министров) в два часа утра, чтобы принять театральную депутацию, пришедшую просить его не подписывать декрет о «национализации актеров». (Ленин, кстати, согласился с их требованиями и отменил намечавшиеся меры.)

Трудности, выпадавшие на долю людей искусства, были огромны. Подчас нам приходилось самим

отапливать помещение театра, наполняя и разжигая паровые котлы в подвалах, но даже после этого в большом фойе, где ученики моей школы (она находилась в том же здании, что и театр) проводили балетные занятия, танцуя с голыми руками и ногами, зеркала бывали покрыты инеем.

Часто во время спектаклей дыхание певцов на сцене превращалось в такие клубы пара, что они в шутку называли себя самоварами. Однажды пианист, игравший в концертном зале бывшего Дворянского собрания в вязаных перчатках, был вынужден прекратить игру, отморозив палец. Я помню женский оперный хор, изображавший нимф, обутый в валенки. На одном из спектаклей скрипач Большого театра упал со своего стула, так как не ел несколько дней. Однажды утром, когда молодая актриса нашего театра не пришла на репетицию, мы узнали, что ночью она умерла от тифа, совершенно одна, в промерзшей комнате, — вероятно, она была больна уже некоторое время, скрывая это от нас. Внезапно и таинственно исчез один из рабочих сцены, и нам впоследствии сообщили, что как бывший царский чиновник, замешанный в некоем тайном заговоре, он был секретно арестован и ночью расстрелян ЧК».

Среди «поклонников искусства» был и нарком просвещения, один из организаторов советской системы образования Анатолий Васильевич Луначарский. Один интересный эпизод из жизни наркома красочно описал сценарист А. Спешнев в «Портретах без ретуши». Рассказ называется «Дерзкое признание».

«Я еще щенок. Но не чуждый отвлеченным интересам и способный оценить артистизм. Я пришел в кино «Колосс» на лекцию Анатолия Васильевича Луначарского и с восторгом внимаю: «Бриан — это по-



следний политический шармер Европы...» Нарком с французским грассированием выделяет «р» в словах «Бриан» и «шармер», «ан» произносит растянуто, в нос. И рокочущий голос наркома, и эта фраза надолго почему-то застревают в моей памяти...

Мне двадцать, я уже печатаюсь, по моим сценариям поставлены маленькие фильмы, и теперь я намерен сочинять нечто на международную тему. Мой сюжет встречен сочувственно, но сценарный отдел «Межрабпомфильма» считает разумным перестраховаться: мне двадцать, однако в глазах киностудии я все еще щенок и меня нужно подкрепить серьезным консультантом. Это может показаться невероятным, фантастическим, но так было: в качестве консультанта приглашен совершенно официально Луначарский. В это время Анатолий Васильевич уже не народный комиссар просвещения, а председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. У него открытый дом, он по-прежнему окружен людьми, и ему нужны деньги. Он сотрудничает во многих журналах и газетах, читает лекции, пишет для театра. Раз в две недели его личный секретарь объезжает редакции и собирает гонорар для Анатолия Васильевича.

Мой высокий консультант назначает мне первую встречу в ложе того самого кинотеатра «Колосс», где я услышал рокочущую фразу: «Бриан — это последний политический шармер Европы...» Я гляжу на снисходительно улыбающегося человека в пенсне и с бородкой и неожиданно вспоминаю, что я его видел не только здесь, в этом зале, лет пять назад, а давно — в бедном, приниженном моем детстве. Да, да, это он, вечерний гость тети Наташи, подруги моей матери. И теперь, слушая Анатолия Васильевича, я все время об этом думаю. А вслух сказать остерегаюсь. Я покорен

им, его неисчерпаемым запасом знаний и ассоциаций, его ренессансной натурой. Он вулкан, деликатно заливающий собеседника своей ослепительной лавой. Он называет меня Алексеем Владимировичем, и это еще больше смущает меня.

Следующую нашу встречу Анатолий Васильевич опять назначает в ложе «Колосса» и на этот раз настаивает, чтобы я рассматривал свою фабулу на широком политическом и философском фоне. И нам опять мешают — пришли знакомые актрисы моего консультанта. И он уже гадает одной из них по руке, прорицая и остерегая с серьезностью профессиональной вещуньи. А затем с увлечением рассказывает о графологии как науке. Разгадывание человеческого характера по почерку его страсть.

Однажды в фойе кинотеатра обнаруживаю профессионального графолога по фамилии Инсаров. Он сидит за маленьким столиком с картонной афишей, на которой выведена тушью благожелательная рекомендация Анатолия Васильевича и его оценка инсаровского аналитического метода. Этот Инсаров с цепкими темными глазами гипнотизера станет достопримечательностью фойе многих московских киношек.

При наших беседах Анатолий Васильевич не раз возвращается к графологии, показывает мне, как расписывались различные знаменитые личности. По памяти на листке блокнота он бегло воспроизводит росписи Пушкина, Чехова, Толстого.

— А вот у современного писателя Олеши, — Луначарский посмеивается, — в графике бес самоутверждения. Первая буква фамилии «О» — маленькая, а последняя «А» — большая, заглавная. И вот еще что характерно, — продолжает Анатолий Васильевич, — если в конце росчерк идет вниз — это признак сла-

бой, неуверенной в себе личности. А расстояния между буквами внутри слов — свидетельство скрытности, эгоизма.

Мне не хочется быть скрытным, я просто жажду рассказать моему высокому консультанту, как он явился мне в далеком голодном детстве. Я вспомнил все, но еще не смею.

Подруга моей мамы танцовщица-босоножка, белокурая, чуть близорукая, античная Наталия Флоровна Тьян, жена ученого-физиолога, живет отдельно от мужа в холодной студии с вечными сквозняками, с окнами, занавешенными тяжелыми пыльными шторами из солдатского сукна, пахнущего мышами. В пустом зале стоит одинокий рояль и разбросаны по полу спортивные маты. Рядом за скрипучей, высокой дверью будуар босоножки с овальным псише, вольтеровским креслом, лампой под розовым абажуром на мраморном столике и полуразвалившейся кроватью-ковчегом с бронзовыми инкрустациями. Я дружу с племянником тети Наташи, то есть Наталии Флоровны, который обитает в комнатухе при кухне для прислуги. Играем мы с ним, как правило, в студии, в зале, когда античная тетя Наташа не упражняется и не мечется под музыку Скрябина, высоко забрасывая босые ноги или внезапно скорбно падая на пол.

Однажды, оставшись с Анатолием Васильевичем наедине, я набираюсь храбрости и наконец рассказываю о том, как я его впервые увидел. Конечно, это дерзость, но что-то меня толкает в бездну. Итак, я тихий голодный мальчик, мама стареет, теряет голос и не может больше петь в опере. Мы живем безрадостно и бедно. Игры с племянником тети Наташи — бегство из домашней угнетенности и печали — единственное развлечение. В тот па-

мятный день мы оба сильно устали от возни и беготни по студии, и мой друг рано ушел спать. А я решил передохнуть, прежде чем кинуться в морозную мглу и бежать домой. Я залез под рояль, растянулся на мате и скоро уснул.

Пробудился в темноте в пустом зале, по которому, шелестя и попискивая, носились мыши. Я похлопал в ладоши, чтобы рассеять их, вылез из-под гудящего от ветра за окном рояля и обнаружил розовую полоску света, падающую из полуоткрытой двери в будуар тети Наташи.

Доносились приглушенные голоса.

Надо было себя обнаружить и сказать, что ухожу домой. Я перешагнул розовую полоску, потянул на себя дверь и прежде всего увидел на мраморном столике под розовым абажуром нарядную коробку шоколадных конфет — зрелище невиданное, ошеломляющее. С трудом оторвавшись от него, я перевел взгляд на тетю Наташу в креслах и стоящего перед ней на одном колене мужчину в пенсне и с бородкой. В левой руке он держал раскрытую маленькую книжку, а правой сжимал розовое плечо античной Наталии Флоровны, маминой подруги. Я чихнул. Тетя Наташа тихо засмеялась. А мужчина, не поднимаясь с колена, повернулся ко мне и сказал:

— Здравствуй, мальчик. Тебе что?

Я еще раз чихнул, как замороженный глядя на коробку. Видимо, я простыл под гудящим роялем. А здесь было тепло, потрескивали дрова в кафельной печке. Тетя Наташа в вечернем зеленом хитоне с брошью была очень красива, но это меня не интересовало. Я смотрел на коробку. Мужчина повторил добродушно свой вопрос. Я не ответил. Я потерял дар речи.

— Возьми конфету, — сказал мужчина в пенсне.

Я подошел, взял.

— Возьми еще.

Взял еще, но с места не двинулся. Во мне проснулся дух вымогательства.

— Возьми всю коробку, — улыбаясь, кинул мужчина.

— И беги домой, — мягко произнесла розово-зеленая тета Наташа. — Уже поздно. Мама будет беспокоиться.

Прижав к груди коробку, я кинулся к двери, а на пороге все-таки обернулся. Закинув бородку и приблизив к глазам маленькую книжечку, мужчина читал тете Наташе французские стихи, все еще стоя перед ней на одном колене.

Разумеется, в человеке в пенсне ренессансный Анатолий Васильевич узнал себя и был в полном восторге, долго смеялся и дерзость мою простил.

Вскоре он уехал за границу и лестное для меня сотрудничество оборвалось, и сценарий я не написал.

Через много лет поблекшая, но все еще античная Наталия Флоровна тоже как-то вспомнила этот случай. И сказала:

— Анатолий Васильевич считал себя человеком счастливым. «Мне в жизни повезло, я был близок к великому Ленину, а в молодости красив, — говорил он и вынимал из бумажника выцветшую фотографию лопухого худенького гимназиста. — И вот теперь я министр и везу вас в концерт в бывшем автомобиле императрицы Александры Федоровны». Все это, понятно, с иронией, но и не без доли истинной удовлетворенности. Я всегда поражалась его кипучей разнообразной деятельности. Он даже в кино играл самого себя, то есть наркома просвещения, кажется, в «Саламандре» Рошаля. И был всегда пле-

нительно чужд всякому ханжеству, чувству зависти, мести. Маяковский ругал его в газетах, на диспутах, а он неизменно принимал его у себя дома, поддерживал, восхищался талантом...

Годы, годы пронеслись, а я до сих пор слышу рокочущий голос в зале «Колосса». «Бриан...» — голос с грассирующим «р» Анатолия Васильевича, последнего шармера большевистской партии.

А вот эпизоды из книги Л. Гендлина «исповедь любовницы Сталина». Я так думаю: что все это — из сферы предположений и фантазий.

«С Верой Александровной Давыдовой я познакомился в конце 1945 года. У нас было много интереснейших и незабываемых встреч. После смерти Сталина она меня спросила:

— Вы смелый человек?

— Смотря для чего, — ответил я.

— Мне есть что вспомнить. Хотите записать повествование женщины-актрисы? Я не буду возражать, если мой рассказ станет романом. Это даже лучше, документальность обязывает.

Я ответил утвердительно.

— Почему я решила пойти на такой ответственный и рискованный шаг, поведать вам о совсем неизвестной жизни Сталина, с которым я была в интимной связи 19 лет? — проговорила Вера Александровна, нервно кусая губы. — Может быть, вы думаете, что мне нужна дополнительная слава при жизни или же шумно-скандальная после ухода в лучший мир? Если так, то вы ошибаетесь. Я имею почетные звания народной артистки РСФСР и народной артистки Грузинской ССР, ордена и медали. Три раза мне присваивалась Сталинская премия. Кроме финансовых накоплений, я получаю персональную пенсию,

являюсь профессором Тбилисской консерватории, консультирую, даю частные уроки. Возможно, вы будете считать, что разгневанная и в какой-то момент отвергнутая любовница решила отомстить в прошлом всеильному, а теперь мертвому вождю? Нет, это не так. Я знала, что Сталин меня любил по-своему и всегда с нетерпением ждал моего появления... Но только теперь, когда его нет, я могу сказать, что все годы вынуждена была притворяться, играть в страсть.

Я — актриса! И, пожалуй, мне единственной на всем белом свете недоверчивый Сталин поверил до конца. Хотя был еще один человек, самый преданный из всех его помощников, — Александр Николаевич Поскребышев.

Много лет я вела двойную жизнь, которую приходилось делить между театром — репетициями, спектаклями, концертами — и его страстными, порой истерично-бурными ласками.

Говорю об этом, потому что хочу, чтобы после моей смерти человечество узнало и другого Сталина — обнаженного...

Я родилась в Нижнем Новгороде в семье землемера и народной учительницы. Вскоре наша семья переехала на Дальний Восток, в город Николаевск-на-Амуре. С детства я полюбила тайгу, рыбалки, костры, вопли и душераздирающие крики разбойного Амуре. В 1920 году японцы пытались оккупировать наш город. Пришлось все бросить и бежать в Благовещенск. В 1924 году мне посчастливилось сдать экзамены в Ленинградскую консерваторию. Одним из экзаменаторов был Александр Константинович Глазунов — композитор, чьим именем мы, студенты, очень дорожили. Маститый музыкант тепло отзывался о моих вокальных данных. После того как я

спела в оперной студии партию Кармен, меня пригласили в Мариинский оперный театр (театр оперы и балета имени С. М. Кирова). Сценическое крещение — паж Урбан в опере Д. Мейсрбера «Гугеноты».

Я была на седьмом небе от счастья. Мне исполнилось 23 года. Самые близкие подруги тайно завидовали, каждый творческий успех они переносили болезненно. В театре мне стали поручать ведущие партии в операх «Аида», «Кармен», «Хованщина». Я стала солисткой-дублершей.

На ленинградской оперной сцене царствовала Софья Преображенская, к которой издавна благоволил Григорий Зиновьев, в то время фактически диктатор северной столицы и области.

Бывали вечера, когда я пела почти при пустом зале. Ночью, запершись в артистической комнате, скрываясь от всех, я кусала до крови губы, плакала, кричала, билась в истерике и... продолжала работать, ожидая лучших дней.

Ранней весной 1932 года наш театр выезжал в Москву. Гастрольные спектакли давались в большом театре. Нас предупредили, что ожидается приезд первого секретаря ЦК ВКП(б) Сталина. Мы страшно волновались, репетиции продолжались с утра и до поздней ночи. На отдых почти не оставалось времени.

Мне очень хотелось петь на сцене прославленного театра. Софья Преображенская заболела ангиной, пришлось заменить «Аиду» оперой «Кармен». Мне доверили главную партию. На грим села за 3 часа до начала спектакля. От волнения лихорадило, дрожали колени, лицо и тело покрылось противными красными пятнами. Но вот раздался первый долгожданный и в то же время тревожный звонок, затем второй, третий. Дирижер направился к пульту. Ис-



полнителей основных партий попросили выйти на авансцену. Взоры зрителей и артистов были устремлены на правительственную ложу, где находились Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов, Микоян, Орджоникидзе, Бухарин, Рыков, Ягода, Зиновьев, Киров, Каменев, Тухачевский. Впервые я так близко увидела Сталина. Приветливо улыбаясь, он вместе со всеми стоя аплодировал. Восторженным овациям не было конца. Медленно гасились люстры. Оркестр заиграл увертюру.

Перед глазами промелькнула короткая жизнь. К счастью, дирижер Александр Мелик-Пашаев помог войти в творческую форму...

Закончилось первое выступление на сцене Большого театра.

В последний раз опустился парчовый занавес. Зал неистовствует. Актрисы Малого театра и Московского Художественного Евдокия Турчанинова, Александра Яблочкина, Ольга Книппер-Чехова, Алла Тарасова преподносят корзины с цветами и огромный букет алых роз. Целуя меня, Тарасова шепотом проговорила: «Вы, Верочка, пели прекрасно. Такую очаровательную Кармен Москва давно уже не слышала и не видела. Эти волшебные цветы вам прислал И. В. Сталин».

От счастья на глазах выступили слезы. Меня пригласили в правительственную ложу. Не успела опомниться, как была представлена Сталину и его соратникам.

— К своему успеху, товарищ Давыдова, — тихо сказал он, — относитесь сдержанно, не зазнавайтесь, смотрите, не потеряйте голову.

Ворошилов преподнес коробку шоколадных конфет. Орджоникидзе — оригинальную шкатулку. После короткой паузы Сталин снова обратился ко мне:

— А вы, товарищ Давыдова, хотели бы жить в Москве и трудиться в нашем Большом театре?

— Я должна подумать.

— Решение правильное. При любых обстоятельствах всегда необходимо думать. А мы за это время попросим товарищей, ведающих театрами, подготовить соответствующее решение о вашем переводе. Ленинград не обеднеет, там неплохо работает товарищ Преображенская.

Я поблагодарила его за внимание.

Сталин взглянул на меня исподлобья. Это был мужской, пытливый, властно-оценивающий взгляд. Прошло мгновение, какая-то доля секунды, но взгляд этот я запомнила на всю жизнь. Сталин мысленно раздевал меня и осторожно взвешивал «за» и «против»...

Через месяц я получила правительственное распоряжение о переводе в большой театр.

Апофеоза разгул низменных страстей в советском руководстве достиг при Лаврентии Павловиче Берии. Начальники его охраны Р. С. Саркисов и С. Н. Надарая проводили настоящие облавы на молодых женщин и девушек и силой доставляли их в особняк своего шефа, где был организован притон разврата... «...И очень часто Берия устраивал «ромашку»; притаскивают девушек в гостиную, кладут голых голова к голове, но обязательно в туфельках и бюстгальтерах. И он подходил к этому «цветку», к этой «ромашке», где лепестками были девушки, выдерживал понравившуюся за ногу, и она шла за ним следом...»

## ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ АНТОНИНЫ ПАЛЬШИНОЙ

В 1988 году психиатр Анри Жиро сказал: «Традиционная роль женщин теперь резко изменилась. И как прямое следствие этого — женщины террористки, как и все новички, проявляют необычное рвение. Они хотят захватить власть у мужчин. Паранойя гарантирует нечеловеческое спокойствие. Они убивают с такой легкостью, с которой могли бы разбить вазу».

С. С. Маслов, как старый деятель вологодской кооперации и член Учредительного собрания от Вологодской губ., хорошо осведомленный о вологодских делах, рассказывает о местном палаче (далеко не профессионале) Ревекке Пластининой (Майзель), когда-то скромной фельдшерице. Она собственноручно расстреляла 100 человек.

«В Вологде чета Кедровых, — добавляет Е. Д. Кукова, бывшая в это время там в ссылке, — жила в вагоне около станции. В вагонах проходили допросы, а около вагонов — расстрелы. При допросах Ревекка была по щекам обвиняемых, орала, стучала каблуками, иступленно и кратко отдавала приказы: «К расстрелу! К стенке!».

«Я знаю до десяти случаев, — говорит Маслов, — когда женщины добровольно “дырявили затылки”».

О деятельности в Архангельской губ. Весной и

летом 1920 года об этой Пластининой-Майзель, которая была женой знаменитого Кедрова, сохранились и такие воспоминания:

«После торжественных похорон пустых, красных гробов началась расправа Ревекки со старыми партийными врагами. Она была большевичка. Эта безумная женщина, на голову которой сотни обездоленных матерей и жен шлют своё проклятие, в злобе превзошла всех мужчин ВЧК.

Она вспоминала все маленькие обиды семье мужа и буквально распяла эту семью, а кто остался не убитым, тот был убит морально. Жестокая, истеричная, безумная. Она придумала, что белые офицеры хотели привязать ее к хвосту кобылы и пустить лошадь вскачь.

Уверовав в свой вымысел, она едет в Соловецкий монастырь и там руководит расправой! Вместе со своим новым мужем Кедровым. Дальше она настаивает на возвращении всех арестованных комиссией Эйдука из Москвы, и их по частям увозят на пароходе в Холмогоры, усыпальницу русской молодежи, где, раздев, убивают их на баржах и топят в море.

В Киеве «чрезвычайка» находилась во власти латыша Лациса. Его помощниками были изверги Авдохин, «товарищ Вера», Роза Шварц и др. девицы. Здесь было полсотни «чрезвычайек», но наиболее страшными были три, из которых одна помещалась на Екатерининской ул., № 16, другая — на Институтской ул., № 409 и третья — на Садовой ул., № 5. В одном из подвалов «чрезвычайки», точно не помню какой, было устроено подобие театра, где были расставлены кресла для любителей кровавых зрелищ, а на подмостках, т. е. на эстраде, которая должна была изображать собою сцену, производили казни.

После каждого удачного выстрела раздавались крики «браво», «бис» и подносились бокалы шампанского. Роза Шварц лично убила несколько сот людей, предварительно втиснутых в ящик, на верхней площадке которого было проделано отверстие для головы. Но стрельба в цель являлась для тех девиц только шуточной забавой и не возбуждала уже их притупившихся нервов. Они требовали более острых ощущений... выкалывали иглами глаза, или выжигали из папирасой, или же забивали под ногти тонкие гвозди. В Киеве шепотом передавали любимый приказ Розы Шварц... когда уже нельзя было заглушить душераздирающих криков истязаемых. «Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не визжал, как поросенок...» И этот приказ выполняли с буквальной точностью.

И вот еще одна прекрасная дама...

О ней были созданы книги, фильмы, еще посвящали стихи, ее портреты рисовали... Кто же она?

И можно ли назвать «дамой» Антонину, которая с легкостью перевоплощалась в Антона...

Пальшина Антонина Тихоновна (1897—1992) была, пожалуй, единственным участником «позорной, империалистической войны», широко известным в СССР. Уроженка деревни Шевырялово Сарапульского уезда Вятской губернии. Из крестьян. Образование — три класса. Землячка известной Надежды Дуровой. С 1914 года воевала под видом мужчины. Георгиевский кавалер, младший унтер-офицер. Вероятно, участие в «империалистической» войне вызывало у нее чувство вины, поскольку она всячески подчеркивала лишь свои заслуги в борьбе за советскую власть — работу в большевистском подполье, исполкоме, ЧК. Работала на

скромных должностях машинистки, медсестры.

Однако достоверно ее судьба отражается в документах, хранящихся в фондах Музея истории и культуры Среднего Прикамья (Сарапул). Орфография источников сохранена.

## АВТОБИОГРАФИЯ

Я Пальшина Антонина Тихоновна, рожденная 1897 г. 8/1. Родители мои были бедные крестьяне села Шевырялово Сарапульского района, Удм. АССР. Они умерли в раннем моем детстве. Училась в 3-х классной сельской школе, в 10 лет ее окончила с отличием. После чего сестра моя взяла жить к себе в город и отдала сначала к сапожнику, а так как он ничего не платил за работу, то стала учить портновскому делу, — и вскоре я стала неплохой швеей. Мы шили на сарапульских купцов Бера и Ушеренко. В 1913-м году тайком от сестры и зятя уехала с первым пароходом в город Баку. Где устроилась на работу в булочную. Когда в 1914-м году в августе м-це началась первая империалистическая война, в сентябре этого же года ушла добровольцем на турецкий фронт под видом добровольца Антона Пальшина, вступила во 2-й Кавказский Кавалерийский полк 9-ю сотню. Где была зачислена на все виды довольствия. После надлежащей подготовки не однократно принимала участие в сражениях и атаках. Но неудача скоро меня сопровождала в одной из атак конь был ранен и я сильно разбилась, было побито лицо и коленный сустав где и была отправлена в военный лазарет в город Карс. По выздоровлении секрет был открыт, что я не доброволец Антошка, а девушка Антония, я больше не захотела отправиться в эту часть, а решила пере-

браться на Австрийский фронт но тут на станции заподозрен был сразу же меня жандарм схватил решил что я шпионка... По прибытии в Сарапул, поступила на краткосрочные курсы сестер милосердия военного времени, а по окончании в апреле 1915 года (окончила). Когда пошли первые пароходы нас 4-х сестер по личной просьбе направили на юго-западный фронт в город Львов... Работала сутками сутки на работе сутки на отдых раненых поступило очень много канонада была слышна отчетливо, мне казалось что мало я помогаю фронту что здесь может всякий работать, тем более у нас в отряде было много сестер привилегированного класса. Княгини, графини, баронессы и т. далее то одна то другая просят подежурить за меня, что дескать скучно, что надоели все и все, что хочется встряхнуться, а мне не как не хотелось дежурить за этих баронесс и княгинь. Все тянуло меня не знаю почему к передовой линии где идут бои бьет артиллерия где рвутся снаряды истекают кровью солдаты, больше я вокруг себя ничего не видела. Неудержимо тянуло на передовую линию чтобы быть вместе с солдатами вместе в боях и окопах. Случай такой скоро представился. Умер один молодой солдат в мое дежурство и я воспользовалась его обмундированием снова постриглась и в следующую ночь была свободна от дежурства ушла в сторону линии фронта шла около полутора суток время было летнее... вскоре достигла обоза второго разряда куда и пристала... бывала в разведке за языком в тыл противника, с донесением в штаб полка в сторожевое охранение... была 2 раза ранена и один раз контужена. За боевые заслуги награждалась 4 раза... а Георгиевский крест 3-й степени приколот сам генерал Брусилов в прифронтовом госпитале и велел

отдать приказ по полку произвести в младшие унтер-офицеры. Но в часть я больше уже не вернулась. Февральская революция застала меня в городе Киеве где лежала я после 2-го ранения...

Осенью 1917 года вернулась домой в Сарапул вскоре встретила с И. С. Седельниковым... 6 января выехала из Сарапула 9-го января уже была принята на работу в г. Сычевке в Исполнительный комитет... машинисткой. Позднее была переведена на работу в ЧК... зарегистрировалась в браке с Фроловым Григорием Григорьевичем... муж получил назначение в 4-ю кавалерийскую дивизию политкомиссаром Армии С. М. Буденного... После того как Врангель был разбит я снова вернулась для работы в ЧК. Демобилизовалась в 1923 году и до 1927 года не работала. В 1927 году мне была сделана операция по поводу болезни печени... Во время моей болезни муж мой Фролов Григорий Григорьевич оставил меня больную не кому не нужную. Все это я очень тяжело пережила стала нервная рассеянная веселье оставило меня навсегда. В 1932-м году снова вступила в брак с рабочим Придатко Георгием Сидоровичем... застала нас Великая Отечественная война. Вскоре мы с мужем подали заявление об отправке нас на фронт но счастье выпало взять в руки оружие только моему мужу, а мне ввиду болезни и операции было отказано о вступлении в ряды нашей Рабоче-крестьянской Красной Армии горестно мне было оставаться в тылу только сознание удерживало о том что я больна. Но как могла помогала фронту вносила облигации... работала в колхозе Красный Путиловец на разных полевых работах, а также на лесозаготовках за Камой все хотелось что бы как можно скорей закончить эту жестокую опустошительную войну. В 1945 году получила похо-



ронную на мужа... Часто приходилось в последнее время бывать в Подмоскowie где выпало счастье большое для меня простой крестьянской девочки «Антошки» добровольца встретить наших дорогих и всеми уважаемых космонавтов. Юрия Алексеевича Гагарина, Титова Германа Степановича, Попович Павла Романовича, Николаева Андрияна Григорьевича, Терешкову-Николаеву Валентину Владимировну и Быковского Валерия Федоровича. Большую радость испытала я при встрече с ними... Вообще в жизни радость и счастье я часто испытываю. Самое большое счастье которое испытала когда была принята в родную Коммунистическую Партию в 1964 г... хочется сказать во все услышанье спасибо тебе моя родная Партия за все хорошее за счастье простой крестьянской сироты...

02.03.67 г.      *А. Т. Придатко (урожд. Пальшина)*  
г. Сарапул.

### **Статья в «Прикамской жизни» 7 февраля 1915 года «Сарапульская девушка-доброволец»**

Среди русских женщин-героев имя Александры Дуровой занимает одно из славных мест. В эту войну тоже явились сарапульские женщины, перед храбростью которых приходится преклоняться. 6 фев. в Сарапул доставлен brave солдат в шинели, сапогах, фуражке, с бритой головой, на вид юный, отважный доброволец. Между тем это девушка кр. подгородной деревни Шевыряловой Пальшина... Продав шубу, шляпу, золотые кольца, девушка покупает лошадь и под видом добровольца поступает в кавалерийский разъезд... В лазарете наконец раскрывается, что юный кавалерист — женщина... при воспоминании о своей срезанной косе, солдат-девушка заплакала.

Приказ о награждении Антона Пальшина Георгиевским крестом не подлежит оглашению.

### **Приказ по армии № 861 12 ноября 1915 года**

На основании ВЫСОЧАЙШЕ предоставленной мне власти, нижепоименованных нижних чинов за проявленные ими подвиги мужества и храбрости в бою с неприятелем награждаю Георгиевскими крестами и медалями...

1. Рядов. Иосиф ГЛУЩЕНКО, он же Евдокия Карповна ЧЕРНЯВСКАЯ, 2 сент. 1915 г. у м. Деражно, будучи разведчиком, с явной личной опасностью проникнув в расположение неприятеля, доставила ценные сведения о его расположении...

151. Антон Тихонов ПАЛЬШИН (он же Антонина Тихоновна ПАЛЬШИНА).

За проявленные в сентябрьских боях подвиги и храбрости...

ПОДПИСАЛ: Командующий армией Генерал-Адъютант Брусилов

СКРЕПИЛ: И. д. Начальника штаба Генерал-майор Сухомилин РГВИА. Ф. 2134. Оп. 2. Д. 323. Л. 287—290.

**О защите доброго имени кавалерист-девицы  
Пальшиной А. Т. от клеветы, поступившей  
на нее в ЦК КПСС**

*Первому секретарю  
Сарапульского горкома КПСС  
тов. Гнускину Н. И.*

Копия для освещения: Удмуртский обком  
КПСС

Прошу обратить Ваше внимание на положение Придатко-Пальшиной Антонины Тихоновны, рожд. 1897 г., члена КПСС с 1964 г., ветерана первой мировой войны, награжденной двумя Георгиевскими крестами и двумя Георгиевскими медалями за перевязку раненых на передовых позициях и проявленный героизм, бывшего сотрудника Сычевского исполкома в 1918 г., сотрудника Черноморской ЧК в 1920 г., жены руководящего работника ЧК, комиссара 4-й кавдивизии Конной армии Буденного в гражданскую войну Г. Г. Фролова, участницы гражданской войны, вдовы активного участника Отечественной войны Г. С. Придатко, погибшего на фронте в 1943 году, инициатора сбора теплых вещей и помощи фронту в Отечественную войну, пенсионерки с двадцатилетним стажем (гор. Сарапул, ул. Гагарина, 30, комната 33)...

По многочисленным выступлениям союзной печати о Пальшиной общеизвестно, что она повторила подвиг Надежды Дуровой, своей землячки, если не перевершила его, является национальной героиней, второй русской женщиной, выступившей в войнах под мужским именем. На необычной, героической биографии Пальшиной будет воспитываться не одно поколение.

Казалось бы, что А. Т. Пальшина более чем заслужила должное внимание, спокойную, счастливую старость... Но...

Так и не решился вопрос назначения Пальшиной пенсии — персональной пенсии местного значения.

В 1969 г. потребовалось вмешательство В. К. Марисова, чтобы Пальшиной выделили жилье. Выделили комнату в общежитии, через тонкую перегородку общий туалет, кухня про всех, холодно — до 12 гра-

дусов в эту зиму, крутая, не для возраста, лестница на второй этаж... Сготовить, постирать, помыться — все в своей комнатке... Никому-то теперь нет дела до Пальшиной...

Более чем странно, что до сих пор отношение к Пальшиной определяется не ее действительными заслугами перед своим народом, Родиной, а известным пасквилом, состряпанным по инициативе Бузилова Т. А., подписанным группой старых коммунистов, персональных пенсионеров Сарапула, обратившихся с этим подлым документом в ЦК: «Пальшина — самозванка, не было никаких крестов, ни медалей, ни ЧК!» Ни один из этих «12 апостолов» в годы мировой и гражданской войн Пальшину не знал, ни один не располагал компрометирующим ее документом, и ни один не понес наказание за клевету, за оскорбление личности...

Позавидовали доброй славе Пальшиной... Судить бы этих людей, а не прислушиваться к их сплетням.

В 1975 г. я был вынужден обратиться с соответствующим письмом в Удмуртский обком КПСС на предмет разрешения на публикацию повести о Пальшиной, над которой работаю. Вопрос решился положительно. Биография Пальшиной подтверждается убедительными документами, имя ее полностью реабилитировано.

Не пора ли отказаться от претензий в отношении Пальшиной и изыскать возможность дожить ей более счастливо свой век? Выделить ей, например, однокомнатную квартиру — с ванной, горячей водой...

19.02.76 г.

*С уважением В. Бобылев.*

Стихотворный подарок А. Т. Пальшиной  
XXIV съезду КПСС

*Народ и партия едины!  
В лучах предутренней зари,  
в сиянии солнечного дня  
цветут цветы для Ильича.  
На тех цветах звезда пятиконечная  
Горит, а в той звезде ее Мерцании  
Святая книга Мудрая лежит.  
И в книге той своей рукою  
Великий Ленин Вождь Родной,  
Нам начертал слова такие  
народ и Партия Едины!  
Нам дружба в том великая дана  
Чтоб коммунизм построить на Века!*

В Краеведческий музей г. Сарапул.

Посвящаю свой скромный труд XXIV съезду  
Коммунистической Партии Советского Союза.

*Пенсионерка Придатко А. Т. (Пальшина)*

17 марта 1971 г.

г. Сарапул Удм. АССР.

Несмотря на все переодевания в мужскую одежду, Пальшину трудно назвать транссексуалом. Мужчины играют в ее жизни далеко не последнюю роль.

В целом ее отношение к мужчинам можно охарактеризовать как двойственное, типа «тяготение-отвергание». Оно является выражением глубокого сексуально-ролевого конфликта, заключается в

том, что она стремится к признанию со стороны мужчин, и это для нее чрезвычайно важно, а с другой — идентифицирует себя с мужчиной и ярко проявляет тенденцию именно к мужскому поведению. Она часто выполняет чисто мужские роли, что мешает ей быть женщиной и получить столь желаемое признание у мужчин. Можно сказать, что указанный конфликт находит свое выражение в том, что она страстно желает быть женщиной и в то же время бессознательно уходит от соответствующего психологического статуса, не принимает его, о чем свидетельствуют ее конкретные поступки.

Женскую преступность Ломброзо объяснял наследственностью и преобладанием врожденных мужских качеств.

Нравы в ВЧК царили дикие и аморальные. Несмотря на это, чекистов прославляли на митингах и торжественных собраниях, в бесчисленных резолюциях и благодарственных письмах, как, например, в опубликованном в «Правде» письме рабочих тормозного завода имени Кагановича: «Великая слава верному стражу пролетарской революции — славным чекистам-работникам Наркомвнудела!»

В число подобных славных чекистов входил и руководитель Беломорстроя Коган — непосредственный организатор и первый начальник ГУЛАГа. Коган в прошлом был анархистом. Во время гражданской войны он служил в карательных органах на Кубани. О нравах тамошних чекистов можно судить по следующим примерам: в 1920 году в Кубанской ЧК «дочери одного из бывших губернаторов К., обвиненной в контрреволюции, чекист Фридман на допросе предложил альтернативу: или «видеться» с ним и получить свободу, или быть расстрелянной. К.

выбрала первое предложение и сделалась белой рабыней в руках Фридмана». В этой же «чрезвычайке» арестованная по ложному обвинению в сокрытии золота учительница Домбровская «была изнасилована и над нею глумились. Изнасилование происходило по старшинству чина. Первым насильовал чекист Фридман, затем все остальные. После этого подвергли пытке, допытываясь от нее признания, где спрятано золото. Сначала у голой надрезали ножом тело, затем железными щипцами — плоскогубцами отдавливали конечности пальцев». Не найдя золота, Домбровскую расстреляли...

## **ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ СОТРУДНИЦЫ СЕКРЕТАРИАТА ВЧК**

«У чекистов была масса женщин, — зафиксировано в показаниях киевской сестры милосердия Медведевой. — Они подходили к женщине только с точки зрения безобразий. Прямо страшно было. Любили оргии. В страстную субботу в большом зале бывшего театра происходило следующее. Помост, входят две просительницы с письмами. На помосте в это время открывается занавес, и там две совершенно голые женщины играют на рояле. В присутствии их чекист принимает просительницу». В советских карательных органах царило разложение.

«Как ни обычна «работа» палачей — наконец, человеческая нервная система не может выдержать, — писал Мельгунов в книге «Красный террор». — И казнь совершают палачи преимущественно в опьяненном состоянии — нужно состояние «невменяемости», особенно в дни, когда идет действительно своего рода бойня людей. В Бутырской тюрьме даже привычная к расстрелу администрация, начиная с коменданта тюрьмы, всегда обращалась к наркотикам (кокаин и пр.).

«Почти в каждом шкафу, — рассказывает Нилостонский про Киевские «чрезвычайки», — почти в каждом ящике нашли мы пустые флаконы из-под кокаина, кое-где даже целые кучи флаконов».



Как свидетельствовал бежавший на Запад чекист Георгий Агабеков: «Ягода окружил себя хотя и бездарной, но преданной публикой... Одним из таких прихлебателей является его секретарь Шанин, уголовная личность с явно садистскими наклонностями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии с вином и женщинами, на которые Ягода большой охотник. Девочки на эти вечера вербуются из комсомольской среды» (Агабеков Г. С. «Г. П. У. Записки чекиста», Берлин, 1930). Здесь Ягода вполне мог соперничать с другим обер-чекистом — Яковом Христофоровичем Петерсом, о котором Агабеков писал: «Петерс — фигура морально окончательно разложившаяся. Женщины и личная жизнь интересуют его больше, чем все остальное. Еще будучи полномочным представителем ОГПУ, он, разъезжая по окраинам, всегда имел при себе в вагоне двух-трех личных секретарш, которых, по мере надобности, высаживал из поезда по пути следования».

Что же представляли из себя эти личные секретарши и девочки из комсомольской среды? Большинство из них сгнуло без следа, растворилось в потоке времени. Никому и ничего они уже не расскажут, а ведь как интересно...

Вспоминаю о своем. Москва, Ваганьковское кладбище. Мне 13 лет, мы с мамой пришли на могилу Есенина. Стою, смотрю на могилу Есенина.

— А рядом похоронена Галина Бениславская, которая застрелилась на его могиле.

— Зачем?

— Любила его. А потом многие стрелялись на этой могиле, но она первая. В одно время стреляться на могилах было модно.

Не могла я тогда знать, что женщина, убившая себя на могиле поэта, работала в секретариате ВЧК

и некоторое время жила в Кремле. Кстати, несмотря на абсолютно безумную страсть к Есенину, ее сексуальная жизнь была разнообразной. Среди любовников Галины Бениславской были и видные чекисты.

Это классический пример невротической потребности в любви. Как все это сочеталось с работой в ВЧК? Очень просто: нормальных людей там было мало.

Примесь элемента страсти к истинной любви вносит в душевное состояние человека новый элемент — элемент побуждения к обладанию предметом, элемент эгоистический, требующий удовлетворения и взаимности от любимого к любящему.

Чрезмерная страсть, присоединяющаяся к любви, тушит альтруистическое чувство, часто затемняет светлую сторону идеального уважения и усиливает элемент эгоизма, обладания и самонасыщения. Удовлетворение страсти усиливает жажду ее.

Галя Бениславская впервые увидела Есенина во время выступлений в 1916 году. Судьба свела их в 1920, Галина без памяти влюбилась, некоторое время жила с Есениным, с осени 1923-го и вплоть до 1925-го занималась его издательскими делами.

Она была дочерью французского студента и грузинки. Родители вскоре расстались, мать тяжело заболела психически, и девочку удочерили родственники, жившие в латвийском городе Резеке. Галина с золотой медалью окончила Преображенскую гимназию в Петербурге, в 1917 году поступила в Харьковский университет на факультет естественных наук, но революционные события помешали закончить учебу. Работала в секретариате ВЧК, в это время жила в Кремле. С 1923 года — секретарь в газете «Беднота».

Унаследованная от матери неврастения давала себя знать, Галина дважды лечилась в санаториях.

Когда Есенин стал много пить и болел, Бениславская, беспредельно преданная поэту, делала все возможное (как ей казалось), чтобы спасти его. «Милый, хороший Сергей Александрович! Хоть немного пощадите вы себя. Бросьте эту пьяную канитель», — писала она в одном из писем.

С непониманием самого явления похмельного синдрома говорила Галина о последствиях «пьяной канители». «Вы сейчас какой-то «не настоящий». Вы все время отсутствуете. И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя, все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей вы видите постольку, поскольку находите в них отзвук вот этому копанью в себе. Посмотрите, каким вы стали нетерпимым ко всему несовпадающему с вашими взглядами, понятиями. У вас это не простая раздражительность, это именно нетерпимость», — писала Галина.

Всем своим существом Бениславская привязалась к Есенину и его родным. Через год после смерти поэта — 3 декабря 1926 года — она застрелилась на его могиле и завещала похоронить ее рядом с ним.

Она оставила на могиле две записки. Одна — простая открытка: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя я знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина... Но ему и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое».

У нее были револьвер, финка и коробка папирос «Мозаика». Она выкурила всю коробку и, когда стемнело, отломала крышку коробки и написала на ней: «Если финка после выстрела будет воткнута в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль — за-

брошу ее далеко». В темноте она дописала еще одну строчку, наехавшую на предыдущую: «1 осечка». Было еще несколько осечек, и лишь в шестой раз прозвучал выстрел. Пуля попала в сердце.

Дневник — это не всегда только дневник, и не всегда он пишется лишь для одного читателя — для себя. Очень часто дневник изначально пишется для широкой публики, чтобы увековечить себя и свои чувства.

Далекое время, бесхитростные строчки, мелкие факты. Мы вчитываемся в страницы дневника, удивляясь, поражаясь чувствам девушки, которая работала среди убийц в секретариате ВЧК и всем убийцам предпочла поэта. Но смерть поэта ее убила. Ощувив невозможность своего существования без Него, она ушла из жизни, застрелив себя на его могиле.

Ответное чувство Есенина не просматривается. Это не случайно: его захватила страсть к алкоголю.

Неврастеническая любовь никогда не обвиняет любимого, не замечает его недостатков. «Если бы для него надо было умереть. И при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, смерть стала бы радостью». Не узнал. Да и не интересно все это ему было.

Е. А. Устинова, которая часто бывала откровенна с поэтом, после его смерти вспоминала.

«Помню, заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову, и изредка поправлял волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашивала я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!

— Ну, а творчество?

— Скучное творчество! — Он остановился, улы-

баясь смущенно, почти виновато. — Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское, вот, веселит, бодрит. Всех тогда люблю и... себя! Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь «божья дудка».

Я попросила объяснить, что значит «божья дудка».

Есенин сказал:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же».

*Из дневника Галины Бениславской.*

**1921 год.**

**23.12.** Я не знаю, хорошо это или плохо. Сначала... было дорогое, но милое воспоминание и одно из сердечных свиданий с Ним, таким большим. А теперь опять шквал. Теперь он небрежен, но это не важно. Внутри это ничего не меняет. А по временам вспыхивает и охватывает то — стихийное.

**1922 год.**

**01.01.** Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно быть не ревнивым! Ей-Богу, хотела бы посмотреть на этого идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подавать вида, больше того, — можно разыгрывать счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая; можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки если любила так, по-настоящему, — нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Иначе, значит, — мало любишь.

Нет, нельзя спокойно знать, что Он кого-то предпочитает тебе, и не ощущать боли от этого созна-

ния. Как будто тонешь в этом чувстве... И все же буду любить, буду кроткой и преданной, несмотря ни на какие страдания и унижения.

**31.01.** ...он проводил нас (и поехал к Д/ункан)... когда я поборю все в себе, все же останется это теплое и самое хорошее к нему. Ведь смешно, а когда Политехнический взывает, гремит: «Е-се-нин» — у меня счастливая гордость, как будто это меня.

Как он «проводил» тогда ночью, пауки ползали, тихо, нежно, тепло. Проводил — забыл, а я не хочу забывать. А как опустошенно все внутри, нет ведь и не найдешь ничего равного, чтобы можно было все опустошенное заполнить.

**Утро 01.02.** Вчера заснула, казалось, что физическая рана мучит, истекает кровью. Физическое ощущение кровотечения там, внутри. Сейчас пришла Яна и все испортила, было успокоение и ощущение своей молодости, задора, сознание, что если и люблю так, как никого, то все же есть еще жизненные силы. А она из всяких «соображений» грубо сказала, что я опять с С. и т. д., и все, все испортила. Успокоение, завоеванное таким усилием, — даром это не дается — нарушено. (Яна — Янина Козловская, близкий друг Гали, дочь известного революционера М. Ю. Козловского. — *Прим. ред.*)

Что же делать, если «мир — лишь луч от лика друга, все иное — тень его». Но я справлюсь с этим. Любить Е(сенина), всегда быть готовой откликнуться на его зов — и все, и — больше ничего. И не прав Лермонтов, — ведь я знала, что это «на время», и все же хорошо. Когда все пройдет и уйдет Д(ункан), тогда, может быть, Он вернется. А я, если даже и уйду физически, всегда душой буду его.

Как странно определять и измерять его отношение по отдельным движениям не его, а окружающих. И так грустно, грустно.

**14.03(?)**. Сейчас прошли две соседки по комнате, «любовались» моими волосами (я сижу распущенная — мыла их), и мне опять делается невыносимо грустно. Я теперь совершенно не выношу, когда мне говорят, что у меня красивые глаза, брови, волосы. Ничем мне нельзя сделать так мучительно больно, как этим замечанием. Боже мой, да зачем мне все это, зачем, если этого оказалось мало!..

**21.03**. В четверг начался очередной приступ тоски, а на следующий день я боролась, вспоминая, что было ведь все очень хорошо — чего же больше? А с другой стороны, тошнота при мысли, что он там со своей старухой-женой и день и ночь.

Со всем этим багажом поехала на лыжах далеко. Ничего не хотелось, только жить вместе с лесом, я стояла, глядя на зеленые верхушки сосен, на небо, такое голубое, и казалось, что это лето: птицы поют, солнце ласково греет; конечно, лето. И вдруг — неожиданная мысль о... Я испугалась, думала, будет больно. Захочу видеть. Нет, захотелось только, чтобы он тоже смог увидеть всю эту красоту. Хотелось не для себя, не для того, чтобы он был со мной, нет.

Вот я и поняла, что в жизни не один Есенин, что его можно и надо любить как главное, но любить именно бескорыстно, не жадной любовью, требующей чего-то от него, а так, как вот любишь этот лес, не требуя, чтобы лес жил, сообразуясь со иной, или он всегда был там, где я. Если во мне заговорило мое женское, даже если оно проснулось благодаря Ему, то надо же быть искренней до конца.

Я частенько раньше думала... что, сохранив «физическую невинность», я принесу самую трудную жертву любви к Е(сенину). Никого, кроме (него). Но не было бы это одновременно доказательством того, что я жду и моя преданность вызвана именно этой искусственной верностью. А нарушение этой «верности», с одной стороны, устранил невольные требования к Е(сенину), а с другой стороны, может дать хорошие, ничего не обязывающие отношения с другими. Если я хочу быть именно женщиной, то никто не смеет мне запретить или упрекнуть меня в этом!

Пожара уже нет, есть ровное пламя. И не вина Е(сенина), если я среди окружающих не вижу людей, все мне скучно, он тут ни при чем. Я вспоминаю, когда я «изменяла» (ему) с И., и мне ужасно смешно. Разве можно изменить человеку, которого любишь больше, чем себя? И я «изменяла» с горькой злостью на Е(сенина), и малейшее движение чувственности старалась раздувать в себе, правда, к этому примешивалось любопытство.

**08.04.** Так любить, так беззаветно и безудержно любить. Да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе: это сильнее меня, моей жизни. Вот сегодня — Боже мой, всего несколько минут, несколько минут нетерпеливого внимания, — и я уже ничего, никого, кроме Него, не вижу. Вот как-будто уляжется, стихнет, но стоит поманить меня, и я по первому зову — тут. Смешно, обреченность какая-то. И подумать — я не своя, во власти другой воли, даже не замечающей меня.

А как странно: весна в этом году такая, как с Ним, — то вдруг совсем пересилит зиму, засверкает, загудит, затрепещет, то — зима расправит свои мохнатые



крылья и крепко придушит весну. Так и с ним: неожиданно радость, как птичка, прилетит, и тут же снова выпорхнет — не гонись, не догнать все равно, жди, может, вернется.

**12.04.** Была с Яной на диспуте. Был и он с А(йседорой), и никого не видел, никого, кроме (нее). А(йседора) — это другой берег реки, моста и переправы обратно нет! А(йседора), именно она, а не я предназначена ему, и я для него — нечто случайное. Она — роковая, неизбежная. Встретив ее... он должен был все, все забыть, ее обойти он не мог. И что бы мне ни говорили про ее старость, дряблость и проч., (Айседора Дункан была на 15 лет старше Есенина. — *Прим. ред.*), я же знаю, что именно она, а не другая должна была взять его. Я осталась далеко позади, он даже не оглянется, как тот орел, даже если бы я за ноги стала его хватать. Не физическая близость, от него мне нужно больше: от него нужна та теплота, которая была летом, и все!!!

**27.04.** Так грустно, как будто дочитываю последние страницы хорошей книги. Вот закрою, и все как сон, будет опять обыденная жизнь. И Он никогда не оглянется на меня, так бесцельно и мимоходом сломанную им. И все же мне до боли радостна эта обреченность, и я ни на что ее не променяла бы.

**22.05.** Уехал. Вернее, улетел с А(йседорой). «Сильнее, чем смерть, любовь». Страшно писать об этом, но это так: смерть Е(сенина) была бы легче для меня. Я была бы вольна в своих действиях. Я не знала бы этого мучения — жить, когда есть только тяга к смерти. Ведь что бы ни случилось с Е(сениным) и А(йседорой), возврата нет, после Айседоры — все

пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность, я ничто после нее (с его точки зрения, конечно). Я могла бы быть после Л. К., З. Н., но не после нее. Здесь я теряю.

**16.07.** «Она вернется через год сейчас в Бельгии...» — так ответили по телефону. Значит, и Он тоже. А год иногда длиннее жизни. Как ждать, когда внутри такая страшная засуха?..

**03.10.** Сегодня год, как увидела А(йседору). «Как искусство?» — «Не трогает». Сейчас они там, на другом берегу... Завтра «Его рождение».

### **1924 год.**

Я опять больна, и, кажется, всерьез и надолго. Неужели возвращаются такие вещи? Казалось, крепко держу себя в руках, забаррикадировалась, а ничто не помогло. И теперь хуже. Тогда... я верила в счастье любви, а теперь знаю, что «невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта». И все же никуда мне не деться от этого...

**26.08.** Крым, Гурзуф. Вот, как верная собака, когда хозяин ушел, — положила бы голову и лежала, ждала возвращения.

### **1925 год.**

**11.07(?)**. Прошло, по-моему, много-много лет. Это последняя глава первой части. Авось на этом моя романтика кончится — пора уж.

Сергей — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А

ведь с него больше спрашивается, нежели с простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. Обозлился за то, что я изменяла? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли? Сергей понимал себя, и только. Не посмотрел, а как же я должна реагировать, когда я чинила после Крыма кровать (история с Ритой!). Всегдашнее — «я как женщина ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем! Чтобы это льстило ему! Пускай бы Сергей обозлился, за это я согласна платить. Мог уйти. Но уйти не так, считая столы и стулья — «это мое тоже, но пусть пока останется», — нельзя такие вещи делать и...

Почему случилось? — знаю. Клевета сделала больше, чем было на самом деле, — факт, Сергею трудно было не взбеситься, и не в силах он был оборвать это красиво... Боже мой, ведь Сергей должен был верить мне и хоть немного дорожить мной. Я знаю, другой такой, любившей Сергея не для себя, а для Него, он не найдет. И если я себя как женщину не смогла бросить ему под ноги, — то разве ж можно было такое требовать от меня, ничего не давая?..

**16.11.** Я оказалась банкротом. Не знаю, стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно затратила. Я думала, ему правда нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник. Не хочется идти к Толстой, ну, а сюда просто, как домой: привык, что не ругаю пьяного и т. д. То, что было, было не потому, что он известный поэт, талант.

Иногда я думаю, что он мещанин и карьерист... Погнался за именем Толстой — все его жалеют и

презирают: не любит, а женился. Даже она сама говорит, что будь она не Толстая, ее никто не заметил бы даже. Он сам себя обрекает на несчастье и неудачу. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. А я знаю, отчего у меня злость на него, — оттого, что я обманулась, идеализировала и отдала своей дурастью и глупым самопожертвованием все во мне хорошее и ценное. И поэтому я сейчас не могу успокоиться...

### ***Декабрь 1926 года.***

Да, Сергунь, все это была смертная тоска. Оттого и был ты такой, оттого и так больно мне.

И такая же смертная тоска по Нему у меня.

### ***1926 год.***

Вот, мне уже наплевать. И ничего не надо, даже писать не хочется... постоянно продолжающаяся болезнь. Ясно? Понятно? Полгода во всех состояниях — думаете, и все тот же вывод? Ну, отсрочила на месяц, на полтора, а читали, что лучше смерть, нежели. Ну, так вот, вот...

Сергей, я тебя не люблю, но жаль «То до поры, до времени...» (писала пьяная).

Дневник, в котором столько эмоций, желания устоять и выстоять, несмотря на испытываемые муку и униженность, на этом обрывается. Неотвратимо сознание невозможности жизни без Него: «Так любить, так беззаветно и безудержно любить. Да разве это бывает?» Бывает и не такое у психически неуравновешенных людей.

Год спустя после смерти Есенина она застрелилась на его могиле.

Самоубийства вдов во многих странах являлись доказательством верности мужу. В римской истории известен случай, когда Порция, жена Брута, узнав о смерти супруга, немедленно проглотила горсть горящих углей. Н. М. Карамзин (1766—1826) в своей «Истории государства Российского» свидетельствует: «Славянки не хотели переживать мужей и добровольно сжигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство».

Это было давно, а после самоубийство стало считаться преступлением против Бога и приравняться к убийству. Ведь жизнь человеку дана Богом, и только он вправе забрать ее.

Попытка избежать страданий, ниспосланных Всевышним, объявлялась религиозными теоретиками христианства грехом, лишаящим удавленника или утопленника прощения и спасения души. Им отказывали в погребении на кладбище, их позорно хоронили на перекрестках дорог. Страдала и семья грешника, лишаясь законного наследства. А чудом оставшийся в живых приговаривался к заключению и каторжным работам как за убийство. В Военном и Морском артикуле Петра I имелась довольно суровая запись: «Ежели кто себя убьет, то мертвое тело, привязав к лошади, волочить по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собой чинить не отваживались».

Но человек душевнобольной не отвечает за свои поступки, а Галя Бениславская была именно такой — неменяемой.

Выдающийся русский психиатр П. И. Ковалевский (1849—1923) писал: «Я убежден, что по историям болезни больных домов умалишенных можно

с большой точностью написать историю волнений и переживаемых умственных колебаний данного общества». И то, что относится к Бениславской непосредственно: «Неврастеники очень легко подчиняются чужому мнению: утром они подчиняются одному, вечером другому, совершенно противоположному мнению. Своего взгляда, собственной критики, собственного разбора того или другого мнения у них нет и они постоянно у кого-нибудь под башмаком. Но рядом с этим у неврастеников проявляются отдельные мысли и поступки, выходящие из ряда обыкновенного. Больные эти мало склонны к строгому мыслительному процессу, — они с большим наслаждением и большим удовольствием живут образами чувств, мечтаний и фантазий».

## ДОРОГАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА

«Опять там Максим Горький. Он действительно делает дурное дело. Он — Суворин при Ленине. Оказывается, Ленин был у него перед отъездом. И Горький с ним беседовал, и руку пожимал! Красиво.

Горький продолжает в «Новой жизни» свое худое дело. А в промежуток скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», буквально умирающих с голоду. Впрочем, он не негодяй, он просто бушмен. Но уже не с «бусами» невинными, как прежде, а с бомбами в руках; и разбрасывает их повсюду, для развлечения», — так писала Зинаида Гиппиус в 1918 году.

Получивший доверие новой власти Алексей Максимович Горький в феврале 1919 года возглавил Экспертную комиссию при Наркомвнешторге, которая «работала по созданию фонда из предметов искусства и роскоши, могущих быть использованными для товарообмена с границей». В этом деле пролетарскому писателю помогала его любимая женщина М. Ф. Андреева, осуществлявшая функции курьера и партнера на переговорах с иностранными торговцами.

Максим Горький в глазах прекрасного пола считался мужчиной сложным. Видимо, одна из причин — детская склонность к неумемному чтению, развившему фантазию и воображение, ранние желания и неосознанные комплексы.

Натура Горького не могла примириться с суровой прозой жизни, это глубокое противоречие постоянно оказывало влияние на его личные дела.

Уже в 13 лет он по уши влюбился в красавицу вдову. Она давала ему сборники стихов и другие книги из своей библиотеки, вела высокие беседы о вечной женственности и добре, чем доводила Алешу до тихого экстаза. Он мысленно называл ее «королевой Марго». Он обожал ее и поверял ей все свои секреты.

Алеша ходил к ней на квартиру вместо церковной службы.

Иногда она принимала его, попивая кофе в постели, а однажды ему посчастливилось: красавица начала при нем одеваться.

«Она надела чулки в моем присутствии, и я не почувствовал никакого смущения — было нечто чистое в ее наготе».

Впрочем, вскоре последовал удар: прибыв на очередное свидание, юный поклонник с удивлением обнаружил в постели Марго мужчину.

«Честно говоря, я не поверил, что моя королева могла дарить любовь, как все другие женщины», — признавался Горький. Рана была жестокой и не заживала долго.

В юности Алексей, по его признанию, бывал свидетелем оргий, однако участия в них не принимал, а стоял, прислонясь к стене, и пел народные песни, надеясь, что хоть это сбавит пыл окружающих.

Тем не менее глубокую потребность в любви он испытывал постоянно. В 1887 году у девятнадцатилетнего Алексея развилась острая депрессия. Мучаясь от одиночества, он пытался покончить жизнь самоубийством, однако пуля попала не в сердце, а в легкое и он остался жив. А депрессия не проходила, и Горький вынужден был обратиться к психиатру, давшему



простой, но полезный совет. «Вам, голубчик, нужна знающая дело бабенка, — и все ваши депрессии как рукой снимет!» Судьбе было угодно вывести молодого человека из кризиса — Горький влюбился в замужнюю даму Ольгу Каменецкую, красивую и остроумную, к тому же некоторое время пожившую в Париже, что придавало ей некий шарм.

Ольга была старше на десять лет и не собиралась разводиться с мужем, на чем упорно настаивал ее возлюбленный, страдавший оттого, что кто-то еще делит с ней ложе. Он умолял ее навеки соединить с ним судьбу или грозил разрывом, однако рассудительная Ольга предпочла статус-кво, и они драматически расстались. Прошло два года, и в 1892 году бывшие любовники встретились. Ольга уже жила одна, и Горький, не перестававший любить ее, был на вершине блаженства.

Они поженились и, оправдывая пословицу «с милым рай и в шалаше», сняли баню на задворках дома одного сильно пьющего попа, счастливо прожив там два года. Горький не переставал обожать свою избранницу, особенно его волновала ее фигура — стройная, как у девушки.

Однако «сердце красавиц склонно к измене». Горький этого вынести не смог и ушел от Ольги.

В 1896 году 28-летний Горький влюбился в газетного корректора Екатерину Волжину, потом Пешкову, убежденную революционерку. Казалось, их брак будет удачным: Катя была младше мужа на 10 лет, родила ему двоих детей. Но жизнь опрокинула все расчеты, и вскоре они разъехались, не сочтя нужным оформить развод. Они остались друзьями на всю жизнь, хотя Горький и считал Катерину «слишком умной и с тяжелым характером» и даже в шутку называл ее «разгневанной канарейкой». Екатерина

Павловна после смерти писателя преследовалась советским режимом.

После этого писателя потянуло к простоте: некоторое время он прожил с проституткой, пытаясь направить ее на путь истинный. Однако из этой затеи ничего не вышло, и инженер человеческих душ испытал очередное разочарование. Но вскоре новый роман, новая любовь к замужней женщине — актрисе Марии Андреевой. Это произошло в 1901 году, а в 1906-м он уже представлял ее как свою жену во время поездки в Соединенные Штаты, где русского писателя чествовали президент Теодор Рузвельт и Марк Твен.

Горький использовал свою поездку для сбора средств на революционные цели, а потому царское правительство решило дискредитировать его. Через русское посольство в американскую прессу был пущен слух, что Горький путешествует со своей любовницей (ни он, ни Андреева не были разведены).

Жизнь ее, казалось, предопределена служению Мельпомене. Отец, из дворян Харьковской губернии, — главный режиссер Александринского театра. На той же сцене, актрисами, и ее мать, и старшая сестра. С мужем, действительным статским советником, видным чиновником Министерства путей сообщения, связывает только сын. Вся жизнь — только в театре, для театра.

Мария Федоровна создавала, вместе со Станиславским, Немировичем-Данченко, Книппер, Москвиным, Лужским, Мейерхольдом, Лилиной, Артемом, Московский художественный театр. Сыграла там Леля в «Снегурочке», Ирину в «Трех сестрах», Наташу в «На дне», другие роли. Тогда же познакомилась с Максимом Горьким, дружба с которым вскоре перешла в любовь.

Океанский гигант «Кайзер Вильгельм Гроссе» уже давно покинул немецкий порт Шербург. Теперь он приближался к берегам Америки. Еще день, и пароход бросит якорь у нью-йоркской пристани. Мария Федоровна Андреева сидела на палубе в шезлонге. Это был редкий час, в который она позволила себе отдохнуть. Алексей Максимович в пути писал роман «Мать». Отдельные главы, страницы давались ему нелегко. Он переделывал их по нескольку раз. И вновь и вновь садилась за пишущую машинку Мария Федоровна, и вновь и вновь переписывала строку за строкой. Переписывала даже тогда, когда ее мучила морская болезнь. Но устала она не от работы на машинке.

В Америке, как и везде, М. Ф. Андреева была незаменимой помощницей А. М. Горького. Но этим ее деятельность не ограничивалась. Ее здесь узнали не только как «миссис Горки».

Алексей Максимович и Мария Федоровна не состояли в браке.

Одного этого уже было достаточно, чтобы обвинить их в смертных грехах и подорвать доверие к ним. Ей было отказано от гостиницы, в которой она, Горький и Буренин поселились. Даже молодые американские писатели, приютившие их на короткое время в своем общежитии, отнюдь не афишировали своей «смелости», предпочитая, чтобы поступок их остался в тайне.

В первый момент Мария Федоровна была потрясена тем, что ее воспринимают в Америке совсем не так, как ей того хотелось. Но что можно сделать в такой ситуации? Только хорошую мину при плохой игре. Она скоро взяла себя в руки. С гордо поднятой головой появлялась любовница Горького на митингах и собраниях, как бы бросая вызов всем. В ответ на поднявшуюся кампанию Алексей Максимович на-

правил в редакции газет письмо, в котором заявил решительно, но маловразумительно: «Моя жена — это моя жена, жена М. Горького. И она, и я — мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-либо объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право — игнорировать сплетни».

Американское общественное мнение в то время было достаточно пуританским, разразился грандиозный скандал.

Горького называли «анархистом и распутником», спонсоры, на которых он рассчитывал, отказали ему в материальной поддержке.

Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пускали в отели, а один возмущенный менеджер выставил их со словами: «Это вам не Европа!» Газета «Индепендент» писала о «респектабельных леди», которые собирают деньги для убийств, но не в состоянии решить свои личные проблемы.

С первого же дня их пребывания в Америке в центре событий оказался не только Алексей Максимович, но и Мария Федоровна. Горького осаждали репортеры газет, к нему приходили люди, сочувствовавшие его политическим позициям, поклонники литературного таланта. Среди посетителей не было недостатка и в просто любопытных. Мария Федоровна всегда была с Алексеем Максимовичем, неустанно оберегала его от ненужных, по ее мнению, встреч и переводила речи Горького на митингах, его беседы с американцами. С русского на английский, с английского на русский — ох, как это было утомительно!.. Казалось, что вот-вот иссякнут силы. Но они у любовницы Горького были как будто бы неисчерпаемы. Горькому нужно было так много высту-

пать, а иногда в один и тот же день в разных городах, что Мария Федоровна превращалась в «доверенное лицо» — читала собравшимся на митинге текст речи, написанный Алексеем Максимовичем. Читала она так вдохновенно, взволнованно, что в восприятии слушателей сама превращалась в оратора и вызывала гром рукоплесканий. В одном из своих писем этого времени Горький писал: «М. Ф... 1-го мая здесь в Нью-Йорке будет читать написанную мною речь о русской женщине. Я в это время буду в Бостоне». И в другом письме: «М. Ф. на митинге, а я готовлюсь на другой — завтра».

Трудно даже представить себе, сколько ей пришлось пережить за последние два-три года! Как круто повернулась ее жизнь!

Сравнительно еще совсем недавно жила Мария Федоровна Андреева в кругу высшего московского чиновничества, была для всех, ее знавших, красивой, прекрасно воспитанной, любезной светской дамой, женой действительного статского советника А. А. Желябужского и одной из самых популярных артисток Московского Художественного театра, любимицей публики, избалованной восторженными отзывами прессы. Это та ее жизнь, которая шла у всех на виду. И никто из ее светских знакомых, почти никто из товарищей по театру не мог предполагать, что есть у нее совсем другая жизнь, ничем не похожая на ту, которую она вела на глазах у всех своих многочисленных знакомых и поклонников таланта.

В доме своего мужа, действительного статского советника А. А. Желябужского, Мария Федоровна хранила паспорта, которыми снабжала профессиональных революционеров. Сюда как-то пришла нижегородская социал-демократка Вера Кольберг и по записке Горького получила документы для двух сво-

их товарищей. Еще в апреле 1903 года М. Ф. Андреева ездила в Нижний Новгород. Жандармам было невдомек, что в эту свою поездку она привезла нижегородским социал-демократам первомайские листовки, которые и передала им через Горького. Изобретательна была Мария Федоровна в изыскании средств для партии. Под легальными вывесками она устраивала всевозможные лотереи, концерты, сборы пожертвований. Деньги же передавала в кассу большевиков. Финансовый агент партии! В этом качестве Мария Федоровна проявила себя еще до того, как официально стала ее членом.

И вот жизнь М. Ф. Андреевой резко изменилась. Не стало светской дамы, дом которой посещали и крупные чиновники, и цвет московской интеллигенции. Былые знакомые отвернулись от нее. «Сегодня я провожала Л. Л., — писала она Алексею Максимовичу, — и на вокзале семейство Жедринских (тот самый камергер, который был у Коровина) не удостоило меня узнать и прошло мимо особенно строго, я чуть было не упала в обморок от «отчаяния», но удержалась ввиду многочисленной окружавшей меня публики.

Вот оно, возмездие за дурное поведение! О-о-о! И, как мне было весело и смешно. Весело, что я ушла от всех этих скучных и никому не нужных людей и условий... Только теперь я чувствую, как я всю жизнь крепко была связана и как мне было тесно...»

Читаешь это письмо, и встают в памяти те страницы романа Л. Толстого «Анна Каренина», где рассказано, как отвернулось от его героини светское общество, когда она пошла навстречу своему чувству к Вронскому. И все-таки какая огромная разница между Анной Карениной и реальной женщиной другого времени, другого характера — Марией Фе-

доровной Андреевой! В конце 1903 года она совершила поступок не менее решительный, чем героиня романа Л. Толстого. Молодая женщина ушла из дома мужа, фактические супружеские отношения с которым были уже давно разорваны, к Алексею Максимовичу Горькому. От нее, так же как от Анны, отвернулись люди, в кругу которых она жила многие годы. Но на этом кончается сходство. Анна страдала не только от разлуки со своим маленьким сыном Сережей, но и от того презрения, которым ее окружило светское общество. А Мария Федоровна Андреева от разрыва с этим обществом почувствовала только облегчение. Она презирала его сама.

В 1904 году Андреева, уже работавшая для партии большевиков, официально вступила в ее ряды.

Шел 1905 год. Можно представить себе, что творилось в душе Андреевой, тяжело заболевшей, прикованной к постели, когда Горький был арестован в Риге, препровожден в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Еще не окрепнув, она ринулась в бой за него и сделала все для освобождения своего любовника. Она выкупила его, внесла крупную сумму — десять тысяч рублей. Горького выпустили под залог до суда, который не сулил ему ничего хорошего. Казалось бы, теперь Мария Федоровна должна была попытаться «спрятать» любимого человека. Но в жизни все пошло не так. Осенью 1905 года Горький и Андреева переехали в Москву, поселились в самом центре города, на углу Воздвиженки и Моховой, рядом с университетом. Квартира их стала одним из центров, из которого нити протягивались во все уголки Москвы. Отсюда они вели и в Питер. Здесь в дни Декабрьского вооруженного восстания в комнате за кабинетом Горького была организована лаборатория по изготовлению бомб, «македонок».

Сюда пришел весь обмотанный бикфордовым шнуром нижегородец Митя Павлов. Он доставил шнур и тут же свалился в тяжелом обмороке. В этой квартире появлялась связная из Питера, член боевой технической группы Наташа, Феодосия Ильинична Драбкина, доставлявшая взрывчатые вещества.

Потом — та самая скандальная поездка в Америку.

В Европу М. Ф. Андреева и А. М. Горький возвратились в октябре 1906 года. Они поселились в Италии, на острове Капри.

Именно об этих годах Мария Федоровна напишет впоследствии в официальных документах: находилась «лично в распоряжении товарища Ленина». Через много лет она будет вспоминать о том, как организовывала доставку в Россию нелегальной литературы, как изыскивала новые и новые средства для партии, как устанавливала связи. «Дорогая Мария Федоровна!» — неизменно обращался к ней Ленин. А вслед за этим обращением шли поручения.

Вот одно из таких поручений. Перед нами письмо В. И. Ленина от 15 января 1908 года. Адресовано оно Горькому и Андреевой:

*«Дорогие А. М. и М. Ф.!*

*Получил сегодня Ваш экспресс. Удивительно соблазнительно, черт побери, забраться к Вам на Капри! Так Вы это хорошо расписали, что, ей-богу, соберусь непременно и жену постараюсь с собой вытащить. Только вот насчет срока еще не знаю: теперь нельзя не заняться «Пролетарием» и надо поставить его, наладить работу во что бы то ни стало. Это возьмет месяц-другой, минимум. А сделать это необходимо...*

*Ну, а насчет перевозки «Пролетария» это Вы на*



свою голову написали. Теперь уже от нас легко не отвертитесь! М. Ф-не сейчас же кучу поручений приходится дать:

1) Найти непременно секретаря союза пароходных служащих и рабочих (должен быть такой союз!) на пароходах, поддерживающих сообщение с Россией.

2) Узнать от него, откуда и куда ходят пароходы; как часто. Чтобы непременно устроил нам перевозку еженедельно. Сколько это будет стоить? Человека должен найти нам аккуратного (есть ли итальянцы аккуратные?). Необходим ли им адрес в России (скажем, в Одессе) для доставки газеты или они могли бы временно держать небольшие количества у какого-нибудь итальянского трактирщика в Одессе? Это для нас крайне важно.

3) Если невозможно М. Ф-не самой это все наладить, похлопотать, разыскать, растолковать, проверить и т. д., то пусть непременно свяжет нас непосредственно с этим секретарем: мы уже с ним тогда спшиемся.

С этим делом надо спешить: как раз через 2—3 недели надеемся выпустить здесь «Пролетарий», и отправить его надо немедленно...»

22 января 1922 года М. Ф. Андреева писала В. И. Ленину из Берлина:

*«Дорогой Владимир Ильич!*

*Не повезло мне — все время, пока я пробыла в России, Вы были в отъезде, и видела я Вас всего минуточку...»*

А дальше Мария Федоровна сообщает о многом, в том числе и о ее поездках по ряду стран Европы с

целью собрать средства для пострадавших от невро-  
жая в Поволжье и в других губерниях.

*«Хотелось рассказать Вам о своей эпопее, — писа-  
ла она, — ведь меня посылали с лекциями о голоде в  
Швецию, Данию, и пришлось выступать в самом Бер-  
лине по тому же вопросу, это дало мне возможность  
видеть массу самой разнообразной публики, со мной  
разговаривающей без особой осторожности».*

Встречавшаяся с нею за границей в 1925 году И. А. Лу-  
начарская-Розенель так вспоминает о М. Ф. Андрее-  
вой. «Сквозь расступившуюся толпу гостей, — пишет  
она, — к нам приближается женщина, немного выше  
среднего роста, с коротко стриженными рыжеваты-  
ми волосами, в очень изящном и скромном светло-  
сером платье. Она еще издали приветливо улыбает-  
ся Луначарскому. Но по дороге ее останавливает со-  
ветник французского посольства; сделав знак  
Анатолию Васильевичу, она задержалась, свободно  
и непринужденно беседа с дипломатом...

В огромном переполненном зале Мария Федо-  
ровна раскланивалась направо и налево, у нее были  
десятки знакомых; она переходила с русского на  
французский, английский, немецкий, итальянский  
без всяких усилий; она умела сказать каждому лю-  
безное приветливое слово и в то же время была пол-  
на чувства собственного достоинства.

Вслед за ней доносился шепот: «Фрау Андреева!  
Ну да, знаменитая фрау Андреева!» Иногда произно-  
силось «Gogky». Видно, берлинцы хорошо знали Ма-  
рию Федоровну».

После октябрьского переворота Андреева живет  
за границей. В Ленинград после пятилетнего отсут-  
ствия она приехала в отпуск, отдохнуть.

И вот новая метаморфоза. В январе 1922 года для многих стало неожиданным назначение заведующей киноподотделом Торгпредства РСФСР в Германии Марии Федоровны Андреевой, урожденной Юрковской, по мужу — Желябужской.

В 1917 году Андреева переехала в Петроград. После Октября работала заведующей местным театральным отделом, художественным подотделом. И вот вдруг — торговля. Правда, поначалу, четыре года, искусством. Кинофильмами. Но душа к новому делу не лежала. Все сильнее и сильнее тянуло домой. Очень хотелось назад, в театр. На сцену. Но приходилось себя пересиливать.

В 1925 году М. В. Андрееву повысили в должности. Назначили заведующей художественно-промышленным отделом торгпредства. Поручили уже не покупать немецкие кинофильмы, а продавать изделия кустарей России и Украины, Закавказья и Средней Азии: ковры, холстины, рогожки, вышивки, игрушки, изделия из бересты и кости, бочонки... А заодно и антиквариат. Точнее, контролировать выполнение долгосрочного соглашения, заключенного еще в октябре 1923 года с одной из ведущих берлинских фирм, проводившей аукционы произведений искусства — «Рудольф Лепке».

Николай Семенович Ангарский вместе с Марией Федоровной Андреевой сделал первый шаг на том роковом пути, который через несколько месяцев привел к распродаже культурного достояния. К разграблению Эрмитажа. А помог им Наркомфин РСФСР, также внесший собственный вклад в развитие трагических событий.

Жена Горького Екатерина Павловна оставалась гордой и держала себя достойно и тогда, когда произошла семейная драма и муж оставил ее, уехав с Ан-

дреевой. Ее интимным другом стал Михаил Константинович Николаев — руководитель акционерного общества «Международная книга». Незадолго до начала первой мировой войны Екатерина Павловна ездила в Италию. Там она сказала Горькому, что собирается замуж — «он встал на дыбы». Горький был решительно против этого естественного намерения оставленной им женщины.

Однажды к ней на квартиру явились послы нескольких стран, это было тогда, когда Екатерина Павловна возглавляла Политический Красный Крест. Вышел Михаил Николаев и сказал собравшимся, что Екатерина Павловна извиняется за опоздание, но вот-вот будет. Приехав, она прошла к себе в будуар, чтобы переодеться. Затем раздвинулась портьера и появилась Екатерина Павловна с царственной осанкой. Английский посол наклонился к французскому послу и сказал по-французски: «Вот бы кого в русские императрицы!»

Ее ум мог показаться холодным, но это происходило от того, что она умела скрывать и никому не показывать своих чувств. Андрееву она, конечно ненавидела и была довольна, когда нашлась женщина, ради которой Горький оставил стареющую актрису. Этой женщиной была Мария Игнатьевна Будберг. Горький познакомился с ней в 1919 году, она была его секретарем и переводчиком, когда он занимался вопросами «Всемирной литературы».

## **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДАР ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**

Наиболее яркой фигурой, метеором, ворвавшимся в жизнь пролетарского писателя Максима Горького, была Мария Закревская, баронесса Будберг. Авантюристка, любовница английского агента Брюса Локкарта, зампреда ВЧК Я. Петерса, английского писателя Г. Уэллса, она периодически жила с Горьким и в России, и на Капри. Н. Берберова посвятила ей роман «Железная женщина».

«Квартира на Кронверкском проспекте в доме номер 23 находилась сначала, когда ее сняла М. Ф. Андреева, на пятом этаже (№ 10), но позже она стала mala и все семейство переехало ниже, в квартиру номер 5. Это были, в сущности, две квартиры, теперь слитые в одну.

В разное время различные женщины садились в доме Горького к обеденному столу на хозяйское место. С Марией Федоровной разрыв начался еще в 1912 году, но не сразу, и они продолжали не только видиться, но и жить под одной крышей. Теперь Андреева жила на Кронверкском в большой гостиной, но часто на время уезжала, и тогда в доме появлялась Варвара Васильевна Тихонова, по первому мужу Шайкевич, вторым браком за уже упомянутым А. Н. Тихоновым. От Шайкевича у Варвары Васильевны был сын, Андрюша, лет пятнадцати, который жил тут же, от

Тихонова — дочь Ниночка, позже во Франции известная балерина, ученица О. О. Преображенской, одного выпуска с Тумановой, Бароновой и Рябушкиной. Разительное сходство Ниночки с Горьким ставило в тупик тех, которые не знали о близости Варвары Васильевны к Горькому, если были такие. Нина родилась около 1914 года, и то, что в лице Горького было грубовато и простонародно, то в ней благодаря удивительному изяществу и прелести ее матери преобразилось в миловидность вздернутого носика, светлых кос и тоненького, гибкого тела. Не могу сказать, жил ли сам Тихонов в квартире на Кронверкском в это время, думаю, что нет. Там в 1919—1921 годах жила молодая девушка Маруся Гейнце, по прозвищу Молекула, дочь нижегородского приятеля Горького, аптекаря Гейнце, убитого в 1905 году черной сотней, теперь удочеренная Горьким, который любил усыновлять сирот. Он усыновил в свое время, как известно, брата Я. М. Свердлова, Зиновия, который даже носил его фамилию (Пешков), и если бы не его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова, и не Мария Федоровна Андреева, то, вероятно, усыновил бы и многих других.

Затем там жили художник Иван Николаевич Ракицкий, по прозвищу Соловей, тоже отчасти «усыновленный», Андрей Романович Дидерихс и его жена, художница Валентина Михайловна Ходасевич, племянница поэта, а в 1920 году рядом с гостиной поселился секретарь Марии Федоровны Петр Петрович Крючков, молодой присяжный поверенный, несмотря на разницу в семнадцать лет ставший ей близким человеком.

Андреева была в эти годы в зените своей третьей карьеры: первая началась до встречи с Горьким в театре Станиславского, и она прервала ее благодаря

Горькому, уехала с ним в Америку на Капри; вторую она пыталась начать в 1913 году, когда увидела, что разрыв с Горьким неизбежен, и поступила в театр Незлобина. Теперь Ленин назначил ее комиссаром Петроградских театров и она посвящала все свое время преобразованию Большого театра, бывшего А. С. Суворина. С Варварой Васильевной и ее детьми отношений у нее не было, она их не замечала. В свое время она тяжело пережила роман Горького с Тихоновой, которая приезжала гостить вместе с мужем на Капри. Варвара Васильевна оставила первого мужа, Шайкевича, отца Андрюши, вышла за А. Н. Тихонова в 1909 году и в то время, о котором здесь идет речь, считалась хозяйкой в доме Горького.

Мария Федоровна в первом браке была женой тайного советника Желябужского, от которого у нее было двое детей: дочь Екатерина, родившаяся в 1894 году, и сын Юрий (р. 1896), кинорежиссер. Мария Федоровна вступила в большевистскую партию в 1904 году и стала личным другом Ленина. Она была предана партии, и, когда известный московский миллионер Савва Морозов застрелился и оставил ей (не по завещанию, а на предъявителя) 100 000 рублей, она взяла себе 40 000, а 60 000 передала большевистской фракции РСДРП.

Но это было и прошло. Теперь, осенью 1919 года, в предвидении второй страшной зимы, в доме начали происходить перемены. Тихоновы выехали, к Андреевой приехал сын с женой; из Москвы, тоже на время, приехал сын Горького от первой жены, Максим, член партии большевиков с 1917 года; он хорошо знал Дзержинского и Петерса, у которых работал в ВЧК сначала инструктором Всеобуча, потом разъездным курьером. Во время его пребывания на Кронверкском в Большом драматическом

театре Андреева в последний раз сыграла Дездемону — ей было тогда пятьдесят два года, она выглядела на тридцать пять. Скоро после этого Максим выехал за границу, где стал дипкурьером между Берлином, Италией и теми европейскими странами, которые начинали постепенно заводить отношения с Кремлем.

Дом был всегда полон. В нем почти ежедневно ночевали засидевшиеся до полуночи и испуганные ночными нападениями гости. Им стелили на оттоманке в столовой. Среди них приезжавший в Петроград из Москвы Ходасевич. Его племянница, Валентина, была моложе его всего на восемь лет, и он очень любил ее. Иногда появлялись и старые друзья Горького, добравшиеся до него из Нижнего Новгорода, или друзья его друзей. Всем находилось место.

Никто никогда не жаловался на тесноту; так как эта огромная квартира была соединением двух квартир, то места всем было достаточно. К чаю нередко собиралось до пятнадцати человек, чаепития продолжались с пяти до полуночи. Обед был ранний. Еды было по тем временам достаточно, но, конечно, ни о какой роскоши говорить не приходилось. В Европе писали в это время, что Горький живет как миллионер (это была ложь). К чаю приходили сотрудники «Всемирной литературы», администраторы Дома ученых А. Роде и М. П. Кристи (тоже одно из вдохновленных Горьким или даже им созданных учреждений), писатели из недавно открытого «Дома искусств». Наиболее частыми гостями были издатель З. И. Гржебин, Ф. Э. Кример, вскоре назначенный в Лондон директором Англо-советского торгового общества (Аркос), А. Б. Халатов, председатель Центрального комитета по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), востоковед акаде-



мик С. Ф. Ольденбург, А. П. Пинкевич, В. А. Десницкий, К. И. Чуковский, Е. И. Замятин, Ф. И. Шалапин, Борис Пильняк, Лариса Рейснер, ее муж Раскольников, комиссар Балтфлота М. В. Добужинский, режиссер С. Э. Радлов, актриса французского (Михайловского) театра Генриетта Роджерс (позже вышедшая замуж в Париже за известного писателя Клода Фаррера), а также, когда бывали в Петрограде, Красин, Луначарский, Коллонтай, Ленин и другие члены правительства.

Атмосфера, которая царил в доме, была не совсем обычной: почти каждый обитатель имел прозвище и шутки, подвохи, анекдоты и всяческие юмористические затеи, иногда нелепые, понятные только посвященным «внутреннего круга», не прекращались ни на один день. Разумеется, комиссар театров Андреева в этом шутковстве не принимала участия. Но Соловей (прозвище Ракицкого), Валентина (позже главный декоратор Ленинградского Кировского театра), Молекула, а также приезжавший из Москвы Максим изощрялись в остроумии: шарадах, куплетах, фантастических рассказах о никогда не бывшем и якобы случившемся здесь только вчера. Этим всем угощали за чайным столом Горького, для которого это были редкие минуты юмора и смеха за целый день забот, огорчений, волнений, распутывания интриг в опекаемых им учреждениях и парирования козней Зиновьева, личного его врача.

Сейчас трудно себе представить, какую ни с чем не сравнимую власть имел этот человек, стоявший с момента Октябрьской революции на третьем месте в иерархии большевиков после Ленина и Троцкого, оставив позади себя и Каменева, и Луначарского, и Чичерина, и Дзержинского. В «Петроградской правде» каждое утро Зиновьев писал: «Я объявляю», «Я

приказываю», «Я буду карать безжалостно», «Я не потерплю...» — и за этим чувствовался чудовищный аппарат невероятной силы, который был у него в руках и которым он владел, не давая ни себе, ни другим ни минуты покоя. Все, что он ни делал, получало постфактум, конечно, апробацию Кремля, и он это знал. С Лениным он жил в Швейцарии, с Лениным он приехал через Германию в Петроград и теперь был фактически единоличным диктатором севера России, опираясь на мощный аппарат ВЧК, созданный Урицким. Урицкого вот уже год как не было. Тысяча человек были расстреляны за него одного. Но были заместители, и все они исчезли в конце 1930-х годов, ликвидированные в подвалах Лубянки или, может быть, в другом каком-нибудь знакомом им месте по приказу Сталина. Теперь даже о Зиновьеве нет ни строчки ни в советской истории, ни в советских энциклопедиях. Он выпал из советского исторического прошлого, как выпали Троцкий и Каменев, а Луначарский, Дзержинский, Чичерин и, может быть, сам Ленин остались в этом прошлом благодаря естественной смерти, преждевременно исключившей их из эпохи великого террора 1930-х годов.

Беззаботными шутками угощали не только Дуку (таково было прозвище, данное Горькому), но и его гостей, которые, пока не привыкали к духу того дома, иногда молча обижались, иногда озабоченно озирались, думая, что над ними здесь издеваются (как было с Андреем Соболев в Сорренто в 1925 году). И в самом деле, слушать рассказы о том, как вчера днем белый кашалот заплыл из Невы в Лебяжью канавку; или о том случае, когда двойная искусственная челюсть на пружине выскочила изо рта адвоката Плевако во время его речи на суде по делу об убийстве купца Голоштанникова, но в ту же секунду вер-

нулась и с грохотом встала на место; или о том, что Соловья один предок был известный индейский вождь Чи-чи-ба-ба, было не совсем ловко, а особенно самому профессору Чичибабинцу, если он при этом присутствовал.

Ракицкого звали Соловьем, Андрея Романовича Дидерихса — Диди, Валентину Ходасевич — Купчихой и Розочкой, Петра Петровича Крючкова — Пепе-крю, самого Горького — Дукой, и Муру, когда она пришла с Чуковским, мечтая переводить на русский сказки Уайльда и романы Голсуорси, и рассказала, что она родилась в Черниговской губернии, прозвали Титкой. Она всем очень понравилась. Насчет переводов даже сам Чуковский не очень рекомендовал ее, но ее попросили прийти опять, и она пришла и стала приходить все чаще. А когда через месяц наступили холода и темные ночи, ей предложили переехать на Кронверкский.

В этом не было ничего странного: год тому назад Ракицкий, давний друг Дидерихсов по Мюнхену, где все трое учились живописи и дышали воздухом «Синего Всадника», пришел на Кронверкский едва живой, босой, обросший. Ему дали умыться, накормили, одели в пиджак Дидерихса и брюки Горького, и он так и не ушел — остался в доме навсегда, вплоть до 1942 года, когда умер в Ташкенте, эвакуированный вместе с вдовой Максима и ее двумя дочерьми. Так в доме осталась и Молекула и жила там, пока не вышла замуж за художника Татлина, и так уговаривали остаться Ходасевича, приехавшего однажды из Москвы больным, но он не остался. Титка переехала в дом на Кронверкском постепенно, сначала ночуя то здесь, то у Мосолова. Квартиру Мосолова должны были вот-вот реквизируют под какое-то новое учреждение, очередное детище зинovieвской фанта-

зии. Затем настал день, когда Титка окончательно осталась у Горького. А еще через месяц она уже печатала для него письма на старом разбитом «ундервуде», который нашелся где-то в чулане, неизвестно чей, и переводила на английский, французский и немецкий его письма на Запад, письма, в которых он зывал о помощи голодающим русским ученым. Эти письма, одно из десяти, доходили чудом. Герберт Гувер, директор Американской организации помощи, был первым, кто откликнулся на них в 1920 году и организовал посылку пакетов АРА погибающим интеллигентам России. И, так как ни Молекула, учившаяся в университете, ни Валентина, писавшая портреты, не стремились к организованному хозяйству, Муре пришлось постепенно взять в свои руки надзор над обеими старыми прислугами (кухаркой и горничной Дидерихсов) и вообще упорядочить домашние дела. «Появился завхоз, — сказал Максим, приехав из Москвы и увидев счастливую перемену на Кронверкском, — и прекратился бесхоз».

Ходасевич много лет спустя писал о Муре (он впервые увидел ее в начале 1920 года, когда очередным образом приехал в Петроград — он в то время заведовал московским отделом «Всемирной литературы»):

«Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестра милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала баронесса В. И. Иксуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала связи в английском посольстве. В 1917 году ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет

двадцать семь. В момент Октябрьской революции она сблизилась с Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из ВЧК, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по Англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной литературе» и познакомил с Горьким.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама — под условным именем Мура. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Муры надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписывать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он — птица другого пера» и т. д.

Мария Федоровна постепенно тактично отдалась от центра этой семейной картины, и Мура постепенно тактично установила с ней самые лучшие отношения.

Комнаты их были рядом, Горького и Муры. По другую сторону от спальни Горького был его кабинет, небольшой, заваленный книгами и бумагами, выходящий в столовую. По другую сторону от Муры была комната Молекулы, затем — пустая, для гостей, которая, впрочем, редко оставалась незанятой. Дальше в одну сторону шли комнаты Андреевой и Пе-пе-крю, ее рабочий кабинет, выходящий окнами на улицу, светлый и не без изящества убранный, а в другую — открывалась перспектива квартиры Дидерихсов, где жил Ракицкий.

Мура уже через неделю после окончательного переезда оказалась в доме совершенно необходимой. Она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, нашла место для тех, которые ему присылались для чтения, готовила все для его дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные тексты, умела внимательно слушать, сидя на диване, когда он сидел за столом, слушать молча, смотреть на него своими умными, задумчивыми глазами, отвечать, когда он спрашивал, что она думает о том и об этом, о музыке Добровейна, о переводах Гумилева, о поэзии Блока, об обидах, чинимых ему Зиновьевым. Она подозревала, что не кто иной, как она, причина все увеличивающейся зиновьевской ненависти к Горькому, что Зиновьев все знает про нее и что Горький тоже знает это».

И вот Мура отправилась на поиски своих детей от первого брака.

«Конец января. Мура вышла из поезда в Таллине (как теперь назывался старый Ревель, столица Эстонии — не Эстляндии, как это было до революции). День был ясный, и впереди встреча с детьми и Мис-

си, о которых она после октябрьского письма Уэллса знала, что они живы. Город показался ей веселым, нарядным, каким-то европейским, полным белого хлеба и пахучего туалетного мыла, и людей, и лавок, и газет. Она только успела взглянуть вокруг, обвести глазами вокзальную площадь, ступив на последнюю ступеньку вокзального крыльца, и носильщик, который нес ее старый довоенный чемодан, крикнул извозчика, как два человека в черной форме с двух сторон взяли ее под руки. «Вы арестованы», — было сказано на чисто русском языке, и ее втокнули в коляску с поднятым верхом. Чемодан поставили ей в ноги, один полицейский сел рядом с ней, другой вскочил на козлы. Ее локоть был крепко сжат твердой рукой. Она не нашла слов, не сразу их нашла, чтобы спросить «почему?», «за что?». У нее все было в порядке.

— Что это у вас именно в порядке? — спросил полицейский насмешливо. И она ответила:

— Документы, виза, билет, разрешение, деньги, законно вывезенные, — стараясь не спешить и ставить слова, разделяя их запятыми.

Он сказал, что будет допрос, что она преступница и потому арестована. И что теперь она должна молчать.

Она замолчала. В полицейском участке, куда ее привезли, ее заперли в чистую, пахнущую дезинфекцией камеру, пришла женщина, обыскала ее, ощупала ее всю, потом потребовала ключ от чемодана, открыла его и перетряхнула все, что там было. Но что там было? Две ночные сорочки, последние дырявые чулки, туфли с острыми носами, какие носили в 1913 году, кусок английского мыла — подарок в последнюю минуту перед отъездом, мелочи. Потом она осталась одна в своей потертой шубе и шапочке,

которую ей смастерила на Кронверкском Валентина из куска старого бобрика. Она просидела так до трех часов, когда ей принесли еду: мясной суп с жирным наваром, кусок белого хлеба и вареный картофель, политый маслом и посыпанный укропом. Это все показалось ей очень вкусным, и на время она решила, что будущее совсем не так страшно.

Потом ее повели на допрос. Она узнала о себе многое: она работала на Петерса в ВЧК, она жила с Петерсом, она жила с большевиком Горьким, ее прислали в Эстонию как советскую шпионку. (В Эстонии ее считали советской шпионкой, в окружении Локкарта ее считали агентом британской разведки, в эмиграции в 1930-х годах о ней говорили как о немецкой шпионке, то же, что писал о ней Петерс в 1924 году.)

Она узнала на этом первом допросе, что, когда с неделю тому назад до Таллина дошло известие, что она собирается приехать, брат и сестра ее покойного мужа Ивана Александровича Бенкендорфа обратились в Эстонский Верховный суд, поддержанные другими родственниками, Бенкендорфами, Шиллингами, Шеллингами и фон Шуллерами, с прошением о немедленной высылке ее обратно в Петроград и о запрещении ей свидания с детьми.

Не попадая зубом на зуб, Мура сказала следователю, что она хочет адвоката. Против этого следователь не возражал. Он молча извлек из ящика стола лист бумаги и подал ей. Это был список присяжных поверенных города Ревеля, напечатанный по старой орфографии, явно дореволюционного времени. Часть имен была зачеркнута лиловыми чернилами.

Она медленно про себя начала читать, шевеля губами и водя пальцем по строкам. Фамилии были



русские, немецкие и еврейские. Русских она боялась, это могли быть друзья и сподвижники генерала Юденича, ненавистники Горького, они все до одного, наверное, будут предубеждены против нее, — слишком страшное было время, даже адвокаты не могут оставаться беспристрастными, и лучше ей, например, если понадобится операция, к русским хирургам в этом городе вовсе не обращаться. Немецкие фамилии были ей знакомы, их было немного, это были, собственно, фамилии ливонского дворянства, тевтонский орден, крестоносцы, с XIII века сидящие на своих землях на берегах Балтийского моря. Их было мало, потому что тевтонский орден не шел в свободные профессии, а служил в гвардии, в министерствах, в государственном совете. Они все показались ей родственниками или свойственниками Бенкендорфов. Оставались евреи. Фамилии их ничего не сказали ей. До революции она вовсе не знала евреев, ни одного, и в институте евреек не было, и в русских посольствах Лондона и Берлина она евреев не встречала. Кто-то сказал ей, что Чуковский — еврей. Роде был румын, Кристи был грек. Она поймала себя на мысли, что все пропало все равно, что никакой адвокат ее не спасет. И вдруг строчек больше не было, была какая-то серая полоса, и в эту полосу она осторожно показала пальцем.

— Который? Рабинович? Рубинштейн?

После этого ее увезли и она уснула не раздеваясь. Ночью пила воду из крана и радовалась тому, что у нее есть часы на руке, да, часы тикали, и от них было легче. Но ненамного легче.

На следующий день к вечеру ее повели в другую сторону, в комнате в углу сидел стражник, вооруженный до зубов, с хмурым лицом, молодым и прыщавым. Адвокат вошел в шубе и так ее и не снял, но

распахнул, и размотал шарф, шелковый, длинный и элегантный.

Дальше все пошло так, как если бы пустой, отцепившийся от поезда вагон покатился вдруг сам по рельсам: запрещение видеть детей на третий день сняли, отсылкой обратно в Россию не угрожали, взяли подписку о невыезде и отпустили. Адвокат, который взял ее на поруки, пришел только в последнюю минуту, чтобы объявить ей что-то очень важное.

— Во-первых, за вами будут следить, будут филеры с утра до ночи и даже ночью, — сказал он быстро и тихо, — во-вторых, вам согласны дать разрешение на три месяца, а потом вам придется уехать, потому что сомнительно, чтобы дали пролонгацию. В-третьих — никто из ваших знакомых вас к себе не пригласит и к вам не пойдет, и на улице вас узнавать не будет. Бойкот. Игнорирование. Они будут вас игнорировать. Абсолютно. Хорошо было бы вам переменить фамилию и уехать в провинцию. Или схлопотать визу куда-нибудь в Чехословакию... нет... не в Чехословакию. В Швейцарию... нет... и туда вас не пустят, — он вдруг смутился, умолк и задумался. — Вам, может быть, лучше всего было бы выйти замуж.

Что-то мелькнуло у него в лице — сочувствие, жалость или мгновенная меланхолия? И он ушел. А она, собрав вещи, вышла на улицу, и ей вызвали извозчика. Она села, и по пустынной булыжной мостовой, гремя колесами, коляска поехала по тому адресу, где, она знала, жила Мисси с детьми; это был старый большой бенкендорфовский особняк, который наполовину выгорел в ту страшную ночь, а потом кто-то приехавший сказал, что его отстроили. Все-таки кое-какие слухи доходили за эти годы до нее, а о том, что Мисси жива и что дети живы, писал ей Эйч-Джи.

Девочке было неполных шесть лет, мальчику семь с половиной. Девочка ее не помнила, мальчик сказал, что помнит. Чувств выказано не было — Мисси воспитывала их, как воспитывали ее около полувека тому назад в Англии и как она сама воспитала Муру и ее двух старших сестер двадцать лет тому назад в Черниговской губернии, а потом в Петербурге, в доме Игнатия Платоновича Закревского, чиновника, служившего в Сенате. Она научила их отвечать, когда спрашивают, самым разговоров не начинать, вопросов не задавать и чувств не высказывать, а если нужно на горшок, то шепотом попросить позволения вымыть руки. Не шуметь, ничего не трогать, пока не дадут. Дети были здоровые, выросшие на свежем масле, куриных котлетах и белой булке. И Мура провела с ними, не выходя из дому, две недели.

У нее была виза на три месяца, и эти три месяца прошли без того, чтобы она видела кого-нибудь из ей знакомых людей. Она даже не знала, есть ли кто-нибудь в этом городе, кто был ей известен раньше и кто если и не обрадуется ей, то хотя бы протянет руку. Вряд ли найдется такой. Она принимала порошки от бессонницы. А филеру, приставленному к ней, было совершенно нечего делать. Так он и стоял на углу, и зимнее солнце играло на его медных пуговицах. Мисси отводила детей — одного в школу, другую в детский сад. Им давно было сказано, что они дети героя, погибшего от рук большевиков, защищая эстонскую родину. Имение сперва было заложено, потом были проданы земли и оставлена только усадьба. Деньги с продажи лежали в банке (отчетность была в большом порядке), они приносили проценты, и Мисси объяснила, что ничего, кроме благодарности, она к Бенкендорфам, старым и молодым, не чувствует. Но виза кончалась в апреле, и

незадолго до ее истечения Р. пришел опять и сказал ей, что он хлопотал и ему удалось достать пролонгацию. Он также сказал, что так как она не только виделась с детьми, но поселилась с ними в одном доме (который наследники Бенкендорфа оспаривали, утверждая, что Муре он никак не может принадлежать), то брат и сестра ее покойного мужа прекращают всякую денежную поддержку детям и впредь никаких счетов оплачивать не будут, потому что тогда все это попадет в газеты и ее фамилия будет трепаться в прессе, и, помолчав, добавил: «там уже было немножко обо всем этом».

Она решительно спросила его, почему они «идут в суд» или «не идут в суд», когда, собственно, она должна идти судиться, а не они. Он посмотрел на нее, как смотрят на тихую сумасшедшую, потерявшую всякую способность понимать, что ей говорят, и сказал задумчиво: «У вас нет шансов».

Она не спросила почему. Она не хотела того знать. Смутная мысль вдруг пришла ей в голову — искать защиты у советского представителя (она точно не знала, была ли уже здесь дипломатическая или только торговая миссия). Но после посещения советского представителя ей, конечно, останется только одно — уехать обратно.

В начале июня Р. пришел не один. Ей был представлен очень высокий молодой блондин, стройный, щелкавший каблуками, с манерами щеголя военной выправки. «Мой друг и помощник», — сказал Р. Они втроем просидели около часу, поговорили о погоде. «Помощник в чем? — подумала она. — Он кончил Пажеский корпус; у него нет никакого юридического образования. Что Р. хотел этим сказать?» Но она поняла ночью, когда не могла заснуть, зачем они приходили. Р. выбрал для нее якорь спасения: она долж-

на выйти замуж за барона Николая Будберга, бездельника, шалолая и совершенно свободного молодого человека, который застрял в Эстонии, тогда как он считал, что его место было где-то совсем в ином измерении — он видел себя то ужинающим с красотками на Монмартре, то посреди Большого канала в гондоле, полулежащим на бархатных подушках.

Когда она снова увидела Р., был июль и все разъехались к морю, и город — мирный, веселый и сытый — стал пустеть. Р. сказал ей, что уважает ее и уважает Горького, которого он видел один раз в Москве на улице, на Кузнецком мосту, который называется так, хотя никакого моста там не видно. Горький стоял у входа в Художественный театр с какой-то красивой дамой. И Р. снял шляпу и поклонился писателю земли русской, и писатель ответил ему на поклон. Рассказав этот случай, Р. объявил, что он выхлопотал ей последнюю пролонгацию. И что третьей, в октябре, не будет.

Нисколько не смущаясь деликатностью дела, он спокойно открыл ей свои карты: молодой человек, с которым он к ней приходил месяц тому назад, был из известной семьи Будбергов. Отец лишил его наследства, мать отказала ему от дому. А все потому, что он живет не по средствам. В общем, он нищий. Ему, как и Муре самой, но, по совершенно другим причинам, невозможно оставаться здесь, кроме того, он уже однажды стрелялся от скуки. Но... (тут Р. передохнул, ожидая эффекта от своих слов) он эстонский подданный и ему дадут визу в Берлин, в Париж, в Лондон, если он женится, жена его станет баронессой Будберг и эстонской подданной и ей тоже откроются все двери. «Я все это делаю, — сказал Р., — для моего любимого писателя. Для мирового автора «На дне» и «Челкаша».

Мура не помнила, читала ли она «Челкаша». Она сказала, что подумает. Она поняла его речь в трех смыслах: в политическом, финансовом и бытовом. И он понял, что она поняла его.

Предок Николая Будберга, некий Бенингаузен-Будберг, в XIII веке переселился из Вестфалии в Прибалтику, которой в то время владел Тевтонский орден под присмотром шведов. Через четыреста лет его потомок получил от шведского короля баронский титул, который еще через двести лет был признан русским правительством. Начиная с войны 1812 года Будберги сто лет были известны в России как военные в высоких чинах и высокопоставленные государственные люди; среди них был министр иностранных дел и член Государственного совета Андрей Яковлевич (1750—1812); эстляндский губернатор и дипломат Богдан Васильевич (при Николае I); а в XX веке трое братьев Будбергов: один — шталмейстер и главноуправляющий канцелярией его величества по принятию прошений, статс-секретарь и член Государственного совета; второй — гофмейстер, тайный советник и камердинер, состоял при министерстве иностранных дел; и третий был царским послом в Испании. Кроме того, Будберги отличались некоторой склонностью к писательству: в 50-х годах прошлого века некий Будберг, русский посланник в Берлине, Париже и Вене, отмечен в литературных словарях как «писатель», а Роман Будберг, живший приблизительно в то же время, как «стихотворец», правда, не русский, а немецкий, и переводчик на немецкий язык стихотворений Лермонтова. К этим литературно настроенным Будбергам необходимо прибавить еще двух, живших уже в наше время и о которых, к сожалению, ничего не известно. Один был специалист по древнеливонским

и тевтонским аристократическим родам, курляндским рыцарям и крестоносцам балтийских земель, выпустивший в 1955 и в 1958 годах две небольшие книги по-немецки (одну в 512 страниц, другую в 23 страницы). Другой был некто Михаил Будберг, автор книги «Русские качели», вышедшей на английском языке в Лондоне в 1934 году.

Лай (так его звали те, кто еще общался с ним) после первого же разговора с осторожным Р. почувствовал в Муре выход для себя из мизерного существования в провинциальной «дыре». Теперь кончалось лето, и в сентябре он пришел к ней и, слегка смущаясь, рассказал ей о себе, впрочем, утаив кое-какие грехи молодости. Она поняла тотчас же, что ему необходимо уехать и в Берлине (для начала) на что-то жить. Она была для него некой нитью, по которой он мог выбраться из этой глуши, где делать ему было совершенно нечего. Что он, собственно, намеревался делать в жизни, она не спросила. Она поняла после этого второго прихода, что и он был ее нитью — не только новая фамилия и титул должны были реабилитировать ее, но и тот факт, что паспорт гражданки Эстонии открывал ей путь в любую страну. Это было больше всего того, о чем она могла мечтать.

Сентябрь 1921 года и первая половина октября прошли в хлопотах о бумагах, свадьба откладывалась из-за каких-то чисто формальных трудностей, но возможно, что были и колебания — и с той и с другой стороны. Твердо известны следующие факты: 16 октября Горький в сопровождении З. И. Гржебина, его жены Марии Константиновны и трех дочерей выехали из Петрограда в Гельсингфорс. Между 17 и 29 он оставался в Гельсингфорсе — он был настолько слаб, что его боялись везти дальше. В эти

дни, видимо около 20-го числа, Мура, вторично получив разрешение эстонского правительства через Соломона выехать и вернуться, была в Гельсингфорсе, и состоялось свидание. Месяц спустя уже из Берлина Горький писал Валентине Ходасевич: «В Финляндии видел Марию Игнатьевну в крепких башмаках и теплой шубе. Похудела, стала как-то еще милее и по-прежнему все знает, все интересуется. Превосходный человек! Она желает вылезти замуж за некоего барона; мы все энергично протестуем, пускай барон выбирает себе другую фантазию, а эта — наша! Так?»

Теперь у нее были не только «крепкие башмаки» и «теплая шуба», но и черная шелковая юбка в складку, и светлые чулки, и лайковые перчатки, и белый пуховый берет, надевавшийся по последней моде низко на лоб и на одно ухо, и белый к нему пуховый шарф. Она в Лондоне пошла к парикмахеру, самому лучшему, с вывеской «Гастон де Пари», а вытертое бархатное «манто», доходившее ей до щиколотки, большую черную шляпу с пером, туфли с острыми носами и французскими каблуками и старый вытертый соболий палантин она выбросила в Таллине, как хлам.

А в это время Горький из Санкт-Блазиена писал Ленину:

«На голодающих, — сообщал он, — начали собирать продукты и деньги». Но работа, по его мнению, недостаточно координирована: «Не знают, куда посылать, вся работа идет как-то в розницу». Он считал, что нужно назначать «агентов», которые бы координировали и регулировали посылку хлеба, обуви, лекарств, одежды в Россию, и, так как в это время он уже не сомневался, что Мура к нему вернется, он рекомендовал Ленину для этой работы агентов: «Ма-



рия Федоровна Андреева и Мария Игнатьевна Бенкендорф — обе энергичные и деловые».

Профессор В. Баранов в книге «Максим и тайна его смерти» намекает (точнее, прямо указывает) на причастность Марии Будберг к смерти Горького. Лично мне кажется, что эта версия ошибочна. И все же:

«Заболел Горький тяжело. Приехал он из Крыма в Москву 27 мая, а в самых первых числах июня, между третьим и пятым, пришлось срочно созывать консилиум, в котором участвовал специально приехавший из Ленинграда профессор. Появившийся у постели больного Сталин, человек несокрушимого самообладания, был явно выбит из колеи. Увидев в комнате несколько человек, в резкой форме приказал удалиться всем, за исключением медсестры. Всем, включая даже наркома внутренних дел Ягоду, который в доме Горького был завсегдаем.

Удалил Сталин вслед за Ягодой и женщину в черном. Бестактность ее траурного одеяния вызвала саркастическую реплику вождя: «А кто это сидит рядом с Алексеем Максимовичем в черном? Монашка, что ли?.. Свечки только в руках не хватает!»

В возбужденном состоянии Сталин подошел к окну, распахнул форточку. В комнату ворвался свежий воздух...

А женщиной в черном была Мария Игнатьевна Будберг, третья, «невенчанная» жена Горького, которую долго с напускным целомудрием низводили до уровня секретаря. Наверное, секретарю не посвящают четырехтомный роман («Жизнь Клима Самгина»), который автор считал чуть ли не самым главным итогом своей литературной деятельности.

Не так уж часто удостаивал он кого-либо своими посвящениями. Посвятил Чехову «Фому Гордеева» — так

ведь Чехова он боготворил! «Дело Артамоновых» — Ромену Роллану, человеку-поэту. Ну, и еще «Детство» — сыну Максиму. Не то чтобы в поучение, но все-таки... И вдруг — секретарю?

Наверняка дело не обошлось без инициативы самой Марии Игнатьевны, Муры, как называли ее в доме, женщины практичной в высшей степени. Она-то отлично понимала, насколько возрастет ее «рейтинг» в глазах родственников, друзей, знакомых.

Узнав о болезни Горького, Мура мгновенно прилетела из Лондона, где проживала с Гербертом Уэллсом после окончательного расставания с Горьким, вернувшимся в 1933 году на родину.

Тем временем в Москве, в Союзе писателей, развертывалась лихорадочная деятельность по поводу, казалось бы, не имеющему никакого отношения к болезни Горького. В страну собирался приехать знаменитый французский литератор Андре Жид. К его встрече готовились особенно основательно.

Непременным условием своей поездки А. Жид ставил встречу с Горьким. Соответствующие инстанции оказались в трудном положении: в разговоре Горький мог наговорить лишнего. А Жиду сказали, что встреча невозможна, так как Горький тяжело болен и визит пока преждевременен. Тогда А. Жид заявил, что вообще не поедет в Россию: не для участия же в похоронах он должен осуществить путешествие!

И вдруг возникла определенность: разрешение на приезд дается, но встреча с Горьким не может состояться ранее 18 июня.

Восемнадцатое...

Из реплики Сталина по поводу «монашки» окружающие должны были понять: женщину эту он видит в первый раз. Между тем это было не так. Сталин

принудил ее привезти из Лондона ту часть горьковского архива, которую писатель не решался взять с собой на родину в 1933 году. Там находились письма многих крупных политических деятелей (А. Рыкова, Г. Пятакова, возможно Л. Троцкого, меньшевика Б. Николаевского, встретившегося с Горьким еще в Германии, В. Валентинова), работников культуры (В. Мейерхольда и З. Райх, К. Станиславского, И. Бабеля, К. Федина, М. Кольцова и др.). Направлялись письма в Италию из-за границы и, следовательно, миновали цензуру. Информация о них, попади она в руки руководства, сразу обернулась бы сокрушительным компроматом и на авторов писем, и на самого Горького.

Чрезвычайная необходимость получения документов возникла у Сталина уже в начале 1936 года в связи с появлением сенсационной статьи в «Социалистическом вестнике» Б. Николаевского о новых планах Горького в преобразовании общественной жизни страны. Компромат нужен был Сталину не только для борьбы с теми, против кого он затевал грандиозные судебные спектакли-процессы. Поначалу он мог воспользоваться им для давления на самого писателя. Кто сказал, что за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймает? Мудрый политик всегда одним выстрелом убивает даже не двух, а нескольких противников...

Еще до майского, 1936 года, возвращения в Москву Горький фактически окончательно порвал с Мурой. Об этом свидетельствует медицинская сестра Олимпиада Дмитриевна Черткова.

«Отношения у них испортились уже давно. Еще в Тесселе, где она провела всего один день и, ссылаясь на неотложные дела, уехала в Москву, потом звонила по телефону, по-моему, пьяная, голос такой, я позва-

ла Алексея Максимовича, но он сказал: «Я говорить с ней не буду». — «Но она говорит, что ей очень нужно». — «Скажите ей, что говорить с ней не буду. Пусть веселится».

Когда она уезжала из Тесселя, мы провожали ее на крыльце. Как только автомобиль скрылся, Алексей Максимович повернулся вокруг себя и весело сказал: «Уехала баронесса!» Потом — меня обнял. Он часто мне говорил: «Ты от этих бар — подальше! Держись простых людей — они лучше».

Скорее всего и происходила эта встреча в апреле, когда Мура доставила Сталину лондонский архив.

Знать о настроениях Горького, о его встречах, о его гостях властям было крайне необходимо. Кто мог поставлять такую информацию? Перебирая всех домочадцев Горького, приходишь к выводу, что таким осведомителем могла быть только Мария Игнатьевна.

Принудить к сотрудничеству такого человека, как Будберг, органам ЧК не стоило труда. Мура давно уже была, что называется, «на крючке». Иногда она выполняла задания большевистского руководства официально. Так, она была прикреплена к Г. Уэллсу в качестве переводчицы во время его приезда из Англии.

Может быть, факты, свидетельствующие о второй жизни Муры, подведут нас к ответу и на такой вопрос, остающийся одной из главных загадок горьковской биографии. От кого, собственно, Сталин мог узнать о факте существования лондонского архива, если в решении его судьбы принимали участие лишь самые близкие: Максим, Тимоша (как все звали жену сына), художник Ракицкий, давно прижившийся в семье, ставший ее членом, и Мура?

Максим предложил корреспонденцию крамольного характера попросту уничтожить.

Но его не поддержали. Мура в дискуссии, естественно, не участвовала. Скромно помалкивала. Была уверена, что бесценный груз доверят увезти именно ей. В Лондон.

Так и вышло. Но, зная нравы Лубянки, Горький распорядился не отдавать архивы никому, даже если некто явится с собственноручным распоряжением его, Горького...

Мария Игнатьевна прилетела из Лондона сразу же. От кого и как узнала она о болезни Горького? Говорят, ее вызвали члены семьи. Кто именно? Первая жена, Е. Пешкова, с которой он расстался более тридцати лет назад, но продолжал сохранять теплые дружественные отношения?

Вряд ли. Сына к тому времени уже не было в живых. Жена сына, Тимоша? Тоже сомнительно. Уж не малолетние ли внуки писателя, старшей из которых стукнуло девять лет?

Далее. Как было получено разрешение английских властей на поездку? Обычно это не простое дело, и решение вопроса отнимает недели и даже месяцы. К тому же с Лондоном авиасвязь тогда была ограниченной.

Нельзя не согласиться с В. Барановым, который пишет: «Беспрепятственные поездки Будберг наводят на мысль о покровительстве тех, кто больше всего был озабочен изоляцией писателя...»

Болезнь между тем, как и в самом начале, продолжала развиваться конвульсивно.

Как и 8 июня, во время сталинского визита, когда умирающий Горький поразил все своим неожиданным возрождением, нечто подобное произошло и 16 июня. Вспомним слова врача М. Кончаловского,

который констатирует: «За два дня до смерти Горький почувствовал значительное облегчение. Появилась обманчивая надежда, что и на этот раз его могучий организм справится с недугом...»

В воспоминаниях Будберг, записанных сразу после смерти Горького А. Тихоновым от третьего лица, читаем: «16-го июня чувствовал себя хорошо, спросил: «Ну, кажется, на этот раз мы с вами выиграли битву?» Умылся, попросил есть, ел с аппетитом и просил прибавить еды».

Позже, в 1945 году, писала Липа: «Однажды я только что легла, Петр будит меня, говорит, что зовет Алексей Максимович. Прихожу — у него сидит Мария Игнатьевна. Отвела меня в сторону и шипит: «Уходите... уходите... я здесь!» И давай меня щипать, да так больно! Я терплю и виду не показываю, что больно, чтобы Алексей Максимович не увидел. Потом вышла в столовую и заплакала, говорю Тимоше и Крючкову: «Она меня всю исщипала. Я больше к нему не подойду!»

Продолжает М. Будберг: «Ночью уснул. Во сне ему стало плохо. Задыхался. Часто просыпался. Выплевывал лекарство. Пускал пузыри в стакан. В горле клочкотала мокрота, не мог отхаркивать».

Сон ухудшил его состояние, воля не работала. Начался бред. Сперва довольно связный, то и дело переходящий в логическую, обычную форму мышления, а потом все более бессвязный и бурный...

Когда Черткова вновь вошла в комнату, она увидела Марию Игнатьевну стоящей у окна и упершейся лбом в стекло. Потом она выбежала в другую комнату, бросилась в слезах на диван, говоря: «Теперь я вижу, что я его потеряла... он уже не мой».

Подчас в самые трагические минуты история способна на каламбуры. «Не мой» приобретало и

второй смысл. Теперь Горький действительно больше не мог вымолвить ни слова. Никогда. Никому.

Естественно, и Андре Жиду — тоже. Когда тот, прибыв в Москву 16-го, собрался через день, как было договорено, ехать к Горькому, было уже поздно.

Троцкий оказался прав, сказав, что Сталину для устранения Горького нужно было очень немного: лишь слегка «помочь природе». Но в «помощи» он не сомневался. Со слов компетентного собеседника, Троцкий рассказывает, что в Наркомате внутренних дел у Г. Ягоды существовала сверхсекретная лаборатория, имевшая неограниченное финансирование. У наркома был целый шкаф самых разнообразных ядов.

Болен дорогой Алексей Максимович безнадежно. Не такой ли прискорбный вывод вытекает из бюллетеней «Правды», основанных на заключениях компетентнейших врачей? И те, кто по-настоящему любит нашего дорогого Алексея Максимовича, не может равнодушно относиться к его невероятным мучениям. Медицина искусственно продлевает уже не жизнь, а именно страдания. Жалко? Ну, конечно, жалко. Но разве не сам писатель сказал, что не надо унижать человека жалостью?»

Я все же думаю, что Мария Будберг не отравила Горького, слишком это... Это слишком уже. Бесспорно одно, что эта женщина могла найти выход из любых, казалось бы, самых безнадежных ситуаций и всегда быть «на плаву». Вернемся к событиям 1918 года, к делу Роберта Брюса Локкарта в описании Н. Берберовой: «Она, урожденная графиня Закревская и вдова крупного балтийского помещика, графа Бенкендорфа, оказалась на свободе через неделю после своего ареста, не была ни расстреляна,

ни брошена на десять лет в подвалы Бутырской тюрьмы, ни сослана на Соловки, но вышла из заключения если не под руку с Петерсом, то за руку с ним. Миф о ее тюремном заключении, угрожавшем ей казнью, никогда и никем не подвергался сомнению. Молодая русская аристократка, дважды графиня была дружна с «английским агентом», и «английский агент» спас ее, когда на самом деле она, становясь все старше, говорила о том, что Горький спас ее, — не упоминая, что это произошло три года спустя, и в Петрограде, а не в Москве, в 1918 году. А Локкарт подлежал суду революционного трибунала по делу о «заговоре Локкарта», власти требовали его немедленного расстрела, и действительно он был приговорен к нему, но позже, заочно, когда уже был в Англии. И Локкарт знал, что благодаря Муре он был освобожден, и был благодарен ей, чему доказательством служат их дальнейшие отношения. Но это дела далекого будущего, под другими небесами...»



## ЧАЙКА НАД МИНОНОСЦЕМ

Такса моей подруги погибла под колесами автомобиля.

Семилетняя дочка подруги не могла думать ни о чем другом, кроме погибшего песика. Чтобы как-то отвлечь ребенка, мы пошли кормить уток. Знаете этих городских уток? Они только сидят и ждут, чтобы их накормили. Мы стали бросать им хлеб, и тут же прилетели чайки. Замелькали красные лапы с острыми когтями, белые тела, шоколадного цвета головы с пронзительными глазами. Резкие вскрики чаек звучали устрашающе. Они вились над нами, чуть ли не выхватывая хлеб из рук.

— Они такие злые, — удивилась моя подруга.

— И это в центре города. А представь себе морских...

А чайки все летали над нами, кричали, а нам стало страшно.

— Они похожи на агрессивных женщин, — заметила я. Быстрые, смелые, цепкие, жадные, сильные, безжалостные, всегда готовые к нападению... И вдруг вспомнила, что есть такое имя, которое так и переводится — Чайка. Имя это — Лариса. Подходящее имя для авантюристки.

Авантюристки были во все времена, у всех народов. И в первые годы после Октябрьского переворота для особ, которые имели склонность ко

всякого рода авантюрам, наступило золотое времечко.

«Народные» герои возвышались на грудах человеческих жертв, и тем выше и славнее были герои, чем выше и огромней были эти груды-могилы... Человеческая кровь лилась всюду, лилась реками, реками и едва не морями... Это было время криков и стонов, застенков и насилия.

Лариса Рейснер. Белые руки, красивое, тонкое, нервное лицо...

Немногочисленные свидетели вспоминают ее то на моторном катере-истребителе под «пулеметно-кинжальным» огнем врагов. То в ночной разведке. То на борту миноносца, по которому из засады открыли артиллерийский огонь.

«Вся в белом, — подчеркивает очевидец, — резко выделяясь среди экипажа миноносца, стоя во весь рост на виду у всех... Лариса Михайловна одним своим видом, несомненно, способствовала и водворению, и поддержанию порядка».

Почему в белом, а не в зеленом, не в коричневом? Да потому, что был июнь. Волга, молодость. Потому, что Лариса умела любить жизнь между двумя боями. Потому, что холодящая сладость риска была ей мидее.

В 1914—1916 годы Лариса Рейснер — студентка Психоневрологического института. После штурма Зимнего ей была поручена охрана историко-культурных ценностей дворца. Весной 1918 года вступила в коммунистическую партию. В июле 1918 года была назначена комиссаром генштаба Волжско-Камской (затем Волжско-Каспийской) флотилии.

Мужеподобного в ней не было ни капли: она со вкусом одевалась, отлично танцевала. Но большевизм плюс сексуальность были невыносимы.

В короткой шубке или в шуршащем кожаном пальто, с коньками или теннисной ракеткой в руке, она была хороша, молода, собиралась жить и жить, совершить поездку по Кавказу, Закавказью и Ирану, поехать в Париж...

Она хотела многого...

Представляет интерес единственная в своем роде анкета, на которую Рейснер ответила по просьбе одного из друзей. Вместе со всем архивом она хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

**«Вопрос.** Где бы вы предпочли жить?

**Ответ.** Никогда не жить на месте. Лучше всего на ковче-самолете.

**Вопрос.** Ваши любимые композиторы?

**Ответ.** Очень люблю плохую музыку. Шарманки, бродячие оркестры, таперы в кино. Сверх того Бетховена и Скрябина.

**Вопрос.** Ваше любимое кушанье?

**Ответ.** Господи, конечно, мороженое, миндаль, жаренный в сахаре, кочерыжка от капусты».

Среди этих ответов есть и серьезные. На вопрос о ее нынешнем душевном состоянии Рейснер отвечает: «Разрушилось, и все-таки думаю, что обломков моих хватит на новое...» Она действительно была наделена поразительной способностью к возрождению из огня, наподобие сказочной птицы феникс.

Рейснер была замужем за Федором Раскольниковым (настоящая фамилия Ильин). В 1919—1920 гг. он командовал Волжско-Каспийской военной флотилией, в 1920—1921 гг. командовал Балтийским флотом, в 1921—1923 — полпред в Афганистане. Лариса Рейснер везде была с ним. Но в старых книгах о Ларисе

Рейснер нет ни слова о ее любимом муже. Как нет его и в словарях и справочниках, вышедших до 1990 года. Почему? Раскольников написал знаменитое письмо Сталину, обвиняя его в массовых репрессиях. Ввиду угрозы ареста остался за рубежом. Был заочно исключен из партии, лишен советского гражданства, объявлен «врагом народа». Реабилитирован посмертно. Поэтому во всех советских книгах его жена выступает в качестве незамужней девушки.

«Комсомольская правда» опубликовала одно из писем Ларисы Рейснер к родителям, открыто назидая молодым: учитесь ценить, понимать и почитать старших.

Действительно, отношение Рейснер к отцу и матери удивительно. Ее письма к родителям могут составить отдельную книгу. Но и родители не оставались в долгу.

Отец, мать, которые, по словам Ларисы, нередко ложатся грузом на всякое движение, «на всякий прыжок вдаль», были ее первыми учителями, главными вдохновителями. Еще в 1915 году профессор Петербургского психоневрологического института Михаил Андреевич Рейснер на свои скудные средства начал издавать резко оппозиционный журнал «Рудин», направленный против угара шовинизма, против ренегатов революции.

В незаконченной автобиографической повести Лариса Рейснер так передает разговор двух героев, в которых легко угадываются ее отец и мать:

«— ...Мы будем первыми, которые нарушат ужасающую тишину... Почему не доставить себе этой последней радости и не крикнуть королю, что он голый?

— А дети?

— Дети с нами».

Журнал «Рудин» просуществовал очень недолго, исчерпав все средства семьи Рейснер и вогнав ее в долги. Но для двадцатилетней Ларисы, делившей с отцом все тяготы по выпуску журнала, это была школа журналистики.

Памфлет на Керенского, вышедший летом 1917 года из-под пера Ларисы Рейснер, не на шутку испугал некоторых ее коллег, но отнюдь не родителей. Она пошла дальше своего отца, жившего в николаевской России с «почетным клеймом отщепенца, одиночки, чужака». Но пошла с его благословения. Ненадолго выбравшись на фронт — к дочери, политкомиссару Волжско-Камской флотилии, Екатерина Александровна Рейснер нашла в себе мужество написать домой: «У нее хороший период Sturm und Drang, если выживет, будет для души много, и авось творчество оживет, напившись этих неслыханных переживаний...» Родители-единомышленники! Всегда желаемая, но не всегда достигаемая гармония, которая тут была достигнута!

Вот почему в ее письмах родителям, где столько личного, шаловливого, почти всегда врываются торжественные слова присяги жизни, революции, избранному пути:

«...Мои родители, мой отец и мать, мой очаг, мое творчество, если б вы знали, с какими нежными слезами я о вас сейчас думаю...»

«...Помнишь, мама, чайку перед миноносцем в бою — она все со мной, пролетает, белая, над пропастями. О жизнь, благословенная и великая, превыше всего зашумит над головой кипящий вал революции. Нет лучшей жизни...»

«...Па, слово моей лени, никто не поверит, — буду учиться, давать отчеты, прирастать к чужому народу и его истории (письма из Германии. — Г. К.) и писать —

не под давлением денежной необходимости, но по строгим велениям своей литературной совести...»

«Я так ясно и весело предчувствую, сколько мы еще с вами вместе наделаем!.. Ведь мы не какой-нибудь, а восемнадцатый год».

«...Очень иногда без Вас и милой единственной России скучаю...»

Москва. Лето 1918 года. В гостинице «Красный флот» та походная обстановка, которая предшествует отправлению на фронт. К Ларисе Рейснер пришел молодой поэт, знакомый по «Рудину», по предреволюционным литературным кружкам.

Чувствуя себя очень уверенно среди этого бивуака, Лариса встретила слегка растерянного поэта весьма скептически. В руках она держала газету «Вечерний час» с любовными стихами незадачливого гостя.

— «Мы встретились на лестнице с прелестницей моей», — насмешливо процитировала она. — В последний раз встретились, я надеюсь? Скоро мы эти «Вечерние часы» закроем. И не стыдно вам писать такие стишки?

В комнату вошел матрос.

— Познакомьтесь, это товарищ Железняков. Тот самый, который сказал: «Караул устал». И разогнал «Учредилку»...

Этот эпизод рассказывает в своих воспоминаниях писатель Лев Никулин, автор «прелестницы». Рейснер тогда жила интересами матросов и партии, в которую недавно вступила, уже говорила «мы» — местоимение, которое чаще других встречается в ее книгах.

Отправление Рейснер на фронт предваряли многие события. Летом и осенью 1917 года она работала в Петроградской межклубной комиссии, в Комис-

сии по делам искусств при исполнении Совета рабочих и солдатских депутатов. Охрана музейных ценностей...

Эмигрантские газеты в Берлине, Париже, Шанхае писали о полном разграблении большевиками Зимнего. И даже Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир» писал: «...Те, кому на протяжении последних нескольких дней разрешалось беспрепятственно бродить по его (Зимнего. — Г. К.) комнатам, крали и уносили с собой столовое серебро, часы, постельные принадлежности, зеркала, фарфоровые вазы и камни средней величины».

Из воззвания Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов к гражданам России, 1917 г.:

«ГРАЖДАНЕ!

Старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство.

Теперь оно принадлежит народу.

Берегите это наследство.

Берегите картины, статуи, здания — воплощение духовной силы вашей и предков ваших...

Не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, старинные вещи, документы — это ваша история, ваша гордость.

Помните, что всё это почва, на которой вырастет наше новое народное искусство!»

А вот документы, относящиеся к осени 1918 года.

**19 сентября.**

Документ о запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного значения.

«Воспретить вывоз из всех мест республики и продажу за границу, кем бы то ни было, предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при комиссариате народного просвещения или органом, Коллегией на то уполномоченным.

Комиссариат по внешней торговле может давать разрешение на вывоз за границу памятников старины и художественных произведений только после предварительного заключения и разрешения Комиссариата народного просвещения».

В чем подтекст, в чём загадка этого документа?

В том, что Наркомвнешторгу предоставлено право вывозить за границу памятники культуры, а за Наркомпросом закреплялась монополия на «культурную торговлю».

**5 октября.**

Декрет о регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений.

Впервые в мировой истории брались под государственную охрану и учет все памятники культуры, кому бы они ни принадлежали.

Ценности брались под охрану, чтобы удобнее было продавать. Не ради музеефикации понадобился тотальный учет ценностей. Этот строгий закон открыл дорогу работе экспертных и конфискационных комиссий.

21 ноября Декретом Совнаркома при ВСНХ была образована Комиссия использования материальных



ресурсов, в задачи которой входило: установление общего товарного фонда республики; установление и определение размеров специальных фондов, предназначенных для промышленного потребления, для распределения среди населения, для экспорта и для образования государственного резерва; составление планов использования товарных ресурсов страны. В ведении этой комиссии находились все экспортные фонды, включая антикварный.

Кроме учета и контроля музейных ценностей пришлось Рейснер и некоторое время секретарствовать у А. В. Луначарского. В обязанности секретаря входил прием посетителей, чей состав был неопределим пестр: это мог быть крестьянин, или священник-расстрига, или недоумевающий профессор...

Зинаида Гиппиус писала: «Вот, переходя к индивидуальностям, — большевик Луначарский: кто скажет, что не девица? И кокетство и мины, и «ах, искусство!» и глазки подрисованные, а чуть что — истерика».

Канцелярское писание бумаг, которое так не вязалось с авантюрной натурой Ларисы, видимо, не было для нее обузой. Ведь эти бумаги тогда, в первые месяцы переворота, обладали магическим свойством немедленного воздействия! В архиве Рейснер хранится письмо Луначарского о реорганизации петроградских театров и создании театра для пролетариата. Оно написано рукой Рейснер и лишь подписано Луначарским. Так все и делалось в то время: документы имели убийственную силу, а написать и подписать их мог любой приближенный к «новой власти».

Драматург Всеволод Вишневский, бывший в гражданскую матросом, спустя 14 лет вспоминал: «1 октября 1918 года наш корабль погиб. В живых

осталось 30 человек. Нас встретили страшно заботливо. Мы сидим, греемся, дают кофе, спирт. Подходит Лариса: «Расскажите». Меня толкают: «Валяй, ты умеешь». Рассказал. Она выслушала. Потом подошла и... поцеловала в лоб. Парни заржали, она посмотрела, и все утихло. Это было просто, и у меня осталось в памяти на всю жизнь».

Память о восемнадцатом годе вылилась у Всеволода Вишневского в «Оптимистическую трагедию», главная героиня которой имеет немало общего с Ларисой Рейснер. Нельзя, конечно, отождествлять два эти образа. Рейснер — не единственный прототип комиссара. В ее жизни не было той трагической ситуации, которая положена в основу пьесы. Но необходимость утвердить себя среди команды была. Минуты отчаяния были.

Поездка в 1921 году в Афганистан, которая так радовала Ларису Рейснер поначалу, томительно затягивалась. Караванная тропа, соединявшая чужую страну с родиной, казалась тонкой, ненадежной нитью. Газеты и письма из Москвы шли почти месяц и сообщали о тревожном: разруха, голод.

«Голод! Радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам», — записывала она. Жизнь «под вечным бдительным надзором целой стаи шпионов» требовала от нее, не привыкшей молчать, молчания, от нее, слишком прямой, — дипломатической гибкости. Поражала забитость афганского народа, и в особенности женщин, отделенных от мира «складками своей чадры». Воительница за будущее, Лариса оказалась в глубоком прошлом...

Ко всему этому она жестоко страдала от приступов тропической малярии, которые повторялись в непривычном климате очень часто.

— Эта болезнь, — призналась она как-то Вере Инбер, — мучит не только тело. После припадка у меня остается ощущение полной пустоты, как будто пришло какое-то злое животное и объело всю зелень, которую я развела у себя в душе.

Оазисом в пустыне была творческая работа, но и тут Ларису связывали ограничения. В письме А. М. Коллонтай она жалуется на искусственно суженный радиус наблюдений. Природа и женская половина двора — как это мало было для ее закаленного в гражданской войне революционного темперамента!

И вот из этих как будто отрывочных впечатлений завязывается книга «Афганистан». Книга, в которой есть все: и тоска по родине, и воинствующий дух автора, сам Афганистан — выжженная солнцем страна.

Достаточно ей было посетить первую афганскую больницу, чтобы сделать безошибочный вывод: «Реомюр под мышкой... афганца — пограничный столб, единица, с которой начинается новое культурное летоисчисление». Выпускница женской годичной школы, публично сдающая свой первый и последний в жизни экзамен, в ее глазах не просто трогательный объект для наблюдения, а знамение времени, ибо «из этой первой задачи, решенной афганской девочкой, некий бес истории втихомолку приготавливает нечто... имеющее взорвать на воздух и этот вал с колоннами, и непроницаемые занавески гарема».

Осенью 1923 года Германия была взбудоражена революционными событиями. Очень скоро Рейснер оказалась в Берлине. Ей хотелось написать книгу «пеной и трепетом» девятого вала германской революции, а его так и не было. Чтобы понять причины этого, чтобы разобраться в уроках Гамбургского

восстания, необходимо было глубокое знание жизни страны. Рейснер начинает изучать Германию и «все, что в ней живого и мертвого», читает множество книг, участвует в берлинских демонстрациях. Прорвавшись в Гамбург, поселяется в рабочих кварталах, «по потухшим разрозненным уголькам» восстанавливает хронику недавних событий.

Три цикла очерков о Германии — «Гамбург на баррикадах», «Берлин в октябре 1923 года» и «В стране Гинденбурга». О Гамбурге и гамбургских рабочих Рейснер пишет влюбленно.

«Героиня» второго цикла — дочь зажиточного рабочего маленькая Хильда. «Хильда кушает хлеб, намазанный салом, и когда очень сыта, то прополаскивает свое сытое брюшко водой». Девочка Хильда, которая по просьбе матери поет сначала «Интернационал», «потом про рождественское дерево, потом из избранного венка псалмов».

Товарищи по Афганистану рассказывают, как она пугала и ошеломляла их, когда, встав наутро после изнурительного припадка малярии, садилась на коня, непременно верхом, по-мужски, и часами ездил по знойному Кабулу. Афганцы изумлялись меньше, чем следовало, так как принимали ее за юношу.

Смерть все опрокинула, положила конец всему.

Бацилла брюшного тифа оказалась коварнее снарядов, мучительной лихорадки, ледяной воды афганских рек, которую Лариса, лишённая всякого чувства самосохранения, пила так легкомысленно, так долго и жадно, словно хотела напиться на много лет вперед...

## **ПОЛПРЕД В ШЛЯПКЕ СО СТРАУСИНЫМ ПЕРОМ**

В конце ноября 1914 года король Швеции Густав V подписал указ, в котором говорилось, что из пределов страны за пропаганду вредных идей высылаются «навечно» русская социал-демократка Александра Коллонтай.

Стокгольм, 30 октября 1930 года.

К гостинице «Гранд-отель» подъехала золоченая карета, запряженная четверкой темных лошадей. Ее прислали за советским полномочным представителем Александрой Коллонтай.

В черном бархатном платье, на которое была накинута меховая шубка, сопровождаемая церемониймейстером королевского двора Луи де Геером, отправилась Коллонтай во дворец вручать свои верительные грамоты Густаву V.

В министерстве иностранных дел Швеции были обеспокоены: ведь король еще никогда не принимал женщину в ранге посланника. Как она должна быть одета? Как пройдет вручение верительных грамот? Как избежать непредвиденных нарушений веками сложившегося этикета? Все это очень тревожило шефа протокольного отдела, и при встрече с Александрой Михайловной барон Барнеков доверительно сообщил ей о своих опасениях.

— Если это не противоречит традиции, я буду в

черном бархатном платье, а на голове у меня будет шляпка со страусовым пером, — сказала, улыбнувшись, Александра Михайловна.

— Шляпка? Со страусовым пером? — опытный чиновник постарался скрыть недоумение. — Я прошу меня извинить, но уместно ли это?..

На лице Коллонтай снова появилась странная улыбка.

— Когда я выйду из кареты и буду идти во дворец, может подуть ветер. Ведь он нередкий гость в Стокгольме. А оказаться перед его величеством королем Швеции с испорченной прической — этого я позволить себе не могу.

Не найдя никаких доводов для возражений, Барнеков согласился:

— Что ж, пусть будет шляпка со страусовым пером...

...По беломраморной лестнице поднялась А. М. Коллонтай в зал приемов. Густав V приветствовал ее стоя.

После вручения верительных грамот должна была состояться беседа. По шведскому обычаю король и посланник разговаривают стоя. Но тут посланником была женщина. И король решил нарушить традицию — он предложил Коллонтай кресло.

Его величество король Швеции необыкновенно любезен. Он не был так любезен шестнадцать лет назад, когда «навечно» выслал Коллонтай из своей страны. А старый указ между тем до сих пор еще в силе.

...Ночью на квартире шефа протокольного отдела зазвонил телефон. Ему сообщили: одна из популярных шведских газет готовит сенсационное сообщение. Содержание его: Коллонтай лишена права появляться в Швеции.

«Нужно срочно отменять старый указ, — пронеслось в голове чиновника, — иначе будут разговоры... неугодные комментарии, нежелательный резонанс...»

Через два дня в одной из маленьких газет — «Посток-Инрекес Тидненгар» среди прочих объявлений было напечатано крохотное сообщение о том, что «указ об изгнании Коллонтай» отменяется.

В детстве с ней, дочерью старого генерала, любил играть бывший у них в доме дипломат. Пройдет много лет, и она встретит его в парке в Тифлисе. Старый дипломат спросит, помнит ли она его фокусы. И когда она ответит, что помнит, он скажет: «Я знал, маленькая девочка угадывала, в чем состоит фокус, но продолжала улыбаться, делая вид, будто ничего не понимает, — сохраняла выдержку и самообладание. Жалею, что женщины не могут быть дипломатами. Из вас бы вышел прекрасный дипломат».

Дипломат из нее действительно вышел, вопрос только в том, насколько «прекрасный».

Октябрь 1917 года. Коллонтай идет в Смольный. В боковой комнате, где располагался Петербургский комитет, за столом сидит Ленин.

Увидев Коллонтай, он встает и направляется навстречу.

— Поезжайте сейчас занимать министерство государственного призрения. Это надо сделать сейчас же, — отдает он приказ своей приятельнице.

Ее назначение народным комиссаром госпризрения произошло так, как происходило во время октябрьского переворота.

Через два дня после окончания II съезда Советов Коллонтай отправилась на Казанскую улицу, дом 7, где до Февральской революции помещалось филантропическое ведомство императрицы Марии Федо-

ровны, заботившееся о бедных, брошенных детях, неимущих старцах и старухах, а после февральской революции — министерство госпризрения.

Солидный швейцар с седой бородой, в галунах, оглядев Коллонтай с ног до головы и решив, что перед ним одна из многих назойливых посетительниц, отказался впустить ее.

— Я пришла не как просительница, а по государственному делу.

Но швейцар неумолим, не пропускает и все! Так она и уехала.

Как же все-таки занять министерство? Силой? Но сначала нужно попытаться найти опору среди младших служащих. И она решила обратиться в профессиональный союз, который объединял курьеров, сторожей, истопников, нянь, сестер милосердия, фельдшеров, счетоводов и т. д. Председателем союза был бывший путиловский рабочий, большевик-подпольщик И. Г. Егоров. Он созвал собрание, на котором был избран совет младших служащих. На следующее утро члены совета вместе с А. М. Коллонтай пришли на Казанскую. Швейцар, недоброжелательно посмотрев на наркома, все-таки пропустил ее.

«Подымаемся по лестнице, а навстречу нам рекой людской потекли чиновники, машинистки, бухгалтеры, начальники...

Бегут, спешат, на нас и глядеть не хотят. Мы — вверх по лестнице, они — вниз. Саботаж чиновников начался. Осталось всего несколько человек. Заявили, что готовы работать с нами, с большевиками».

В канцеляриях царил разгром. На столах валялись в хаотическом беспорядке груды бумаг, неисполненные дела. Касса заперта, ключи унесены.



Побродив по пустым залам министерства госпризрения день-другой, Александра Коллонтай решила начать деятельность наркома в Смольном. На дверях пустой комнаты, где стоял только один стол, вывесили от руки написанное объявление:

«Народный комиссариат государственного призрения. Прием посетителей от 1 до 4 часов».

И вот начался первый день наркома: в комнату, где сидела Александра Коллонтай, вошел какой-то безрукий рабочий, бывший фронтовик, он требовал денег на покупку машин для организации вязальных мастерских. Говорил, что его направил сюда Ленин. Не успел он уйти, как явились представители от Союза увечных воинов: грозили демонстрацией, если им тут же не выплатят пособия. Курьер из богадельни требовал дров. Объяснял, что старушки бунтуют. Едва закрылась дверь за ним, как вошла делегация, сообщившая наркому, что няньки в одном из приютов решили разойтись по домам и бросить на произвол судьбы малышей, которых нечем кормить. Александра Михайловна, сев в машину, направилась в приют. Успокоив взбунтовавшихся нянь, она помчалась на делегатское собрание младших служащих учреждений госпризрения. Собрание было бурным, все говорили разом. Требовали, спорили, но требовали не для себя, а для учреждения, хотели спасти его от развала. Няни, курьеры, сиделки, истопники на этой первой встрече с наркомом проявили большее понимание общегосударственных интересов, чем бывшие ответственные работники министерства.

«Петроградский листок» в те дни писал: «Талантливая Коллонтай нашлась и тотчас обратила в чиновников своей канцелярии всех сторожей и курьеров».

Наркомату госпризнания досталось сложное хозяйство. Он ведал делами увечных воинов и воспитательными домами, институтами для благородных девиц и колониями прокаженных, богадельнями для старух и государственной фабрикой игральные карт, приютами для сирот и протезными мастерскими, санаториями для туберкулезных, родильными домами и пансионными делами. «У меня целое государство в государстве», — шутила Александра Михайловна.

Когда к девяти часам утра Коллонтай приходила на работу, ее уже у входа осаждали десятками самых разнообразных требований и просьб. В коридорах толпились матери с детишками на руках, бездомные сироты, старики, старухи, инвалиды войны. Кто без рук, кто без ног, без глаз.

«В село бы назад, да кто меня теперь такого там примет, кто кормить станет?» — нередко слышала Александра Михайловна. Матери со слезами в голосе кричали, что их дети голодают. «Отчего нет приютов?», «Отчего нет молока!».

Положение было поистине трагическим. К тому же и зима у порога. Значит, не только голод, но и холод... Надо было действовать. Прежде всего нужны были средства.

В министерстве в специальном сейфе хранятся деньги и ценности, но ключи у начальника финансового управления, а он не является на работу. Александра Михайловна послала за ним красногвардейцев. Начальник финансового управления в комиссариат явился, но ключи не отдал. Его арестовали. Просидев три дня в милиции, он ключи вернул, но на работу все же не вышел.

Вечерами, сидя в обширном, обставленном тяжелой, роскошной мебелью нетопленном кабинете,

Александра Михайловна неотступно думала о том, как заставить старых чиновников работать. Вспомним, что писал Ленин в статье «Как организовать соревнование»: «В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжины жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (...). В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве».

Можно ли применять акты насилия к саботажникам? Она вспомнила свой недавний разговор с Лениным, он тогда сказал ей:

— Думаете ли вы, что революцию можно сделать в белых перчатках? Есть только два пути: с нами, за Советы, или с контрреволюцией, против Советов. Иного пути нет, компромиссы в данном случае невозможны.

И она заглушила голос совести. Не надо думать — с нами Ленин, который все за нас решит.

В одну из ноябрьских ночей Александра Михайловна собрала старших чиновников. Чинно сидели они в тяжелых кожаных креслах. Им, всю жизнь проработавшим в благотворительных организациях, было трудно разобраться в той ахинее, которую несли женщина-нарком:

— Все сиротские приюты, дома призрения стариков и инвалидов переполнены. Мы должны создать десятки новых, совсем других, таких, в которых детям будет радостно и светло. Мы должны помочь старикам и инвалидам... Мы найдем для этого и средства и силы. Мы научимся строить.

И, подняв руку, она сильным и проникновенным голосом произнесла:

— Мы все можем!

С тех пор прошло много лет. И теперь уже ясно, что ломать — не строить. Старая система госпризре-

ния была разрушена. И что? Где эти самые светлые сиротские дома с веселыми детишками, где жизне-радостные инвалиды? Может, они где-нибудь и есть, но только не у нас.

31 декабря 1917 года за подписью Коллонтай было опубликовано постановление об организации отдела по охране материнства и младенчества. Оно предусматривало создание коллегии, которой поручалась разработка вопросов и проведение неотложных мероприятий «по охране материнства, как социальной функции женщины, и по охране младенчества, как прямой обязанности государства».

Постановление возвестило, что охрана материнства и младенчества является не филантропией, не частным делом, а государственным, обязанностью правительства. Основные принципы, на которых покоилась работа созданного отдела охраны материнства и младенчества, были намечены в докладе Коллонтай на первой конференции работниц Петрограда, перенесенной с 29 октября на 5 ноября 1917 года, на которой присутствовало 500 делегатов, представлявших около 80 тысяч работниц разных профессий.

В ведение наркомата перешли имевшиеся в стране ясли, консультации, приюты, основанные еще до революции благотворительными обществами, бывший Петроградский воспитательный дом. Сюда мать, по издавна заведенному порядку, приносила незаконно-рожденного младенца и через окошечко передавала его дежурной. Ребенку надевали номер, записанный на костяшке. Мать расставалась с ним навсегда.

Коллегии по охране материнства и младенчества Коллонтай поручила приступить к созданию Дворца по охране материнства и младенчества как центрального показательного учреждения.

Создание Дворца было очередной утопической идеей новой власти. В одну из ночей Дворец был то ли подожжен, то ли загорелся сам. О том, как Коллонтай реагировала на это событие, рассказывает писательница Е. Фортунато:

«Шура (имеется в виду Коллонтай. — Г. К.) вернулась за полночь. Мне ранее не приходилось видеть ее в таком состоянии: растрепанная, не бледная, а белая как мел. Закушены губы, на шее какие-то темные пятна.

— Явный поджог, — устало, монотонно выговаривала она. — Сгорел наш Дворец, все комнаты, залы, библиотека, лаборатории... (можно подумать, все это было «наше». — Г. К.). Наш доктор Королев говорит, что пожар начался очень странно: одновременно в нескольких местах основного здания».

Шура в это время была на заседании в Смольном. Приехав к месту пожара, она застала там массу людей. Доктор Королев провел ее по запасному ходу в ту часть здания, куда перевели детей.

«Идем, — рассказывала Александра Михайловна, — а нам навстречу странная процессия: не няни, а страшные, растрепанные ведьмы, спускающиеся с лестницы с младенцами на руках.

— Назад, в свои комнаты! — закричал Королев. — Ведь только там вы в полной безопасности.

Но они слушать ничего не хотели и обступили меня со всех сторон с криками:

— А вот она, Коллонтай, кровожадная большевичка! Это она подожгла наш дом! Да, ты хотела сжечь нас, погубить христианские души...»

«Два миллиона едва затеплившихся на земле младенческих жизней ежегодно гасли в России от темноты и несознательности угнетенного народа, от косности и равнодушия классового государства», —

так начиналось постановление об охране материнства и младенчества, изданное 31 января 1918 года Комиссариатом государственного призрения, подписанное А. М. Коллонтай.

И вот развернулась работа. Большевики всё стремились взять под контроль, как же могли забыть о воспитании детей?! Всем известно — в детях будущее. Новая власть стремилась найти опору в молодом поколении. Создавались детские ясли, воспитательные дома, начали отыскивать помещения, добывать инвентарь, продовольствие. Занимали богатые особняки и приспособляли их для детских учреждений, шили для детей одежду из всего, что попадалось под руку, даже из шелковых драпировок, снятых с окон захваченных особняков.

Работниц и крестьянок спешно готовили для работы в детских учреждениях. На курсах отдела охраны материнства и младенчества Александра Михайловна читала лекции, проникнутые верой в «творческие силы народа».

«Это были горячие и решительные месяцы нашей революции, — вспоминала Коллонтай. — Мы были голодные, редкую ночь удавалось выспаться, но мы работали со страстью, мы торопились строить новую жизнь. Мы чувствовали, что все, что делаем сегодня, нужно обязательно сегодня, пусть даже вчерне, завтра будет поздно, завтра предстоят новые задачи».

Одной из главных забот наркома было создание домов для инвалидов войны. Для этого нужны были помещения, а их не было. Как-то Коллонтай доложили, что найдено помещение на 500—600 человек с пристройками для складов продовольствия, кухни, баней, запасом дров, муки, растительного масла и другого провианта. Это была Александро-Невская лавра.

Александра Михайловна, не долго думая, подписала приказ о занятии лавры. Что хочу, то ворочу. Но когда назначенная для этой цели комиссия во главе с комиссаром явилась туда, ворота лавры оказались накрепко закрытыми. Тогда решили прибегнуть к помощи красногвардейцев. Не успели те подойти, как раздался оглушительный звон колоколов. Стали сбегаться женщины, дети, лавочники покинули свои лавки, мастеровые — мастерские. Толпа разрасталась. Народ защищал веру своих прадедов, защищал свою культуру.

— Не дадим, умрем за веру православную! — кричали женщины.

Напряжение росло.

Кто-то из толпы отважился и накинулся на ненавистного комиссара, повалил его на землю, другой проломил одному из красногвардейцев голову. Прибежали на помощь печально известные наемники из Латышского батальона. Через некоторое время сопротивление ослабло, и ворота монастыря открылись. К вечеру несколько сот инвалидов уже были размещены в нем. На радостях Шура отправилась в Смольный.

«Ленин встретил меня очень серьезным, — рассказывала она. — «Как вы могли предпринять такой шаг, не посоветовавшись с правительством?»

Я объяснила ему, что у нас не было намерения силой захватывать Александро-Невскую лавру, что все должно было свершиться гладко на основе деловой договоренности. Ленин сказал, что этот шаг был несвоевременным. Каждая ошибка правительства на руку белогвардейцам.

— Вы форсировали необходимость выразить позицию Советского правительства в отношении церкви, хотя было бы лучше подождать и сделать

это позже. Но после конфликта с монастырем надо поспешить с декретом об отделении церкви от государства, объявить при этом полную свободу религиозных убеждений».

В ближайшее воскресенье во всех церквях Петрограда Александра Коллонтай была предана анафеме.

Впрочем, Шура не слишком огорчилась. По этому поводу она, улыбаясь, говорила: «Не думаю, что я оказалась в плохой компании. Лев Толстой также был предан анафеме русской церковью».

При ее участии были подготовлены проекты декретов от 19 декабря 1917 года о расторжении брака, от 20 декабря о гражданском браке, устанавливающий полное гражданское и моральное равенство супругов и об уравнивании в правах внебрачных детей с законнорожденными.

В ученической тетрадке с синей обложкой она записала: «Что меня всегда радует теперь, это тот сдвиг у нас, — отчасти во всем мире, — который произошел после 1917 года в проблеме раскрепощения женщины».

Мы, наше поколение, пробили стену. Сейчас и стены-то уже нет, за исключением колониальных стран. И есть чувство: капля моей энергии, моих мыслей, моей борьбы и примера всей моей жизни есть в этом достижении.

Это мы, наше поколение, руками проложили пути».

Однажды Коллонтай позвонили из Смольного. Говорил Ленин. Он попросил ее немедленно отправиться на митинг на Центральный почтамт. Почтово-телеграфные служащие бастовали, они не хотели работать на большевиков. Штрейкбрехеров не было так как работа на телеграфе требует специальной и довольно длительной подготовки.



— Среди служащих много женщин, и именно вам и надо туда поехать, — сказал Ленин.

Когда Шура вошла в помещение, где происходил митинг, атмосфера была накалена. Она прошла к председателю и попросила дать ей слово.

Поднялась на трибуну, в зале стоял невероятный шум. Из разных концов зала раздались крики:

— Не давайте ей говорить!

С трудом председатель успокоил собрание.

Коллонтай взывала к сознанию служащих, разъясняя им важную роль связи для нормальной жизни страны (как раз об этом телеграфные служащие знали куда больше Шуры). Настроение в зале не менялось. Тогда она стала рассказывать, что Советская власть намерена сделать для улучшения положения женщины, это было совсем некстати, и терпение митингующих лопнуло. К трибуне ринулись люди. С ее головы сорвали меховую шляпку и бросили в зал, оборвали пуговицы на пальто.

И тут она увидела, как в зал вошла небольшая группа рабочих. Они направились к трибуне. Все кончилось благополучно для Шуры. «Как в фильме со счастливым концом», — смеясь, рассказывала она.

Дошла до Смольного. Там Александру Михайловну встретил Свердлов и сказал:

— Я слышал о вашей битве. Но я только что получил информацию, что наша резолюция принята и что работа на почте и телеграфе возобновится завтра.

В конце марта 1919 года Центральный Комитет партии направляет Коллонтай на Украину. Осенью она вернулась в Москву и поселилась в гостинице «Националь», которая тогда была общежитием партийных работников. Ежедневно бывала на Воздви-

женке, где помещался Центральный Комитет партии. Снова работа среди женщин. В это время готовился созыв I Международной конференции коммунистов. И Коллонтай с головой ушла в подготовку, не найдя времени съездить в Петроград к сыну. Он получил только письмо:

«...Милый, родной Хохля! Нет слов передать, как хотела бы тебя видеть, поговорить... Хотела сразу слетать на сутки в Петроград, но не успела я приехать, как на меня навалилась срочная работа по созыву I конференции коммунисток всех стран. Вот и снова конфликт: душа и сердце рвутся к тебе, а работа держит. И надо себя застегнуть на все пуговички, чтобы не позволить желаниям нарушить деловитую сухость...»

На I Международной конференции она не смогла быть.

Брюшной тиф и заражение крови после перенесенного острого нефрита на многие месяцы оторвали Коллонтай от активной жизни. Лишь в сентябре 1920 года приступила к работе.

И вот она первая в мире женщина-полпред. Норвегия, потом Мексика, снова Норвегия и, наконец, Швеция. Время от времени она шлет в Москву не только официальные послания, но и письма своей подруге детства Зое Шадурской.

«Стокгольм, 6 февраля 1932 года.

Я живу вся застегнутая на все пуговицы, работаю, как запряженная лошадь, не сдавая.

Через час я должна одеваться к официальному обеду. За эту неделю их уже было три и два вечерних приема. Я очень устаю — ведь это огромная затрата сил... Губы устали от официальной улыбки, а душа от мундира».

Глава культурного фонда «Зимний сад» Дмитрий

Черниговский предложил вниманию «Известий» документы из Архива внешней политики РФ о деятельности советских спецслужб и дипломатического корпуса, связанной с нелепой возней вокруг Ивана Бунина в 30—40-е годы. Документы печатаются впервые. Советский посол в Швеции Александра Коллонтай в смятении — Бунину присудили Нобелевскую премию.

«В посольстве паника, — пишет К. Кедров. — Не смогли предотвратить враждебную акцию. В письме-отчете «товарищ посол» стремится смягчить удар. «Присуждение это носило весьма случайный характер. Во всяком случае, швецпра (шведское правительство) бессильно было предотвратить этот шаг международного комитета. Кандидатура Бунина появилась в печати впервые накануне голосования. Я имела частную беседу с минпросвещения на этот счет, но он, будучи сам изумлен таким поворотом дела, объяснил мне, что комитет не поддается никакому воздействию, что «старики» строго оберегают свою независимость от влияний на них со стороны правительства».

Коллонтай понимает, что последнее утверждение вызовет кривую усмешку в Кремле. Мысль о независимости кого-либо от власти звучит для Москвы кощунственно. Пусть даже это не в Москве, а в Стокгольме. Но ничего не поделаешь — их нравы! Коллонтай специально оговаривает, что в буржуазной стране такое возможно. «Я проверила, что в самом деле бывали случаи, когда премию присуждали вопреки явному одобрению швецпра». Трудное положение у советского посла. Как объяснить кремлевским людоедам, что бывают страны, где людей не едят. Где существует независимая мысль и есть свобода.

И снова в отчете посла чисто азиатское подслащивание пилюли. Раз новость плохая, выдадим желаемое за действительное. Изобразим возмущение общественности. Пусть в Москве думают, что шведская пресса мыслит категориями Кремля. Как это характерно для деспотической дипломатии — выдавать желаемое за действительное, дабы усладить слух! Ведь за плохую новость посла могут отозвать, а то и жизни лишит. Поэтому умная женщина пишет несусветный вздор чисто ритуального характера.

«Нехарактерно, что и шведообщественность, и почти вся, даже буржуазная, пресса весьма критически отнеслись к выбору Бунина, как представителя словесности на русском языке, достойного премии Нобеля. Даже «Алеханда» писала, что неудобно выглядит, что в списке имен, награжденных премией Нобеля, русскую литературу — страну Толстого — представляет Бунин».

33-й год на дворе. Фашизм в Германии, можно сказать, уже пришел к власти. А наш посол в Стокгольме воюет, но не с Гитлером, не с Геббельсом, а с великим русским писателем, увенчанным престижной международной премией.

Судя по отчету Коллонтай, битва идет не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что, помимо провинившейся Швеции, Франция тоже совсем отбилась от рук. Появились сообщения в прессе, что французский посланник Гессен будет представлять Бунина при торжествах вручения премии. Для советского посольства открывается широкое поле деятельности. Коллонтай переходит в наступление.

«Я, во-первых, указала на то неблагоприятное впечатление, какое вообще произвело избрание Бунина предметом премий; во-вторых, если уж кабинет не мог этому помешать, я попросила, по край-

ней мере, воздействовать на прессу, с тем чтобы приезд Бунина не принял бы под воздействием враждебных к нам элементов белой эмиграции характер политической кампании против Союза, выставления Бунина «жертвой» и т. п.

МИД, как я узнала, делал попытки, чтобы Бунин вообще сюда не приехал, но попытки эти не удались. Во всяком случае уже известно, что де-Шассен организовывает вечер иностранных журналистов в честь Бунина. Нашего ТАССа (тов. Зейфертс) на вечере этом, конечно, не будет. Я тоже, разумеется, отказалась быть на торжестве при вручении премии».

Советскому режиму нельзя отказать в неизменности и последовательности. Пройдут годы, умрет Сталин, отбушует вторая мировая война, состоится исторический XX съезд, осудивший сталинизм, но неизменной останется сущность тоталитарной власти. Теперь Нобелевскую премию получит не эмигрант, а писатель, живущий в СССР, Борис Пастернак. А реакция в конце 50-х будет такая же, как в начале 30-х. Там шумели, почему Бунину, а не Горькому. Здесь завоят: почему Пастернаку, а не Шолохову. Снова Советский посол не явится на торжества по случаю вручения премии, а советские газеты напишут такую же ахиною о возмущении мировой общественности решением Нобелевского комитета.

Пройдут годы. Минует эра застоя, наступит перестройка. Нобелевскую премию получит высланный из страны Иосиф Бродский. И опять советский дипломатический корпус за рубежом окажется в шоке. Кто-то заявит, что у него другие эстетические вкусы, кто-то проямлит, что Нобелевский комитет волен принимать какие угодно решения, даже абсурдные. Лауреата уже в третий раз будут чувствовать предста-

вители всех цивилизованных стран, и только СССР окажется в стороне. Коммунистическая идеология до последнего часа советской власти не допускала и мысли о возможности существования какой-либо несанкционированной литературы.

Уверенность в своем превосходстве над учеными и писателями никогда не покидала вождей».

В 1942 году Коллонтай исполнилось 70 лет, она все еще была полпредом в Швеции. Однажды августовским вечером Коллонтай почувствовала себя плохо. Ее поразили инсульт. Болезнь длилась долго, только к концу января 1943 года ей стало лучше, и она переехала в санаторий Мёссеберг, расположенный на юге Швеции. После года лечения Коллонтай снова приступила к дипломатической работе.

18 марта 1945 года Коллонтай возвратилась в Москву. Ей уже исполнилось 73 года, и в июле — новое назначение советником Министерства иностранных дел. На склоне лет она говорила: «Моя жизнь была богатой и интересной, я пережила много великих событий».

Умерла Коллонтай в 1952 году, в возрасте 80 лет.

## ОПЫТЫ ОЛЬГИ ЛЕПЕШИНСКОЙ

Ольга Борисовна Протопопова (Лепешинская) выросла в Перми. У ее матери был большой каменный дом, пароходы, угольные шахты.

Девушке хотелось получить высшее образование, но в университеты женщин не принимали. Оставалось единственное — пойти в фельдшерницы или акушерки. И Ольга поступила на Рождественские курсы лекарских помощников. А когда окончила их, поехала в Сибирь, к Пантелеймону Лепешинскому, сосланному на три года в далекое село Казачинское, где они и обвенчались. Она стала работать там фельдшерницей.

Вот этого самого фельдшерского образования ей показалось достаточно, чтобы в 1950 году получить Сталинскую премию. Абсурдное и антинаучное учение Лепешинской о «происхождении клеток из живого вещества» получило повсеместное распространение. Критика безграмотных идей Лепешинской рассматривалась как антисоветская акция. Следует отметить, что Лепешинская была приверженкой «академика-новатора» Лысенко. Основной догмой «новой» биологии было признание передачи по наследству приобретенных свойств. На основании своих теоретических построений приверженцы Лысенко выдвигали практические рекомендации по развитию разных отраслей сель-

ского хозяйства (превращение незимующих сельскохозяйственных культур в зимующие, введение в культуру ветвистой пшеницы, выведение жирномолочных пород коров и т. д.). Их методы принудительно внедряли сразу на огромных площадях без предварительной проверки и без учета местных условий.

С середины тридцатых годов лысенковцы в борьбе со своими противниками начали использовать меры административно-партийного давления и клеветнические политические доносы, которые завершались арестами и гибелью настоящих ученых.

Профессор В. Александров писал: «Все это приводило к тому, что ученых замещали лысенковскими неучами или теми, кто счел выгодным перейти в лагерь мичуринской биологии, заключив сделку с собственной совестью. По мере того как росла лысенковская империя и лысенковцы захватывали руководящие посты в исследовательских институтах, учебных заведениях, в партийных и советских органах, ведающих наукой, возможность сосуществования нормальной биологии с мичуринской все более сужалась».

А мы с вами все же вернемся в то далекое время, когда звезда Ольги Лепешинской только восходила. Посмотрим: что откуда взялось. Откуда могли взяться научные идеи, если Ольга Борисовна всю свою жизнь занималась не наукой, а совсем иными вещами.

7 октября 1898 года пароход «Модест» возвращался в Красноярск из последнего северного рейса. Горы, подступившие к Енисею, уже были засыпаны снегом, а вода покрылась ледяным «салом».

Среди пассажиров был Пантелеймон Николае-



вич Лепешинский, сосланный в Сибирь по тому же делу, что и Владимир Ильич Ульянов. Половину срока Лепешинский отбыл в Казачинском и теперь ехал в южные края губернии. Там он надеялся повидаться с Владимиром Ильичем. Жена его уже виделась с ним и в письме поделилась радостью: «Какой он милый — прелесть! Мы поедем вместе на пароходе...»

...В Питере незадолго до своего ареста Лепешинский участвовал в сходке народников. Там он увидел маленькую голубоглазую девушку, стриженую, в пенсне, в темной глухой кофточке с кружевной отделкой. Знакомая с нею, хозяин дома, как водится, не назвал ее фамилии, а только сказал:

— Наша молодая последовательница...

Девушка, подавая руку, назвала себя:

— Ольга.

Ольга? Так звали недавно появившуюся на свет великую княжну, и он, Пантелеймон Лепешинский, одинокий кустарь в революционном движении, уже набросал текст прокламации «Императорского дома вашего приращение», где отца новорожденной — Николая II — назвал Августейшим животным. Оставалось только отпечатать эту листовку на самодельном мимеографе да в глухую ночь разбросать по улицам... И вот совпадение — девушка Ольга. Последовательница народовольцев, что ли?

И еще было неясно: подлинное это имя или подпольная кличка? А не все ли ему равно? Нет, почему-то хотелось повторять: «Ольга, Ольга...»

Но она пришла на сходку с молодым человеком, у которого волосы ниспадали до плеч. Явно — народник.

Зашел разговор о тетрадках в желтых обложках, напечатанных на гектографе. Говорили, что их на-

писал молодой марксист, приехавший с Волги, которого товарищи называли «Стариком». Тогда он, Лепешинский, еще не знал, что это брат Александра Ульянова, с которым ему довелось учиться в университете. На сходке сторонники народника Михайловского возмущались даже названием работы, в которой слова «друзья народа» и «воюют» звучали иронически. Уж очень широко пошли эти тетрадки!

Позднее в «предварилке» сосед по камере стуком передал: «Старик тоже здесь». И на допросах следователь много раз задавал один и тот же вопрос: «Где познакомились с Владимиром Ульяновым?»

Об Ольге Протопоповой Лепешинский больше не вспоминал, ведь она приходила тогда в сопровождении какого-то длинноволосого... И когда вызвали из камеры на свидание, удивился: «Кто мог прийти ко мне? «Невеста»? Какую девушку подыскали на эту роль? Несомненно, курсистку...»

Она была в черном пальто с лисьей горжеткой, в маленькой шапочке из горностая... И в этом довольно богатом зимнем наряде, хотя и было что-то знакомое в широких бровях, в очертании худощавого лица, он в первую минуту ее не узнал. Вот так жених! К счастью, надзиратель не заметил его оплошности...

Дело пошло дальше. Ольга Протопопова последовала в ссылку за своим фиктивным женихом — проверенный способ выйти замуж за социал-демократа по-настоящему.

До Казачинского Ольга Протопопова добралась весной 1897 года. Здесь она обвенчалась с Пантелеймоном Николаевичем Лепешинским.

Было решено: сначала Ольга подыщет себе должность фельдшерицы где-нибудь в южной части гу-

бернии, а потом Пантелеймон Николаевич подаст ходатайство о переводе его туда же. К жене разрешат переехать.

Ольге Борисовне дали место в селе Курагино. Где-то за Минусинском. Кажется, не так уж далеко от Ульянова?

Саяны покрылись снегами, замерзли родники, и Енисей обмелел. Старенький «дедушка» с баржей на буксире медленно тащился вверх по реке. На бесчисленных перекатах вахтенные матросы, прощупывая наметками каменистое дно, отыскивали борозду поглубже.

В десятиместной каюте третьего класса половина пассажиров были своими людьми: Владимир Ульянов возвращался из Красноярска, куда он ездил лечить зубы. Ольга Лепешинская спешила к новому месту работы. С ней ехала Лена Урбанович, пятнадцатилетняя девочка из семьи ссыльных, надолго застрявших на севере.

Ольга и Лена, поставив чемоданы между коек, нарежали для завтрака хлеб, развернули жареную курицу, соленые огурцы. Владимир Ильич сходил за кипятком.

— Эх, пельменей бы сейчас... — сказала Ольга Борисовна. — Настоящих. С тройным мясом, с луком, с перцем.

— Неплохо бы. Но в буфете нет.

— Вам уже доводилось пробовать?

— Конечно. В Шушенском — наилучшее блюдо. Но нет так нет. А для вас я захватил... — Владимир Ильич из своей дорожной корзины достал банку консервов. — Вот! Крабы.

И все вспомнили Красноярск. И припомнилось Ольге Борисовне, как однажды в Красноярске у общих знакомых за завтраком она пожаловалась на то, что у нее пропал аппетит.

Присутствующий тут же Владимир Ильич мигом скрылся. А минут через пятнадцать вернулся с банкой консервов. Это были крабы, которые тогда ей очень понравились.

И сейчас Владимир Ильич открыл для нее такую же банку крабов! Знал, что поедут вместе, припас для нее. Какой заботливый! Об этом она обязательно напишет мужу из Минусинска.

После завтрака вышли на палубу. По обе стороны малахитовой реки багровели горы. Ветерок пересчитывал листья, позолоченные осенью, и возле берегов в глубине реки как бы полыхало пламя, даже волны, порожденные колесами «Дедушки», были бессильны погасить его.

Но любовались рекой недолго. Ольга Борисовна вернулась в каюту. Владимир Ильич тоже.

Ольга Борисовна прилегла с раскрытой книгой. Ленин, сидя на соседней койке, также читал какую-то книгу. Под его пальцами то и дело шелестели страницы... Лепешинская, опустив пенсне и приподнявшись на локте, спросила:

— Но вы же не читаете, а только просматриваете?

— Нет, читаю.

— Так быстро! Трудно поверить. Я не успеваю прочесть пяти-шести строчек, а вы уже перевертываете страницу (что тут удивительного, Лепешинская была недоучкой. — Г. К.).

— Так привык. И нельзя читать медленно, иначе не успею... — Владимир Ильич показал глазами на большую связку книг, взятых в дорогу: — И не только эти, многое нужно прочесть. Здесь и дома. Очень многое. А время летит.

— Ваше счастье, что можете так быстро. Для меня это чудо! Да. Не смейтесь. Редкостное явление!

Через пять дней они распрощались на мину-

синской пристани... Владимир Ульянов попросил:

— Будете писать мужу — от меня привет. И приезжайте к нам в Шушенское. Мы с Пантелеймоном Николаевичем сыграем в шахматы. Непременно приезжайте.

— Приедем, — пообещала Ольга Борисовна.

Кончилась ссылка. Ульяновы и Лепешинские сговорились ехать вместе. К ним присоединились Старков и жена Сильвина, призванного на действительную военную службу.

Владимир Ильич попросил Ольгу Борисовну приготовить и заморозить две тысячи пельменей, чтобы хватило для всех до железной дороги.

Деревенские приятельницы помогли: настряпали полный мешок! Поставили в сених — в последнюю минуту привяжут сзади возка.

Распрощались со знакомыми. Ямщик ослабил вожжи, и зазвенели поддужные колокольчики...

Все встретились в Минусинске. Там — первая ночевка. В ожидании ужина Владимир Ильич, улыбаясь, потирал руки.

— Доставайте-ка ваши пельмени, Ольга Борисовна. С тройным мясом, с луком...

— Ах, пельмени!.. — спохватилась она, смутившись. — А они... Там остались...

— Ай, ай! Какая жалость!.. Ну что же, будем по дороге пить чай... Самовары, говорят, есть в каждой ямщицкой избе. И капуста с постным маслом.

Дочь Оленька, заболевшая дорогой, пылала от жара.

Лепешинским пришлось задержаться. Прощаясь с ними, Ильич сказал:

— До скорой встречи! Впереди у нас — большие дела. — И шутливо добавил: — А пельмени где-нибудь приготовим. По-сибирски!

Владимир Ильич уехал за границу издавать «Искру». Лепешинские обосновались в Пскове. Пантелеймон Николаевич, получивший работу земского статистика, стал одним из агентов общепартийной газеты. Ольга Борисовна во всем помогала ему: зашифровывала письма и корреспонденции, отправляемые Ленину сначала в Мюнхен, потом в Женеву, поддерживала связь с Надеждой Крупской, была секретарем «Искры», хранила и распространяла нелегальную литературу, получаемую из-за рубежа.

В каждом номере «Искры» Лепешинские прежде всего просматривали «Почтовый ящик»: нет ли там какого-либо уведомления для них? Часто находили строчки: «2а 3б. Ваше письмо получено». Это значило — очередное послание дошло до Ленина и Крупской.

«Искра» требовала больших расходов. Где взять деньги? Помогали агенты: принимали отчисления у членов партии, собирали пожертвования. Иногда удавалось даже раздобывать некую толику кредитных билетов у богатых людей, настроенных оппозиционно по отношению к властям. Лепешинские собирали деньги в Пскове и тайно переправляли их Ульяновым.

Однажды случилось непредвиденное: девушка, отправленная из Германии с очередным номером «Искры», перепугалась пограничного досмотра и оставила багаж на вокзале в Выборге; прислала квитанцию. Что делать?

— Я съезжу, — сказала мужу Ольга Борисовна. — Привезу.

В Выборге ей выдали довольно большой чемодан. Ноша показалась необычной. Стукнула по стенке — чемодан загудел, как барабан. Открыла — в нем

пусто. С таким ехать нельзя. Необходимо заполнить бельем, платьями. А где их взять? Купить не на что. И занять не у кого. Последние деньги отдала за куклу да за большую связку кренделей. Крендели в Выборге особенные, вкусные, будто сахарные, любая лакомка соблазнится такими.

Но ведь у жандармов и таможенников взгляд наметан. Удастся ли проскользнуть? Что, если возьмут подозрительный чемодан в руки да постучат по стенкам? Тогда не избежать ареста.

Начинается досмотр. Вместе с жандармом подходит таможенный чиновник. Сейчас примется за ее чемодан. И Ольга Борисовна сама, беспечным жестом откидывает крышку:

— Пожалуйста. Здесь лежит кукла для дочурки да крендели.

Досмотрщики недоуменно оглядывают необычный багаж. Что за женщина, у которой нет в запасе ни белья, ни платьев?..

А Ольга Борисовна тем временем с аппетитным хрустом ела поджаренный кренделек. Дурочка!

Таможенник машет рукой. Жандарм поворачивается к следующему пассажиру. Лепешинская взяла еще один кренделек и захлопнула крышку...

В 1903—1906 гг. Лепешинские живут в Женеве среди большевиков-эмигрантов и имеют свой бизнес.

В Женеве Лепешинские открыли на рю де Каруж эмигрантскую столовую, которая тотчас же стала местом встреч и собраний. В маленькой комнатке разместили партийную библиотеку, поставили шкафы для рукописей, прокламаций и различных революционных документов, и столовка превратилась в своеобразный партийный клуб.

Доход от столовой поступал в партийную кас-

су. Тут же была и «эмигрантская касса», оказывавшая помощь тем, у кого не было никакого заработка.

Накормив обедом 70—80 человек, Ольга Борисовна на велосипеде мчалась в университет, где продолжала свое образование, а Пантелеймон Николаевич отправлялся в редакцию большевистской газеты «Вперед», чтобы прочесть корректуру очередного номера. Их дочь Оленька целые дни проводила на улице с французскими детьми.

Владимир Ильич, придя первый раз в столовку, приподнял девочку на руках:

— Здравствуй, сибирячка! — Опустив на пол, погладил ее волосы. — Большая выросла?.. Ну, а как тебе здесь нравится? Лучше бы домой? Да. Я бы тоже уехал, если бы мог. В Питер. В Москву. Даже в Псков согласен.

— И мы бы с вами, — отозвалась Ольга Борисовна. — На крыльях бы улетели.

— С вас, уважаемая хозяйка, полагаются пельмени, — шуточно рассмеялся Владимир Ильич. — Возьмен тех, что вы забыли в Ермаковском. Целый мешок! Две тысячи!

— Вы все еще помните?

— Ну как же. Разве можно забыть? Стряпайте-ка снова. Для всех товарищей. С тройным мясом, с луком, с перцем. По-сибирски! Или здесь не получают такие?

— Не до пельменей тут. Дорого для наших. Денег у всех в обрез. Многие предпочитают пустые щи да кашу. Лишь бы наполнить голодный желудок.

— Вы правы. Трудна, очень трудна жизнь для наших товарищей. Питаются чаще всего всухомятку — сыр да хлеб. Запивают — самым дешевым вином.



...Это было в 1905 году. Ранним утром Пантелеймон Николаевич с корзиной в руках отправился на рынок, чтобы купить мяса для столовки. На улицах продавались утренние газеты. Взял первую попавшуюся под руку, там сообщалось о событиях 9 января, о стачках.

Вбежав в свою комнатку при столовой, взбудораженный новостью, он подал газету жене:

— Читай!.. Революция!..

В каких-нибудь полчаса Ольга Борисовна подняла на ноги трех большевичек, живших неподалеку, вручила им по подписному листу, и они вчетвером помчались по разным улицам; стучались в дома либерально настроенных горожан и принимали пожертвования. Женщины успели обойти главные улицы раньше меньшевиков и принесли в партийную кассу 3 тысячи франков!

Прошло время, и Ольга Борисовна с пельменей и платных столовок для «товарищей» переключилась на науку. Дорога была открыта: власть завоевали — значит, «кто был ничем, тот станет всем». Можно, например, стать ученым-биологом. Как говорится: что хочешь, то и ворочу.

Видный цитолог Владимир Яковлевич Александров описал ход борьбы в советской биологии тридцатых — пятидесятых годов, указал на связь механизмов научной и политической борьбы тех лет. Он подробно проанализировал устройство и работу машины монополизации науки, которая непременно становится машиной лжи и уничтожения: «После Великой Отечественной войны в сферу мичуринской биологии включилась группа О. Б. Лепешинской. Лепешинская, начиная с середины тридцатых годов, выступала с публикациями, в которых сообщала об открытом ею образовании клеток из бесст-

руктурного живого вещества. Этим опровергалось утверждение крупнейшего немецкого патолога Р. Вирхова, сделанное им в 1855 году, о том, что клетка образуется только от клетки.

Тезис Вирхова, принятый всеми биологами Лепешинская объявила метафизическим, идеалистическим и почему-то несовместимым с принципом развития. В качестве идейного прикрытия Лепешинская использовала искаженные до неузнаваемости идеи Ф. Энгельса. На основании собственных исследований Лепешинская также предлагала практические мероприятия: принимать содовые ванны для борьбы со старостью и прибавлять к ранам кровь для ускорения заживления. К публикации О. Б. Лепешинской ученые относились как к комическому вздору, ее попытки издать книгу на эту тему несколько раз отклонялись.

Но вот в 1945 году Лысенко протянул ей руку помощи. Монографию Лепешинской «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме» публикует издательство Академии наук СССР скромным тиражом в тысячу экземпляров, но с предисловием Лысенко, в котором, в частности, говорится: «Естественно, что для тех работников науки, которые еще не изжили в своем научном мышлении метафизических подходов, могут оказаться неприемлемыми не только теоретические предпосылки и выводы О. Б. Лепешинской, но они могут отрицать и достоверность фактической части ее работ, как не согласующихся с их теоретическими взглядами. Для людей же науки, стоящих на позициях подлинной теории развития, теории диалектического материализма, фактический материал О. Б. Лепешинской, по моему глубокому убеждению, вполне приемлем». И далее, говоря о происхождении кле-

ток из живого вещества, Лысенко пишет: «Это принципиально новое положение в биологической науке блестяще и показано О. Б. Лепешинской в ее тонких экспериментах».

Лысенко воспользовался «учением» О. Б. Лепешинской для объяснения своей теории зарождения одного вида «в теле» другого, и направление Лепешинской стало одним из важных разделов мичуринской биологии. Второе дополненное издание названной книги выходит в 1950 году уже тиражом 25 тысяч экземпляров. Если раньше Лысенко борьба велась преимущественно с генетиками, эволюционистами и инакомыслящими практиками, то теперь мишенью стали также цитологи, гистологи, эмбриологи, микробиологи.

В период борьбы с фашистским нашествием было не до биологии, но после того, как фашизм был раздавлен, война Лысенко с наукой возобновилась. Нажим на представителей нормальной биологии, желание заполучить занимаемые ими посты усилились, этому способствовало новое немаловажное обстоятельство. В довоенное время труд ученых в исследовательских институтах и преподавателей в вузах по сравнению с другими профессиями оплачивался очень скромно. В науку большей частью шли те, кто глубоко и искренне интересовался исследовательской работой. В 1946 году было принято решение коренным образом улучшить быт ученых. Ученые оказались в привилегированном материальном положении, посты в институтах стали выгодными. Усилилось стремление их занять, труднее стало с ними расставаться.

Однако в первые послевоенные годы дела Лысенко шли не совсем гладко. В печать прорвались отдельные критические статьи. Так, в 1946 году в

журнале «Селекция и семеноводство» появилась статья П. М. Жуковского под названием «Дарвинизм в кривом зеркале», направленная против лысенковской теории эволюции. В этом году, несмотря на протесты Лысенко, в члены-корреспонденты АН СССР избирается крупный представитель классической генетики Н. П. Дубинин. 4 ноября 1947 года в Московском государственном университете при большом стечении ученых и студентов прошла дискуссия по поводу отрицания Лысенко внутривидовой борьбы за существование. С убедительной критикой позиции Лысенко выступили академик И. И. Шмальгаузен и профессора А. Н. Формозов и Д. А. Сабинин. Лысенковцы в этой дискуссии участия не приняли.

Затем там же, в МГУ, с 3 по 8 февраля 1948 года проходила обширная конференция по проблемам дарвинизма, на которой было заслушано сорок докладов из разных городов и ведомств. Не было ни одного докладчика из лагеря Лысенко. Работа конференции отражена в книжке тезисов (88 страниц), открывающейся тезисами доклада академика И. И. Шмальгаузена. Фамилия Лысенко в книжке не упомянута, большинство докладов по содержанию в корне противоречили «передовому мичуринскому дарвинизму».

Эти события не могли не насторожить Лысенко. Он почувствовал, что управление советской биологией ускользает из его рук, однако затем последовали еще более грозные для него события. Заведующим сектором науки ЦК ВКП(б) стал сын члена Политбюро А. А. Жданова, Ю. А. Жданов, по образованию химик-органик. В ЦК и после войны шли письма, разоблачающие теоретическую и практическую деятельность лысенковцев. Весной

1948 года Ю. А. Жданов встретился с рядом биологов, в том числе генетиков, протестовавших против монополии лысенковской лженауки.

10 апреля 1948 года Ю. А. Жданов выступил в аудитории московского Политехнического музея на семинаре лекторов с большим докладом, в котором критиковал Лысенко за антинаучные теории и ни к чему не приводящие обещания огромных достижений в сельском хозяйстве. Утрата позиций в отделе науки ЦК грозила Лысенко полным крахом. Гигантская лысенковская конструкция не могла существовать в свете критики. Критику необходимо было погасить.

Сразу после выступления Ю. А. Жданова, 17 апреля 1948 года, Лысенко пишет Сталину и А. А. Жданову письмо с жалобой на Ю. А. Жданова, который в своем докладе использовал наговоры антимичуринцев, не дающих ему возможности работать. В письме он намекает на свою готовность отказаться от президентства в ВАСХНИЛ и просил предоставить ему условия для продолжения развития мичуринской биологии на благо колхозно-совхозной практики. Ответом на обращение Лысенко была мрачно знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ. Хорошо информированный о положении дел в верхах генетик А. Р. Жербак сообщил, что в повороте дел решающую роль сыграл Л. П. Берия. Во всяком случае, 7 августа 1948 года, в последний день августовской сессии, всякая возможность сосуществования биологии с «мичуринской биологией» была окончательно ликвидирована.

До 1950 года лысенковский шквал обрушивался главным образом на генетиков, эволюционистов, общих биологов, селекционеров. Однако вскоре произошло еще одно разрушительное событие. Хо-

тя происхождение клеток из живого вещества к моменту августовской сессии уже было неотделимой частью мичуринской биологии и Лепешинская имела все основания разделить торжество Лысенко после августовской сессии, она все же добилась организации собственного праздника.

22 мая 1950 года прошло совместное совещание биологического отделения АН СССР и Академии медицинских наук СССР при участии представителей ВАСХНИЛ, специально посвященное открытиям Лепешинской. Совещание проходило под председательством академика А. И. Опарина. После вступительного слова Опарина с научными докладами выступили О. Б. Лепешинская, ее дочь, О. П. Лепешинская, муж дочери, В. Г. Крюков, и сотрудник Лепешинской В. И. Сорокин. Остальные заседания посвящены были прениям. Все двадцать семь выступавших единодушно приветствовали направление Лепешинской. Среди них — академики АН СССР Е. Н. Павловский, Н. Н. Аничков (президент АМН СССР), Т. Д. Лысенко, А. Д. Сперанский и действительные члены АМН СССР Н. Н. Жуков-Вережников, И. В. Давыдовский, С. Е. Северин, члены-корреспонденты А. А. Имшенецкий, В. Л. Рыжков, Н. М. Сисакян. Выступал и Г. М. Бошнян.

Особое значение имела, конечно, речь Т. Д. Лысенко. Он перечислил разделы своего учения, для которых работы Лепешинской имели первостепенное значение: «Мне абсолютно ясно, что без признания зарождения клеток из неклеточного вещества невозможна теория развития организма», «Не менее важными являются положение и экспериментальный материал О. Б. Лепешинской и для построения правильной теории видообразования».

Исходя из данных Лепешинской, Лысенко объ-

яснил также проповедуемое им зарождение одних видов в недрах других, например ржи в пшенице путем появления «в теле пшеничного растительного организма крупинок... ржаного тела», вначале не имеющих клеточной структуры, а затем превращающихся в клетки ржи. В заключение своей речи Лысенко сказал: «Нет сомнения, что теперь добытые О. Б. Лепешинской научные положения уже признаны и вместе с другими завоеваниями науки лягут в фундамент нашей развивающейся мичуринской биологии».

В своем заключительном слове А. И. Опарин сказал: «Одной из важных задач, стоявших перед настоящим совещанием, является задача создать в широких кругах научной общественности перелом в отношении к работам О. Б. Лепешинской, создать такого рода положение, чтобы ученые различных специальностей не только восприняли идеи, развиваемые Ольгой Борисовной, но чтобы они активно включились в работу по изучению неклеточных форм жизни и возникновения клетки...»

Совещание приняло резолюцию, в которой, в частности, говорится: «I. Вирховианская догма, согласно которой клетка происходит только от клетки, не соответствует действительности, в корне противоречит всем принципам мичуринского учения и затрудняет развитие передовой советской биологии в ряде важнейших участков этой науки»; «Своими работами они (Лепешинская и ее сотрудники) экспериментально доказали, что клетки могут происходить не только путем деления, но также из живого вещества, не имеющего структуры клетки, что является крупным открытием в биологической науке»; «Идеи, развиваемые О. Б. Лепешинской, должны быть широко популя-

ризированы и использованы в практике медицины и сельского хозяйства».

В результате «блестящей победы» учения Лепешинской к лысенковской бранной триаде «менделизм—вейсманизм—морганизм» было прибавлено четвертое клеймо — «вирховианство».

Среди выступавших с поддержкой чудовищных идей Лепешинской, ничего общего не имеющих с наукой, среди принявших резолюцию, наносящую огромный вред советской науке, был ряд ученых с мировым именем, крупнейших специалистов в области нормальной и патологической цитологии, и ни один из них не подал протестующий голос. Как это объяснить? Чтобы современному читателю это было понятно, я приведу беседу профессора В. М. Карасика с академиком Н. Н. Аничковым, с которым он был в приятельских отношениях. Беседа состоялась вскоре после окончания майской сессии. Карасик спросил Аничкова, как он все же мог выступить с восхвалением Лепешинской. На это Николай Николаевич, грассируя, ответил: «Давление на нас было оказано из таких высоких сфер, что мы извивались как угри на сковородке. Я после своего выступления три дня рот полоскал». (В какой мере это помогло, он не сказал.)

В том же 1950 году О. Б. Лепешинская вне очередного раунда, в одиночку, получает Сталинскую премию первой степени — 200 тысяч рублей (двадцать тысяч в современном исчислении). Еще за несколько лет до этого было известно по слухам, а в 1952 году Лепешинская сообщила в печати о проявленной Сталиным «отеческой заботе о науке»: «В самый разгар войны, поглощенный решением важнейших государственных вопросов, Иосиф Виссарионович нашел время познакомиться с моими



работами еще в рукописи и поговорить со мной о них. Внимание товарища Сталина к моей научной работе и его положительный отзыв о ней влили в меня неиссякаемую энергию и бесстрашие в борьбе с трудностями и препятствиями, которые ставились учеными-идеалистами на пути моей научной деятельности» («Внеклеточные формы жизни», издание АПН РСФСР).

Этого было достаточно, чтобы учение Лепешинской получило статус политической платформы, поддерживаемой партией и правительством. В середине пятидесятых годов на вопрос, адресованный К. М. Завадскому (известный эволюционист, бывший заведующий кафедрой дарвинизма ЛГУ), как он мог в своей статье, описывая регенерацию листьев бегонии, утверждать, что меристематические клетки возникают из неклеточного живого вещества, он ответил: «Я солдат партии».

Критика Лепешинской рассматривалась как антисоветская акция, со всеми вытекающими последствиями. Это вполне уживалось с широко цитируемым утверждением Сталина: «Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики» («Правда», 20 июня 1950 года). Такое положение дел отнюдь не свидетельствовало о недостаточной ответственности высказываний Сталина. Объяснялось это просто тем, что в то время многие фразы и слова воспринимались в перевернутом, инвертированном смысле. Борьба мнений понималась как борьба утвержденной доктрины с мнением инакомыслящих.

Вот почему в программу по гистологии и эмбриологии Минздрава СССР от 1953 года был включен пункт «Значение свободных дискуссий для дальней-

шего развития советской биологии и медицины (сессия ВАСХНИЛ, объединенная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР)». Но эти слова мало что значили. Отступление к воззрениям первой половины прошлого века называлось борьбой за передовую науку. Признание передачи по наследству приобретенных свойств, подменявшее дарвинизм ламаркизмом, считалось развитием творческого дарвинизма. Сталинабадская газета, обрушиваясь на Ю. Я. Керкиса, изгнанного Лысенко из Института генетики АН СССР и вынужденного с семьей искать средства к существованию в таджикской глубинке, обвиняла его в «полной беспринципности» за его нежелание признавать свои морганистские ошибки.

Малодушное отречение ученого под влиянием насилия от своих убеждений, если он не был предназначен к полному сокрушению, обзывали честным, мужественным поступком и т. д.

Вскоре после майской сессии начались организационные выводы. Они обрушились в первую очередь на цитологов, гистологов, эмбриологов, которые до этой поры еще как-то могли заниматься нормальной наукой, если она не соприкасалась с вопросами генетики. Прежде всего огонь был направлен на тринадцать ученых, подписавших статью с уничтожающей критикой монографии Лепешинской «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме» (1945 год). Статья была опубликована под названием «Об одной ненаучной концепции» в газете «Медицинский работник» от 7 июля 1948 года (естественно, что после августовской сессии 1948 года такая статья не могла бы увидеть свет).

Лепешинская в то время обосновывала свое открытие возникновения клеток из живого вещества, лишенного клеточной структуры, на двух группах фактов: используя в качестве объектов развития яйца курицы и севрюги, она описала превращение желточных шаров, якобы лишенных ядра, в эмбриональные клетки и в кровяные островки — зачатки кровеносных сосудов. Вторым объектом служила растертая гидра, у которой, по мнению Лепешинской, после разрушения всех клеток из образовавшегося живого вещества вновь возникали клетки. Этим самым Лепешинская фактически призывала вернуться к воззрениям Шлейдена и Шванна, то есть к уровню науки тридцатых годов прошлого столетия.

В статье тринадцати авторов было показано, что выводы Лепешинской основаны на применении негодной методики, на элементарном непонимании того, что видно под микроскопом, из-за полной биологической безграмотности и сумбурного мышления.

Дело в том, что желточные шары — это полноценные клетки, содержащие ядро и цитоплазму, загруженную желточными зернами, служащими питательным материалом для развивающегося зародыша. Желточные зерна поначалу маскируют ядра, но по мере потребления зерен ядра становятся хорошо видимыми. Этот процесс Лепешинская истолковала как зарождение ядер в бесклеточном живом веществе. Кроме того, желточные шары, израсходовавшие желточные зерна, в дальнейшем погибают. Произвольно располагая стадии разрушения клеток в обратном порядке, Лепешинская выдавала этот процесс за возникновение клеток из бесструктурного живого вещества.

Опыты с растертой гидрой никакой доказательной силы вообще не имели, так как при растирании мелкие клетки могли остаться целыми. Из своих изысканий Лепешинская сделала выводы для медицинской практики. Она заключила, что заживление ран происходит за счет новообразования клеток из «кровавой зернистости» и предлагала лечить раны путем прибавления к ним крови.

Далее в статье тринадцати было показано, как Лепешинская, пытаясь укрепить свои теоретические построения цитатами из Энгельса, превратно их толкует и игнорирует те высказывания Энгельса, которые явно противоречат ее утверждениям.

В заключение статьи авторы пришли к такому выводу: «Выдавая совершенно изжитые и поэтому в научном отношении реакционные взгляды за передовые, революционные, Лепешинская вводит в заблуждение широкого читателя и дезориентирует учащуюся молодежь. Вопреки добрым намерениям автора, книга ее объективно могла бы только дискредитировать советскую науку, если бы авторитет последней не стоял так высоко. Ненаучная книга Лепешинской — досадное пятно в советской биологической литературе». Статью подписали: действительные члены АМН СССР Н. Хлопин, Д. Насонов, член-корреспондент АМН СССР П. Светлов, профессора Ю. Полянский, П. Макаров, Н. Гербильский, З. Кацнельсон, Б. Токин, В. Александров, Ш. Галустян, доктора наук А. Кнорре, В. Михайлов, член-корреспондент АН СССР В. Догель.

В конце 40-х годов в Москве, в Доме союзов, открылась Всесоюзная конференция сторонников мира. Приехали гости со всех континентов.

В перерыв по переполненному фойе медленно

продвигалась, опираясь на трость, невысокая беловолосая женщина. Ее на каждом шагу останавливали и окружали люди, протягивали блокноты для автографов, рядом с орденом Ленина прикалывали ей заграничные значки, засыпали вопросами.

Это была Лепешинская. Та самая женщина, которая на полном серьезе предлагала принимать содовые ванны для борьбы со старостью и прибавлять к ранам кровь для скорейшего заживления. А когда-то, в далеком прошлом она собиралась стать акушеркой...

## БОЛЕЗНЬ ДУШИ

Очевидно, что психические заболевания цвели в семье Аллилуевых пышным цветом.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева приоткрыла завесу семейной тайны, рассказав о всех близких родственниках:

«Дедушка был из крестьян Воронежской губернии, но не чисто русский, а с сильной примесью цыганской крови — бабка его была цыганка. (...) В гробу он лежал, как индусский святой, — таким красивым было высохшее тонкое лицо, тоненький нос с горбинкой, белоснежные усы и борода. Гроб стоял в зале музея революции.

Брак бабушки с дедушкой был весьма романтическим. К нему, молодому рабочему Тифлиссских мастерских, бабушка сбежала из дому, выкинув через окно узелок с вещами, когда ей еще не было 14 лет.

Бабушка наша, Ольга Евгеньевна, урожденная Федоренко, родилась в Грузии, выросла там, любила эту страну и ее народ всю жизнь, как свою родину. Она представляла собой странную смесь национальностей. Отец ее, Евгений Федоренко, хотя и носил украинскую фамилию, вырос и жил в Грузии, его мать была грузинкой, и говорил он по-грузински. А женат был на немке, Магдалине Айхгольц, из семьи немецких колонистов. В Грузии были, еще со вре-

мен Екатерины II, колонии немцев, живших своими поселками. Магдалина Айхгольц владела — как полагается — пивнушкой, чудесно стряпала всякие «кухен», родила девять детей (последнюю — Ольгу, нашу бабушку) и водила их в протестантскую церковь. В семье Федоренко говорили по-немецки и по-грузински.

Как бы то ни было, бабушка и дедушка представляли собой очень хорошую пару. Она была посвящена в его деятельность, вступила сама в партию еще до революции, но все-таки часто сетовала на то, что «Сергей загубил» ее жизнь и что она видела с ним «одни страдания». Четверо их детей — Анна, Федор, Павел и Надежда — родились все на Кавказе и тоже были южанами — по облику, по впечатлениям детства, по всему тому, что вкладывается в человека в самые ранние годы, бессознательно, подспудно.

Мамин любимый брат Павлуша, большой ее друг, похожий на нее и внешне и внутренне, только более мягкий и податливый, чем она, — стал, как ни странно, профессиональным военным.

Осенью 1938 года Павлуша уехал в отпуск в Сочи, что было вредно для его нездорового сердца. Когда он вернулся из отпуска и вышел на работу в свое Бронетанковое управление, то не нашел там с кем работать... Управление как вымели метлой, столько было арестов... Павлуше стало плохо с сердцем тут же в кабинете, где он и умер от сердечного спазма.

Позже Берия, уже воцарившись в Москве, выдумывал разные версии его смерти и упорно внушал их отцу, вплоть до того, что вдова Павлуши, Евгения Александровна, была заподозрена в его отравлении, и Бог знает что еще говорилось... А что проще того

очевидного факта, что еще не всякое сердце могло выдержать происходившее вокруг...

Берия все-таки не отстал, и в 1948 году, через десять лет после смерти Павлуши, его вдова отправилась в тюрьму, где наряду с прочими «шпионскими делами» ей предъявили и обвинение в отравлении мужа десять лет назад... И она вместе с Анной Сергеевной, вдовой расстрелянного десять лет назад Реденса, получили каждая по десять лет «одинок», откуда их обоих освободил лишь 1954 год.

Анна Сергеевна, старшая мамина сестра, не была так близка ей, как брат, — но все же они были очень дружны. Она была с иным характером, другой натурой, чем мама, но не противоположной ей. Это было воплощение доброты, того идеального последовательного христианства, которое прощает всех и вся. Вряд ли я знаю и могу назвать кого-либо еще, кто мог бы так последовательно и упорно всю жизнь, с самой юности и до сегодняшнего дня, посвящать всю себя целиком людям, — помогать им, думать об их делах, думать всегда прежде о них, и совсем в последнюю очередь — о себе.

Отец всегда страшно негодовал на это ее христианское всепрощение, называл ее «беспринципной», «дурой», говорил, что «ее доброта хуже всякой подлости». Мама жаловалась, что «Нюра портит детей, и своих, и моих», — «тетя Аничка» всех любила, всех жалела, и на любую шалость и пакость детей смотрела сквозь пальцы. Это не было каким-то сознательным «философски» обоснованным поведением, просто такова была ее природа, она иначе и не смогла бы жить.

Она была когда-то очень красива: тоненькая тростиночка с выточенными чертами лица, гораздо более правильными, чем у мамы, с карими глазами и



великолепными зубами, как у всех братьев и сестер. Та же смуглость, те же тонкие руки, тот же восточный экзотический облик. Рано выйдя замуж, она располнела и потом уже никогда не следила за собой, пренебрегая своей внешностью, как это бывает с красивыми от рождения людьми. В отличие от аккуратной, строгой мамы, она была всегда неряшливо и бестолково одета, зачесывала волосы назад круглой гребенкой, совершенно не думая о форме, о внешней стороне поведения. Добро, добро людям и для людей — вот был ее девиз и смысл всей ее жизни, безразлично, были ли у нее возможности делать это добро или нет. О приличиях, о внешнем она просто не задумывалась.

Маму коробило от ее непосредственности, от антиэстетизма, от безалаберности и бестолковости в ее доме, от всего того, что самой маме было чуждо. Но вместе с тем она любила сестру, дружила с ней и они разделяли общие взгляды — глубокую человечность и веру в людей.

Дом Анны Сергеевны был целиком возложен на плечи Тани, Татьяны Ивановны, великолепной старой няни (подруги моей няни), полностью освободившей свою хозяйку от забот о кухне и детях. Мужа своего Станислава Францевича, польского большевика, давнего сподвижника Дзержинского, «Аничка» обожала и считала — и продолжает считать и сейчас — самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле. Я помню только, что он был очень красив, с живым лицом, с ослепительной улыбкой, всегда добрый и веселый с нами, с детьми. У них было два сына, красивые полуяжане, полуполяки; они выросли добрыми и мягкими — в мать, и изящными — в отца. О Реденсе говорили, что он бывал груб, заносчив, не тер-

пел возражений, — я не берусь судить о том, чего не помню и чего не знала сама.

Он был после гражданской войны крупным чекистом Украины, — они жили тогда, всей семьей, в Харькове. Потом его перевели в ЧК Грузии. И тут он впервые столкнулся с Берия, желавшим возглавлять грузинскую ЧК. Они не понравились друг другу. Реденс, ученик Дзержинского, и Берия, рассматривавший Грузию как свою будущую вотчину, свой плацдарм для последующего движения наверх, к власти... Реденса выжили быстро из Грузии, а позже Берия воцарился там первым секретарем Грузинского ЦК партии.

Я еще вернусь к этому персонажу, связанному дьявольской связью со всей нашей семьей и уничтожившему добрую половину ее. Скажу только, что о тех давних временах мне рассказывала много старая кавказская большевичка О. Г. Шатуновская, понимавшая роль Берии, знавшая ему цену еще давно. Собственно говоря, цену ему знали все старые партийцы Закавказья, и если бы не странная поддержка отца, которой Берия ловко заручился, то его выдвижения не допустили бы ни С. М. Киров, ни Г. К. Орджоникидзе, ни все те люди, кто хорошо знал Закавказье и ход тамошней гражданской войны. Именно этих людей он уничтожил первыми же, едва получив возможность это сделать...

В начале тридцатых годов Реденс работал в московской ЧК. Его высокое положение (он был в числе первых депутатов Верховного Совета еще в 1936 году) позволяло Анне Сергеевне не работать, не зарабатывать на жизнь. Но она была прирожденной общественницей, и всю жизнь ее наполняли заботы о ком-то, устройство чьих-то дел, опекание чьих-то детей. Она не занималась стяжательством, как это

делали другие знатные «чекистские дамы», одетые во все заграничное; ей было не до того. «Мой муж меня и так очень любит», — говорила она, никогда не обращая внимания на сплетни. Ей постоянно жужжали в уши об его изменах, — кто знает, быть может, он и не был святым, — но ее это не затрагивало, ревность была не существовавшим для нее чувством; она смеялась и повторяла: «Ах, оставьте! Мой муж любит меня, и я люблю его, какое мне дело, происходит что-нибудь еще или нет?» И это была не поза, это было искренне, она верила в него, в его отношении к ней, как она верила в людей вообще.

Приход Берии в 1938 году в НКВД Москвы означал для Реденса недоброе, — он понимал это. Его немедленно же откомандировали работать в НКВД Казахстана, и он уехал с семьей в Алма-Ату. Там они пробыли недолго. Вскоре его вызвали в Москву, — он ехал с тяжелым сердцем, — и больше его не видели...

В последнее время он тоже, как и дядя Павлуша, стремился повидаться с отцом, заступаясь за людей; была даже какая-то ссора между ними, по словам Анны Сергеевны. Отец не терпел, когда вмешивались в его оценки людей.

Если он выбрасывал кого-либо, давно знакомого ему из своего сердца, если он уже переводил в своей душе этого человека в разряд «врагов», то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке. Сделать «обратный перевод» его из врагов, из мнимых врагов, назад — он не был в состоянии, и только бесился от подобных попыток. Ни Реденс, ни дядя Павлуша, ни А. С. Сванидзе не могли тут ничего поделать, и единственно, чего они добились, это полной потери контакта с отцом, утраты его доверия. Он расставался с каждым из них, повидав их в по-

следний раз, как с потенциальными собственными недругами, то есть как с «врагами»...

А все они, каждый в отдельности, были честны; все они говорили с отцом прямо и открыто; никто из них не умел играть на его слабых струнах, — они слишком давно все его знали, они не лукавили с ним, не считали это ни нужным, ни возможным, — и все они оказались в проигрыше...

После ареста Реденса Анна Сергеевна переехала с детьми в Москву. Ей была — в отличие от других — оставлена та же самая квартира; но она перестала допускаться в наш дом, в Зубалово, и я, тогда еще одиннадцатилетняя девчонка, никак не могла понять: куда все девались? Почему обезлюдел наш дом? Смутные же рассказы о том, что дядя Стах оказался нехорошим человеком, не доходили еще до моего сознания во всей полноте. Я только все больше и больше ощущала пустоту вокруг, безлюдно, и ничего мне не оставалось, кроме школы и моей доброй няни...

Анна Сергеевна ни на минуту не поверила, что ее муж мог быть врагом, дурным, нечестным человеком. Не поверила она и в то, что он расстрелян, хотя отец мой безжалостно сообщил ей это еще до войны. Он думал этим заставить ее поверить, что он был «враг», но она даже не представляла себе, что вообще такое могло произойти... Ей слишком нужно было верить в то, что он жив, что он честен, что он еще вернется, — и она в это верила.

Бабушка и дедушка поддерживали ее, как могли. Она по-прежнему занималась делами других, помогала, опекала. К чести ее друзей, — из старой партийной интеллигенции, к которой принадлежал и ее муж, — все они остались с нею, никто не отвернулся.

Ей была свойственна простота и наивность в высшей степени честного человека, который не может и других заподозрить в дурном, поскольку он сам-то не может быть дурным.

Она часто говорила: «Пойду навещу Климента Ефремовича (или Лазаря Моисеевича, или Вячеслава Михайловича с Полиной Семеновной), ведь он был так близок со Стахом еще на Украине».

И она шла, хотя никто иной на ее месте, в ее прискорбном положении, не отважился бы даже подумать о таком шаге. Она шла, и оказывалась права: ее встречали, угощали, старались утешить, говорили тепло и сердечно. Перед нею раскрывались двери, как по волшебству, — перед маленькой, опустившейся, бессильной женщиной, чья красота сохранилась только в теплых карих глазах. Она говорила мягко, никакая сила не стояла за ее спиной, — наоборот, всем было известно, что отец мой отвернулся от нее и она не бывает больше у нас в доме.

В последние годы войны она помогала дедушке записывать его воспоминания. Кто-то посоветовал ей написать свои мемуары о жизни семьи Аллилуевых, о революции — впечатления юной гимназистки. Она не смогла бы написать это сама, ей не хватило бы литературного умения. То, что она рассказала, обработала редактор Нина Бам — и получилась книга. Мне она не казалась интересной. Воспоминания дедушки, написанные им самим, имели индивидуальность, лицо. Книжка Нины Бам была слишком литературна, — она была как-то непохожа на автора, на самое Анну Сергеевну, которая была достойна хорошей книги, хорошего писателя...

Тем не менее книга вышла в 1947 году и вызвала страшный гнев отца. Должно быть, с его слов — угадывались отдельные резкие формулировки — была

написана в «Правде» разгромная рецензия Федосеева, недопустимо грубая, потрясающе безапелляционная и несправедливая.

Все безумно испугались, кроме Анны Сергеевны. Она даже не обратила на рецензию внимания, поскольку восприняла ее как несправедливую и неправильную. Она знала, что это неправда, чего же еще? А то, что отец гневается, ей было не страшно; она слишком близко его знала, он был для нее человеком со слабостями и заблуждениями, почему же он не мог ошибиться? Она смеялась и говорила, что будет свои воспоминания продолжать.

Ей не удалось этого сделать. В 1948 году, когда началась новая волна арестов, когда возвращали назад в тюрьму, в ссылку тех, кто уже отбыл с 1937 года свои десять лет, — эта доля не миновала и ее. Вместе с вдовой дяди Павлуши, вместе с академиком Линой Штерн, с С. Лозовским, вместе с женой В. М. Молотова, старой маминой подругой Полиной Семеновной Жемчужиной, была арестована и Анна Сергеевна.

Вернулась она весной 1954 года, проведя несколько лет в «одиночке», а большую часть времени пробыв в тюремной больнице. Сказалась дурная наследственность со стороны бабушкиных сестер: склонность к шизофрении. Анна Сергеевна не выдержала всех испытаний, посланных ей судьбой...

Когда она возвратилась домой, состояние ее было ужасным. Я ее видела в первый же день — она сидела в комнате, не узнавая своих уже взрослых сыновей, безразличная ко всему. Глаза ее были затуманены, она смотрела в окно равнодушная ко всем новостям: что умер мой отец, что скончалась бабушка, что больше не существует нашего закланного врага — Берии. Она только безучастно качала головой...

С тех пор прошло девять лет. Анна Сергеевна немножко поправилась. У нее прекратился бред, она только иногда разговаривает сама с собою по ночам... Жизнь ее стала снова активной, как и раньше. Ее восстановили в Союзе писателей, она посещает все собрания, лекции, беседы в Доме литераторов. У нее масса знакомых, старых друзей. Она опять помогает всем, кому может. В день, когда она получает свою пенсию, к ней тянутся знакомые старушки, она всем дает деньги, зная, что они не смогут вернуть... К ней домой приходят совершенно незнакомые ей люди с какими-нибудь просьбами: один хочет прописаться в Москве, у другого нет работы, у старой учительницы семейные неурядицы и ей негде жить. Анна Сергеевна всех слушает и старается что-нибудь сделать... Она ходит в Моссовет, в приемную Президиума Верховного Совета, она пишет письма в ЦК — не о себе, нет, о ком-то нуждающемся, о больной старухе без пенсии и без средств к существованию...

Ее все и всюду знают; ее жалеют и уважают все, кроме ее двух невесток, молоденьких хорошеньких мешаночек... Дома у нее ужасная жизнь. Ее не слушают, ее не спрашивают. Иногда подкидывают ей внуков понянчить, если надо сходить в кино. На семейных молодежных вечерах она нежеланный гость — неопрятно одетая в какие-то балахоны, седая растрепанная старуха, любящая невпопад высказываться... Она берет старую муфту или какой-нибудь мешок, вместо сумки, и идет гулять. На улице она долго беседует с милиционером, спрашивает мусорщика, как его здоровье, берет билет на речной трамвайчик. Если бы это происходило до революции, ее, наверно, считали бы Божьим человеком и ей бы кланялись на улице.

Как странно: после гимназии она поступила в Петербурге в Психоневрологическое училище, она была бы идеальным врачом психиатром — мягкая, гуманная, сердечная. Судьба ее повернулась иначе, она сама оказалась в конце концов психически больной...

Дай Бог здоровым, идеально здоровым людям научиться ее человечности и ее мудрости...

Сейчас она вот уж который год ведет кампанию у нас в доме за создание детского сада. В нашем доме 500 квартир, многие дети гуляют с домработницами, но такая возможность есть не у всех. Анна Сергеевна обходит все инстанции; у нее хватает сил и времени, несмотря на больное сердце, на эмфизему, на неполноценное легкое после туберкулеза, перенесенного в молодости. Пока что результатов нет. Детский сад признан ненужным, детской площадки в нашем мрачном дворе, напоминающем каменный мешок, тоже нет.

Она — подвижник добра, она — святой человек, она истинная христианка, но она и новый человек, человек будущего... Она подлинная дочь России, явление чисто русское, классическое, типическое, «достоевское». Она никого не осуждает, не судит. Разговоры о «культе личности» выводят ее из себя, она начинает волноваться и заговариваться.

«Преувеличивают, у нас всегда все преувеличивают! — говорит она возмущенно. — Теперь все валют на Сталина. А Сталину тоже было сложно, мы-то знаем, что жизнь его была сложной, не так-то все было просто... Сколько он сам по ссылкам сидел, нельзя ведь и этого забывать! Нельзя забывать заслуг!».

Она все еще уверена, что Реденс жив, хотя ей прислали официальные бумаги о его посмертной



реабилитации. Она считает, что у него где-то там на севере, в Магадане или на Колыме, есть другая семья («Это так естественно, столько лет прошло!» — говорит она), — и что он просто не хочет возвращаться домой. Иногда ей не то снятся сны, не то являются галлюцинации — она уверяет потом, что видела мужа, что говорила с ним.

Она живет в своем мире, где воспоминания прошлых, давних лет, видения, тени мешаются с сегодняшним днем. Только годы тюрьмы — шесть лет — она никогда не вспоминает. Память ее удерживает лишь доброе, интересное, замечательных людей, которых она повидала немало».

Как мы помним, в семье Аллилуевых было четверо детей. Павел то ли умер от разрыва сердца, то ли был отравлен. Судьба Анны была незавидной. А Федор? Светлана Аллилуева пишет: «Чтобы закончить портреты мамыны, надо сказать несколько слов о Федоре. Он не избежал общей участи нашей семьи, — судьба сломила его только немного раньше, чем других.

Это был молодой человек с незаурядными способностями к математике, физике, химии. Пред самой революцией его приняли в аристократическую касту гардемарин только благодаря его исключительной одаренности. Потом последовала революция, гражданская война.

Конечно, он тоже воевал. На войне ему захотелось в разведку, — его решил взять к себе Камо (Тер-Петросян, кавказский большевик. — Г. К.), легендарный бесстрашный Камо, хорошо знавший его родителей еще по Тифлису. Но Камо не рассчитал. То, что могли вынести, не моргнув глазом, он сам и его разведчики, обладатели стальных нервов, было не под силу другим...

Он любил делать «испытания верности» своим бойцам. Вдруг инсценировал налет: все разгромлено, все захвачено, связаны, на полу — окровавленный труп командира... Вот лежит, тут же, его сердце — кровавый комок на полу... Что же будет делать теперь боец, захваченный в плен, как поведет себя?

Федя не выдержал «испытания». Он сошел с ума тут же, при виде этой сцены... И болел долго, всю жизнь. И навсегда остался полуинвалидом...

Неопратно, неаккуратно евший за столом, — типичное поведение душевнобольного, — он не вызывал симпатии чужих, но близкие и друзья знали цену его знаниям, его начитанности, его доброму сердцу. Отец мой жалел его (хотя и посмеивался над его чудачествами), но избегал встреч с ним».

А Надежда Аллилуева свела счеты с жизнью по-своему...

## **«Я СЧИТАЮ, ЧТО УПРЕКОВ Я НЕ ЗАСЛУЖИЛА...»**

В XIV веке Триединский Собор, следуя заповеди «Не убий!», официально признал суицид убийством. Трупы несчастных стали подвергаться самым изощренным надругательствам. Тела вешали за ноги на центральных улицах, закапывали на перекрестках с вбитым в сердце колом, с позором хоронили вместе с падалью и даже дошли до того, что стали выкапывать из могил трупы людей, всего лишь заподозренных в «преступлении».

При Сталине многие видные партийные, государственные и военные деятели кончали с собой, когда видели, что вот-вот будут арестованы по ложным обвинениям. Иногда чекисты, приходившие для ареста, сами подсказывали несчастным людям такой выход. Среди тех, кто в 1930-х годах застрелился, спасаясь от репрессий, заместитель наркома обороны Ян Гамарник, Евгения Ежова (Хаятина), жена шефа НКВД. Но самоубийством кончали и те, кому не грозила опасность (по крайней мере немедленная) ареста и тем более физического уничтожения. Безусловным вызовом были самоубийства Надежды Аллилуевой и близкого друга Сталина наркома Серго Орджоникидзе.

Римский философ рассуждает о самоубийстве в «Письмах к Люцилию»: «...Не сама жизнь есть

благо, но хорошая жизнь. Мудрец должен жить столько, сколько следует, а не столько, сколько может. Он ясно видит, когда будет побежден, с кем, как и что должно ему делать. Он всегда имеет в виду не то, как продолжительна жизнь, но какова она. И как только наступают тяжелые обстоятельства, нарушающие его спокойствие, он перестает жить.

По существу, безразлично — умереть раньше или позже; важно только, как умереть: хорошо или дурно. Умереть хорошо — значит избежать опасности дурной жизни».

Какой же «дурной жизни» хотела избежать Надежда Аллилуева. Вчитаемся в ее письма к мужу, написанные за год-два до смерти.

Н. С. АЛЛИЛУЕВА И. В. СТАЛИНУ

19 сентября 1930 г.

*«Здравствуй, Иосиф!»*

*Как твое здоровье? Приехавшие тт. (Уханов и еще кто-то) рассказывают, что ты очень плохо выглядишь и чувствуешь себя. Я же знаю, что ты поправляешься (это из писем). По этому случаю на меня напали Молотовы с упреками, как это я могла оставить тебя одного, и тому подобные, по сути совершенно справедливые, вещи. Я объяснила свой отъезд занятиями, по существу же это, конечно, не так. Это лето я не чувствовала, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. Прошое лето это очень чувствовалось, а это нет. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла, т. к. это уже ме-*

няет весь смысл и пользу моего пребывания. И я считаю, что упреков я не заслужила, но в их понимании, конечно, да. На днях была у Молотовых, по его предложению, поинформироваться. Это очень хорошо, т. к. иначе я знаю только то, что в печати. В общем, приятного мало. Насчет же твоего приезда Авель говорит тт., я его не видела, что вернешься в конце октября; неужели ты будешь сидеть там так долго?

Ответь, если не очень недоволен будешь моим письмом, а впрочем, как хочешь.

Всего хорошего. Целую.

Надя.»

Там же, л. 41—42.

И. В. СТАЛИН Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

24 сентября 1930 г.

«Татьяка!

Получил посылку от тебя. Посылаю тебе персики с нашего дерева.

Я здоров и чувствую себя как нельзя лучше. Возможно, что Уханов видел меня в тот самый день, когда Шапиро поточил у меня восемь (8!) зубов сразу, и у меня настроение было тогда, возможно, неважное. Но этот эпизод не имеет отношения к моему здоровью, которое я считаю поправившимся коренным образом.

Попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы обо мне могут лишь люди, не знающие дела. Такими людьми и оказались в данном случае Молотовы. Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись на-

*счет тебя и допустили в отношении тебя несправедливость. Что касается твоего предположения насчет нежелательности твоего пребывания в Сочи, то твои попреки так же несправедливы, как несправедливы попреки Молотовых в отношении тебя. Так, Татяка.*

*Я приеду, конечно, не в конце октября, а много раньше, в середине октября, как я говорил тебе в Сочи. В видах конспирации я пустил слух через Поскребышева о том, что смогу приехать лишь в конце октября. Авель, видимо, стал жертвой такого слуха. Не хотелось бы только, чтобы ты стала звонить об этом. О сроке моего приезда знают Татяка, Молотов и, кажется, Серго.*

*Ну, всего хорошего.*

*Целую крепко, много.*

*Твой Иосиф*

*24/IX—30*

*P. S. Как здоровье ребят?»*

*Там же, л. 43—45.*

**Н. С. АЛЛИЛУЕВА И. В. СТАЛИНУ**

*30 сентября 1930 г.*

*«Здравствуй, Иосиф!*

*Еще раз начинаю с того же — письмо получила. Очень рада, что тебе хорошо на южном солнце. В Москве сейчас тоже неплохо, погода улучшилась, но в лесу определенная осень. День проходит быстро. Пока все здоровы. За восемь зубов молодец! Я же соревнуюсь с горлом, сделал мне профессор*

Свержейский операцию, вырезал 4 куска мяса, пришлось полежать четыре дня, а теперь я, можно сказать, вышла из полного ремонта. Чувствую себя хорошо, даже поправилась за время лежания с горлом.

Персики оказались замечательными. Неужели это с того дерева? Они замечательно красивы. Теперь тебе при всем нежелании, но все же скоро придется возвращаться в Москву, мы тебя ждем, но не торопим, отдыхай получше.

Привет. Целую тебя.

Надя

Р. С. Да, Каганович квартирой очень остался доволен и взял ее. Вообще был тронут твоим вниманием. Сейчас вернулась с конференции ударников, где говорил Каганович (очень неплохо), а также Ярославский. После была «Кармен» — под управлением Голованова, замечательно. Н. А.»

Там же, л. 46—47.

Н. С. АЛЛИЛУЕВА И. В. СТАЛИНУ

6 октября 1930 г.

«Москва, 6/X—30 г.

Что-то от тебя никаких вестей последнее время. Справлялась у Двинского о почте, сказал, что давно не было. Наверное, путешествие на перепелов увлекло, или просто лень писать.

А в Москве уже вьюга снежная. Сейчас кружит во-всю. Вообще, погода очень странная, холодно. Бедные москвичи зябнут, т. к. до 15.X Москвотоп

дал приказ не топить. Больных видимо-невидимо. Занимаемся в пальто, так как иначе все время нужно дрожать. Вообще же у меня дела идут неплохо. Чувствую себя тоже совсем хорошо. Словом, теперь у меня прошла уже усталость от моего «кругосветного» путешествия и вообще дела, вызвавшие всю эту суетню, также дали резкое улучшение.

О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно, она тебя видела у Калинина на обеде, что замечательно был веселый и тормозил всех, смущенных твоей персонею. Очень рада.

Ну, не сердись за глупое письмо, но не знаю, стоит ли тебе писать в Сочи о скучных вещах, которых, к сожалению, достаточно в Московской жизни. Поправляйся. Всего хорошего.

Целую.

Надя

Р. С. Зубалово абсолютно готово. Очень, очень хорошо вышло».

Там же, л. 48—49.

И. В. СТАЛИН Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

8 октября 1930 г.

«Татьяка!

Получил твое письмо.

Ты что-то в последнее время начинаешь меня хвалить.

Что это значит? Хорошо или плохо?

Новостей у меня, к сожалению, никаких. Живу



*неплохо, ожидаю лучшего. У нас тут испортилась погода, будь она проклята! Придется бежать в Москву.*

*Ты намекаешь на какие-то мои поездки. Сообщаю, что никуда (абсолютно никуда) не ездил и ездить не собираюсь.*

*Целую очень крепко.*

*Твой Иосиф*

*8/Х—30».*

Там же, л. 50—51.

И. В. СТАЛИН Н. С. АЛЛИЛУЕВОЙ

*9 сентября 1931 г.*

*«Здравствуй, Татъка!*

*Как доехала, обошлось без приключений? Как ребяташки, Сатанка?*

*Приехала Зина (без жены Кирова). Остановилась в Зензиновке — считает, что там лучше, чем в Пузановке. Что же, — очень приятно.*

*У нас тут все идет по-старому: игра в городки, игра в кегли, еще раз игра в городки и т. д. Молотов успел уже дважды побывать у нас, а жена его, кажется, куда-то отлучилась.*

*Пока все.*

*Целую.*

*Иосиф*

*9/IX—31»*

Там же, л. 52.

*Не позднее 12 сентября 1931 г.*

*«Здравствуй, Иосиф!»*

*Доехала хорошо. В Москве очень холодно, возможно, что мне после юга так показалось, но прохладно основательно.*

*Москва выглядит лучше, но местами похожа на женщину, запудривающую свои недостатки, особенно во время дождя, когда после дождя краска стекает полосами. В общем, чтобы Москве дать настоящий желаемый вид, требуются, конечно, не только эти меры и не эти возможности, но на данное время и это прогресс.*

*По пути меня огорчили те же кучи, которые нам попались по пути в Сочи на протяжении десятков верст, правда их несколько меньше, но именно несколько. Звонила Кирову, он решил выехать к тебе 12.IX, но только усиленно согласовывает средства сообщения. О Гротте он расскажет тебе все сам. Улицы Москвы уже в лучшем состоянии, местами даже очень хорошо. Очень красивый вид с Тверской на Красную площадь. Храм разбирают медленно, но уже «величие» голов уничтожено.*

*В Кремле чисто, но двор, где гараж, безобразен, в нем ничего не сделали и даже ремонтную грязь не тронули. Это, мне кажется, нехорошо. Словом, тебе наскучили мои хозяйские сообщения. Группа была очень довольна, что я поддержала 100% дисциплину, нужно сказать, что в первый же день нам дали столько новых всяких сведений, что, конечно, при таких условиях опаздывать нельзя не только из-за 100%-сти.*

*Да, в отношении этого жестокого случая, опуб-*

ликованного в «Известиях», выяснено, что убийство совершено с целью ограбления, т. к. у этого преподавателя были с собой деньги, полученные на оборудование кабинета по математике. Кто убийцы и др. подробностей пока неизвестно. На общий состав преподавателей эта история произвела очень тяжелое впечатление, несмотря на то, что это лицо новое в стенах учреждения. За работу преподаватели принялись с энергией, хотя нужно сказать, что настроение в отношении питания среднее и у слушателей, и у педагогов, всех одолевают «хвостики» и целый ряд чисто организационных неналаженностей в этих делах и, главным образом, в вопросах самого элементарного обмундирования. Цены в магазинах очень высокие, большое затоваривание из-за этого.

Не сердись, что так подробно, но так хотелось бы, чтобы эти недочеты выпали из жизни людей, и тогда было бы прекрасно всем и работали бы все исключительно хорошо.

Посылаю тебе просимое по электротехнике. Дополнительные выпуски я заказала, но к сегодняшнему дню не успели дослать, со следующей почтой получишь, то же и с немецкой книгой для чтения — посылаю то, что есть у нас дома, а учебник для взрослого пришлю со следующей почтой.

Обязательно отдыхай хорошенько и лучше бы никакими делами не заниматься.

Звонил мне Серго, жаловался на ругательное твое не то письмо, не то телеграмму, но, видимо, очень утомлен. Я передала от тебя привет.

Дети здоровы, уже в Москве.

Желаю тебе всего, всего хорошего.

Целую.

Надя».

Там же, л. 53—58.

А вот свидетельство Светланы Аллилуевой:

«Она была после нас, детей, самой молодой в доме. Учительницы, няня — все были старше, всем было за сорок; экономка наша, Каролина Васильевна, повариха Елизавета Леонидовна — были пожилые женщины за пятьдесят лет. Но все равно, все любили молодую, красивую, деликатную хозяйку — она была признанный авторитет. Старший брат мой Яша был моложе мамы только на семь лет. Она очень нежно к нему относилась, заботилась о нем, утешала его в первом неудачном браке, когда родилась дочка и вскоре умерла. Мама очень огорчилась и старалась сделать жизнь Яши возможно более сносной, но это было вряд ли возможно, так как отец был недоволен его переездом в Москву (на этом настоял дядя Алеша Сванидзе), недоволен его первой женитьбой, его учебой, его характером, — словом, всем.

Должно быть, на маму произвела очень тягостное впечатление попытка Яши покончить с собой. Доведенный до отчаяния отношением отца, совсем не помогавшего ему, Яша выстрелил в себя у нас в кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя — пуля прошла навывлет. Но отец нашел в этом повод для насмешек. «Ха, не попал!» — любил он поиздеваться. Мама была потрясена. Этот выстрел, должно быть, запал ей в сердце надолго и отзывался в нем...

Яша очень любил и уважал маму, любил меня, любил маминых родителей. Дедушка и бабушка опекали его как могли, и он уехал потом в Ленинград и жил там на квартире у дедушки, Сергея Яковлевича.

Осталось много домашних фотографий, глядя на которые, я могу вспомнить и все остальное. Фотографии эти у меня на глазах растут, наполняются

красками, фигуры начинают двигаться, я слышу, как они разговаривают между собой... Это для меня застывшие кадры фильма. Я смотрю на них, и передо мной приходит в движение вся лента кино, — ведь я ее видела когда-то...

На фото домашних пикников в лесу, которые все так любили, и отец и мама — веселые, смеющиеся. Много веселых, счастливых, здоровых лиц вокруг. Отец выглядит гораздо моложе своих пятидесяти лет (ему было пятьдесят в 1929 году). Мама — сияющая белозубой улыбкой, молодая, цветущая, грациозная. Все женщины — в скромнейших платьях, но какие красивые, какие здоровые и привлекательные лица!

Маме на балконе нашего Зубалова, за столом с Анной Сергеевной; за столом с Зиной Орджоникидзе.

Мама в садике в Сочи, на лежанке сидит семейство Оражелашвили, дядя Авель Енукидзе строгаёт палочку бамбука.

Мама в Крыму, в Мухолатке, куда ездили отдыхать родители, — на берегу моря, а из воды высовываются рожицы в белых панамках: мой брат Василий и его друзья — Артем Сергеев и Женя Курский.

Мама на террасе в Мухолатке, возле белых мраморных львов, — на ней прямое платье балахоном, по тогдашней моде, с вырезом каре и короткими рукавами, — загорелая, с зачесанными гладкими волосами, собранными в узел сзади.

Мама в Зубалове, на нашей лесной дорожке к калитке. Приехали «высокие гости» из Турции. К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, М. М. Литвинов — все гуляют, очевидно, всех «принимал» отец. Тут же я — для развлечения. Мама с шалью на плечах, лицо ее напряжено — она следит за мной, чтобы я себя «вела хорошо».

Мама опять в шали на плечах, за столиком в Зубалове; это домашнее фото было увеличено после ее смерти по желанию отца. И большие увеличенные фотографии были развешаны по всем комнатам нашей новой квартиры в Кремле.

Мама здесь такая счастливая, такая сияющая, что, глядя на это фото, невысказанно, невозможно понять ее дальнейшую судьбу, — вот почему многие и не понимали, и не верили...

Но чем дальше, тем фотографии становятся печальнее. Хорошие портреты, сделанные в Москве, уже исполнены грусти. Лицо ее замкнуто, гордо, печально. К ней страшно подойти близко, неизвестно, заговорит ли она с тобой. И такая тоска в глазах, что я сейчас не в силах повесить портрет в своей комнате и смотреть на него; такая тоска, что, кажется, при первом же взгляде этих глаз должно было быть понятно всем людям, что человек обречен, что человек погибает, что ему надо чем-то помочь. Почему же, думаю я теперь, никто не кинулся помочь? Почему никто не понимал, чем это все может кончиться?

Мама была очень скрытной и самолюбивой. Она не любила признаваться, что ей плохо. Не любила обсуждать свои личные дела. За это на нее обижались и бабушка, и ее сестра, Анна Сергеевна, — сами они были чрезвычайно открытые, откровенные — что на уме, то и на языке.

Теперь, когда я уже сама взрослая, я больше понимаю ее, и даже маленькие детали и штрихи ее жизни, которые иногда проскальзывают в чужих рассказах, говорят мне много.

Мамина сестра, Анна Сергеевна, говорила мне, что в последние годы своей жизни маме все чаще приходило в голову — уйти от отца. Анна Сергеевна всегда говорит, что мама была «великомученицей»,

что отец был для нее слишком резким, грубым и невнимательным, что это страшно раздражало маму, очень любившую его. Как-то еще в 1926 году, когда мне было полгода, родители рассорились и мама, забрав меня, брата и няню, уехала в Ленинград к бабушке, чтобы больше не возвращаться. Она намеревалась начать там работать и постепенно создать себе самостоятельную жизнь. Ссора вышла из-за грубости отца, повод был невелик, но, очевидно, это было уже давнее, накопленное раздражение. Однако обида прошла. Няня моя рассказывает мне, что отец позвонил из Москвы и хотел приехать «мириться» и забрать всех домой. Но мама ответила в телефон, не без злого остроумия: «Зачем тебе ехать, это будет слишком дорого стоить государству! Я приеду сама!» И все возвратились домой...

Анна Сергеевна говорит, что в самые последние недели, когда мама заканчивала Академию, у нее был план уехать к сестре в Харьков, — где работал Реденс в украинской ЧК, — чтобы устроиться по своей специальности и жить там. Анна Сергеевна все время повторяет, что у мамы это было настойчивой мыслью, что ей очень хотелось освободиться от своего «высокого положения», которое ее только угнетало. Это очень похоже на истину. Мама не принадлежала к числу практичных женщин — то, что ей «давало» ее «положение», абсолютно не имело для нее значения. Этого никак не могут понять женщины трезвые, рассудительные (вроде моей бывшей свекрови З. А. Ждановой, называющей маму «душевнобольной»), ибо «не было причин» ей томиться и страдать! Любая из них смирилась бы вообще с чем угодно, лишь бы вовеки не потерять это дарованное судьбой «место наверху».

А мама стеснялась подъезжать к Академии на ма-

шине, стеснялась говорить там, кто она (и многие подолгу не знали, чья жена Надя Аллилуева). А в те годы вообще жизнь была куда проще — отец еще ходил пешком по улицам, как все люди (правда, он больше любил всегда машину). Но и это казалось чрезмерным выпячиванием среди остальных. Она честно верила в правила и нормы партийной морали, предписывавшей партийцам скромный образ жизни. Она стремилась придерживаться этой морали, потому что это было близко ей самой, ее семье, ее родителям, ее воспитанию.

Один пример очень характерен в этом смысле. После смерти Ленина (а может быть и раньше) было принято постановление ЦК о том, что члены ЦК не имеют права получать гонорар за печатание своих партийных статей, книг и что эти средства должны идти в пользу партии. Мама была этим недовольна, потому что считала: лучше получать то, что ты действительно заработал, чем бесконечно, без всяких лимитов, лазить в карман казны и брать оттуда на свои домашние нужды, на дачи, машины, содержание прислуги и т. п. Тогда еще только-только началось казенное содержание домов членов правительства. Слава Богу, мама не дожидая до этого и не увидела, как потом, отказавшись от гонораров за партийные труды, наши знатные партийцы со всеми чадами, домочадцами и всеми дальними родственниками сели на шею государству.

Все дело было в том, что у мамы было свое понимание жизни, которое она упорно отстаивала. Компромисс был не в ее характере. Она принадлежала сама к молодому поколению революции — к тем энтузиастам-труженикам первых пятилеток, которые были убежденными строителями новой жизни, сами были новыми людьми и свято верили в свои новые



идеалы человека, освобожденного революцией от мещанства и от всех прежних пороков. Мама верила во все это со всей силой революционного идеализма, и вокруг нее было тогда очень много людей, подтверждавших своим поведением ее веру. И среди всех самым высоким идеалом нового человека казался ей некогда отец. Таким он был в глазах юной гимназистки: только что вернувшийся из Сибири «несгибаемый революционер», друг ее родителей. Таким он был для нее долго, но не всегда...

И я думаю, что именно потому, что она была женщиной умной и внутренне бесконечно правдивой, она своим сердцем поняла в конце концов, что отец — не тот новый человек, каким он ей казался в юности, ее постигло здесь страшное, опустошающее разочарование.

Моя няня говорила мне, что последнее время перед смертью мама была необыкновенно грустной, раздражительной. К ней приехала в гости ее гимназическая подруга, они сидели и разговаривали в моей детской комнате (там всегда была «мамина гостиная»), и няня слышала, как мама все повторяла, что «все надоело», «все опостылело», «ничего не радует»; а приятельница ее спрашивала: «Ну, а дети, дети?» «Все, и дети», — повторяла мама. И няня моя поняла, что раз так, значит, действительно ей надоела жизнь. Но и няне моей, как и всем другим, в голову не могло прийти предположение, что она сможет через несколько дней наложить на себя руки...

К сожалению, никого из близких не было в Москве в ту осень 1932 года. Павлуша и семья Сванидзе были в Берлине; Анна Сергеевна с мужем — в Харькове, дедушка был в Сочи. Мама заканчивала Академию и была чрезвычайно переутомлена.

Я помню, как нас, детей, вдруг неожиданно утром

в неурочное время отправили гулять. Помню, как за завтраком утирала платочком глаза Наталия Константиновна. Гуляли мы почему-то долго. Потом нас вдруг повезли на дачу в Соколовку — мрачный, темный дом, куда мы все стали ездить этой осенью вместо нашего милого Зубалова.

В Соколовке всегда было на редкость угрюмо, большой зал внизу был темным, повсюду были какие-то темные углы и закоулки; в комнатах было холодно, непривычно, неуютно. Потом, к концу дня, к нам приехал Климент Ефремович, пошел с нами гулять, пытался играть, а сам плакал. Я не помню, как мне сказали о смерти, как я это восприняла, — наверное, потому, что этого понятия для меня тогда еще не существовало...

Я что-то поняла лишь когда меня привезли в здание, где теперь ГУМ, а тогда было какое-то официальное учреждение, и в зале стоял гроб с телом и происходило прощание. Тут я страшно испугалась, потому что Зина Орджоникидзе взяла меня на руки и поднесла близко к маминому лицу — «попрощаться». Тут я, наверное, и почувствовала смерть, потому что мне стало страшно — я громко закричала и отпрянула от этого лица, и меня поскорее кто-то унес на руках в другую комнату. А там меня взял на колени дядя Авель Енукидзе и стал играть со мной, совал мне какие-то фрукты, и я снова позабыла про смерть. А на похороны меня уже не взяли, — только Василий ходил.

Мне рассказывали потом, когда я была уже взрослой, что отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то — «вот, мол», «на

вот тебе», «ты будешь знать!». Это он понял, но он не мог осознать: почему? За что его так наказали?

И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее, как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно?

Первые дни он был потрясен. Он говорил, что ему самому не хочется больше жить. (Это говорила мне вдова дяди Павлуши, которая вместе с Анной Сергеевной оставалась первые дни у нас в доме день и ночь.) Отца боялись оставить одного, в таком он был состоянии. Временами на него находила какая-то злоба, ярость. Это объяснялось тем, что мама оставила ему письмо.

Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела. Его, наверное, тут же уничтожили, но оно было, об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное письмо; это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет.

Он был потрясен этим и разгневан, и когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь. И на похороны он не пошел.

Хоронили маму друзья, близкие, шагал за гробом ее крестный — дядя Абель Енукидзе. Отец был выведен из равновесия надолго. Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем. Он не мог. Он считал, что мама ушла как его личный недруг.

И только в последние годы, незадолго до смерти, он вдруг стал говорить часто со мной об этом, со-

вершенно сводя меня этим с ума... Я видела, что он пишет, мучительно ищет «причину», и не находит ее. То он вдруг ополчился на «поганую книжонку», которую мама прочла незадолго до смерти, — это была модная тогда «Зеленая шляпа». Ему казалось, что эта книга сильно на нее повлияла... То он начинал ругать Полину Семеновну, Анну Сергеевну, Павлушу, привезшего ей этот пистолетик, почти что игрушечный... Он искал вокруг — «кто виноват», кто ей «внушил эту мысль». Может быть, он хотел таким образом найти какого-то очень важного своего врага...

Но если он не понимал ее тогда, то позже, через двадцать лет, он уже совсем перестал понимать ее и забыл, что она была такое... Хорошо хоть, что он стал теперь говорить о ней мягче; он как будто бы даже жалел ее и не упрекал за совершенное...

В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, начиналась коллективизация, партию раздирала борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Совсем недавно застрелился Маяковский — еще этого не забыли и не успели осмыслить... Я думаю, что все это не могло не отразиться в душе мамы — человека очень впечатлительного, импульсивного. Все Аллилуевы были очень деликатными, нервными, трепетными натурами. Это натуры артистов, а не политиков. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...» — сказал Пушкин. Дело в том, что мама жила и действовала всю жизнь по законам чувства. Логика ее характера была логикой поэтической. Не утверждал ли незадолго до своей смерти Маяковский: «И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу у виска нажать...» И, сказав так, сделал сам именно это. Такие вещи никто заранее не планирует».

В книге Ю. Семенова «Ненаписанные романы» приводится стенограмма его беседы с Галиной Семеновной Каменево-Кравченко, где она говорит: «Меня арестовали в 1932 году, сразу после того, как погибла Надя Аллилуева... Кстати, она не была левшой, но висок у нее был раздроблен именно левый. В десять часов вечера к Ольге Давыдовне прибежала врач Кремлевской больницы Александра Юлиановна Капель, близкая подруга выдающегося терапевта Плетнева. Я спросила Лютика — так все звали сына Льва Борисовича (Троцкого) и Ольги Давыдовны, моего мужа Александра: «Что случилось?» Он ответил: «Надя Аллилуева погибла». Я — к Ольге Давыдовне, а та молча смотрит на доктора Капель... «Случился острый аппендицит, — тихо сказала Александра Юлиановна, — мы не смогли ее спасти...» Это же была официальная версия... Я вернулась к Лютику, а он покачал головой: «Ложь. Она убита. Из такого же пистолетика, какой подарил тебе папа (то есть Троцкий)».

Несмотря на подобные свидетельства, серьезные историки придерживаются версии самоубийства.

## СТРАДАТЬ — ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ?

Экскурс в прошлое: в сентябре 1937 года Игнатий Рейсс-Порецкий, он же Людвиг, агент советских разведывательных органов на Западе, убит под Лозанной. За несколько недель до того он отправил в ЦК ВКП(б) письмо, в котором заявил о своем намерении порвать с полицейским аппаратом сталинизма. Убийство было настолько неряшливо организовано, что французская и швейцарская полиция быстро вышли на след убийц — как установило расследование, они принадлежали к агентурной сети НКВД.

«В прессе и рапортах полиции имя Сергея Эфрона, русского эмигранта, обосновавшегося во Франции, мужа Марины Цветаевой, всплывает неоднократно, — пишет А. Бросс в книге «Агенты Москвы». — Но не как убийцы, нет (тело Рейсса была найдено в кювете, изрешеченное восемнадцатью пулями), а, похоже, фигуры более значительной — закулисного руководителя заговора, исполнявшего «задание» на расстоянии. Усиленно разыскиваемый парижской полицией, Эфрон бежит, не оставив следа, бросив жену и детей.

Рейсс — дитя первой мировой войны и Октябрьской революции. Родившись в пограничном районе Галиции, на рубеже Австро-Венгерской и Российской империй, он был из людей, которых в те годы

вынесло приливом на арену Истории, а после отлива оставило на песке. Рейсс не был прирожденным агентом или шпионом. Юный польский коммунист верил в «правое дело» в мировом, европейском масштабе, мечтал о социалистической Польше. Но он знал, что коммунист не должен разделять задачи на «великие» и «ничтожные». Поэтому, находясь в Москве, он согласился выполнить «особую миссию» в Вене. Рейсс не считал, что связывает себя с такого рода деятельностью навсегда; главное для него по-прежнему партия и польское коммунистическое движение, просто из «соображений безопасности» ему на время надо порвать с партией, «чтобы защитить и себя, и партию».

Однако очень скоро становится ясно, что возврат невозможен: Рейсс, как и большинство его товарищей, оказавшихся «меж двух систем», вынужден стать агентом советской военной разведки. Когда кого-нибудь из них арестовывают, компартия Польши отрекается от него. Агент должен твердить, что действовал из чисто корыстных интересов. «Корысть и шпионаж были чужды этим молодым коммунистам, — пишет Елизавета Порецкая, жена Рейсса, — но они оправдывали свои действия, ссылаясь на опасность, грозившую СССР; добываемые ими сведения были очень важны для Советского Союза».

Итак, Рейсс, коммунист, революционер, превращается в шпиона, в то время как европейская революция становится химерой, а Советское государство все более представляется последним ее «осколком», «нуждающимся в защите», воплощением очистительного пламени... Заметим: агент, разведчик, — но не шпик! Рейсс — на службе в Красной Армии, но не у НКВД. Одному из соратников, пере-

шедшему на службу в НКВД, своему другу Феде (то же происхождение, та же судьба), он заметил: «Тебе лучше отпустить усы, без усов не станешь хорошим жандармом!»

Рейсс талантлив и методичен. Он внедряет, по свидетельству Елизаветы Порецкой, «агента в высшие политические круги Британского государства», становится одним из главных резидентов советской разведки на Западе. В Рейссе живет чувство «корней» и «конечной цели», несмотря на все зигзаги советской политики с середины двадцатых по середину тридцатых годов.

Революционер по самой своей природе, он постоянно живет в состоянии конфликта, который неустанно обостряется и ведет к раздвоенности, к дилемме. Это конфликт между убеждениями и взаимоотношениями с государством. Нелепые авантюры, возникающие в большом мозгу хозяина Кремля, приводят в отчаяние такого профессионала, как Рейсс: то попытка наводнить мировой рынок фальшивыми долларами, то проект «вербовки» сына кайзера и т. п. Но есть вещи и пострашнее: поражение без войны в Германии, первые чистки, планомерное проникновение НКВД в IV Управление Красной Армии, постепенное отстранение от дел всех «инородцев» — поляков, латышей, сербов, евреев, занимавших важные должности в органах и сыгравших решающую роль в «героическую» эпоху, когда агент ОМС или чекист был прежде всего революционером, выполнявшим особую миссию.

Эти люди, наскоро замещенные русскими, «сделанными из другого теста и не знающими идеологических угрызений совести», революционеры «со стажем», для которых СССР был родной приемной, а настоящей — революция, несмотря ни на что, не



превратились в циников; они станут главной мишенью великой чистки 1937—1938 годов. А пока они уже сами перестали понимать, чьи они агенты: Коминтерна, Красной Армии или НКВД и его иностранного отдела ИНО, проникшего во все сопредельные службы. Тем сильнее тянутся они ко всему, что, как им кажется, идет на пользу «правому делу», — к великой битве: борьбе с фашизмом, а вскоре — к Испании.

«Да, в Москве расстреливают, уничтожают целыми группами моих братьев и единомышленников, — говорил Рейсс, — но остается Испания, благодаря которой коммунистическое движение, может быть, воспрянет». Поэтому он продолжал молчать и отдавал все силы обеспечению бесперебойных поставок оружия Испанской республике. К тому же была еще боязнь пустоты, о которой говорит Троцкий в статье, посвященной смерти Рейсса: «Рейсс действительно работал за границей лицом к лицу с миром капитала. Это обстоятельство психологически облегчало ему сотрудничество с термидорианской олигархией... (но) порвать с Москвой означало не только оказаться подвешенным в пустоте, но и попасть в лапы иностранной полиции по доносу из ГПУ. Что же было делать?»

Однако после расправы с Тухачевским и командованием Красной Армии, после объявления охоты на «троцкистов» в Барселоне Рейсс решает и пишет свое письмо («...Я больше не могу. Я возвращаю себе свободу...»), чувствуя, что «его» мир больше не существует и что отныне ему легче посмотреть смерти в глаза, чем завязнуть в бесчестном компромиссе со сталинизмом. Ясно, что такой разрыв был равнозначен самоубийству: вручив письмо служащей советского посольства — то есть тех же орга-

нов, — он ждет, пока оно дойдет до Москвы, вместо того чтобы сразу его опубликовать для собственной же защиты! «Удивительно рыцарский поступок, — комментирует Троцкий, — предоставивший ГПУ достаточный срок для подготовки убийства...»

Таков был человек, убийством которого руководил Сергей Эфрон. Мы могли бы на этом остановиться и выставить Эфрона на веки вечные злодеем. Впрочем, в большей или меньшей степени так поступают все, кто пишет о деле Рейсса с позиции «обвинения», «гражданского иска» или «семьи»: Елизавета Порецкая, Виктор Серж, Жерар Розенталь (бывший адвокат Троцкого), историки-троцкисты... Вполне естественное и даже почтенное занятие — писать историю сталинизма с точки зрения его жертв, но для понимания событий столь же необходимо попытаться расшифровать загадку исполнителей, пусть даже и не влезая в их шкуру.

С точки зрения жертв, Эфрон заклеен как убийца: у него ни прошлого, ни будущего, он лишен какой бы то ни было глубины, как и сама его роль — эдакая тень с винтовкой из американского гангстерского боевика. В своей опирающейся на документы книге об убийстве мужа Елизавета Порецкая совершенно справедливо отводит С. Эфрону одну из первых ролей в подготовке заговора, однако избегает давать ему «характеристику» и ничего не пишет о его биографии. Он предстает просто орудием преступления. В брошюре, написанной в апреле 1938 года и послужившей неисчерпаемым источником для всех, кто позже писал об убийстве Рейсса, Альфред Ромер, Виктор Серж и Морис Вуллен менее сдержанны: Эфрон в ней аттестуется как белый эмигрант, который, «прикрываясь философской и лите-

ратурной работой, выполнял в Париже задания ГПУ (самое благовидное из коих заключалось в вербовке, на тех или иных условиях, добровольцев в Испанию)». Он, как утверждают авторы, участвовал во всех этапах слежки за Львом Седовым и был организатором убийства Рейсса.

В своей книге «Адвокат Троцкого» Жерар Розенталь добавляет несколько деталей: именно Эфрон вербует Ренату Штейнер, которой поручает обнаружить Рейсса и идти за ним по следу; это он в начале лета 1936 года организует «шпионскую сеть», включавшую двенадцать человек, французов и русских, задачей которых станет ликвидация Рейсса; он же готовит ловушку Льву Седову в Мюлузе, которой тот избегает чудом, благодаря гриппу. Он же следит за установкой поста НКВД для обеспечения слежки за Седовым на улице Лакретель, 28. Опять же, по словам Розенталя, «покончив» с делом Рейсса, «Сергей Эфрон сбежал в Испанию, где его ждали превратности гражданской войны».

В третьем номере «Тетрадей Льва Троцкого» историк-троцкист Жан-Поль Жубер уточняет, что Эфрон активно работал в «Союзе возвращения на Родину», в котором вместе с другим участником дела Рейсса Петром Шварценбергом играл роль «вербовщика», работая на советские органы. «После убийства Рейсса и допроса во французской полиции, — пишет автор, — Эфрон, как и Шварценберг, уехал в Испанию». Впоследствии, заключает Жубер, «о них ничего больше не было известно». В своей книге «Убийцы на свободе», вышедшей в 1951 году, Хьюго Дефар, несколько более осведомленный, сообщает лишь, что Эфрон прикрывал свои черные дела маской журналиста.

С точки зрения «пострадавшей стороны», у

убийцы нет ни лица, ни истории; ему выносят приговор по факту преступления. Перефразируя Брехта: у преступления есть только имя и адрес. Чтобы четче обрисовать облик виновного, надо обратиться к другим пластам памяти, к иному взгляду, а именно: к поклонникам поэзии Цветаевой, к биографам поэтессы. Здесь мы узнаем о нем значительно больше, особенно если будем интересоваться не столько самой поэтессой, сколько ее окружением. Шанс у нас есть — ведь с 1912 по 1940 год судьбы Эфрона и его жены были так тесно переплетены.

Жизнь поэтессы не заслоняет жизни Сергея Эфрона (далеко нет!), но зато неустанно освещает ее. Две судьбы равно влияют одна на другую, определяют, «взаимоотравляют» одна другую.

Зная о том, какое отвращение вызывают репрессии даже у его бывших коллег по секретной службе, Рейсс надеялся убедить кое-кого из них последовать своему примеру. С этой целью он договорился в Лозанне с Гертрудой Шильдбах, резидентом советской разведки в Италии, с которой дружил на протяжении почти что двадцати лет. Встреча состоялась, Гертруда Шильдбах выразила притворное сочувствие планам Рейсса и после первой беседы заманила его на следующую встречу в окрестности Лозанны, где он и попал в ловушку ГПУ.

Продолжая расследование об убийстве Рейсса, французская полиция обнаружила, что один из банды убийц обратился за въездной визой в мексиканское посольство.

Следует напомнить, что уже на первом московском процессе в августе 1936 года Лев Троцкий был заочно приговорен к смертной казни. В это

время Троцкий находился в Норвегии, и ему было формально запрещено заниматься политической деятельностью. Но, узнав о московском процессе, Троцкий нарушил это запрещение. Он делал заявления для печати, посылал телеграммы в Лигу Наций. Правительство Норвегии предложило ему покинуть страну. Ни одна из стран Запада не захотела принять Троцкого, но в конце декабря Мексика дала согласие предоставить ему политическое убежище.

Главный биограф Троцкого, бывший троцкист Исаак Дойчер, писал:

«На протяжении первых лет жизни Троцкого в Мексике его преданнейшим другом и опекуном был Диего Ривера. Бунтарь не только в искусстве, но и в политике, великий художник был одним из основателей Мексиканской компартии и с 1922 года членом ее Центрального Комитета. В ноябре 1927-го Ривера оказался свидетелем разгона демонстраций троцкистов в Москве и исключения из рядов партии оппозиционеров, что его глубоко обеспокоило. Впоследствии он порвал с партией, а также и с Давидом Альфаро Сикейросом, еще одним великим художником Мексики, ближайшим его другом и политическим наставником, принявшим сторону Сталина.

Драматический пафос судьбы Троцкого поразило воображение Риверы: художник видел в нем образ героических масштабов, достойный его эпических фресок. И действительно — Ривера сделал Троцкого и Ленина центральными образами переднего плана своей знаменитой стенной росписи, восславившей классовую борьбу и коммунизм, коей он, к вящему ужасу всей респектабельной Америки, украсил стены Рокфеллеровского центра в

Нью-Йорке. То, что превратности судьбы занесли вождя и пророка под крышу его дома, воспринималось койоаканским художником как одно из редкостных и ярчайших событий жизни. Троцкий, в свою очередь, давно был ценителем творчества Риверы. По всей вероятности, он впервые увидел его работы в Париже во время первой мировой войны — они упоминаются в алма-атинских письмах Троцкого 1928 года. Неустанные поиски Риверой новых форм творческого самовыражения наилучшим образом иллюстрировали мнение самого Троцкого о том, что корни болезней современной живописи таятся в ее удаленности от архитектуры и общественной жизни; удаленности, которая органически присуща буржуазному обществу и которую способен преодолеть лишь социализм. Стремление объединить живопись, архитектуру и общественную жизнь как раз и было свойственно искусству Риверы, в коем традиции Ренессанса и Гойи и влияние Эль Греко сочетались с кубизмом и традициями мексиканского и индейского народного творчества.

Подобное переплетение традиций и новаторства отвечало вкусу Троцкого; бунтарская отвага, неистовость и страстность творческой фантазии Риверы, запечатлевшего в монументальных стенных росписях мотивы русской и мексиканской революций, покорили его. К тому же Троцкого по-своему восхитил и озадачил сам Ривера — его стихийный характер, сомнамбулизм и «гаргантюанские размеры и аппетиты»; это чудо природы, шумное и буйное, во многом схожее с химерическими образами его полотен. И тут же, как в контрапунктной связи с Риверой, его жена Фрида, художница, чье творчество, пронизанное тонкой грустью и символикой, уходит

во внутренний мир души. Женщина изысканной красоты, всегда одетая в длинные, красочные, ярко расшитые мексиканские платья, скрывавшие деформированную ногу, — она рождала ощущение экзотической грации и какой-то сказочности. После томительных месяцев, проведенных под стражей, Троцкий и Наталья были счастливы найти приют у таких друзей.

У постороннего наблюдателя, не лишенного способности читать в душах, возник бы, вероятно, вопрос, насколько сумеют ужиться Троцкий и Ривера и не произойдет ли меж ними столкновения. Не довольствуясь одной лишь блистательной славой художника, Ривера почитал себя еще и политическим лидером, в чем был не одинок: художники играли чрезвычайно заметную роль в политической жизни Мексики — большинство в Политбюро Компартии состояло из художников. (Политическая агитация резцом и кистью находила, пожалуй, более верный путь к массам безграмотных, но одаренных художественно кампесинос, чем какая-либо иная ее форма.)

И все же в политике Ривера не дотягивал даже до уровня любителя, ибо то и дело оказывался жертвой собственного неутомимого темперамента. Однако в присутствии Троцкого, во всяком случае на первых порах, он обуздывал свои политические амбиции и вел себя как скромный ученик. Что же до Троцкого, то он всегда относился к политическим чудачествам художников с сочувственным пониманием, даже если это были менее значительные художники, которым он ничем не был обязан. В случае же с Риверой Троцкий тем более был склонен считать: гений делает то, что ему надлежит делать.

Итак, Троцкий вполне мог бы, при желании, наслаждаться благами нового убежища».

В этом убежище Троцкий встретил свою последнюю любовь. Ему оставалось жить всего три года. Опасность подстерегала на каждом шагу. Агенты ГПУ следовали по пятам. А он не мог думать ни о чем другом.

Фрида Кало была первой, кого увидел Троцкий, ступив в январе 1937 года на землю Мексики. Вместе со своим мужем художником Диего Ривера она приехала в порт Тампико, чтобы встретить изгнанника и пригласить его в свой дом.

Троцкий влюбился в нее без памяти. В свои 29 лет Фрида была необыкновенно привлекательна. Ее нельзя было назвать красавицей, но был в ней внутренний огонь, который завораживал.

Пламя страсти охватило 60-летнего Троцкого. На этот раз предметом его вожделения была не мировая революция, а женщина редкого таланта и темперамента. Все, решительно все было против этого романа. Фрида была женой его друга, рядом была Наталья, верная подруга, с которой он прожил 25 лет. Эта связь могла скомпрометировать его в глазах всего мира. Но Троцкий тогда был готов пожертвовать всем.

Писатель Юрий Папоров, уже несколько лет работающий с архивами Троцкого в Мексике, обнаружил его интимные письма к Фриде, которые раскрывают нам этого человека с новой, еще неизвестной стороны. Троцкий — герой-любовник.

«Ты вернула мне молодость и отняла рассудок, — пишет Троцкий в одном из любовных писем. — С тобой я чувствую себя 17-летним мальчишкой».

Фрида тоже увлеклась Троцким. Сначала ее привлекал романтический ореол изгнанника, мучени-



ка, пламенного борца за великие идеалы. Для Фриды он был герой, кумир, вождь. Но потом, когда между ними начался роман, она влюбилась в него не на шутку.

Фрида не скрывала своих чувств и при всех обращалась к нему не иначе как «моя любовь», иногда шутливо называла «козлиная борода». Встречались они тайком, в доме Кристины, младшей сестры Фриды, которая жила через дорогу.

Диего Ривера, слава Богу, ни о чем не догадывался, иначе, будучи человеком горячим и безмерно ревнивым, просто пристрелил бы соперника. Зато жена Троцкого — Наталья Седова — поняла все. В семье разразился страшный скандал. Для нее, прожившей бок о бок с Троцким почти четыре десятилетия, это было настоящей трагедией.

Троцкий бежит из дома, поселяется на асьенде своего друга, в 130 км от Мехико, чтобы в одиночестве обо всем подумать и сделать выбор. В конце концов он принимает разумное решение — пока роман с Фридой не зашел слишком далеко, вернуться к Наталье.

Фрида уезжает в Веракрус и каждый день напивается до потери сознания.

«Я уверен — ты найдешь в себе силы справиться с этим, — утешал ее Троцкий в одном из писем. — Ты должна рисовать. В этом твое спасение».

Однажды Фрида спросила своего друга, известного поэта: «Скажи, это правда, что страдать — значит творить?»

— Во всей Мексике я знаю только двоих, кто мог это сказать, — ответил поэт. — Первый — я. Второй — старик Троцкий.

После разрыва с Троцким Фрида начинает каторжно работать. В предыдущие годы она писала по

одной-две картины в год, за четыре месяца 1937 года создает сразу 12 картин. И каких! Сегодня они признаны шедеврами и оцениваются по самой высокой ставке — в полтора-два миллиона долларов каждая. Лучшие музеи мира оспаривают право на них. Но мало кто знает, кому обязана художница своим вдохновением.

7 ноября 1937 года Фрида посылает Троцкому в подарок одну из своих новых картин.

Это был лучший автопортрет, написанный Фридой. В блестящем платье, усыпанная бабочками, она кажется такой соблазнительной, словно дарит себя любимому человеку.

Разрыв с Риверой и решение покинуть Голубой дом поставили Троцкого в затруднительное материальное положение. Заработки его значительно сократились, что не имело особого значения, пока не требовалось платить за крышу над головой. Троцкому пришлось изыскивать новые возможности и одалживать у друзей деньги на содержание домочадцев.

В последние минуты жизни рядом с Троцким была его жена Наталья Седова. Она вспоминала: «Что случилось, — спросила я. — Что случилось?» Я обняла его... Он не отвечал. Моей первой мыслью было: не упало ли что-нибудь на него с потолка, — ведь в кабинете шел ремонт. Он сделал несколько шагов — я его поддержала — и медленно опустился на пол.

«Наташа, я люблю тебя». Он произнес это так неожиданно, так серьезно, почти резко, что я, ослабевшая от шока, едва не лишилась чувств. «Никто, никто, — шептала я, — никто больше не пройдет к тебе без обыска».

Она осторожно положила ему под разбитую го-

лову подушку, на рану положила кусок льда, вытерла кровь со лба и щек.

В больнице сестры начали готовить его к операции. Ножницами разрезали пиджак, рубашку и жилет, сняли часы. Когда они стали снимать последние одежды, он сказал Наталье, «отчетливо, но очень серьезно и печально»: «Я не хочу, чтобы они меня раздевали... Я хочу, чтобы это сделала ты». Это были его последние слова, которые она услышала. Раздев его, она наклонилась и прижалась губами к его губам. «Он поцеловал меня в ответ. Еще раз. Еще раз. И еще. Так мы простились...»

## ТРАГИЧЕСКИЙ РОМАН МИСС СТРИТЕР

Мисс Стритер была младшей дочерью английского чиновника, который работал в стамбульской конторе британской паровой компании. Семья Стритеров была почти классической семьей бизнесмена средней руки — то есть небогатой и ничем не примечательной. Стритеры были уважаемыми и патриотичными. Они обладали незапятнанной репутацией даже в то время, когда торговля вовсе не считалась идеальным занятием для джентльмена. Нетрудно представить, сколь ужасен был удар, постигший ничего не подозревавшую семью (этот шок давал себя знать даже полвека спустя. Единственный из семьи Стритеров, кто остался в живых к середине 70-х годов и кого удалось разыскать, — младший брат Изабел. В декабре 1976 года он заявил, что даже теперь, по прошествии стольких лет, не может вдаваться в обсуждение «этого трагического романа» своей сестры. Будучи в то время подростком, он знал об этой истории не так уж много, но родители запретили ему даже касаться этой темы): в самом конце 1930 года, на Рождество, вдруг открылось, что их двадцатилетняя дочь вступила в связь со своим 34-летним учеником (она учила его английскому языку. — Г. К.) — фактически потеряла из-за него голову.

По иронии судьбы — так, по крайней мере, мог

расценивать эту ситуацию бежавший на Запад секретарь Сталина Борис Бажанов — следующим советским перебежчиком, появившимся в Париже, был не кто иной, как Георгий Агабеков (который в 1928 был организатором несостоявшегося убийства Бажанова, — Г. К.) прибывший сюда 26 июня 1930 года из Марселя.

Агабеков произвел на Бажанова почти отгалкивающее впечатление. «Появилась безобразная юркая личность, невзрачная, с физиономией преступника, — вспоминал впоследствии Бажанов. — Глаза его рыскали по сторонам, казалось, они ощупывают поочередно все углы комнаты, точно проверяя, нет ли там ловушки».

Они беседовали всего около двадцати минут. Тема была как нельзя более важной и интересной для обоих. Агабеков рассказывал, что в «тот самый день», — накануне Нового 1928 года, — когда ему предстояло отправиться «по долгу службы» на крайний юг Персии, из Москвы была получена срочная телеграмма с сообщением о побеге Бажанова.

Бажанов узнал от Агабекова, что именно последний возглавлял охоту на него в Мешхеде.

Выяснилось также, что с ведома и санкции Сталина советским дипломатическим органам в Тегеране было предписано идти на любые уступки Персии в обмен на выдачу беглеца. Эти уступки касались спорных пограничных территорий, помощи Советов в разведке нефтяных месторождений на территории Персии и даже вечного спора о зонах рыбной ловли в каспийском море. Кремль был настолько уверен, что Персию соблазнят его обещания, что Агабекову в какой-то момент было приказано повременить с убийством Бажанова. Приказ о «ликвидации» беглеца вновь вступил в силу на за-

ключительном этапе побега Бажанова из Дуздапа, но было уже поздно: в его судьбу вмешался британский консул.

Однако Агабеков представляет для нас интерес не только потому, что именно он преследовал в «своей зоне» бывшего секретаря Сталина, а в силу необычайно фантастической истории собственного побега. Сам он заявлял, что причиной его бегства на Запад был очевидный «крах дела коммунизма» в советской России — крах, о котором ярко свидетельствовал повальный голод в деревне. На самом деле причина его бегства была наиболее невероятной из всех, какие только можно вообразить.

Не будем забывать, что речь идет о крупном деятеле ОГПУ. Уместно напомнить еще и о том, что его внешность была столь же малопривлекательна, как и его профессия.

Так вот, как это ни покажется невероятным, агент сталинской секретной службы бежал на Запад, так как, подобно мальчишке, влюбился в совсем еще юную девушку-англичанку из сравнительно небогатой семьи. В свою очередь и она, несмотря на значительную разницу в возрасте, происхождение и политические взгляды, столь же безумно влюбилась в советского резидента.

Роман между Георгием Агабековым и Изабел Стритер без преувеличения можно назвать поразительной и трагической любовной историей, едва ли не достойной пера Шекспира. Достоверные и многочисленные свидетельства этого необыкновенного романа сохранились не где-нибудь, а в государственных архивах ряда стран. Страсть, охватившая этих столь непохожих и, казалось бы, мало подходящих друг другу людей, связавшая воедино их судьбы, ошутима при чтении архивных бумаг с их сухим, бюро-

кратическим стилем. История эта началась 27 октября 1929 года, когда из Одессы в Стамбул прибыл советский пароход «Чичерин». Среди пассажиров, сошедших на турецкий берег, был армянин с желтушным цветом лица, зарегистрированный по прибытии под именем Нерсес Овсепян. Его настоящая фамилия, по-видимому, была Арутюнов, однако в Персии, как стало известно в дальнейшем, он жил под именем Георгия Агабекова. Теперь он был назначен в Стамбул на ту же должность, какую занимал до этого в Тегеране, а именно: главы действовавшей здесь сети ОГПУ. Официальным прикрытием этого нелегального агента ОГПУ должно было стать место управляющего фирмой по продаже велосипедов и пишущих машинок. За невинной вывеской такой торговой фирмы скрывалось гнездо шпионажа, который охватывал, по существу, весь Ближний Восток. Что бы ни говорил Агабеков несколько позже о своих «расхождениях» с начальством, не подлежит сомнению, что, отбывая из Одессы, он пользовался в его глазах абсолютным доверием. В сферу его «службы» входили Сирия, Палестина, Египет и в первую очередь сама Турция, за исключением Стамбула, где под крышей советской дипломатической миссии действовала «легальная» агентура ОГПУ.

Агабекову было поручено провести на этой территории ряд деликатных и в то же время важных операций. Например, в Дамаске в его задачу входило прощупать возможности создания крупного просоветского (!) арабского государства, объединяющего сирийцев и их соседей. Для осуществления этой цели предстояло добиться раскола правящей партии Египта. А затем из ее бывших членов создать левую группировку, достаточно радикальную, для того чтобы вступить в коалицию с египетскими комму-

нистами. Ежемесячные дотации на эти цели уже поступали из Берлина — основного финансового центра ОГПУ, субсидировавшего операции в Западной Европе и странах арабского мира.

Задачей Агабекова был не столько шпионаж, сколько разработка планов подрывной деятельности в таком широком масштабе, чтобы ослабить в этом районе земного шара влияние Англии и Франции.

О, если б Москва знала, что вся эта глубоко продуманная конспирация (а вместе с ней и все эти амбициозные планы) внезапно лопнет! И притом из-за такого пустячного факта, как объявление, которое Агабеков поместил в стамбульских газетах вскоре после своего приезда. В объявлении, подписанном псевдонимом, говорилось всего-навсего о том, что его автор ищет преподавателя английского языка.

До знакомства со своим будущим возлюбленным Изабел производила впечатление приятной, скромной девушки, даже, пожалуй, чересчур робкой и застенчивой для своего возраста. Встреча с таким повосточному темпераментным и вместе с тем несколько загадочным человеком, как Агабеков, круто изменила ее характер. Когда родители отчаянно пытались разрушить эту связь, она проявила удивительную стойкость. Родителям помогала ее старшая сестра Сибил — сотрудница английского посольства (Изабел временно работала там же машинисткой), однако и это ни к чему не привело.

Никто в семье не мог всерьез поверить, что безобразный Агабеков мог так глубоко и искренне полюбить Изабел. Между тем роман, начинавшийся как легкий флирт, вскоре сделался единственным смыслом его жизни. Впрочем, трудно сказать, только ли эта страсть привела его к решению порвать с



ОГПУ, а тем самым — и со своей родиной. Как бы скептически ни относились мы к его рассказам, что он, дескать, внезапно почувствовал отвращение к большевикам, — некоторые косвенные признаки позволяют считать, что у него действительно могли возникнуть сомнения относительно своей дальнейшей карьеры. Двух-трех ближайших коллег Агабекова неожиданно понизили в должности или уволили в отставку, и это, естественно, вызвало у него чувство неуверенности, хотя еще не страха, за собственную жизнь.

Кульминационный пункт этой истории относится к 15 января 1930 года. В Стамбул прибыл советский пароход, на котором Агабеков мог вернуться домой. По-видимому, официально его не вызывали в Москву, но ему самому не вредно было бы выяснить, какова там ситуация. И именно в этот день он решил открыться Изабел, объявив ей, кто он такой и какого рода деятельностью занимается. Как он поступит потом, зависело от реакции Изабел. Если б она в ужасе отшатнулась, узнав, что ее любовник — один из руководителей советской секретной службы за рубежом, на совести которого были даже убийства, то наверняка он отправился бы в Москву.

Но Изабел, видно, выдержала испытание, так как пароход ушел обратно в СССР без Агабекова. А тот вскоре обратился к английским властям в Стамбуле с просьбой предоставить ему политическое убежище. Ведь он обещал Изабел, что, если она останется с ним, он уедет на запад. Женится на ней и, порвав с Москвой, начнет новую жизнь.

Все, однако, оказалось гораздо сложнее, чем ожидал Агабеков. Не зная, так сказать, «черного хода» в британскую разведывательную службу (который в подобных случаях является главным входом),

он постучался в «парадную дверь»: обратился к военному атташе британского посольства.

Назвав свое настоящее имя и должность, Агабеков заявил, что не обещает англичанам предоставить всесторонней информации, но во всяком случае готов раскрыть методы, используемые ОГПУ для перехвата корреспонденции, которой обмениваются министерство иностранных дел Великобритании и британские посольства и миссии на Ближнем Востоке. Военный атташе вежливо ответил, что лично он не интересуется такого рода информацией, так как состоит на службе в военном ведомстве. Впрочем, он готов передать это предложение тем, кого оно может заинтересовать. На том все и кончилось. Выждав несколько недель, Агабеков попытался ткнуть в другую дверь и сделал то же предложение сотруднику английского консульства в Стамбуле Роджерсу.

Бежавший на Запад личный секретарь Сталина Борис Бажанов писал: «Англичаночка приходит в ужас и из Турции возвращается в Англию. Агабеков покидает свой чекистский пост и по подложным документам следует за ней. Родители ее сообщают обо всем властям, и Агабекову приходится уехать во Францию. Здесь становится ясно, что он с Советами порвал. По требованию Советов его из Франции высылают (основание есть — он приехал во Францию по подложным документам), и ему в конце концов дает убежище Бельгия. Он пишет книгу «ЧК за работой», которая выходит на русском и французском языках.

В 1932 году я имел возможность его встретить в Париже. У него вид и психология типичного чекиста...

За Агабековым ведется правильная охота. В

1937 году во время испанской гражданской войны его убивают, и труп его, затаенный на испанскую территорию в горы, находят только через несколько месяцев».

Аллен У. Даллес (1893—1969), долгое время возглавлявший ЦРУ, считается одним из создателей «философии американской спецслужбы», основные позиции которой он изложил в книге «Искусство разведки». В деятельности спецслужб может быть много аморального, но кто точно скажет, можно ли эксплуатировать тягу человека к свободе? Это к вопросу о перебежчиках. Аллен У. Даллес писал: «Выведывание секретов за «железным» и «бамбуковым» занавесами для Запада значительно облегчалось с помощью «добровольцев», которые являлись сами и предлагали свои услуги. Нам не всегда нужно самим добывать секретные сведения об интересующем нас объекте. Данные о нем могут поступить от людей, хорошо с ним знакомых, которые перешли на нашу сторону.

Сотрудники советской секретной службы или спецслужб стран-сателлитов, конечно, лучше чем другие осведомлены, каким образом можно вступить в контакт с «противной стороной» на Западе.

Каждое дезертирство офицера разведки противника раскрывает перед западной контрразведкой большие возможности. Зачастую, с точки зрения добычи секретной информации, оно равноценно прямому агентурному проникновению во враждебный центр. Ценность сведений, к сожалению, ограничивается только моментом, когда совершен переход. Но один такой «доброволец», случается, может не на один месяц парализовать деятельность шпионской службы. От него мы получаем точные данные о структуре разведки, ее деятельности, методах, при-

емах. Он дает развернутые характеристики многих своих бывших сослуживцев и данные о разведывательном персонале за рубежом, действующем под различными прикрытиями. И, что самое главное, он может сообщить информацию об операциях, которые проводятся в данный момент. Жаль только, что ему обычно не удается раскрыть много агентов по той причине, что все разведслужбы строят свою работу так, чтобы их сотрудники знали личные дела только тех информаторов, с которыми они непосредственно связаны.

Для аналитиков, изучающих деятельность разведывательных служб Кремля, роль последних в советском обществе и влияние на властные структуры не удивительны. Неудивительно также, что офицеры разведки имеют возможность заглянуть за кулисы режима, что доступно лишь немногим, узнать о зловещих методах специальных операций, маскируемых разглагольствованиями о социалистической законности. У интеллигентных и посвятивших себя целиком делу правопорядка коммунистов такие сведения вызвали глубокий нравственный шок. Так, один из перебежчиков рассказал нам, что утратил свои иллюзии, когда узнал: Сталин и НКВД, а не немцы, повинны в катынской резне (убийство около десяти тысяч польских офицеров во время второй мировой войны). В результате это привело его к бегству на Запад. Как только советский человек узнает об истинном положении дел, он теряет доверие к системе, для которой он трудится, и к государству, в котором он живет».

## **МНОГИЕ ЗНАЛИ ИХ МОЛОДЫМИ И КРАСИВЫМИ**

Секретные службы существовали практически во все времена. По расчетам американского исследователя Роуана, секретной службе не менее чем 33 века. Точнее сказать, она существует столько же времени, сколько существуют войны. Чтобы победить врага, надо его знать.

Шпионаж, будучи явлением историческим, в разные времена принимал различные формы. Высокая оплата услуг не являлась главным стимулом. Увлекал авантюризм профессии.

Меняется отношение общества к тем, кто несет секретную службу. Пара слов «шпион — разведчик», в принципе, синонимична, но слову «шпион» всегда придается нелестный оттенок, а слово «разведчик» окружено уважением. Как говорится, главное — точка зрения. Кому — шпион, а нам — разведчик... Или все наоборот...

Что можно считать шпионской деятельностью? Тоже спорный вопрос. Р. Роуан писал: «Деятельность всякого шпиона, будь он любитель, наемник или профессионал, в военное или мирное время, является секретной службой. Любое поручение, выполняемое агентом, может быть отнесено к категории секретной службы.

Секретная служба — это не только оружие тира-

нии или оплот правительств и армий. Она по праву превратилась в закулисный, подспудный метод международной борьбы. Многие знаменитые столкновения соперничающих между собой разведок вполне могут быть уподоблены сражениям». Слова эти были написаны в 1937 году, но время (вторая мировая война и послевоенные международные отношения) не опровергло их.

Газета «Новости разведки и контрразведки» посвятила советским разведчицам серию материалов. Среди героинь очерков жена члена Политбюро Айно Куусинена, жена генерала Эйтингона, разведчица и писательница Зоя Рыбкина.

Именно так: жена одного из членов Политбюро ЦК КПСС несколько лет работала в Японии в разведгруппе легендарного Рихарда Зорге.

История жизни этой женщины достойна не одного романа. Но она забыта. Или почти забыта. Хотя и написала воспоминания, частично опубликованные за границей. Да и то с многими купюрами, касающимися прежде всего периода жизни, наиболее интересного. Он же практически не освещен в небольших по объему воспоминаниях Айно Куусинен.

Да, именно эта женщина была женой члена Политбюро ЦК КПСС с 1941 г., Героя Социалистического Труда, академика АН СССР, председателя исполкома социал-демократической партии Финляндии, организатора компартии Финляндии, секретаря исполкома Коминтерна и Председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР Отто Вильгельмовича Куусинена (1881—1964), уступчивость которого при Хрущеве привела к тому, что на карте постсоветского Союза отсутствует еще одна республика «ближнего зарубе-

жья». Скорее всего, она была бы неким конгломератом с современной Финляндией. Либо ее ждала бы судьба Молдавии.

Это к тому, что в 1958 г. с карты Советского Союза и из его герба исчезла одна из союзных республик — Карело-Финская ССР. В названии же новой автономной республики неожиданно пропало упоминание о финскости.

В том же году Отто Куусинен окончательно переехал в Москву. И так и умер в практической безвестности на посту секретаря ЦК КПСС. В траурной церемонии мало кто обратил внимание на сухонькую, но прямую женщину в черном.

Так оно и было: Айно Куусинен юридическая, но не фактическая жена Отто Куусинена, только незадолго до смерти мужа была реабилитирована.

Давно она стремилась выехать на свою родину — в Финляндию, но только в 1965 г. поезд Москва — Хельсинки пересек границу Суоми с пассажиркой по имени Айно Куусинен. В пригороде Хельсинки прошли ее последние годы на родине. И, может быть, в период угасания Айно вспомнила цветущую японскую сакуру-вишню. В Финляндии тоже тогда была весна. Весна 1971 года.

Правда, в каком возрасте скончалась Айно, так и не удалось прояснить и до настоящего времени: в воспоминаниях она назвала свой год рождения как 1888, в ее же документах советского периода стоит 1893 г., а в документах НКВД — 1903 г. Девичья фамилия — Туртлайнен. Замужем была дважды.

Фамилия первого мужа — Сарола, второго — Куусинен. Псевдоним-фамилия — Мартон Анна.

По поводу фамилии и года рождения Айно Куусинен в ее следственном деле имеется уникальный документ: постановление «об уточнении года рож-

дения и фамилии». Перечислив все фамилии и все известное из документов Коминтерна и разведуправления Советской Армии, следователь пришел к категорическому выводу, что все же Айно родилась в 1903 году, а фамилия ее по последнему мужу — Куусинен. Было это в 1950-м году.

Следует сказать, что характер Айно ломает всякие устоявшиеся представления о финнах как о народе холодном, рассудочном, не поддающемся сиюминутным страстям.

Раннее замужество за врачом в Хельсинки, тогда еще Гельсингфорсе, столице княжества Финляндии. Обеспеченная жизнь и домашние заботы. Увлечения идеями социализма и молодым социал-демократом Отто Куусиненом. Бегство от мужа и скитания с любимым человеком по углам и гостиницам. Революция. Сначала в России, затем в Финляндии. Неожиданное обращение в Коминтерн с просьбой отправить на работу в финскую диаспору США. Возвращение в СССР и новое бегство от мужа — секретаря исполкома Коминтерна. Бегство сначала из квартиры, а затем и за пределы Союза. В далекую Японию. Работа то переводчиком, то референтом, а потом и в разведуправлении РККА, считавшемся самым сильным разведорганом мира.

Для легализации Айно Куусинен был использован целый год. Окном же для такой легализации избрали Стокгольм, благо она знала в совершенстве не только финский, но и шведский, а также немецкий.

Она, не без ведома и согласия своего мужа Отто Куусинена, с которым в тот период поддерживала лишь телефонную связь, выехала с паспортом журналистки Анны Мартон через Эстонию в



Швецию, дабы в Стокгольме собрать необходимые сведения о Японии, на основании которых должна была написать восторженную книгу на шведском о Стране восходящего солнца и восходящего оттуда же милитаризма. По легенде разведуправления РККА, эта книга позволила бы Анне Мартон войти в прояпонские круги Швеции, а уж затем само собой решился бы вопрос и о ее выезде в Японию. Для легального, так сказать, изучения этой страны.

Книга хотя и вышла крошечным тиражом, но была написана таким сочным языком и содержала такие восторженные высказывания о японской нации, искусстве и традициях, что о ней стали говорить в кругах дипломатии Стокгольма. Анна была представлена послу Японии. Затем последовало приглашение посетить Японию. Уже в качестве корреспондента одной из газет Швеции. Карточку аккредитации помогло получить все то же разведуправление. Для этого вынуждены были создать еще одну шведскую газету, ориентированную на средний слой, но с уклоном на что-то среднее между оккультизмом и социализмом, в западном понимании этого слова. Газета просуществовала несколько лет.

Правда, тираж был совсем символический, а периодичность выхода не поддавалась никакой критике. Хотя корреспонденции за подписью Анны Мартон появлялись почти до середины 1941 года.

В период своей легализации в Стокгольме Айно допустила серьезный прокол, который мог провалить не только ее, но и всю разведсеть как в Швеции, так и в Японии.

По просьбе Куллерво Маннера, генсека компартии Финляндии в СССР (расстрелян в 1939 г.), она

встретилась с его знакомой шведкой Силлен. Просьба была самая прозаическая — Маннер просил передать ему хотя бы килограмм кофейных зерен. Смешно? Еще бы!

Эта несанкционированная встреча состоялась через несколько месяцев после приезда Айно Куусинен в Стокгольм. Силлен ответила, что у нее попросту нет денег для покупки кофе. Казалось бы, на этом можно было и точку поставить. Но увлекающаяся Айно, всегда руководствующаясь больше чувствами, чем рассудком, делает еще один необдуманый поступок: она дает Силлен 5 крон, стоимость одного килограмма кофе, чтобы та послала эти деньги переводом Маннеру в Москву. Пусть он в Торгсине купит себе этот кофе.

Именно этот эпизод был истолкован как связь со «шпионом Маннером» и послужил обвинением в таком же преступлении самой Айно Куусинен.

В разведсети Зорге в Токио шведская журналистка Анна Малтон появилась весной 1935 г. и проработала с ним до осени 1937 г. О характере и объеме ее работы можно только догадываться, так как в разведупре РККА отмечено только, что «ее работа по линии разведки характеризуется положительно». Уже было готово представление на награждение орденом Красного Знамени. Но начались аресты среди деятелей Финской компартии, арестованные стали давать на нее показания как на «старую оппортунистку», и в октябре 1937 г. последовал вызов в Москву. Причем отъезд был так быстр, что даже не была соблюдена обычная процедура: Анна Мартон должна была выехать сначала в Швецию, а лишь затем легализоваться в СССР через несколько стран. Она же выехала в СССР прямо из Японии через Маньчжурию.

Айно Куусинен арестовали в 1938 г. прямо за праздничным столом у ее московского знакомого по работе в Коминтерне М. Розенберга (тоже арестован и расстрелян в 1938 г.).

Следствие шло почти год. Приговор — 8 лет исправлагерей.

Отбывать наказание отправили в Воркуту. Спасло ее жизнь то, что она указала при первом допросе свою специальность — медсестра. Впрочем, вряд ли можно это сказать о человеке, прошедшем курс обучения в течение двух месяцев в объеме оказания первой медицинской помощи. И все же Айно сразу же была определена дежурной медсестрой стационара лагерной больницы, где и проработала до самого своего освобождения в марте 1946 г.

Никаких следов вмешательства в разрешение дела жены со стороны Отто Куусинена обнаружить не удалось. По крайней мере, в письменном виде.

Практически незаконно Айно приехала в Москву 5 декабря 1946 г., и ее приняла у себя бывшая прислуга, которая сохранила и ее вещи. Именно продажей этих вещей Айно и жила в столице до июня 1947 г., когда она посчитала за лучшее уехать к своей знакомой по лагерю Э. Туманян, дочери армянского писателя, в Кировакан.

Но тоска по родине и понимание своей ненужности в СССР толкнули Айно Куусинен на два новых необдуманных поступка: два визита в посольство США в Москве. Первый визит был в апреле 1947 г. Она назвала свою подлинную фамилию и была принята помощником военного атташе капитаном Смитсом (вполне возможно, что это дипломатический псевдоним), которому рассказала, что она жена Отто Куусинена, вернулась из лагерей. Смитс выслу-

шал холодно, посчитав это провокацией, и ответил отказом доложить ее просьбу помочь с выездом из СССР.

Уже из Кировакана, заняв паспорт политссылной А. С. Розенгольц, Айно приехала в Москву в июне 1948 г. и сразу же направилась в посольство США. На сей раз посольские работники были еще более решительны: она демонстративно была посажена в автомашину, вывезена на ул. Горького и там высажена. И сразу же была выслана в с. Демяновку Кустанайской области «за связь с иностранцами». Через год последовал арест, этапирование в Москву и осуждение «за шпионаж в пользу США на 15 лет исправительно-трудовых работ».

На сей раз она стала утверждать, что ей уже 55 лет, и потому ее направили в инвалидный лагерь на ст. Потьма в Мордовии.

Только после смерти Сталина стала добиваться реабилитации, и она пришла к ней лишь в 1955 г.

Следует отметить, что человек, который занимался этим делом, позволил себе очень рискованную шутку: докладывая зам. секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Горкину о пересмотре дела Айно Куусинен и о ее полной реабилитации по всем трем делам, полковник юстиции А. Ренев указал: «Поскольку тов. Куусинен Отто Вильгельмович является зам. Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, об изложенном сообщаю Вам и полагаю, что Вы найдете возможным доложить т. Куусинену О. В. о решении Центральной комиссии о полной реабилитации его бывшей жены Куусинен А. А.».

Никаких контактов с мужем она не поддерживала и о его смерти узнала только от человека, кото-

рый приехал за ней, чтобы отвезти в Колонный зал Дома Союзов на траурную церемонию.

И только после смерти мужа ей было разрешено выехать в Финляндию.

Жена генерала Эйтингона была парашютисткой... Небо под крылом самолета было не голубым, а синим. Они прыгали как будто в воду, в те же упругие, тугие, только не водяные, а воздушные струи. С земли было видно, как от парящего в воздухе самолета отделялись маленькие темные точки и вдруг над ними расцветали, словно огромные букеты, красные, голубые, зеленые и белые парашюты.

17 июня 1935 года газета «Правда» сообщила о том, что в районе Химки—Юрлово—Нахабино был установлен новый мировой рекорд прыжков девушек-парашютисток с высоты 7.035 метров без кислородных приборов. Кроме того, это был первый мировой групповой прыжок женщин-парашютисток.

Его совершили шесть парашютисток — работницы экспериментального института Народного комиссариата тяжелой промышленности и студентки Всесоюзного института физкультуры. Прыжок был осуществлен с самолета АНТ-7 под управлением командира корабля мастера парашютного спорта Г. А. Шмидта и пилота Т. Т. Маламужа. Назывались имена парашютисток — Ольга Яковлева, Марина Барцева, Александра Николаева, Муза Малиновская, Надежда Бабушкина и Серафима Блохина.

Муза Малиновская. Ее девичья фамилия Вихирева. Родилась в 1913 году в городе Уфе. Отец, Григорий Ефимович Вихирев, был инспектором, как теперь говорят, аудитором, в банке. Мать, Елизавета

Ивановна, — служащая того же банка. После революции отца перевели из Уфы в город Иваново и назначили управляющим местным банком. Вскоре семья переехала в Москву. Идя по стопам родителей, Муза после семилетки окончила в конце 20-х годов бухгалтерские курсы и три года работала бухгалтером-плановиком. Одновременно активно занималась гимнастикой.

В 1931 году вышла замуж за Григория Степановича Малиновского, конструктора по профессии, художника по образованию, разносторонне одаренного человека, который и привил ей любовь к парашютному спорту. Сам он занимался планерным спортом и был наставником девушек-парашютисток.

В 1932 году у Музы родился сын Стасик, но она продолжала активно заниматься спортом. К 1935 году закончила водительские курсы и получила права шофера. Затем поступила в высшую школу тренеров по гимнастике.

В 1938 году случилось несчастье. На тренировочных прыжках под Ростовом Муза приземлилась на камень и повредила ногу.

На время пришлось оставить занятия спортом, и она, не желая расставаться с ним, поступила на работу начальником физической подготовки в Академию гражданского воздушного флота.

Приближался 1941 год. К этому времени она развелась с мужем. Грянула война. В первый день, хотя это и было воскресенье, Муза пришла в райком комсомола и попросила направить ее туда, где она была бы полезна. Судьбе было угодно распорядиться так, что она попала в органы государственной безопасности.

Лубянка. Июль 1941 года. В здании НКВД царит молчаливое и напряженное оживление. Пятого ию-

ля был подписан приказ о создании особой группы во главе с заместителем начальника ИНО П. А. Судоплатовым, которая начала подготовку к отражению вражеского нападения диверсионными средствами. 13 октября группа в связи с расширением объема работ реорганизуется во 2-й отдел НКВД СССР, а позже, в 1942 году, в Четвертое управление НКВД НКГБ СССР.

В начале июля сорок первого года вновь созданная группа приступила к формированию парашютно-десантного подразделения. В него принимали комсомольцев, спортсменов.

Кабинет комиссара третьего ранга (в сорок третьем году ему присвоят звание генерал-майора) Эйттингона. За столом сидит молодежавый мужчина средних лет с волевым, сосредоточенным лицом. Вокруг на стульях и на маленьком диванчике — молодые люди, в основном мужчины. Среди них только три женщины. Одна из них Муза Малиновская. Речь идет о подготовке диверсионных групп, которые будут направлены на оккупированную врагом территорию. Кроме других способов доставки членов этих групп к месту назначения — парашют. Кстати, владеть им должны научиться все — хотя бы по одному прыжку.

Постоянно звонит телефон. Какой из них, трудно понять. Их на маленьком приставном столике пять, шесть или больше. Но хозяин кабинета безошибочно берет нужную трубку. Больше всего Музу поразили лингвистические способности Эйттингона, который с одинаковой легкостью говорил то на французском, то на английском, то снова на русском языке. Как позже вспоминала Муза Григорьевна, именно в ту минуту, с первого взгляда и на всю жизнь, она влюбилась в Эйттингона.

Как свидетельствует трудовая книжка Музы Григорьевны Малиновской, с 8 июля 1941 года она сотрудница такой-то войсковой части.

А Эйтингон в это время, кроме всего прочего, подбирал людей в группу для нелегальной работы в Турции. В середине 1941 года эта группа, возглавляемая им, отбыла в Турцию. В составе группы была и Муза Малиновская (так и не сменившая фамилию) в качестве жены Эйтингона.

В Москву Муза Григорьевна вернулась в мае следующего, 1942, года и занялась подготовкой десантников, забрасываемых в оперативных целях в тыл врага. Оставшийся на некоторое время в Турции Эйтингон по нелегальным каналам изредка пересылал ей весточки.

В 1943 году у Музы Малиновской и Наума Эйтингона родился сын, которого в честь отца мать назвала Леонидом, — потому что его отец по официальным документам в органах государственной безопасности значился Леонидом Александровичем, — а в 1947 году родилась и дочь, которую в честь матери назвали Музой. Вскоре из Турции — после организации неудачного покушения на немецкого посла фон Папена — вернулся Наум Исаакович, который находился там под именем Леонида Наумова. Покушение на фон Папена было проведено силами местного населения. Но по каким-то причинам бомба взорвалась в руках у террориста на улице за несколько метров, которые он не дошел до германского посла. Фон Папен и его супруга отделались лишь легким испугом.

Впоследствии разведка планировала покушение и на самого Гитлера с помощью князя Радзивилла, который еще в 1939 году попал к нам в плен. В этих целях в Берлин в 1942 году была направлена группа



во главе с Миклашевским. Но Сталин отменил операцию. Он считал, что устранение Гитлера откроет дорогу к власти его политическому преемнику фон Папену. В этом случае, считал Сталин, американцы и англичане наверняка заключат с Германией сепаратный мир.

Шли годы. В природе времена года сменялись одно на другое. В политической и общественной жизни наступила «оттепель». Умер Сталин. Арестовали и ликвидировали Берия. В августе 1953 года были арестованы Судоплатов и Эйтингон.

В 1994 году Павел Анатольевич Судоплатов в американском издательстве «Эком» выпустил книгу, которая так и называется: «Показания нежелательного свидетеля». Книга во всем мире получила широкий резонанс и была переведена на основные европейские языки. В ней Судоплатов много страниц посвятил жизненному пути своего коллеги, заместителя и друга Леонида Александровича Эйтингона.

Вернувшись из заключения, Эйтингон начал работать переводчиком в издательстве «Международные отношения», поскольку в совершенстве владел французским, испанским, английским и португальским языками. Умер в мае 1981 года. Муза Малиновская пережила его на 8 лет.

А время шло. Маленькая дочка, названная по имени матери, пошла по ее стопам — стала мастером спорта по художественной гимнастике. Теперь уже Муза Наумовна с удовольствием и старанием передает свое мастерство начинающим гимнасткам.

Год 1930-й. Харбин. Летняя влажная духота сделала вялыми прохожих, среди которых большинство европейцев. Вот уже год Зоя Ивановна живет в

Харбине с мамой и полугодовалым сыном Володей. Из-за сына пришлось взять с собой и маму.

Вспомнился Иван Андреевич Чичаев — начальник отделения в Иностранном отделе ОГПУ, где перед выездом в Харбин она две недели находилась на стажировке. В 1928 году она из Смоленска переехала к мужу, который был на партучебе в Москве. Она — Зоя Ивановна Казутина. В Москву приехала не просто к мужу, а по партийной путевке для работы в педагогической академии имени Н. К. Крупской (впоследствии Московский государственный педагогический университет имени В. И. Ленина). Затем взяли на работу машинисткой в транспортный отдел ОГПУ на Белорусском вокзале Московско-Белорусской железной дороги.

В апреле 1929 года приняли в члены партии, а в августе того же года пригласили на Лубянку. Туда шла волнуясь, хотя почти уже год была сотрудницей ОГПУ. Нашла в «сером» доме отдел кадров, а через час уже была в Иностранном отделе. Увидев Чичаева, успокоилась.

Иван Андреевич, разливая чай, сказал: «Садись к столу, разведчица», — и усмехнулся.

— Как вы меня назвали?

— Разведчицей.

— Я же еще девчонка! — и, смутившись, наклонила голову.

— Девчонка, — повторил он уже серьезно, — но профессией твоей теперь будет разведка, а значит, ты разведчица. Поедешь в Харбин, — Чичаев отхлебнул чай из стакана, — для работы в нефтяном синдикате. Синдикат — это твое прикрытие, это лишь легальная возможность для твоей разведывательной работы.

И началась специальная стажировка. Пароли, от-

звы, тайники, конспиративные квартиры. Стажировка бурная, захватывающая, скоротечная, как весенняя гроза.

Рассказывая об этом, Зоя Ивановна разжимала и снова сжимала в кулачок худые руки.

— Однажды я с трудом смогла разжать этот кулак, — сказала она. — Было это в Харбине. Мое самое первое задание. В лавке антиквара, хозяин которой сотрудничал с нами в качестве так называемого почтового ящика, я должна была получить зашифрованное письмо от нашего человека. Заходила туда, называла пароль, что-то связанное с фарфоровыми пасхальными яйцами, получала отрицательный ответ, рассматривала товары и уходила. И вот однажды хозяин лавочки передал мне маленькую записочку. Я судорожно зажала ее в кулак и не разжимала до тех пор, пока не приехала в резидентуру. Здесь я долго не могла разжать кулак — пальцы так онемели, что никак не разжимались.

— Вернулась из Китая в Москву, — вспоминала Зоя Ивановна, — в феврале 1932 года. Некоторое время работала начальником отделения в Иностранном отделе ОГПУ в Ленинграде, курировала Эстонию, Литву и Латвию, но недолго, всего несколько месяцев. С этого времени вся моя жизнь была связана только с Европой.

С востока судьба перебросила Зою Ивановну в центр Европы — в Германию и Австрию, а затем на ее север — в Финляндию и Швецию.

— Первый раз в Берлине, — рассказывала Зоя Ивановна, — я была в 1932 году. Остановливалась в пансионе мадам Розы на Унтер дер Линден около Бранденбургских ворот. Целью моей поездки была разведывательная подготовка и изучение немецкого языка. Выдавала я себя за жену беспартийного спеца.

Зоя Ивановна усмехнулась, видимо вспомнив что-то. Помолчала. Затем сказала:

— Я никогда не была ханжой, но через некоторые пороги перешагнуть не могла.

В том же 1932 году, до поездки в Берлин, Зою Ивановну вызвало высокое начальство.

— Поедете в Женеву по соответствующей легенде. Там познакомитесь с генералом «Х», который работает в штабе и тесно сотрудничает с немцами. Станете его любовницей. Нам нужны сведения о его секретной работе. Вам понятно? — спросили Зою Ивановну.

— Да, понятно. А обязательно становиться генеральской любовницей, без этого нельзя?

— Нет, нельзя. Без этого невозможно выполнить задание.

— Хорошо, — отвечает Зоя Ивановна, — я поеду в Женеву, стану генеральской любовницей, раз без этого жить нельзя, выполню задание, а потом застрелюсь.

Она снова умолкла.

— И что же потом? — спрашиваю я.

Задание отменили. «Вы нам нужна живая», — констатировало начальство.

А в 1933 году Зоя Ивановна была уже в Австрии.

— Там я должна была выйти замуж, — засмеялась Зоя Ивановна. — Фиктивно, конечно. С первым мужем разошлась, а с Борисом Аркадьевичем Рыбкиным познакомилась позднее, уже в Хельсинки, куда он приехал под прикрытием работника посольства для резидентской работы. Была у меня легенда: в Риге получить латвийский паспорт, затем в Австрии выйти замуж, поехать с мужем в Турцию и по дороге поссориться. Муж после этого должен уехать, а мне предлагалось остаться в Турции и открыть там свой

салон мод. До Вены я доехала, а замужество, хоть и фиктивное, не состоялось. Жених не приехал.

Финляндия и Швеция — страны, в которых Зоя Ивановна провела большую часть своей закордонной разведывательной жизни: с 1935 по 1939 год — в Финляндии, и с 1941 по 1944 год — в Швеции.

На работу в Финляндию Зоя Ивановна уехала в качестве заместителя резидента под псевдонимом «Ирина». Официально она выполняла обязанности руководителя советского представительства «Интуриста» в Хельсинки и была известна как «мадам Ярцева».

В 1936 году Рыбкин был направлен резидентом в Финляндию. Это государство в ту пору занимало не ключевое, но важное положение в стратегических планах гитлеровской Германии.

К этому времени Зоя Ивановна уже шесть—семь месяцев была в Финляндии, успела познакомиться со страной и нашей резидентурой. Прежний резидент был отозван в Москву, и вместо него прибыл консул Ярцев, он же Рыбкин. Приехал один, без семьи. Очень официальный, подтянутый, требовательный.

«Поначалу у нас не сложились взаимоотношения. Мы спорили по каждому поводу. Я решила, что не сработаемся, и просила Центр отозвать меня, в ответ мне было приказано помочь новому резиденту войти в курс дела, а потом вернуться к этому вопросу. Но... возвращаться не потребовалось. Через полгода мы запросили Центр разрешить нам пожениться. Я была заместителем резидента, и мы опасались, что Центр не допустит такой «семейственности». Москва дала «добро».

К моменту отъезда в Финляндию Зоя Ивановна приобрела значительный опыт в разведыватель-

ной работе и стала в буквальном смысле профессионалом.

В Москву она вернулась перед самой «зимней» войной и занялась аналитической работой. (Специальное аналитическое отделение в разведке. Было создано лишь в 1943 году.)

После возвращения из Хельсинки З. И. Воскресенская-Рыбкина стала одним из основных аналитиков, к которым стекались все разведывательные сведения. Предстояло «отгадать» дату и направление возрастающей гитлеровской агрессии. Было заведено так называемое агентурное дело «Забава». Такое название агентурное дело получило потому, что Сталин, не веря разведывательным данным о готовящемся нападении, считал, что разведчики забавляются. Сложность аналитической работы состояла в том, что волна репрессий захватила и разведывательные кадры. Очевидно, что разведданные, полученные от резидента, который затем объявлялся «врагом народа», подвергались сомнению. Трудно было, например, разобраться в противоречивой информации, полученной из Берлина от Деканозова и от резидента Кобулова. Этим тоже занималась Зоя Ивановна.

В первые дни войны на Лубянке было создано особое подразделение по подготовке и отправке в тыл разведгрупп.

Этой работой Зоя Ивановна Рыбкина занималась вместе с Георгием Ива́новичем Мордвиновым — ветераном ВЧК, бывшим командиром крупного партизанского соединения в Приамурье.

После окончания войны Зоя Ивановна работала некоторое время заместителем, а затем начальником немецкого отдела внешней разведки вплоть до 1953 года. Смерть Сталина, замена высшего государ-

ственного и партийного руководства, арест и расстрел Берии — все это внесло резкие изменения и в жизнь сотрудников разведки. Когда Зоя Ивановна на партийной конференции выступила в защиту П. А. Судоплатова, ее отправили на работу в Воркуту, откуда она в 1955 году ушла на пенсию уже по линии Министерства внутренних дел.

Зою Ивановну Воскресенскую похоронили по ее завещанию в могиле матери, Александры Дмитриевны Воскресенской, и мужа, Бориса Аркадьевича Рыбкина, на Новодевичьем кладбище. Перед смертью она просила не открывать ее гроб, потому что многие помнят ее молодой и красивой, а сейчас, мол, она сама на себя не похожа.

Когда фашистские армии прорвались к Сталинграду, возникла необходимость срочно добиться подписания протокола о военных поставках в соответствии с уже имевшимся официальным соглашением. Такой документ конкретизировал условия поставок. Литвинов вел по этому вопросу переговоры с заместителем государственного секретаря Уэллсом и английским посланником Кэмпбеллом. 6 октября 1942 года был подписан «Протокол относительно поставки Соединенными Штатами и Англией Советскому Союзу военного снаряжения, боеприпасов и сырья».

Все чаще из Америки в Советский Союз стали уходить караваны судов с самолетами, танками, орудиями, военным снаряжением и стратегическим сырьем.

Всего поставки, которые Красная Армия получила по ленд-лизу, составили около 4 процентов советского промышленного производства в годы войны, но они сыграли положительную роль в борьбе СССР с фашистскими агрессорами.

К сожалению, случались срывы или искусственные сокращения поставок. Например, в сентябре 1942 года Черчилль своей властью снял с американского каравана, направлявшегося в Мурманск, 154 самолета «Эйр-кобра». Об этом стало известно в Москве. Сталин дал телеграмму Литвинову, просил его немедленно связаться с Рузвельтом и предотвратить в дальнейшем подобные действия союзников.

Участились выпады в его адрес. В газетах стали появляться пасквили, карикатуры на Литвинова. Вспоминали его революционное прошлое, совместную работу с Камо, экспроприацию, проведенную Камо на Кавказе в 1906 году. Все делалось для того, чтобы дискредитировать имя Литвинова в глазах американского обывателя.

Не останавливались и перед прямыми провокациями. Как-то вечером на одной из Вашингтонских улиц на Литвинова набросилась неизвестная женщина, начала браниться, кричать: «Вот большевик, который погубит Америку!» Собралась толпа. Скандал казался неизбежным. Литвинов спокойно заметил:

— Эта дама говорит с ярко выраженным немецким акцентом.

Немка скрылась.

Наступление фашистов противники Советского Союза пытались использовать для усиления кампании против американской помощи СССР. В газетах появилось много скептических статей, в которых высказывалось мнение, что СССР находится на грани поражения и вообще оно неизбежно. В частности, изоляционисты утверждали, что всякая помощь России напрасна, она, дескать, бьет по карману американского налогоплательщика, разгром России не яв-



ляется несчастьем для Америки, находясь за Атлантическим океаном, можно договориться с Гитлером.

Пожалуй, никогда Литвинов не ездил по городам Соединенных Штатов так часто, как осенью 1942 года, не считаясь ни со здоровьем, ни с возрастом. 11 сентября он писал жене, выехавшей из Вашингтона в Нью-Йорк, где она тоже выступила на очередном митинге: «Только что получил приглашение на обед к миссис и мистеру Хэлл. Я ответил, что, по-видимому, ты не вернешься к этому времени, и отказался от приглашения... Накопилось много писем и телеграмм за время моего отсутствия... последние две ночи мало спал — не было времени».

Выступления Литвинова неизменно собирали громадные аудитории. Слушатели задавали много вопросов о положении на фронтах, желали удачи, передавали сувениры для советских солдат.

Литвинов написал в Москву, просил прислать в США кого-либо из женщин-героинь, отличившихся на фронте. Он считал, что поездка советской представительницы принесет большую пользу. В октябре 1942 года в США приехала знаменитый советский снайпер Людмила Павлюченко. В газетах появилось о ней множество статей. Писали, что 26-летняя Людмила Павлюченко, лейтенант Красной Армии, мстит за убитых гитлеровцами мужа и ребенка, мстит за свою страну. Газеты запестрели портретами советской героини.

Первое время Павлюченко появлялась только в военной форме. Это производило огромное впечатление на публику. Но когда на концерте симфонической музыки, устроенном по программе «Помощь России», Людмила появилась в элегантном туалете в сопровождении Леопольда Стоковского и Айви Литвиновой, зал устроил ей овацию.

Литвинов попросил Павлюченко посетить Калифорнию, где особенно были сильны симпатии к Советской стране. В Лос-Анджелесе был устроен митинг, на который собралось множество людей. Выступали американцы, потом говорила Павлюченко. Она поблагодарила за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Советскому Союзу, но сказала, что этого недостаточно: необходимо открытие второго фронта.

После возвращения из Калифорнии Павлюченко ждал в советском посольстве в Вашингтоне необычный прием. Литвинов встретил ее на парадной лестнице в полной форме, вместе с ним были сотрудники посольства. В руках он держал серебряный поднос, на котором лежал какой-то конверт. Павлюченко, несколько сконфуженная и удивленная неожиданной церемонией, медленно поднималась по лестнице. Литвинов сделал ей навстречу несколько шагов и вручил конверт. В нем оказалось письмо калифорнийского миллионера, в котором он делал советской героине предложение — просил ее руки и сердца. Литвинов сказал, что он, как посол, обязан сообщить ей об этом официально.

Шутливая церемония, устроенная Литвиновым, вызвала много веселья. Вскоре Павлюченко вернулась на родину. Калифорнийский миллионер так и не получил ответа на свое предложение...

## **ДОНОСЧИЦЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ**

Указ Петра I от 28 апреля 1722 года предусматривал, что все подданные были слугами государя и каждый должен был под страхом сурового наказания доносить на своего ближнего, если заподозрил его или застал при совершении государственного преступления. Доносительство стало не только обязанностью, но и профессией, за которую платили деньги.

Эпоха Петра I послужила примером последующим временам. В эпоху сталинизма практика доносов расцвела под сильным воздействием государства, толкавшего людей к доносительству.

Принцип доноса всех на всех подтверждался неоднократно. Доносчикам предлагались если не чины, то различные льготы.

Женщины тоже проявили себя на почве доносов. Причем некоторые из них отличались особой агрессивностью.

Итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо приводит следующие примеры агрессивности и преступности самок в мире животных: «Самки-воительницы муравьев приходят часто в такую ярость, что набрасываются и кусают других самок, личинок и рабынь, которые стараются их успокоить, крепко держа, пока не пройдет припадок бешенства. Одна муравьиная самка убила и со-

жрала травяную вошь, рассерженная ее сопротивлением».

А знаете ли вы, что первоначально мать пионера-героя Павлика Морозова подозревалась в убийстве сына? Об этом поведал Юрий Дружников в своем исследовании «Вознесение Павлика Морозова». Там же он рассказал о том, что Татьяна Морозова не только поощряла доносы своего сына, но и доносила сама.

«Мать знала о деятельности старшего сына — в этом нет сомнения. В протоколе допроса 11 сентября 1932 года читаем: «Мой сын Павел, что бы только ни увидел или услышал про эту кулацкую шайку, он всегда доносил в сельсовет и другие организации». Она не только поощряла его, но и доносила сама. В приговоре суда об убийстве Павлика говорится: «О краже Кулукановым снопов Павел сказал своей матери, а последняя заявила сельсовету».

Хотя арестованных по делу об убийстве братьев Морозовых было десять, нам приходится проверять причастность к убийству и других лиц.

В печати встречались утверждения, что убийцей Павлика был его отец, Трофим Морозов. Писатель Виктор Шкловский в книге, выпущенной в 1973 году, утверждал, что Павел «выступил против своего отца и был им убит». Версия «отец — убийца сына» появлялась в печати не раз. Мог ли отец это сделать?

Трофим Морозов во время убийства находился в заключении на Крайнем Севере. Он мог бежать, если был к тому времени жив. Те, кто говорит, что Трофим написал письмо жене и детям, утверждают, что он вообще не знал об убийстве. Если он бежал, невероятно, чтобы он пошел на убийство двоих собст-

венных детей. Авторы, обвинявшие отца, как мы выяснили, на месте не были и дела не знали. Версия эта носит скорее всего литературный характер (Сатурн, пожирающий своих детей; Авраам, собирающийся принести в жертву Исаака; герой Николая Гоголя Тарас Бульба, убивающий сына за предательство, и т. д.). К тому же Шкловский нам сказал, что прочитал об отце-убийце в сценарии кино.

Может быть, Павлик был убит собственной матерью? Такое подозрение — не наша выдумка: Татьяну допрашивали 11 сентября в качестве свидетеля, а 23 сентября уже в качестве обвиняемой, и протоколы эти мы имеем.

«Мои дети были убиты 3 сентября с. г. в отсутствии меня, так как я уехала 2 сентября в Тавду и без меня все это произошло, — показала Морозова на первом допросе. — С 31 августа на 1 сентября с. г. во время ночи, часов в 12, кто-то к нам в сенки зашел, избную дверь поткнул, но открыть не могли, так как дверь была закрыта крепко, и опять с 1 на 2 сентября с. г. кто-то приходил ночью, слышно было два мужских голоса, наша собака на них залаяла, потом стала ластиться около них, а собака живет у нас и уходит к Морозову Сергею и Даниле, так как жили вместе». Голосов родных Морозова не узнала, но заявила, что приходили дед с Данилой, хотя во всех соседних домах жили родные и собака туда тоже бежала, конечно, и знала всех.

Поведение матери в эти дни действительно может показаться странным. По рассказам жителей Герасимовки, Павлу угрожали много раз, особенно ближе к осени, когда появился новый урожай и мальчик снова принялся доносить, кто, где и что прячет. Павлик избит. Затем две ночи подряд в дом ломятся неизвестные, а утром мать уезжает на

несколько дней в город, бросив четверых маленьких детей, не заявив ничего милиционеру и даже не оставив детям еды. Больше того, понимая, какая опасность нависла над сыном, она уговаривает его в ее отсутствие уйти в лес за клюквой без взрослых, да еще с маленьким братом, и при этом дети одни собираются заночевать в тайге в шалаше.

Морозова уехала в Тавду сдавать теленка на заготовительный пункт. Возила ли она мясо сдавать государству или же на рынок, не проверялось. Если на рынок, то это была столь же незаконная акция, как и те, на которые Павлик и она доносили властям. Кстати, когда точно она уехала, не было установлено, когда вернулась — тоже. Ее не было в деревне со дня убийства до дня, когда нашли трупы детей.

«Мать она была плохая, равнодушная и ленивая, — вспоминает ее двоюродная сестра Беркина. — Детей кто угодно подкармливал. В доме грязь, одежда рваная, дырки не латала. Павлика она после ненавидела за то, что лишил ее мужа». Павлику угрожали, и она могла спасти его: послать на заработки или в детский дом в соседнем поселке. Тогда такие способы подкормить малоимущую семью практиковались широко. Писатель Мусатов в журнале «Вожатый» (1962, № 9) поддерживал эту же мысль: матери было легко спасти мальчика, отправив его на заработки в город.

Спустя полвека Морозова нам рассказывала: «Я мертвых увидела, схватила нож, хотела остальных ребят зарезать и на себя руки наложить, но мне не дали, нож отобрали. Дети от страха плакали... На суде я сказала: «Дайте мне яду, сулемы, я выпью». И повалилась, ничего не помню. Меня под руки вывели».

На следствии Морозова охотно согласилась поддерживать официальную версию убийства и готова была обвинять кого угодно. После допросов в Секретно-политическом отделе ОГПУ ее рассказы об убийстве начинают приобретать все более идеологический характер. Она вспоминала, например, что Павлик говорил: «Я на той точке стал, как говорил товарищ Ленин, взад ни шагу, а вперед — сразу подамся два шага». Фраза Ленина звучит наоборот («Шаг вперед, два шага назад»), но это несущественно, важно, что Павлик — верный ленинец. Очевидная халатность матери в истории гибели сына, несомненно, имела место. Однако тех, кто проектировал процесс, более устраивала мать как жертва. Она понадобилась им в роли свидетельницы обвинения. Вот почему уполномоченный ОГПУ сначала перевел Татьяну Морозову из свидетелей в обвиняемые, а затем, сам или по указанию руководства, в свидетели, хотя она должна была быть потерпевшей.

После двух процессов, расстрела, последующих арестов из большой семьи Морозовых осталась в деревне мать Павлика с младшим сыном Романом. Двое ее детей были убиты, четвертого, Алексея, она сама сдала в детский дом. В газетах Татьяна Морозова значилась Матерью Героя — привилегированная должность в советской стране. Как бы ни оценивали мы поступки Павлика, для матери он остался сыном. А она потеряла тогда двоих. И мертвых она любила их до конца своих дней. Это свято.

О том, что происходило тогда в Герасимовке, мать Павлика помнила хорошо и охотно нам рассказывала. Всенародная любовь к герою, о которой писали газеты, в рассказе этом выглядела не столь рекламно: «Врагов у Павлика было много. Могилу

его затапывали, звезду ломали, полдеревни ходило туда испражняться».

Смерть ее сыновей была только началом. Через месяц после похорон по случаю 15-летия Октябрьской революции власти организовали в деревне большевистские поминки по убиенным детям. Манифестация протекала жизнерадостно, в соответствии с особой ролью убитых детей. Миф, созданный наверху, пришел в деревню и начал вытеснять реальность. «Оживилась изба-читальня от веселого гомона и песен ребят», — бодро писал журналист Соломеин в «Пионерской правде», назвав статью «На свежей могиле». Вместе с двумя женщинами в сельсовет вошла Татьяна Морозова, худая, постаревшая от переживаний мать Павлика. На столе венки. Ребята поют, веселятся, с гоголом идут гулять на кладбище. Там, возле могилы, заранее сколочена трибуна. С нее приезжие представители произносят речи о подвиге пионера Морозова и кулаках-убийцах. «Небольшой курьез, — читаем далее, — результат культурной отсталости и неграмотности матери Павлика — Татьяны Морозовой. Тела Павлика и Феди Морозовых, конечно, хоронили без попа. На могиле — красная звезда и траурное знамя с надписью: «Братская могила братьев Морозовых». А напротив... стоит крест... Татьяна Морозова понимает, что кулак — «злой человек», но вера в бога, подкрепленная советами набожных соседок, крепко засела в сознании обезумевшей от горя матери». Газета требовала: «Не плакать, а еще больше сплотиться вокруг партии».

Морозову переселили в большой дом, хозяев которого перед этим арестовали. Она получила часть кулацкого имущества, но в Герасимовке ее ненавидели, оскорбляли. Крестьяне возлагали на Татьяну



вину за воспитание ребенка, который причинял столько горя деревне. Привилегии, ей созданные, еще больше озлобили людей. Из деревни ей пришлось переехать в районный центр. «Меня НКВД взял на казарменное обеспечение, — вспоминала Морозова. — Дали комнату, кровать, две подушки, продукты. Я, как мать героя, не работала».

Неприязнь к матери Павлика Морозова сохранилась в Герасимовке и через полвека, мы ее почувствовали, но выражается она сдержанней.

Учительница Кабина вспоминает: «Татьяне дали квартиру на улице Сталина, освободившуюся после высылки врагов народа. Мебель, тюлевые занавески, белье, одежда — все это было чужое, а стало ее. Ей такое и во сне не снилось. Люди везде голодали, а ей выдавали в ОГПУ хорошие продукты, сладости. Сына ее, Алексея, отправляли каждое лето в пионерский лагерь «Артек». Об этом писали и газеты: правительство позаботилось о матери героя, ей назначили пожизненную персональную пенсию, и врачи предложили переехать жить на курорт в Крым. Говорили, что Сталин лично распорядился позаботиться о ней. Но она умела и сама требовать. Входила и заявляла: «Я, мать героя-пионера...» И отказать боялись.

В Крыму еще существовала татарская автономия, но уже выселяли греков и немцев. Воронцовский дворец в Алушке стал правительственной дачей. В округе шла чистка кварталов, и освободившиеся дома заселяли доверенными людьми. Здесь, на южном берегу, Морозова прожила до конца дней.

Третий ее сын, Роман, был в конце войны ранен, умер у нее на глазах, и она осталась одна. Судьба не была к ней милосерднее, чем к другим,

скорее наоборот: ведь единственный оставшийся в живых Алексей, который с нею вместе показывал на суде на дедушку и бабушку, требуя их расстрелять, этот ее сын тогда сидел в тюрьме. Вот что писал о родном брате Павлика заведующий отделом культуры райисполкома Фомин писателю Солломеину в уже цитированном нами письме: «Алексей Морозов сидел с 1941 по 1951 год. Осенью 1951 года освобожден. Работает в городе Нижний Тагил на заводе. Сидел за измену Родине (не выполнил задания командования)». «Алексей был приговорен военным трибуналом к расстрелу, — вспоминает крестьянка Беркина, — но мать за него хлопотала, как брату героя расстрел ему заменили на десять лет».

Причины ареста Алексея Морозова не ясны. Он окончил летное училище. В его воинской части были свои Павлики Морозовы, могли донести на невиновного. Крестьянка из Герасимовки, тетка Алексея, Беркина, к которой он приезжал с женой и сыном после освобождения, рассказала, что ее племянник напился перед боевым вылетом. Ей он сказал, что его тогда подпоили и что с тех пор он не пьет. Родственник же его Байдаков, отсидевший по статье 58-й, рассказывал нам, что повстречался с Алексеем в тюрьме. В летной части Алексея не любили за то, что он требовал особого положения, как брат пионера-героя. Товарищи по части напоили его, а когда он заснул, положили ему за голенище сапога, как криминальный материал, фото- пленки с изображением линии фронта. После этого вызвали представителя СМЕРШа — военной секретной полиции.

Тот факт, что брат пионера-героя отсидел десять лет за шпионаж, тщательно скрывается советской

печатью. В наши дни Алексей — молчаливый, трудолюбивый человек. Вспоминать о старом не хочет. Два года отработал грузчиком на вредном химическом производстве, чтобы получить пенсию побольше. Сын Алексея назван в честь убитого дяди-героя Павликом — пятое поколение известных нам Морозовых. Он отслужил в армии, где потерял зубы, находясь во вредной зоне, и стал работать слесарем на заводе. Павлик Морозов-младший женился, о чем сообщалось в печати, и вскоре развелся, о чем печать умолчала. «Так теперь молодые живут», — сказала нам Татьяна Морозова, осуждая мораль нового поколения. А Павлик — жизнерадостный молодой человек, живет в свое удовольствие, любит выпить с приятелями, учиться не хочет, из кинофильмов предпочитает иностранные и, в отличие от своего знаменитого дяди, не собирается доносить на родителей и соседей.

На стенах, на шкафу, на столе и на комодe — портреты и бюсты разных размеров ее знаменитого сына-героя. Тут же бюсты Ленина и писателя Антона Чехова, который умер неподалеку в Ялте. А между портретами Павлика — иконы.

Живут оставшиеся Морозовы в уютном доме на горе, омываемой Черным морем. Вокруг, за высокими заборами, стоят санатории и роскошные виллы для советской партийной элиты. Наследники Морозовых вернулись к тому, с чем сверстники Павлика боролись полвека назад, — к скромному предпринимательству. Летом они сдают отдыхающим свой домик и сарайчики вокруг. Это приносит неплохой доход. 22 августа 1956 года, в пору послесталинских разоблачений, в «Курортной газете» Крыма появилась статья. «Бабушка Морозиха, — говорилось в ней, — скупает по дешевке фрукты и продает на

рынке втридорога, спекулирует». Газета призывала «сделать выводы». Но власти дело замяли.

«Никто ко мне не едет, — жаловалась Татьяна Морозова в наш последний приезд, — никому я теперь не нужна. Письма приходили раньше по пять, а то и восемь в день. А сейчас мало писем. Пишут дети глупости: «Дорогая Таня, в каком ты классе? Давай с тобой переписываться». А мне-то скоро девяносто!»

До последних дней (она умерла в 1983 году) мать пионера № 1 сидела в президиумах идеологических мероприятий — живой образец преданности делу коммунизма. На нее под аплодисменты надевали пионерский галстук. Единственная трудность наступала, когда надо было выйти на трибуну. «Будьте такими, как мой Павлик!» — произносила неграмотная женщина и умолкала, не умея прочесть текст, который ей заготовили и сунули в руку комсомольские лидеры. Периодически мать героя, соучеников и родственников Павлика власти приглашали на различные торжества в Герасимовку, куда для массовости собирали население всей округи».

Знаменитое «дело врачей» выросло из доноса женщины. Никита Сергеевич Хрущев вспоминал об этом: «Я хотел бы сейчас рассказать о так называемом деле врачей. Однажды Сталин пригласил нас к себе в Кремль и зачитал письмо врача. Какая-то Тимашук, женщина-врач, писала, что она работает в лаборатории врачом и была на Валдае, когда умер Жданов. Она писала в своем письме, что Жданов умер потому, что его неправильно лечили врачи, ему назначали такие процедуры, которые должны были привести к смерти. Она писала, что все это делалось преднамеренно.

Естественно, если бы так было на самом деле, каждый бы возмутился такому злодейству. Это же совершенно противоестественно! Врач должен лечить, оберегать здоровье, а не убивать жизнь, не убивать человека.

Если бы Сталин был нормальным человеком, то он по-другому бы реагировал на это письмо. Мало ли таких писем поступает от людей с ненормальной психикой. Сталин был очень восприимчив к подобной литературе. Я считаю, что эта женщина тоже была продуктом сталинской политики. Сталин внедрил в сознание людей, что мы окружены врагами, что в каждом человеке нужно видеть неразоблаченного врага. Сталин призывал к бдительности и говорил, что даже если в доносе есть 10 процентов правды, то это уже положительный факт. Но это 10 процентов! А поддаются ли вообще учету проценты правды в таких письмах, как подсчитать эти проценты? Это была политика больного человека. Жданова лечили кремлевские врачи. Надо полагать, что все лучшие светила, которые были известны среди медицинского мира Советского Союза, привлекались для работы в Кремлевской больнице. Кто его лечил конкретно, я сейчас не помню.

Был арестован Владимир Никитич Виноградов, которого, когда он был уже освобожден, я больше, лучше узнал. Он не раз консультировал меня.

Арестовали Василенко — крупнейшего врача и профессора. Я мало его знал лично.

Вместе с Виноградовым и Василенко была арестована целая группа крупных врачей, которые тогда работали в Кремлевской больнице и имели какое-то соприкосновение с лечением Жданова.

Арестовали этих людей, и тут же Сталин широко разослал письмо этой Тимашук со своей припиской,

где он мобилизовывал гнев масс против врачей, которые «учинили такое злодеяние» и умертвили Жданова.

У Жданова было очень подорвано здоровье. Я не знаю, какими он недугами страдал, но одним из главных было то, что он потерял силу воли и не мог уже регулировать, когда остановиться в питейных делах. На него жалко было смотреть. Я даже помню (а это редкое явление), как Сталин в последнее время другой раз прикрикивал на него, что ему не следует пить. Жданов вынужден был страдать и наливать себе фруктовую воду, когда другие наливали вино или более крепкие спиртные напитки. Нужно полагать, что если сдерживал Сталин, — а это невероятно, — то дома он был уже без контроля.

Этот порок убил Щербакова и в значительной степени предопределил и ускорил смерть Жданова.

Начались допросы. Я сам слышал, как Сталин часто звонил Игнатьеву. Тогда Игнатьев был министром госбезопасности. Я знал Игнатьева. Он был больной человек. Это был человек мягкого характера, вдумчивый и располагающий к себе. Я к нему очень хорошо относился. В то время у него был инфаркт и он сам был на краю гибели. Сталин ему звонит, а мы знали, в каком физическом состоянии он находится. Он с ним разговаривал по телефону в нашем присутствии. Сталин выходил из себя, орал по телефону, угрожал ему, что он его сотрет в порошок, и требовал бить, бить их, кандалы надеть.

Василенко был, кажется, в Китае в это время. Его отозвали из Китая, и как только он переехал советскую границу, ему надели, как говорили, кандалы.

Я не знаю, все ли, но у меня отложилось в памяти, что они сознались в своих преступлениях. Я сейчас не могу осуждать тех, кто оклеветал себя. Слишком много передо мной прошло разных людей, разных характеров, честных и преданных нашей партии, революции, которые сознавались. Примером тому — Мерецков, который доживает свой век, ходит, согнувшись в дугу, и который признал, что он английский шпион. Врачи тоже попали не в лучшее положение, и они тоже признались.

Виноградов лечил Сталина, а его редко врачи лечили. Он не пощадил и его, арестовал, его тоже били. Наверное, били. Всех били. Я сейчас не помню, сознался он или не сознался, но он тоже попал в общую кашу.

Так возникло дело врачей, позорное дело».

## КОМИТЕТ «СОВИНФОРМБЮРО»

4 мая на последней странице советских газет в разделе «Хроника» было опубликовано известное сообщение: «М. М. Литвинов освобожден от обязанностей народного комиссара иностранных дел по его просьбе».

Изучение архивных документов показывает, что это решение было окончательно принято 3 мая где-то около 16 часов. В этот обычный для М. М. Литвинова день он принял британского посла У. Сидса, отправил несколько телеграмм, в том числе в Читту, Харбин (Китай) и др. Но вдруг на проекте телеграммы в Шара-Сумэ (Китай), полученной в отделе в 17 час. 20 мин. за подписью зам. заведующего Восточным отделом С. К. Царапкина и с визой М. М. Литвинова, фамилия последнего оказалась зачеркнутой и появилась таинственная буква «М». Часом позже пошла телеграмма в Прагу, где фамилия Литвинова вновь была зачеркнута и впервые появился значок «В. М.», ставший хорошо знакомым целому поколению советских дипломатов периода войны и первых послевоенных лет.

Все выяснилось поздно вечером, когда в 23 часа 3 мая пошла циркулярная телеграмма всем полпредам и временно исполняющим дела, в которой секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин извещал:

«Ввиду серьезного конфликта между председате-



лем СНК тов. Молотовым и наркоминделом тов. Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения тов. Литвинова к Совнаркому Союза ССР, тов. Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей наркоминдела. ЦК ВКП(б) удовлетворил просьбу тов. Литвинова и освободил его от обязанностей наркома. Наркоминделом назначен по совместительству Председатель СНК Союза ССР тов. Молотов».

Необычным в телеграмме Сталина было то, что снимаемый с такого высокого поста человек по-прежнему называется «товарищем». Ведь это продолжались 30-е годы, когда «летели головы» даже членов Политбюро ЦК ВКП(б) и известных всему миру военачальников, сразу становившихся «врагами народа». Видимо, здесь сказалось особое, личное отношение Сталина к Литвинову.

По свидетельству полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского, отставке наркома предшествовало бурное объяснение в кабинете Сталина между В. М. Молотовым и М. М. Литвиновым, когда обстановка «была накалена до предела».

Телеагентства мира разнесли сенсационное сообщение об отставке Литвинова. Хотя советским полпредам было дано указание заявить в соответствующих столицах о неизменности советской внешней политики и полпреды разъясняли, ссылаясь из самого Литвинова, что политику в СССР определяют не отдельные наркомы, а ЦК и высшее руководство партии и государства, политики и журналисты понимали, что отставка Литвинова с его поста означает конец эпохи борьбы за коллективную безопасность.

Место Литвинова на посту наркома иностранных дел занял В. М. Молотов.

Американский посол в СССР Чарльз Болен, который нередко встречался с Молотовым и Сталиным в 1945—1946 годах, отмечает в своих мемуарах не только унижительное и даже презрительное отношение Сталина к своему министру иностранных дел, но и раболепное отношение Молотова к Сталину. Болен, в частности, писал:

«Подозрительный по природе и благодаря сталинской выучке, он (Молотов) не рисковал. Где бы он ни был, за границей или в Советском Союзе, два или три охранника сопровождали его. В Чеквере, доме британского премьер-министра, или в Блэйттер-хаусе, поместье для важных гостей, он спал с заряженным револьвером под подушкой. В 1940 году, когда он обедал в итальянском посольстве, на кухне посольства появлялся русский, чтобы попробовать пищу.

Молотов был прекрасным помощником Сталина. Он был не выше пяти фунтов четырех дюймов роста, являя пример сотрудника, который никогда не будет превосходить диктатора.

Молотов был также великолепным бюрократом. Методичный в процедурах, он обычно тщательно готовился к спорам по ним. Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что делается посмешищем в глазах остальных министров иностранных дел.

Однажды в Париже, когда Молотов оттягивал соглашение, поскольку споткнулся на процедурных вопросах, я слышал, как он в течение четырех часов повторял одну фразу: «Советская делегация не позволит превратить конференцию в резиновый штамп» — и отвергал все попытки Бирнса и Бевина сблизить позиции.

В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его можно назвать искусным диплома-

том. Он никогда не проводил собственной политики, что открыл еще Гитлер на известной встрече. Сталин делал политику; Молотов претворял ее в жизнь... Он пахал, как трактор. Я никогда не видел, чтобы Молотов предпринял какой-то тонкий маневр; именно его упрямство позволяло ему достигать эффекта.

Невозможно определить действительное отношение Сталина к любому из его помощников, но большую часть времени Молотов раболепно относился к своему хозяину».

«Еще эпизод, — писал Никита Сергеевич Хрущев в своих мемуарах. — В каком-то году, я сейчас точно не помню, был создан комитет — «Совинформбюро». Он создавался для сбора материалов, конечно, положительных, о нашей стране, о действиях нашей Советской Армии против общего врага — гитлеровской Германии — и распространения этих материалов в западной прессе, главным образом в Америке. Так как в Америке очень влиятельны круги еврейской национальности, поэтому и у нас этот комитет состоял главным образом из евреев, занимавших высокое положение в нашей Советской стране. Возглавлял этот комитет бывший председатель Профинтерна Лозовский. В этот комитет вступил генерал Крейзер — ему, конечно, рекомендовали, чтобы он вступил. В этом комитете состоял и Михоэлс — крупнейший актер еврейского театра. В этот комитет, по-моему, входила и жена Молотова — товарищ Жемчужина.

Я думаю, что эта организация была создана по предложению Молотова или, может быть, сам Сталин предложил ее организовать. Она очень активно занималась вопросами пропаганды, и ее деятельность в интересах нашего государства, в интересах нашей

политики, интересах Коммунистической партии считалась очень полезной и необходимой.

Когда освободили Украину, в этом комитете составили документ (я не знаю, кто был инициатором, но, безусловно, инициаторы были в этой группе), в котором предлагалось Крым, после выселения оттуда крымских татар, сделать Еврейской советской республикой в составе Советского Союза. Обратились они с этим предложением к Сталину. Вот тогда и загорелся сыр-бор. Сталин расценил, что это акция американских сионистов, что этот комитет и его глава — агенты американского сионизма и что они хотят создать еврейское государство в Крыму, чтобы отторгнуть Крым от Советского Союза и, таким образом, утвердить агентуру американского империализма на европейском континенте, в Крыму, и оттуда угрожать Советскому Союзу.

Как говорится, дан был простор воображению в этом направлении. Я помню, мне по этому вопросу звонил Молотов, со мной советовался. Молотов, видимо, в это дело был втянут главным образом через Жемчужину — его жену.

Наиболее активную роль в этом комитете играли его председатель Лозовский и Михоэлс. Сталин буквально взбесился. Через какое-то время начались аресты. Был арестован Лозовский, а через какое-то время и Жемчужина. Был дискредитирован Молотов. Все материалы рассылались среди членов ЦК, и там все было использовано, чтобы дискредитировать Жемчужину и тем самым уколоть мужское самолюбие Молотова.

Я помню такой грязный документ, где говорилось, что, мол, она была неверна своему мужу, и указывалось, кто были ее любовники. Много гнусности было в этом документе.

Начались гонения на этот комитет, а это уже послужило началом подогревания сильного антисемитизма, потому что состав комитета был еврейским. Сюда же приплеталась выдумка, что евреи хотели создать свое государство и выделиться из Советского Союза. В результате борьба против этого комитета разрасталась шире, ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве.

• Начались расправы.

Долго тянулся следственный процесс этой группы, но в конце концов все закончилось трагически. Председатель этого комитета Лозовский был расстрелян, а Жемчужина и другие были сосланы. Я даже думал, что ее расстреляли, потому что об этом никому не докладывалось и никто в этом не отчитывался. Все было доложено Сталину, а Сталин казнил и миловал лично сам. О том, что она жива, я узнал после смерти Сталина — тогда Молотов сказал, что Жемчужина жива и находится в ссылке. Все согласились, что надо ее освободить. Берия ее освободил и торжественно вручил Молотову. Он сам рассказывал, как Молотов приехал к нему в Министерство внутренних дел и там он встретился с Жемчужиной. Она была еле жива. Он обнял и приласкал ее. Все это Берия рассказывал с какой-то иронией. Молотову и Жемчужиной он выражал сочувствие и показывал, что это, вроде, была его инициатива освободить ее».

Рой Медведев писал: «Молотов несет ответственность и за все репрессии послевоенных лет: за «ленинградское дело», за арест почти всех членов Еврейского антифашистского комитета, а еще ранее — за выселение многих народностей СССР с их национальной территории. Жертвой одной из этих репресс-

сивных кампаний стала жена самого Молотова — Полина Семеновна Жемчужина.

Еще юной девушкой Полина Жемчужина вступила в партию в 1918 году. Через несколько лет она уже возглавляла женский отдел одного из обкомов партии на Украине. В начале 20-х годов в Москве проходил съезд женотделов, на который приехала и Жемчужина. Но здесь она тяжело заболела и попала в больницу. Молотов, который отвечал за проведение съезда, решил навестить заболевшую делегатку. Потом он приходил к ней еще несколько раз, а после выздоровления Жемчужина уже не вернулась на Украину, а осталась в Москве и стала хозяйкой в доме секретаря ЦК Молотова. Вскоре у них родилась дочь Светлана.

В Кремле Полина Жемчужина очень подружилась с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Молодые женщины часто встречались друг с другом, были откровенны, и для Жемчужиной не было секретом, что отношения между Сталиным и его женой становились все более тяжелыми. В роковой день, 15 ноября 1932 года, когда на ужине у Ворошилова Сталин грубо обошелся с Надеждой Аллилуевой, она покинула квартиру Ворошилова вместе с Полиной Жемчужиной, которая долго пыталась успокоить оскорбленную Надежду. Когда утром следующего дня жену Сталина нашли в своей спальне с пистолетом в руке и с простреленной головой, первыми были вызваны сюда Орджоникидзе с женой Зинаидой и Молотов с Полиной. Только после этого разбудили Сталина и сообщили ему о самоубийстве жены.

Для мстительного и подозрительного Сталина Полина Жемчужина уже тогда стала персоной «non grata». Но Сталин умел ждать и тщательно скрывать свои чувства. «Чистки» 30-х годов обошли Полину

Жемчужину. Более того, она стала занимать во второй половине 30-х годов ответственные посты в аппарате Совета Народных Комиссаров. Жемчужина некоторое время была заместителем наркома пищевой промышленности, наркомом рыбной промышленности, затем управляла косметической промышленностью, была Главпарфюмером. На XVIII съезде ВКП(б) Жемчужина была избрана кандидатом в члены ЦК.

Жемчужина была еврейкой, и когда во время Отечественной войны в нашей стране был создан Еврейский антифашистский комитет, жена Молотова стала одним из его руководителей, а во главе был поставлен старый большевик и член ЦК ВКП(б) А. Лозовский, занимавший тогда пост руководителя Советского Информационного бюро.

Еврейский антифашистский комитет не был ликвидирован после войны, как все другие антифашистские комитеты (советских женщин, молодежи и другие). Через несколько лет после окончания войны на Ближнем Востоке появилось еврейское государство Израиль, созданное по решению ООН при активном содействии СССР. Советский Союз был первым государством, которое объявило об установлении с Израилем дипломатических отношений. Вскоре в Москве появился посол Израиля Голда Меир. Естественно, что на различного рода приемах, которые устраивало в Москве израильское посольство, присутствовали и члены Антифашистского комитета советских евреев. Голда Меир и Полина Жемчужина не раз беседовали друг с другом.

К этому надо добавить, что у Полины Жемчужинной была родная сестра, которая еще в годы гражданской войны уехала из России. Полина переписывалась с ней до 1939 года. Если Молотову приходи-

лось заполнять анкету, и, в частности, отвечать в ней о «родственниках за границей», то он должен был писать здесь о сестре жены и о племянниках жены, которые теперь жили в Израиле. Хорошие отношения между Израилем и Советским Союзом длились, однако, недолго. В 1948—1949 годах стала набирать силу пресловутая кампания против «безродных космополитов». Начались массовые репрессии против еврейской интеллигенции и ликвидация почти всех еврейских общественных и национальных организаций. В это время для Сталина и наступил удобный момент расправиться с Полиной Жемчужиной, когда-то ближайшей подружкой его жены. По мнению Сталина, она знала слишком много. Конечно, на первый план выдвигались другие обвинения.

Жемчужина была обвинена в «измене Родине», в связях с международным сионизмом и т. п. Вопрос о ее аресте обсуждался на Политбюро. После того как Берия изложил данные своего ведомства, все члены Политбюро проголосовали за арест Жемчужиной. Молотов воздержался, но и не выступил с опровержением.

Вернувшись домой, Молотов должен был первым сообщить жене и о решении Политбюро, и о ее близком аресте.

— И ты поверил во всю эту клевету?! — кричала в отчаянии его жена.

— Но там были представлены такие убедительные документы, — отвечал растерянный и подавленный Молотов.

На следующий день Жемчужину арестовали.

Сразу же после смерти Сталина начались реабилитация и освобождение отдельных людей. Видимо, первым из них был киносценарист А. Я. Каплер, арестованный в годы войны за связь со Светланой Ал-



лилуевой. Сталин не желал этого брака. Каплер был освобожден 6 марта 1953 года. Еще через несколько дней была освобождена и жена Молотова Полина Жемчужина. День похорон Сталина 9 марта совпал с днем рождения Молотова. Спускаясь с трибуны Мавзолея, Хрущев и Маленков все же поздравили Молотова с днем рождения и спросили, что бы он хотел получить в подарок. «Верните Полину», — сухо сказал Молотов и прошел мимо. Просьбу Молотова немедленно передали Берии. Последний, впрочем, и сам понимал, что с его стороны неразумно держать жену Молотова в заключении. Жемчужина в этот момент была уже в Москве. В 1949 году ее приговорили к нескольким годам ссылки. Но в январе 1953 года она была включена в число участников «сионистского заговора» вместе с группой еврейских врачей и покойным Михоэлсом. Ее начали допрашивать с применением пыток. Допросы прекратились только 1 или 2 марта. А 9 или 10 марта ее вызвали в кабинет к Берии. Она не знала о смерти Сталина и готовилась к худшему. Но Берия неожиданно вышел из-за стола, обнял свою гостью и воскликнул: «Полина! Ты честная коммунистка!» Жемчужина упала на пол, потеряв сознание, но ее быстро привели в чувство, дали немного отдохнуть и переодеться и отвезли на дачу к Молотову — весьма необычный подарок к уже прошедшему дню рождения.

После исключения из партии он лишился еще остававшихся у него привилегий. Однако часть из них была сохранена для жены Молотова П. Жемчужиной. Вместе с ней и с немногочисленной семьей Молотов жил или в своей квартире на улице Грановского, или на даче в Жуковке, дачном поселке для привилегированных лиц. Мало кто навещал Молотова, кроме родственников.

В 1963--1967 гг. они часто выходили погулять по арбатским переулкам, при этом оживленно беседуя, нежно прижавшись друг к другу. В 1967 году П. С. Жемчужина умерла. Организацию похорон взяла на себя та фабрика, в которой Жемчужина состояла на партийном учете. На этих похоронах были также представители райкома партии. На траурном митинге выступил и Молотов. Это было его первое и последнее публичное выступление после ухода на пенсию. Он говорил о том пути, который прошла покойная, и одновременно о той большой работе, которую проделали партия и Советское государство в 30--40-е годы. Но Молотов, конечно же, умолчал об аресте и ссылке своей жены и о преступлениях прошлых лет».

В. М. Молотов, всецело поддерживавший Сталина, в течение более тридцати лет бесперывно находился в высшем эшелоне власти, определяя внутреннюю и внешнюю политику Советского государства.

## СЛУГИ И ГОСПОДА

Относительно слуг охранник М. С. Горбачева утверждал, что «немногочисленная беспрекословная прислуга в обязательном порядке — сотрудники девятого управления КГБ: и нянечки, и уборщицы. Естественно, с воинскими званиями. Например, сестра-хозяйка — сержант. Женщины шли работать сюда не ради зарплаты или престижа (это все мифы), а из-за «выслуги лет»: в сорок лет можно было уйти на пенсию».

Так было во все времена. Светлана Аллилуева подробно остановилась на проблеме слуг и господ в книге «Двадцать писем к другу».

«Не меньшего интереса заслуживает, — писала дочь диктатора, — тоже как уникальный уродливый экспонат тех времен — новая экономка (то бишь «сестра-хозяйка»), приставленная к нашей квартире в Кремле, лейтенант (а потом майор) госбезопасности Александра Николаевна Накашидзе.

Появилась она в нашем доме в 1937-м или 38-м году с легкой руки Берии, которому она доводилась родственницей, двоюродной сестрой его жены. Правда, родственница она была незадачливая и жена Берии, Нина Теймуразовна, презирала «глупенькую» Сашу. Но это решили без ее ведома, — вернее, без ведома их обеих. И в один прекрасный день на молоденькую, довольно милостивую Сашу обруши-

лось это счастье и честь. Вернувшись к сентябрю как обычно из Сочи, я вдруг увидела, что вместо Каролины Васильевны меня встречает в передней молодая, несколько смущенная грузинка — новая «сестра-хозяйка».

Она была не очень вредная (больше зла она делала по глупости, по своей обязанности, а не по собственному желанию); к тому же она была новое лицо в доме, где было ужасно скучно. Мы с ней подружились, и были в добрых отношениях вплоть до 1942—43 года, когда она вместе с Власиком оказала мне «медвежью услугу». Мне было тогда лишь одиннадцать-двенадцать лет, и всю чудовищность появления в доме прямого, непосредственного соглядатая Берии я еще не могла осознавать. Тетки мои — Анна Сергеевна и Женя (вдова дяди Павлуши) — уже тогда поняли, что это означает, и только спросили ее, хорошо ли она знает хозяйство, умеет ли готовить грузинскую кухню. «Нет, — простодушно призналась Александра Николаевна, — я ничего не делала дома никогда, у меня мама всегда хозяйничала, а я чашку за собой никогда не вымыла...» «Так вам будет очень трудно здесь», — начали было удивленные тетки, но потом махнули рукой: они понимали, что от «оперуполномоченной» требовались совсем иные навыки, чем приготовление пищи.

Кстати, вскоре их вообще перестали пускать в нашу квартиру в Кремле. Реденс был арестован. Женя была подозреваема в отравлении дяди Павлуши, умершего так внезапно. Вход в дом оставался открытым лишь для дедушки с бабушкой и для Яши. Должно быть, Александра Николаевна «настучала» на теток своему могущественному родственнику и тот решил, что хватит — побаловались возле Сталина, а теперь надо их всех изолировать от него и его — от

них. А убедить отца, что они внушают сомнения и опасения, как «родственники репрессированных», не составляло большого труда для такого хитреца, как Берия.

Александра Николаевна царствовала у нас в квартире до 1943 года, — как и почему ее выставил сам отец, я расскажу еще. В ее обязанности входило самое тесное общение со мной и Василием. Она была едва тридцати лет, смешлива, еще недолго подвизалась в качестве «оперуполномоченной» и не успела стать чиновницей. Грузинская женщина по своей натуре для этой роли совершенно не годится. Она была, в общем, добра, и ей было естественнее всего подружиться с нами в этом доме, где для нее самой было все страшно, чуждо и угрожающе, где ее пугали ее собственные функции и обязанности... Она была несчастной пешкой, попавшей в чудовищный механизм, где она уже не могла сделать ни одного движения по своей воле, и ей ничего не оставалось, как, сообразно со своими слабыми способностями и малым умом, осуществлять то, что от нее требовали...

Она ходила со мной в театры — учебой моей занимались другие лица, но она как бы несла «общее руководство» моим воспитанием и проверяла меня, иногда заглядывая в тетрадки. Она плохо говорила по-русски, еще хуже писала и не ей было меня проверять, да она это и сама знала. Во всяком случае она контролировала круг моих школьных подруг и вообще знакомых, но круг этот был тогда до того ограничен, до того узок, я жила в таком микроскопическом мире, что это не составляло для нее большого труда...

! Я уверена, что она потом благословляла тот день, когда ее убрали из нашего дома, где ей было

жить несладко. Чтобы несколько компенсировать свою безотрадную и одинокую жизнь, она перевезла в Москву своих папу, маму, сестру, двух братьев; все они получили здесь квартиры, молодежь обзавелась семьями. Такие возможности ей предоставила ее «работа». Я потом в квартирах ее сестры, брата видела вдруг что-то из наших старых домашних вещей, выкинутых ею за «ненужность» из нашего дома...

У нас дома — конечно, не в комнатах отца, где никому нельзя было ни к чему прикоснуться, а у меня и брата — она стала «наводить порядок». С рвением истинной мещанки она выкинула вон всю старую мебель, приобретенную еще мамой, под предлогом, что она «допотопная», что надо обставиться «современной». Вдруг однажды вернувшись осенью с юга, я не узнала своей комнаты. Где мой обожаемый старый резной буфет — какая-то мамина давняя реликвия, перенесенная ею в мою детскую, — огромный пузатый буфет, где хранились в ящиках подарки, привезенные из Берлина мамой и тетей Марусей, бесчисленные дары от Анны Сергеевны? В верхних полках этого прекрасного универсального шкафа стояли покрашенные краской фигурки из глины, сделанные нами под руководством Наталии Константиновны, а внизу были сложены наши старые альбомы для рисования, тетради с рисунками, изложениями на русском и немецком языках... Моя няня считала нужным все это сохранять.

Александра Николаевна, мнившая себя культурным человеком (она училась два года в Индустриальном институте в Тбилиси, пока не попала на работу в МГБ), сочла все это чепухой и выкинула вон вместе со шкафом, не подозревая, что выбрасывает дорогие воспоминания детства... Вон были выбро-

шены и круглый стол со стульями, поставленные в моей детской еще мамой. Александра Николаевна заменила все это мебелью, действительно, более современной — но чужой, холодной, безликой, ничего не говорящей ни мне, ни другим...

Точно так же обошлась она и с комнатой брата, изъязв оттуда все, что напоминало нам старую нашу квартиру — удобную, уютную, где каждый уголок был обдуман мамой и приспособлен ею для наших нужд.

Моя няня терпела все это молча — она понимала, что возражать нельзя, да и бесполезно, а лучше всего терпеть, ждать и тем временем лелеять бедное дитя. Так же безропотно, негодую про себя, она позволила выкинуть мои старые вещички, — а что было еще годным, то отправила в деревню своей внучке Кате, которая была чуть младше меня. Постепенно исчезали неведомо куда и мамины вещи, постоянно стоявшие до тех пор у меня на туалетном столике: красивая коробка из эмали с драконами, ее чашки, стаканчик, — у мамы не так уж много было безделушек. Все это куда-то исчезало, а мы уже знали, что по «новым» нашим порядкам, когда все вещи в доме считаются казенными, раз в год проводится инвентаризация, и все ветхое «списывается» и увозится неведомо куда.

Отец, существуя далеко и высоко, время от времени давал руководящие указания Власику, который был нашим неофициальным опекуном, как нас воспитывать. Это были самые общие указания: чтобы мы учились исправно, чтобы нас кормили, одевали и обували за казенный счет — не роскошно, но добротно и без выкрутас, — чтобы нас не баловали, держали больше на свежем воздухе (в Зубалово), возили бы летом на юг (в Сочи или в Мухолатку в Крыму).

Это неукоснительно соблюдалось, опять же в самых общих чертах, а у ж какие результаты должно было дать все это — зависело исключительно от Бога и от нас самих.

В связи с такими общими установлениями в нашем образовании, возле меня неожиданно появилась, когда я поступила в школу, гувернантка Лидия Георгиевна. Я была неприятно поражена, прежде всего, ее внешностью: она была маленького роста, крашенная в рыжий цвет и горбатая. С первого же дня она вступила в постоянный конфликт с моей няней. Не знаю, что у них там вышло, что няня, обидевшись, уходит из комнаты, а Лидия Георгиевна истерически кричит ей вслед: «Товарищ Бычкова! Не забываетесь! Вы не имеете права со мной так разговаривать!» Я посмотрела на нее и спокойно сказала: «А вы — дура! Не обижайте мою няню!»

С ней сделалась истерика. Она рыдала и смеялась, — я никогда не видела подобных вещей, — ругала меня, «невоспитанную девчонку», и мою «некультурную» няньку.

Дело улеглось, но мы с ней навеки стали врагами. Она учила меня немецкому языку и «помогала» делать школьные уроки. По сравнению с живыми, интересными уроками Наталии Константиновны это было убожество, скука, зубрежка. Немецкий я, с ее помощью, возненавидела, так же как и музыку: фортепиано, пьесы и экзерсисы, гаммы и даже нотные знаки, — за то, что она мне их трудно вдальбывала...

Пять лет она меня «воспитывала», являясь каждый день, враждуя с моей невозмутимой нянькой, мучая меня истериками, бесталанными уроками и бездарной своей педагогикой. Мы ведь привыкли к прекрасным педагогам, которых нам находила мама...



Через пять лет я не выдержала и взмолилась, прося отца убрать ее из дома. Отец и сам не симпатизировал горбунье, которая к тому же безумно кокетничала с каждым мужчиной. Отца от одного этого передергивало, и он освободил меня от нее. Больше гувернанток не было. Появлялись эпизодически в доме преподавательницы английского языка, так как отец решил, что надо бросить все к черту и изучать английский. Милым, жизнерадостным человеком была Татьяна Дмитриевна Васильчикова — толстуха с большой косой вокруг головы. Мы с ней подружились, ездили вместе в Сочи, и уроки ее были интересны, веселы и плодотворны.

Всю мою жизнь была рядом со мною моя няня Александра Андреевна. Если бы эта огромная, добрая «печь» не грела меня своим ровным постоянным теплом — может быть, давно бы я уже сошла с ума. И смерть няни, или «бабуси», как мои дети и я звали ее, была для меня первой утратой действительно близкого, в самом деле глубоко родного, любимого, и любившего меня, человека.

Умерла она в 1956 году, дождавшись возвращения из тюрьмы моих теток, пережив моего отца, дедушку, бабушку. Она была членом нашей семьи более чем кто-нибудь иной. За год до ее смерти справили ее семидесятилетие, — это был добрый, веселый праздник, объединивший даже всех моих вечно враждовавших между собою родственников, — ее все любили. Она всех любила, каждый желал сказать ей доброе слово.

Бабуся была для меня не только няней еще и потому, что ее природные качества и таланты, которые судьба не дала ей развить, простирались далеко за рамки обязанностей няни.

Александра Андреевна была родом из Рязанской

губернии; деревня их принадлежала помещице Марии Александровне Бер. В этот дом попала в услужение и тринадцатилетняя Саша. Бер были в родстве с Герингами, а у Герингов служила нянина тетка Анна Дмитриевна, вырастившая праправнуков Пушкина, с которыми до последнего времени она жила в писательском доме на Плотниковом переулке. В этих двух семьях и у их родственников в Петербурге жила моя бабуся — в горничных, в поварихах, в экономках и, наконец, няней. Долгое время жила она в семье Николая Николаевича Евреинова, известного театроведа и режиссера, и нянчила его сына. На фотографиях тех лет бабуся — прехорошенькая столичная служанка с высокой прической и стоячим воротничком, — ничего деревенского в ней не осталось.

Она была очень смышленная, сообразительная девушка и легко усваивала то, что видела вокруг себя. Либеральные интеллигентные хозяйки научили ее не только одеваться и хорошо причесываться. Ее также научили читать книги, ей открыли мир русской литературы.

Она читала книги не так, как читают образованные люди, — для нее герои были живыми людьми, для нее все, о чем написано, было — правда. Это не был вымысел — она ни минуты не сомневалась, что «Бедные люди» были, как была бабушка Горького...

Раз как-то Горький приезжал к отцу в гости в Зубалово, в 1930-м году, еще при маме. Бабуся моя выглядывала в переднюю через щелку приоткрытой двери, и ее вытащил за руку Ворошилов, которому она объяснила, что «очень хочется на Горького посмотреть». Алексей Максимович спросил ее, что она читала из его книг, и был удивлен, когда она перечислила почти все... «Ну, а что же вам больше

всего понравилось?» — спросил он. «Ваш рассказ, как вы у женщины роды принимали», — ответила бабуся. Это была правда, рассказ «Рождение человека» поразил ее больше всего... Горький был очень доволен и пожал ей с чувством руку, — а она была счастлива на всю жизнь и любила потом рассказывать об этом.

Видела она у нас в доме и Демьяна Бедного, но как-то не восторгалась его стихами, а говорила только, что он был «большой безобразник»...

В доме Евреиновых она жила до революции, после которой Евреиновы вскоре уехали в Париж. Ее очень звали с собой, но она не захотела уезжать. У нее было два сына, — младший умер в голодные двадцатые годы в деревне. Несколько лет ей пришлось прожить в своей деревне, которую она терпеть не могла и ругала с чувством уже привычной горожанки. Для нее это была «грязь, грязь и грязь», ее теперь ужасали суеверия, некультурность, невежество, дикость, и, хотя она великолепно знала все виды деревенской работы, ей это все стало неинтересно. Земля ее не тянула, и потом ей хотелось «выучить сына», а для этого надо было зарабатывать в городе.

Она приехала в Москву, которую презирала всю жизнь; привыкнув в Петербургу, она уже не могла его разлюбить. Я помню, как она радовалась, когда я впервые поехала в 1955 году в Ленинград. Она называла мне все улицы, где жила, и где в булочную ходила, и где «с колясочкой сидела», и где на Неве в садике «живую рыбу брала». Я привезла ей из Ленинграда кипу открыток с видами улиц, проспектов, набережных. Мы разглядывали их с ней вместе, и она все умилялась, все вспоминала. «А Москва-то прямо деревня, деревня по сравнению с Ленинградом, а ни-

когда не сравняется, как ее ни перестраивай!» — все повторяла она.

В двадцатые годы, однако, ей пришлось жить в Москве, сначала в семье Самариных, а потом — доктора Малкина, откуда ее как-то уж переманила моя мама весной 1926 года, по причине моего рождения.

В нашем доме она обожала троих людей. Прежде всего — маму, которую, несмотря на ее молодость, очень уважала, — маме было 25 лет, а бабусе уже сорок один, когда она пришла к нам... Потом она обожала Н. И. Бухарина, которого любили вообще все, — он жил у нас в Зубалове каждое лето со своей женой и дочерью. И еще бабуся обожала дедушку нашего, Сергея Яковлевича. Дух нашего дома — тогда, при маме, — был ей близок и мил.

У бабуся были великолепная петербургская школа и выучка — она была предельно деликатная со всеми в доме, гостеприимна, радушна, быстро и толково делала свое дело, не лезла в дела хозяев, уважала их всех равно и никогда не позволяла себе судачить или критиковать вслух дела и жизнь «господского дома».

Она никогда не ссорилась ни с кем, поразительно умея всем сделать какое-нибудь добро, и только гувернантка, Лидия Георгиевна, сделала попытку выжить бабуся, но поплатилась за это сама. Бабуся даже отец уважал и ценил.

Бабуся читала мне вслух мои первые детские книжки. Она же была первым учителем грамоты — и моим, и моих детей, — у нее был чудесный талант всему учить весело, легко, играя. Должно быть, что-то она усвоила от хороших гувернанток, с которыми ей приходилось раньше жить бок о бок. Я помню, как она учила меня счету: были слеплены шарики из глины и покрашены в разные цвета. Мы их раскла-

дывали на кучки, соединяли, разъединяли, и таким образом она научила меня четырем действиям арифметики — еще до появления в нашем доме учительницы Наталии Константиновны. Потом она водила меня на занятия дошкольной музыкальной группы в доме у Ломовых. Должно быть, оттуда она переняла музыкальную игру: мы садились с ней за стол, и она, обладая природным слухом, выстукивала мне пальцами на столе ритм какой-нибудь знакомой песенки, а я должна была угадать — какой. Потом то же делала я, а она угадывала. А сколько она пела мне песен, как чудно и весело она это делала, сколько она знала детских сказок, частушек, всяких деревенских прибауток, народных песен, романсов... Все это лилось и сыпалось из нее, как из рога изобилия, и слушать ее было неслыханное удовольствие...

Язык ее был великолепен... Она так красиво, так чисто, правильно и четко говорила по-русски, как теперь редко где услышишь... У нее было какое-то чудное сочетание правильности речи — это была все-таки петербургская речь, а не деревенская, — и разных веселых, остроумных прибауток, которые неведомо откуда она брала, — может быть, сама сочиняла. «Да, — говорила она незадолго до смерти, — было у Мокея два лакея, а теперь Мокей — сам лакей...» — и сама смеялась...

В старом Кремле 20-х, начала 30-х годов (когда было много народа и полно детей) она выходила гулять с моей коляской, дети — Этери Орджоникидзе, Леля Ульянова, Додик Менжинский — собирались вокруг нее и слушали, как она рассказывала сказки.

Судьба дала ей повидать многое. Сначала она жила в Петербурге и хорошо знала тот круг, к которому принадлежали ее хозяева. А это были выдающиеся

люди искусства: Евреинов, Трубецкой, Лансере, Музины, Пушкины, Геринги, Фон-Дервиз... Однажды я показала ей книгу о художнике Серове — она обнаружила там много знакомых ей лиц и фамилий, — это был круг художественной интеллигенции тогдашнего Петербурга...

Сколько рассказов было у нее в голове обо всех, кто бывал у них в доме: как одевались, как ходили в театр слушать Шаляпина, как воспитывали детей, как заводили романы хозяйин и хозяйка, которые отдельно и потихоньку просили ее передавать записки...

И хотя, усвоив современную терминологию, она называла своих прежних хозяек «буржуйками» — ее рассказы были беззлобны, наоборот, она с благодарностью вспоминала Зинаиду Николаевну Евреинову или старика Самарина. Она знала, что они не только брали у нее, — они ей и дали многое увидеть, узнать и понять...

Потом судьба забросила ее в наш дом, в тогдашний еще более или менее демократический Кремль, — и здесь она узнала другой круг, тоже «знатный», с другими порядками. И как чудно рассказывала она позже о тогдашнем Кремле, о «женах Троцкого», о «женах Бухарина», о Кларе Цеткин, о том, как приезжал Эрнст Тельман и отец принимал его в своей квартире в Кремле, о сестрах Менжинских, о семье Дзержинского, — да, Боже мой, она была живая летопись века, и много интересного унесла она с собой в могилу...

После маминой смерти, когда все в доме переменилось и мамин дух быстро уничтожался, а люди, собранные ею в доме, были изгнаны, одна лишь бабуся оставалась незыблемым, постоянным оплотом семьи.

Она провела всю жизнь с детьми, — и сама была

как дитя. Она оставалась во все времена ровной, доброй, уравновешенной. Она собирала меня утром в школу, кормила завтраком, кормила обедом, когда я возвращалась, сидела в соседней своей комнате и занималась своими делами, пока я готовлю уроки; потом укладывала меня спать. С ее поцелуем я засыпала — «ягодка, золотко, птичка» — это были ее ласковые слова ко мне; с ее поцелуями я просыпалась утром — «вставай, ягодка, вставай, птичка», — и день начинался в ее веселых, ловких руках.

Она совершенно лишена была религиозного и вообще всякого ханжества; в молодости она была очень религиозной, но потом отошла от соблюдения обрядов, от «бытовой», деревенской религиозности, наполовину состоящей из правил и предрассудков. Бог, наверное, существовал для нее все-таки, хотя она утверждала, что больше не верует. Но перед смертью ей все же захотелось исповедаться хотя бы мне, и она рассказала мне тогда все о маме...

У нее была когда-то, до революции, своя семья, потом муж ушел на войну и в тяжелые голодные годы не захотел вернуться. У нее умер тогда младший любимый сын, и она прокляла навсегда мужа, оставившего их одних в голодной деревне... Позже, узнав, где она теперь служит, муж вспомнил о ней и с истинно мужицкой хитростью стал бомбардировать ее письмами, намеками о желании вернуться, — у нее уже была тогда своя комната в Москве, где жил ее старший сын. «Ишь, — говорила она, — как плохо было, так исчез и сколько лет ни слуху ни духу. А теперь вдруг заскучал! Пускай там без меня поскучает, — мне сына надо выучить, и без него обойдусь»!

(Девичья фамилия няни была Романова, а по мужу она была Бычкова. «Напрасно я царскую фамилию на скотскую променяла», — говорила она.)

Муж тщетно взывал к ней в течение многих лет, — она не отвечала ему. Тогда он научил своих двух дочек — от второй жены — писать ей и просить денег — плохо, мол, живем... Дочки писали ей и присылали свои фотографии — выпученные глаза, тупые лица. Она смеялась: «Ишь, косоротых каких напёк!» Но тем не менее «косоротых» жалела и регулярно посылала им денег. Кому только еще из своей родни не посылала она денег!.. Когда она умерла, на сберегательной книжке у нее оказалось 20 рублей старыми деньгами. Она не копила и не откладывала...

Бабуся держалась всегда очень деликатно, но с чувством собственного достоинства. Отец любил ее за то, что у нее не было подобострастия и угодничества, ей все были равны. «Хозяин», «хозяйка» — этого понятия было для нее достаточно, она не вдавалась в рассуждения — «великий» этот человек или нет и кто он вообще... Только в семействе Ждановых назвали бабуся «некультурной старухой», — я думаю, что такого неуважительного прозвища она никогда не получала в дворянских семьях, где служила раньше.

Когда во время войны и еще до нее вся «обслуга» нашего дома военизировалась, пришлось и бабуся «оформить» соответствующим образом, в качестве «сотрудницы МГБ», — таково было общее правило. Раньше деньги ей платила просто сама мама. Бабуся очень потешалась, когда проходила военная аттестация «сотрудников» и ее аттестовали как... «младшего сержанта». Она козыряла в кухне повару и говорила ему «есть!» и «слушаюсь, вашество!». И сама воспринимала это как дурацкую шутку или игру. Ей не было дела до дурацких правил, — она жила возле меня и знала свои обязанности, а как ее при этом аттестуют — ей было наплевать. Она уже насмотрелась



на жизнь, видела много перемен, — «отменили погоны, потом с юва ввели погоны», — а жизнь идет своим ходом, и надо делать свое дело, любить детей и помогать людям жить, чтобы бы там ни было.

Последние годы она все время болела, сердце ее было подвержено постоянным стенокардическим спазмам, а кроме того, она была ужасно тучной. Когда вес ее перевалил за 100 кг, она перестала подходить к весам, чтобы не расстраиваться. Тем не менее она не желала отказывать себе в пище, ее гурманство с годами превращалось просто в манию. Она читала поваренную книгу как роман, все подряд, и иногда восклицала: «Да! Правильно! Вот и мы у Самариных пломбир так делали, и еще в середину стаканчик со спиртным ставили и зажигали и выносили к столу в темноте!» Последние года два она жила у себя дома, на Плотниковом, с внучкой, и ходила гулять на скверик Собачьей площадки, там собирались арбатские пенсионеры, и вокруг нее был настоящий клуб: она рассказывала им, как она делала кулебяки и рыбные запеканки. Слушая ее, можно было насытиться одним только рассказом! Она называла все предметы вокруг себя, особенно пищу, уменьшительными именами: «огурчики», «помидорчики», «хлебушек»; «сядь, почитай книжечку»; «возьми карандашик».

Погибла она в конце концов из-за своего любопытства. Как-то сидя у нас на даче она ждала, что покажут по телевизору, — это было ее любимейшее развлечение. Вдруг объявили, что сейчас будут показывать приезд У Ну и встречу его на аэродроме, и что встречать его будет Ворошилов. Бабусе было страшно любопытно, что это за У Ну, да и Климента Ефремовича ей хотелось посмотреть, «сильно ли постарел», и она ринулась бегом из соседней комна-

ты, забыв про возраст, про вес, про сердце, про больные ноги... На пороге она споткнулась. Упала, расшибла руку и очень испугалась. С этого началась ее последняя болезнь.

Я видела ее за неделю до смерти — ей хотелось «судачка свеженького», она просила достать. Потом я уехала и 4-го февраля мне позвонила ее внучка и, плача в телефон, сказала, что «только я отвернулась на минуточку, форточку открыть, — бабушка просила, — а обернулась к ней — она уже не дышит!». Странное чувство отчаяния охватило меня...казалось, уж все мои родные умерли, кого только я ни потеряла — надо бы привыкнуть к смертям, — но нет, мне так больно, как будто отрезали кусок моего сердца...

Мы посоветовались с ее сыном и решили, что бабуся надо непременно похоронить рядом с мамой, на Новодевичьем. Но как это сделать? Мне дали несколько телефонов разных начальников в Моссовете и в МК, но дозвониться было невозможно, да и как я им объясню, что за человек бабуся? Тогда я ринулась звонить к Екатерине Давидовне Ворошиловой и сказала ей, что умерла моя няня. Бабуся все знали, все уважали. Сразу подошел к телефону Климент Ефремович, заахал, огорчился... «Конечно, конечно, — сказал он, — только там ее и хоронить. Я скажу, все будет в порядке».

И мы похоронили ее рядом с мамой».

## ЖЕНЩИНА-ТАЙНА

Что может быть лучше, чем чтение мемуаров, где личность автора проявляется в осмыслении прожитого времени, пережитой эпохи!.. Что может быть лучше, чем шокирующие описания невыдуманных сцен Автор берет на себя ответственность за каждое сказанное слово, а нам, читателям, остается только следить за тем, как будут разворачиваться события.

В призрачном мире экранных искусств есть свои женщины-тайны. Если, размышляя о секс-символах Запада 40-х годов, мы тут же вспоминаем Гарбо или Дитрих, то имя не уступавшей им в популярности Татьяны Окуневской многим сегодня почти ничего не говорит. А более полувека назад для одних она была синонимом грязных сплетен, другие во время войны — и это не преувеличение! — умирали с этим именем на устах.

Она дебютировала в роли Карре-Ламадон в фильме Мих. Ромма «Пышка» (1934). Играла молодых, красивых женщин: Тоня Жукова («Горячие денечки», 1935), Лена Леонтьева («Последняя ночь», 1937), Панночка («Майская ночь», 1941), Лена и Наташа Логиновы («Это было в Донбассе», 1945); во время войны снялась в фильмах «Александр Пархоменко» и «Ночь над Белградом».

Одно перечисление имен тех, с кем она была

знакома, дружила, в кого была влюблена, кто добивался ее любви, поражает: это люди разных, порой полярных убеждений, но всем им почему-то была интересна, нужна именно Татьяна Окуневская. В нее были влюблены Садкович, Луков, Охлопков, Эмиль Гилельс, она нравилась Константину Симонову, дружила с Ольгой Бергольц, Олешей, Зощенко, Афиногеновыми, Асеевым; была знакома с Раневской, Ахматовой, Пастернаком...

Михаил Светлов посвятил ей строки:

*Ты, когда была каштановой, —  
Ты легендою была.  
Я хотел бы вспомнить заново,  
Как со мною ты жила...  
Мы расстались. Мне толкаться  
Надоело средь людей.  
Будь каштаном, будь акацией,  
Будь, чем хочешь, будь моей.*

Дважды ее привозили в знаменитый особняк Берии. Ее добивался министр госбезопасности Абакумов. Сам маршал Тито делал ей предложение, звал с собой в Югославию, обещал построить для нее в Загребе собственную киностудию; дарил ей букеты из 200 черных роз.

Брак с Борисом Горбатовым вывел ее на авансцену советской номенклатурной писательско-артистической жизни. Она очень близко видела вождей и власть, но оставалась крайне независимой. С одной стороны, благодаря Горбатову семье полагались «кремлевская» поликлиника, пайки, квартиры в лучших домах и даже «мерседес» с личным шофером после войны. А с другой — ее отец и бабушка были репрессированы и расстреляны. Сама Татьяна Окунев-

ская тоже оказалась в лагере, а ее муж, который клялся не бросать ее, не передал ни одной передачи.

И вот эта женщина через много лет, решила рассказать о себе все.

«В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка, маленькая, беленькая, похожая на крутолобого бычка. И любила эта девочка выковыривать пальчиком варенье из сладкого пирога и гордо стояла в углу, когда наказывали несправедливо, а когда справедливо — редела во все горло, забывшись, замолкала, вспомнив, редела в три горла, а обидевшись, лезла под стол и зловещим шепотом вещала: «Пусть я больше никогда не вылезу из-под стола». А однажды, это было сразу после революции, был голод, имение на Волге у родителей еще не отобрали, приехали гости, и все сидели на террасе. Танечка, вертя носочком туфельки, обрадовала гостей: «А у нас есть варенье!..» Услышав, что из дома ее зовет мама, побежала... «Танечка, зачем же ты сказала гостям, что у нас есть варенье, его ведь совсем немного, и теперь придется поставить варенье на стол». Танечка стрелой выбежала обратно на террасу и громко сказала: «Нет, у нас нет варенья!» Когда ее спрашивали: «Как зовут тебя, девочка?», ласково отвечала: «Танечка», и уж с таким веселым и хитрым личиком, что и не найдешь такого второго, быстроногая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только не было у нее девчачьих косичек — вместо волос был пух, тоненькие шелковинки, как льняное сияние вокруг головы...

Я работаю курьером в Народном Комиссариате Просвещения, а вечером учусь на ненавистных мне, противных чертежных курсах рядом с моим «Великим немым», в котором теперь редко приходится бывать.

Левушка (двоюродный брат Т. Окуневской. — Г. К.) работает помощником десятника на стройке, — так сказал Парусников, — а в обязанности входит разносить бумаги и документы по Комиссариату; и иногда отвозят их в гостиницу «Метрополь», где живут вожди. Я растерялась, когда приехала в первый раз: старинная дореволюционная шикарная гостиница с коврами, хрусталем, номера из нескольких комнат. Я застыла у массивной двери, не решаясь позвонить, я показалась себе такой букашкой в своих тапочках, в майке.

На этот раз хозяин пакет из рук не взял, ввел меня в кабинет, усадил: распечатал конверт и стал его долго читать.

— Ты, наверное, устала, голодная... Перекуси, у меня все стоит на столе!

В его голосе что-то противное, и сам он старый, тоже противный. Он обнял меня за плечи и подвел к столу, заставленному как в сказке всем самым-самым вкусным. Ударило в голову воспоминание, как я с подругой пошла слушать к ее знакомому, взрослому человеку пластинки, он послал подругу за чем-то в магазин, а на меня набросился... Это была коммунальная квартира, я начала кричать, он меня выгнал, и я, рыдая, нашла подругу у подъезда. Здесь кабинет от коридора через две комнаты, кричи не кричи — никто не услышит! Я сбросила с плеч его руку.

— Я таких яств никогда не ела! Мне от них будет плохо!

Он опешил.

Что же он ожидал, что я начну все хватать со стола, брошусь ему на шею?! Быстро и гордо я пошла к двери. Сердце выпрыгивало. До двери уже немного. Около уха его сопение. А если сейчас собьет с ног?.. А если дверь заперта?.. Хватаю за ручку. Заперто.

— Откройте дверь!

Он повернул ключ, и я почти вывалилась в коридор.

— Как ты сюда попала?! Ты что здесь делаешь? Что с тобой?!

Меня подхватил дядя Коля Бухарин. Я стала что-то лепетать... Сверкнув глазами на дверь, из которой я вывалилась, дядя Коля повел меня по коридору.

— Боже, как ты выросла!.. Я бы тебя и не узнал в нормальном состоянии, а сейчас ты была похожа на ребенка, только обиженного.

— Как папа? Как Парусников? Я его давно не видел...

Он нарочно болтает, чтобы я пришла в себя. О случившемся ни одного слова. Он все понял... Как стыдно! Что он может подумать?!

— Я провожу тебя. Где ты живешь? Я посажу тебя на трамвай.

У подъезда он повернул меня к себе и, смотря прямо в глаза, спросил:

— Ты только одно скажи: как ты попала в «Метрополь»?

Я рассказала. Он бросил меня и побежал обратно в гостиницу. А я тихо пошла домой.

С Папой об этом говорить ни в коем случае нельзя — он ворвется в «Метрополь», выбросит всю эту требуху на улицу, это тараканье гнездо, этих жаб, этих мокриц!.. Но ведь не все же вожди такие?! Дядя Бухарин другой... Он отомстит за меня... Он убьет этого старикашку!.. Как он смел!!! Как он...

Митя... Митя... Моя первая любовь... На свадьбе я сломала каблук, и кто-то сказал, что это плохая примета.

Первая брачная ночь. Митя и терпелив, и мягок, и нежен. Когда мой страх прошел и это все случи-

лось, Митя, вытащив из-под меня простыню, куда-то исчез. Ошеломленная, жду Митю. Может быть, так и надо сразу куда-нибудь исчезнуть. Уже прошло часа три, а Мити все нет, и спросить, что делать дальше, не у кого, у Папы теперь об этом тоже не спросишь... Митя появился только к вечеру, сильно выпивший, и сказал, что они с братом «обмывали мою невинность».

Я постепенно осознаю тот разговор с Папой на нашей скамейке: «Человек не нашего круга». Папа говорил о воспитании. Митя вообще не знает, что это такое, и приходится нам к нему приспособливаться, ломать себя в другую сторону... И дела мои плохи. Моя карьера в кино тоже закончилась печально: съемки фильма затянулись, беременность стала видна, нашли похожую на меня прибалтийскую девушку, стали снимать ее, а меня оставили только на общих планах в больших массовых сценах, снятых на шахте. А потом был какой-то пленум ЦК по идеологии, и почти готовый фильм закрыли, как не отвечающий линии партии на шахте. Заработанные деньги кончились. Пока Митя учился в институте, Папа и Баби (бабушка. — Г. К.), как мышки в норушку, несли нам все, что могли. А после окончания института Митю по партийной линии оставили деканом режиссерского факультета, он стал получать зарплату, но часто эта зарплата остается в ресторане или на пирушке, когда появляются тбилисские друзья, а я тащусь с ребенком к своим пообедать. Мои, конечно, видят все, но молчат, и только раз, когда я завязала шею платком, Папа платок снял и увидел синяки, мне пришлось рассказать, что Митя душил меня из ревности.

— Надо терпеть, теперь у вас ребенок, и о разводе не может быть и речи.



И ревность-то эта беспричинная, неумная: и к вещам, и ко всему живому, — я ни о ком не думаю, я его еще люблю, я сделала бы все, чтобы спасти нашу любовь, а он ведет себя, как может вести распоясавшийся человек, знающий, что ему все дозволено. Так стыдно перед Папой.

Сегодня четверг... сумрачный... я вообще не люблю четверги... все неприятности у меня по четвергам... Мама и Папа, и мы устраиваемся кормить Малышку грудью: Папа сделал для меня специальную маленькую скамеечку, они усаживаются по бокам и умиленно наблюдают. Митя пришел раньше обычного, выпивший, еле поздоровался и, не обратив на нас внимания, сел за стол.

— Ну, и сколько же еще будет длиться это зрелище?! Я тороплюсь! Где обед?!

Мы вздрогнули от его слов и тона. Митя вскочил, схватил с моих колен Малышку и бросил на кровать. Девочка соскользнула на пол. Все произошло в мгновение. Папа дал Мите пощечину.

— Быстро соберите вещи!

Топор опустился.

Я молю глазами Митю попросить прощенье, но он опешил от отпора и стоит у печи, растерянный, жалкий.

Вот и все. Я снова вернулась с моей маленькой девочкой в нашу маленькую комнату.

Как-то я побежала в булочную и вижу — двое мужчин ищут наш дом. Это меня! Меня! Из кино! Я быстро обежала их и взлетела по лестнице. Семь звонков... меня приглашают сниматься на студию «Мосфильм» в мопассановскую «Пышку» на роль юной жены старого фабриканта Карре-Ламадона. Режиссер Михаил Ильич Ромм, мой нечаянный спаситель! И все встало на свои места, и мое положение, и деньги! Деньги! Я

извожусь, что теперь нас двоих кормят Папа и Баби. Митя ничего не присылает, ну просто хотя бы игрушку для Малышки, а о том, чтобы подать в суд на алименты, Папа и слышать не хочет.

И надо же так случиться, что почти год, каждую ночь — фильм снимается по ночам, потому что днем для студии не хватает электроэнергии, — я среди первоклассных артистов. Это, наверное, единственный фильм, в котором все артисты все время вместе, в дилижансе. Я одна не артистка, ничего не умею, и я не смею этого показать. У Ромма тоже первый фильм, он сам учится у этих же артистов.

Телеграмму из Кисловодска о приезде решила не давать, появиться на пороге комнаты неожиданно, загоревшей, счастливой, с букетом знаменитых черных кисловодских роз. Тихонько открываю входную дверь ключом, бегу по коридору к нашей комнате, распахиваю дверь — и падаю в бездну: вещи вывернуты, разбросаны. Мама на стуле посреди комнаты в оцепенении, смертельно спокойная, Малышка в кровати, лекарства. Мама безучастно разжала рот, безучастно уронила:

— Папу арестовали четыре дня назад, двадцать четвертого августа, в три часа ночи, Баби — двадцать шестого августа в пять утра, ребенка при обыске простудили.

Удар с размаху, в темноту, лбом о рельсу... Шагнула по упавшим розам, раненым криком кидаюсь к Маме, трысу, привожу в чувство, говорить не можем.

В моей памяти осталась семейная фотография на вокзале, когда все провожали меня в Кисловодск: тихий, теплый вечер, на перроне мои любимые, дорогие моему сердцу... Поезд тронулся, и поплыли они от меня все дальше, дальше. Почему я тогда не выпрыгнула из вагона?

А потом закружилось, покатилося. Как дочь врага народа меня уволили из театра, сняли с фильма, в котором я только что начала сниматься... Себе теперь я тоже больше неподвластна, на моих руках Мама и дочь.

Потекли все приобретенные вещи в скупку за гроши. Куда идти? Что делать?.. Мне двадцать три года, девочка. Мама никогда не работала. Меня стали бояться, сторониться, ждать от кого-нибудь помощи бессмысленно — начался страшный, жуткий, знаменитый 37-й год. Над страной черная туча, за несколько месяцев арестовали тысячи людей, и все от страха закрылись и слушают по ночам, за кем идут. Осталось два-три друга дома, но они могут поддержать только морально, материально они сами нищие.

Тося, которая теперь живет прекрасно, почти прекратила общение. Она года два назад вышла замуж за большого военного, брата члена правительства Куйбышева, и стала странно себя вести. Не то чтобы она совсем исчезла, но приезжает в нашу убогую комнату редко, неожиданно, роскошно одетая, на машине, привозит еду и подарки и так же неожиданно исчезает, не приглашая к себе, не оставляя никаких координат. А сейчас исчезла совсем. Самое невыносимое — душевная мука... неотступная... без сна... Папа. Баби! Папа! Где они?! Как?! Папу уже водили на расстрел... От этих видений мечусь по бульвару. Горе как огромная черная туча.

В знаменитых очередях на Лубянке к окошку для справок я услышала, что в подвалах расстреливают! Что суда не бывает. Я бросилась к железным воротам Лубянки.

— Убийцы! Негодяи! Отдайте Баби! Папа! Что вы с ними сделали?!

Из-под земли вырос человек в штатском, больно схватил меня за руки, трясет, шипит мне в лицо:

— Дура, замолчи! Успокойся! Заберут и тебя! Беги! Беги скорей! — И толкнул меня в сумерки.

Запомнилось лицо: напряженное, серое, с черными глазами. Я побежала. Если меня арестуют, погибнут и Мама и Малюшка. Маму успокаиваю: все обойдется, денег еще очень много...

Семь звонков. На пороге Борис Горбатов. Я с ним познакомилась в летнем кафе журналистов — там иногда появлялись большущие вкусные раки, и все любители туда сбегались полакомиться. Меня в кафе привел мой симпатичный и добрый друг сценарист Илюша Вершинин. Он знал, что я — страстный ракоед. Бориса пожирала та же страсть. Илюша нас и познакомил.

Семья Илюши была, как и моя, на даче. Квартира на Никитском бульваре утопала в клопах, и я ночевала у Илюши. Борис оказался тоже у Илюши, ему как будто бы негде ночевать. Квартира большая. Я легла в той комнате, в которой спала раньше. Только все затихло, дверь в мою комнату тихонько открылась, и на пороге появился Борис. Кроме любви к ракам, я не обнаружила ничего с ним общего — он просто решил не упустить возможное, тем более с засиявшей на небосклоне «звездой». Я сказала ему что-то нелицеприятное, и он мгновенно исчез.

Меня разбудил знакомый запах. Было еще рано. Я подошла к двери и в щелку увидела, как Борис и Илюша молча, тихо накрывают на стол, а в центре стола дымятся огромные раки. В детстве я мечтала: когда буду богатой, буду с утра до вечера есть раков, Папины картофельные польские клецки и чечевичу! За столом я разглядела Бориса: уже располневший в двадцать девять лет, почему-то наголо бри-

тый, наверное, из-за лысины, небольшого роста, плохо одет, да не просто плохо, а в косоворотке, в сапогах — это революционное одеяние интеллигенция уже давно перестала носить, близорукий, в очках, с грязными ногтями и руками, с запахом дешевых папирос и немытого тела, походка смешная, нелепая для мужчины, мелкими семенящими шажками, речь сбивчивая, скороговоркой, лицо симпатичное, доброе, честное, глаза без очков хорошие. Он журналист газеты «Правда», недавно вернулся с зимовки в Арктике, когда-то написал какую-то книгу о комсомоле.

Он перестал ночевать у Илюши и провожает меня в театр и из театра. Когда я собиралась к своим на дачу, он попросил взять его с собой. Это было в июле, а в августе арестовали Папу и Баби. Борис исчез. И вот сейчас стоит на пороге.

Борис сказал, что ничего не знает об аресте, что у него были неприятности: он потерял орден «Знак Почета», который получил за зимовку в Арктике, теперь у него все хорошо, и может ли он бывать у нас. Они с Илюшей часто приходят, а вскоре Борис подарил мне свой только что напечатанный рассказ об Арктике и предложил написать вместе сценарий: у него много интересного материала, но он совсем не знает кино, и как написать роль, которую я могла бы и хотела сыграть, он тоже себе не представляет. Борис в разводе, детей нет, живет по друзьям, возникает идея работать в загородном доме творчества писателей в Переделкине, куда он может достать путевки.

В Переделкине все ко мне хорошо отнеслись, и не из сочувствия, они не знали, что у меня арестована семья, отношение возникло само по себе, наверное, потому, что я была единственной женщиной во

всем доме. Дом уютный, двухэтажный, деревянный, нас совсем немного, к трапезе собираемся внизу за большим столом; почти все — мои ровесники, только еще начинающие «творцы», и Борис оказался старшим; по вечерам собираемся в гостиной, спорим, читаем свои творения, а потом все вместе идут провожать меня на электричку. Борис стал называть меня, как невестку Горького, Тимошей, — так я и стала здесь Тимошей.

Жаль, что Борис влюбился в меня. Это уже видно всем, и это может помешать работе. Нужно как-то тактично удалить из наших отношений эту тему. Но теперь, когда я не могу вырваться в Переделкино, он тут же под каким-нибудь предлогом приезжает в Москву, хватает Илюшу, и они приходят на Никитский бульвар.

Но в отношениях Борис сдержан: никаких пылких объяснений, трагедий, сцен. Работать иначе было бы невозможно. Он это понимает.

После Москвы, Лубянки здесь тишина. Мария Львовна достала мне где-то сапоги, и я брожу и брожу по лесу, и все тогда легче, выносимее. Надолго я в Переделкино приезжать не могу, мы с Левушкой Маму одну ни на минуту не оставляем, как будто, если придет беда, мы сможем ее остановить.

Приехала в Переделкино в солнечный день, захотелось хоть пятнадцать минут побродить по лесу. Борис попросился пойти со мной. Он совсем не любит природу, никогда не гуляет, он взвинчен, и я интуитивно сжалась. В лесу он вдруг упал на колени и залепетал своей скороговоркой, чуть не плача:

— Сил больше нет... Я люблю вас одну, навсегда. Я еще никогда никого не любил... Будьте моей женой... Я сделаю все...

Зачем, зачем он это говорит?! Остановить его!

Все рушится! И наша работа, и моя почти влюбленность в его мужскую сдержанность!

Смотрю на него сверху: он такой жалкий в своих сапогах, в кепке, на колене, в луже... Какое чувство подсказало ему эту оперетту? Почему он не заговорил серьезно, просто?

— Я стану писателем, я достану комнату, буду зарабатывать. Все будет так, как вы захотите. Я знаю, что вы меня не любите, я сделаю все, чтобы вы меня полюбили.

— Меня тоже могут арестовать.

— Я поеду, я пойду за вами куда угодно. Я вас никогда ни в какой беде не брошу... даю вам клятву!!!

Я подняла его с колен, мы побрели, не видя, куда ступаем. Я не знаю, что сказать, как его не обидеть...

— Вы молчите! Я понимаю, что не имел права говорить обо всем этом. Пусть признание вас ни к чему не обязывает, но возьмите у меня в долг деньги, — я же вижу, что иногда вы не приезжаете из-за того, что у вас нет денег на дорогу. У нас уже почти готово либретто сценария, мы получим двадцать пять процентов от договора, вы сразу же сможете отдать мне долг!

Так не хочется и трудно объяснить чужому человеку свое сокровенное, понятное мне одной.

— Борис! Мы с вами никогда на касались этой темы... Я не хочу замуж... никогда не хотела. И я не смогу вам объяснить, откуда ко мне пришло это. Когда я вижу свадьбу, когда открыто под руку появляются на людях муж и жена, — и это значит мужчина и женщина, — мне всегда не по себе. Мне кажется, что печать в паспорте, дающая на это право, выдумана людьми для фальшивой морали, для прикрытия, может быть, даже цинизма; нельзя вот так напоказ идти с близким мужчиной, потому что тебе в паспорте

поставили эту печать. Отношения мужчины и женщины должны быть скрытыми для глаз, тайными... Я не могу сказать близкому мужчине «ты». Я стесняюсь быта, живя в одной комнате...

Борис ничего не понял, перебил:

— Пусть будет так, как вы хотите, но только захотите стать моей, пусть даже тайной женой! Все, что хотите!

Я не могу, не смею сказать ему, что если бы и согласилась, то только из чувства благодарности.

— Дайте мне подумать до следующего приезда.

Я приехала через два дня. Борис так взволнован, что это видно всем: никого не слушает, не видит, отвечает невпопад, заглядывает в глаза, чтобы прочесть мое решение. А меня не отпускают, тянут в гостиную. Я поднялась к себе и тихонько постучала по батарее. Комната Бориса на первом этажа прямо под моей, и я стуком по батарее обычно вызываю его для работы. Через секунду Борис стоял в дверях, не дал сказать ни слова, бросился обнимать, целовать, хотел лечь в постель одетым, в сапогах; когда он их снял, в комнате стало удушливо от запаха, а потом из его горла вырвался мат...

Как я не умерла за завтраком от невероятности произошедшего и от стыда!.. Все смотрели на меня по-другому, все всё знали — в нашем маленьком доме все все знают друг о друге. Борис сияет, сказал, что у него в городе дела, поехал со мной в Москву. Я провела день у окошка на Лубянке, а когда вернулась домой, застала накрытый стол, цветы, раки, шампанское. Борис торжествен, вымыт, выбрит. Он сказал Маме, что мы поженились.

Немцы отступают! Мы воскресаем из мертвых!

Борис получил здесь, в центре, недалеко от нашей гостиницы, в обмен на наши две комнаты на Ка-



лужской двухкомнатную квартиру. Более того, он каким-то образом умудрился не сдать Мамину комнату, и теперь, наконец, через столько лет у тети Варе будет свой угол. Нашим в Ташкенте уже написали, чтобы начали собираться домой.

И все в действительности хорошо: мне тридцать лет, я в своем расцвете — мой конь быстро и незаметно примчал меня к этому сроку. Но... несмотря на то, что я верчусь, как белка в колесе, откуда-то исподволь, из глубины вползает в душу горечь, непонимание чего-то главного, важного начинает давить, приходит ощущение жизни, как будто ты в метро: если не опустишь пяти копеек — створки захлопнутся. А что эти пять копеек? Роли, которые ты не хочешь, но должна играть? Да, я не хочу проводить на сцене партийные собрания, призывать к строительству социализма! Меня спасает мое амплуа, я в таких ролях «неубедительна», и меня на них не назначают. Ну, а если? Отказываться? Вот створки и захлопнутся! И я знаю, что никогда не сыграю то, что мне хотелось бы сыграть: хочу сыграть прокурора, только, конечно, не нашего, не в нашей стране, у нас он лжец и пешка! Гедду Габлер!

Я же не знаю, что обо мне начались сплетни. Вот оно, пришло! На студии в примерной молодой человек, не видя меня, рассказывает в компании подробности моего с ним романа — скабрёзно, все хохочут, рассказывает, что я без мата слова сказать не могу... Мой гример, интеллигентный, пожилой человек, сорвался с места, чтобы дать ему пощечину, я удержала — ну драка, ну скандал, и что?! В другом месте он опять все повторит, только посмотрит, нет ли меня поблизости. Приезжаю домой, рассказываю Яде (подруге детства. Г. К.).

— А я знаю о тебе еще и не такие сплетни!

— Почему же ты мне не рассказала?

— А когда тебя поймаешь?!

Как же я никогда не думала о зависти, о злобе, они же убивают хуже удара. Люди завидуют страстно, до ненависти, как будто ты вошел в рай, а они этих дверей открыть не могут.

А двери в «рай» действительно открылись: мы наконец-то удостоились приглашения в Кремль по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Бедный царский дворец, взирающий на это пиршество первобытных людей, переодетых во фраки и мундиры... Столы ломаются от яств. Бесклассовое общество тут же превратилось в классовое: несчастное русское крестьянство, теперь именуемое колхозниками, хорошие рабочие, именующиеся стахановцы, увидя это столпотворение, плюя на свою партийность, запрещающую им пить, как положено в деревне, на заводе, на шахте, выпивают первый стакан водки без закуски, второй... А дальше все продумано и поставлено блестяще: из-за штор, из-за дверей, из-за углов, из-за колонн возникает рядом с пьяным недремлющее око в военном, и пока лучший представитель своей прослойки не заснул на столе или пока его не вырвало, элегантно выволакивают его под белы ручки из зала. Словие дореволюционной пожилой интеллигенции — писатели, артисты, художники — сдержанны. Нувориши шумны, крикливы, уродливы, подхалимы; а далее уже совсем невоспитанная новая волна, как Борис и Костя. Они стали лауреатами Сталинской премии и горды этим и не понимают, что получили ее за что-то, не имеющее отношения к творчеству; это, правда, не очень заметно, потому что, в принципе, все получают эту премию непо-

нятно за что, и каждый раз награды вызывают искреннее недоумение...

Дорога домой: ни радости, ни счастья... нет и нет... А может быть, их в нашей стране и не может быть. Я никогда не видела правительство вблизи, убожество: маленькие, уродливые, плохо одетые, неинтеллигентность написана на лицах, намек на духовность, интеллект, ум. Для меня они убийцы страшные, залитые кровью, они, наверное, мне ночью приснятся. Говорят, они сами не расстреливают, есть подручные, но Сталин в кого-то стрелял сам...

Теперь, по мановению чьей-то волшебной палочки, мы приглашаемся и на иностранные приемы в посольства. Лучше было бы не видеть, чтобы не с чем было сравнивать.

Сегодня приглашение на обед в югославское посольство. Посол красивый, вежливый, молодой, даже холеный. Я заметила, что европейские коммунисты все-таки более интеллигентны, более прилично выглядят. Оказывается, приглашены только я и Борис.

— Не удивляйтесь семейному обеду, я хочу, Татьяна Кирилловна, с вами поговорить не в сутолоке приема. Мы купили ваш фильм «Ночь над Белградом» и хотели бы, чтобы вы посетили нашу страну в дни премьеры.

Идиотское положение. Он же коммунист и знает, что я носа никуда показать не могу по своему желанию.

— Мы вышлем вам приглашение через Общество культурной связи с заграницей, как вы его называете — ВОКС, только вы должны дать точные сроки и дату вашего прибытия, чтобы мы могли приготовить рекламу и премьеру.

Теперь на моем лице от счастья и изумления, наверное, идиотское выражение... Неужели я когда-нибудь смогу выйти за околицу своего села... Я границу знаю только по заграничным фильмам, которые, кстати, на экранах не идут, а изредка чудом показываются у нас в Доме кино.

А на нас посыпались, как из рога изобилия, блага: прикрепили к больнице, не знаю, как она называется официально, а в миру «кремлевкой», где лечат правительство; прикрепили к снабжению продуктами, да такими, которых нет и в «Торгсине», и почти за гроши; скоро будет большая квартира; Борис каким-то образом то ли достал, то ли выхлопотал машину «мерседес», черную красавицу, сделанную в Германии по индивидуальному заказу; дача в Серебряном бору, где живут тоже все «они». Только за что? Борис ничего хорошего еще не написал, а я артистка, и все.

И уже совсем чудо: я приглашена на кремлевский концерт, куда приглашаются только народные Союза, и то избранные, любимые «ими», одни и те же; бывают эти концерты, как мне рассказывали, по ночам, после «их» совещаний, заседаний, в виде развлечения. Заехать за мной должен член правительства Берия. Бориса опять нет, теперь все журналисты на Нюрнбергском процессе.

Какое-то незнакомое чувство... боязнь провала... Нет... что-то совсем другое... какая-то тревога.

Из машины вышел полковник и усадил меня на заднее сиденье рядом с Берией, я его сразу узнала, я его видела на том приеме в Кремле. Он весел, игрив, достаточно некрасив, дрябло ожиревший, противный, серо-белый цвет кожи. Оказалось, мы сразу не едем в Кремль, а должны подождать в особняке, когда кончится заседание. Входим. Полковник исчез.

Накрытый стол, на котором есть все, что только может прийти в голову. Я сжалась, сказала, что перед концертом не ем, а тем более не пью, и он не стал настаивать, как все грузины, чуть не вливающие вино за пазуху. Он начал есть: некрасиво, жадно, руками, — пить, болтать, меня попросил только пригубить доставленное из Грузии «наилучшее из вин». Через некоторое время он встал и вышел в одну из дверей, не извиняясь, ничего не сказав. Могильная тишина, даже с Садового кольца не слышно ни звука. Я видела этот особняк, он рядом с Домом звукозаписи, на углу Садового кольца, и я совсем недавно здесь проходила. Огляделась: дом семейный. Немного успокоилась. Уже три часа ночи, и уже два часа мы сидим за столом, я в одном платье, боюсь его измять, сижу на кончике стула, он пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты, какой-то Коба меня еще не видел живьем. Спрашиваю, кто такой Коба...

— Ха! Ха! Вы что, не знаете, кто такой Коба? Ха! Ха! Ха! Это же Иосиф Виссарионович.

Опять в который раз выходит из комнаты. Я знаю, что все «они» работают по ночам. Бориса в ЦК вызывают всегда ночью, но я устала, сникаю. На сей раз, явившись, он объявляет, что заседание у «них» кончилось, но Иосиф так устал, что концерт отложил. Я встала, чтобы ехать домой. Он сказал, что теперь можно выпить, что если я не выпью этот бокал, то он меня никуда непустит. Я, стоя, выпила. Он обнял меня за талию и подталкивает к двери, но не к той, в которую он выходил, и не к той, в которую мы вошли, и, противно сопя в ухо, тихо говорит, что поздно, что надо немного отдохнуть, что потом он меня отвезет домой. И все, и провал. Очнулась, никого вокруг, тихо открылась дверь, появилась женщина, молча открыла дверь в другую комнату, молча про-

водила в комнату, в которой вчера был накрыт ужин; выплыл в сознании этот же стол, накрытый для завтрака, часы, на них десять часов утра, я уже должна сидеть на репетиции. Пошла, вышла, села в стоящую у подъезда машину, приехала домой, попросила Ядю уйти к себе, не подзывать к телефону, кто бы ни звонил, ко мне никому не входить.

Изнасилована, случилось непоправимое, чувств нет, выхода нет, сутки веки не открываются даже рукой.

Молча стоим шпалерами по семь человек у лагерной вахты. Нас много, старух, девочек, женщин, — черная масса в черных тяжелых бушлатах, в черных ватных штанах, в непомерных валенках.

Рассвет еще не скоро. Прожектор выхватывает конвой, рвущихся собак. Мороз. В фашистском государстве все это называется концентрационным лагерем, а в нашем коммунистическом — исправительно-трудовым.

Вчерашняя пурга опять замела дорогу на лесоповал, дорогу каторжников, пять километров вытягиваем ноги, хватаясь за сугробы, — исходящее мужество, но за нами остается что-то похожее на дорогу, все-таки полторы тысячи ступней, а над головой звезды... Огромные северные звезды...

Хоть бы пургу, бешеную, сатанинскую вьюгу, чтобы замело и небо, и землю, и лагерь, и вахту, чтобы все смешалось в ад, чтобы вернуться в барак, упасть на нары, в чем есть и как есть, и не шевелиться.

Лес валят мужчины. Их уже перевели на следующий участок. Мы, женщины, не должны их видеть, мы должны обрубать сучья и складывать лес в штабеля. Между нами и уголовницами идет битва не на жизнь, а на смерть, за место под сосной. Выжить

можно только под верхушкой, мы, интеллигенция, оказываемся под основанием. Приемов не знаем. Когда взвалили на плечи сосну, у одной учительницы хлынула из ушей кровь. Выручили нас, как и всю послевоенную страну, «работяги», простой народ, арестованный миллионами, чтобы здесь работать бесплатно за пайку хлеба. Они нам показали, что и как надо делать, но это стало началом конца: голодные, обессиленные, мы через день-два — в больнице.

Пурга кончилась, и в окошко барака всплыла луна... Огромная... Здесь все огромное. Звезды огромные... Солнце огромное. Луна огромная... Мозг чугуновый... По нему бьют железкой... Подъем... Неужели я когда-нибудь была ребенком...»

## **ОНА ВСЕГДА БЫЛА ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНА...**

Во все времена для очень красивых женщин существовала темная сторона жизни. Некоторых называли ведьмами. На них организовывали охоту. Какое же обвинение им предъявляли? В первую очередь то, что они похожи на «греховную Еву» и полны похоти. Охота на ведьм чаще всего становилась «развлечением» для темных народных масс, порой была весьма удобным орудием в руках мужей, не видящих другой возможности избавиться от неудобных жен.

Берия никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. А обидеться на актрису Зою Федорову ему было за что: он помог ей, вытащил из тюрьмы отца, арестованного в 1938-м по обвинению в шпионаже в пользу Германии, а она этого не оценила. Позже Зоя Алексеевна скажет, что до января 1941-го неоднократно встречалась с Берией, благодарила его за помощь, но ему этого было мало и он откровенно ее домогался, а в 1940-м дважды пытался изнасиловать.

Главные пункты обвинения Зои Алексеевны выглядят довольно зловеще: «Являлась инициатором создания антисоветской группы, вела враждебную агитацию, допускала злобные выпады против руководителей ВКП(б) и советского правительства, призывала своих сообщников к борьбе за свержение со-



ветской власти, высказывала личную готовность совершить террористический акт против главы советского государства. Поддерживала преступную связь с находившимися в Москве иностранными разведчиками, которым передавала извращенную информацию о положении в Советском Союзе. Замышляла совершить побег из СССР в Америку. Кроме того, незаконно хранила у себя оружие».

Девять лет в ГУЛАГе.

11 декабря 1981 года в дом на Кутузовском, 4 приехал молодой человек — навестить свою тетю. Звонил, стучал, барабанил в дверь — в ответ ни звука. А ведь о встрече условились заранее. Тете семьдесят четыре. Мало ли что... Да еще торчащая в двери записка от ее приятельницы, которая тоже не дозвонилась и не достучалась. И молодой человек помчался домой за запасными ключами.

Когда открыли дверь и вошли в гостиную, увидели сидящую в кресле тетю... с простреленной головой. Этой тетей была известная и всеми любимая киноактриса Зоя Федорова.

На месте преступления нашли пулю и гильзу от пистолета «зауэр». Следы борьбы отсутствовали. Замки на дверях целые. Из квартиры, судя по всему, ничего не похищено. Но и следов преступника или преступников тоже не обнаружено. Работали профессионалы, причем хорошо знакомые Зое Алексеевне. Скорее всего, она сама открыла дверь, потом спокойно села в кресло, к ней подошли сзади и выстрелили в затылок.

Журналист из Нью-Йорка Александр Минчев взял интервью у известной киноактрисы Виктории Федоровой. Виктория Федорова — дочь Зои Федоровой.

— Кто убил вашу маму?

— Я никогда не узнаю, кто убил. Теперь уже, думаю, никогда. Очень возможно, что КГБ к этому никакого причастия не имел.

— Как это произошло, вы знаете всю историю?

— Да. То есть, что я знаю: только знаю, когда мамино тело нашли... Маму нашли в ее квартире, сидящую на стуле с телефоном в руке, с простреленной головой. Кто-то, кто был в комнате, выстрелил ей в затылок с очень близкого расстояния — пуля вышла через глаз.

— Могла ли она знать убийцу?

— Она наверняка его впустила. Потому что у мамы были все сигнализации в квартире и доме, она всегда была очень осторожна, прежде чем открыть дверь. Она или знала кого-то персонально, или кто-то ей представился, с какой-нибудь бумагой...

— ...Или показал удостоверение?

— Она сама открыла дверь, потому что не было ни взлома, ни окна не были повреждены. Советские объявили, что это было убийство с целью грабежа. Однако у нее ничего не украли. Две тысячи рублей лежали на пианино, в комнате, где ее убили, прямо сверху, — никто не тронул.

Она позвонила своей приятельнице около десяти утра и сказала: приезжай, попьем чаю, потому что я потом должна уходить. Маргарита, женщина, которая ее нашла, сказала: хорошо, я сейчас не могу, но часам к 12 приеду. Около 12 она приехала, зная, что мама дома, они договорились встретиться. В доме, в квартире у мамы, очень громко играло радио, орало просто, и Маргарита звонила в дверь около часа. Кроме этого орущего радио, дико орущего, она ничего не слышала. Ее стало все это очень беспокоить, она позвонила моему двоюродному брату, чтобы он

приехал с ключом. Когда она вернулась, радио уже не орало...

— То есть кто-то вошел...

— Кто-то вышел. Маргарита думает, что вот в эти 20 минут, на которые она ушла позвонить, этот человек вышел. Она думает, что, когда она звонила в дверную кнопку, этот человек был там. Еще одна странная вещь: мама была убита из пистолета с глушителем — тогда кто в Москве мог иметь пистолет (что само по себе невероятно), к тому же с глушителем?.. Потом, обстоятельства ее похорон: все было замечано настолько! Мама умерла в пятницу, в понедельник все прикинулись, что никто ничего не знает. Люди из американского посольства приходили, чтобы узнать подробности, соседи говорили, что вообще не знают, кто такая Зоя Федорова. Не могли добиться, чтобы ее похороны были официально, на Мосфильме, что она и заслужила. Не давали никакого места ни на одном кладбище. Произнести ее имя было почти как чума, люди очень странно реагировали. О ее смерти не сообщалось нигде, вообще.

В пятницу мне позвонила Маргарита и сказала, что маму убили... 11 декабря 81-го года, в пятницу. Говорила я с мамой последний раз в среду.

— Как ее похоронили?

— В конце концов добились племянники, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище. Мой двоюродный брат заказал памятник из гранита, очень хороший памятник. Отпевали ее в церкви, на Ваганьковском, насколько я знаю, больше чем тысяча человек пришли.

— А ее «собратья» — актеры, режиссеры?

— Кто-то был, кто не боялся. Но в основном они все по норкам сидели. Похороны сняли на фото- пленку, мне ее передали. Но я попросила мужа спря-

тать ее подальше, не думаю, что я когда-нибудь захочу посмотреть...

— Что-нибудь еще, какие-то факты, из чего можно сделать вывод, кто был замешан. Как, например, соседи отказывались, «Мосфильм» не принимал участия, естественно, никого не нашли нигде и так далее. И второй вопрос: почему им нужно было дожидаться 1981 года, чтобы это сделать?

— Мне столько раз люди задавали этот вопрос! Я не знаю, зачем КГБ нужно было делать что-то 30 лет спустя. Или там был один индивидуальный кретин, который просто ненавидел маму и решил это сделать, чтобы избавиться от нее навсегда. Может, они уже устали от нее, все время какие-то истории... В то же самое время зачем это нужно было — не понимаю. В России же много происходит таких обстоятельств, когда нет никакой логики или последовательности, не говоря уже о смысле, когда правая рука не знает, что делает левая. Один дает приказ, а зачем, почему, никто, кроме него, не знает. Очень возможно, что они вообще к этому никакого отношения не имеют. Но много странных обстоятельств... У меня, к сожалению, еще не было возможности говорить с людьми там. Маргарита уже умерла. Она как раз считала, что убийца убивал маму в тот момент, когда она звонила в дверь. Он был там! Поэтому он уже и не мог сделать радио тише, сделав его громко, и ждал, пока она уйдет, чтобы выйти из квартиры.

С двоюродным братом у меня не было возможности обсудить все подробности, а сейчас я с ним на эту тему даже не говорю.

— Почему?

— Потому что брата после убийства мамы сразу арестовали и сказали, что он убил маму. Посадили

его на Лубянку и оставили голым в холодной камере-одиночке. Говорили, мол, признайся, что ты ее убил. Потом посадили к нему какого-то «наседку», тогда он стал орать вне себя...

Возможно, что утром в пятницу маме кто-то угрожал (или шантажировал), тогда она взяла телефон и сказала, что сейчас позвонит в милицию, и в этот момент ее убили. Она так и была в халате, по-домашнему. Она сама открыла дверь... Потому что Маргарита должна была прийти... Вдруг это тот один идиотский шанс на сто, просто совпадение, что она ждала Маргариту, — звонок раздался, и она в полной уверенности открыла.

Я никогда не отвечу на этот вопрос «кто?» с полной убежденностью; или это КГБ, или воры — никогда об этом и не узнаю, я могу только строить версии на эту тему.

— Но в любом случае, кто бы это ни сделал, он знал, кто она такая?

— Думаю...

— Были ли это криминальные люди или КГБ, по смелости это все-таки напоминает вторых. Такое мое мнение.

— Мое тоже. Но тогда зачем?

— Может быть, из-за книги. Такая запоздалая месть. Ты нам так сделала, а мы тебе вот как сделаем! Мы тебя не добились тогда, можем добить сейчас.

— Я такие предположения слышала из уст людей: мы ее не добились и тебя, но мы вас когда-нибудь добьем. Один кэгэбэшник напился как-то раз до такого состояния, что в моей же квартире (я не знала, где он работает сначала) — у нас была большая компания, всегда открыты двери для всех — сказал: досье на вас обоих вот такой толщины, мы только приказа ждем! Мне было лет 27—28, но дала я ему по голове

бутылкой со всего размаха. Потом мне сказали, что он офицером в КГБ работает.

Вот, это факты, которыми я располагаю. Вам судить...

— Кто был ваш папа?

— Папу моего звали Джексон Роджер Тэйт. Во время Отечественной войны его послали в Советский Союз военным советником (так как США и СССР были союзниками) для того, чтобы он начал претворять в жизнь проект постройки военных баз с целью нападения на Японию из Сибири. И на одном из приемов в Москве он встретил маму, и они влюбились. Такая повседневная история! Мама была очень известной актрисой в то время, но, когда папа влюбился, он ничего о ней не знал. Они просто влюбились друг в друга, потом он уже узнал, кто она. Их предупреждали. Мама всегда говорила: «Нет, я настолько известная, они меня никогда не тронут». А папа был вообще человек из свободного мира, он говорил: «А что в этом страшного — любить», и ничего здесь не было, никакой политики, это была любовь. И они решили: папа был практически в разводе со своей женой, мама тогда не хотела бросать Россию или ее профессию, и они, значит, два идиота, решили, что им возможно будет жить шесть месяцев здесь, в Америке, и шесть месяцев в Советском Союзе. И что мама может продолжать свою карьеру. Так они и договорились. Закончится война, папа уедет в Америку, там официально разведется, а потом приедет и забереет маму. Наступило время победы в 45-м году, они были очень возбуждены этим (так как обе страны были против Гитлера), и победой и всем, и решили, что время проходит, терять его нельзя, и нужно, чтобы у них родился ребенок. Во имя Победы! Если девочка, то Виктория, если мальчик, то Виктор.

Так он стал моим папой.

Потом моего папу выслали. Как персону нон-грата. Ему дали 78 часов. Когда он потребовал объяснений в посольстве, ему сказали: «Джек, просто уже уезжай, от советских ты никаких объяснений не добьешься». Потом он добился объяснений в Америке, в Госдепартаменте, тоже наткнулся на глухую стену, потому что никто ничего не знал, никто не хотел ничего знать, ему все говорили: что же, здесь красивых женщин, что ли, нету, тебе больше всего нужно портить связи с Советским Союзом. Усугублять и без того сложные взаимоотношения. Короче говоря, он продолжал поиски мамы 2 года. Через два года ему пришло письма из Стокгольма, написанное, как он посчитал, рукой мамы, так как он никогда не знал ее почерка, где было сказано: «Джек (а он ей все время писал письма), ты меня очень раздражаешь своими письмами и своим вниманием, я счастлива, я замужем, у меня двое детей, и оставь меня в покое». Папа сказал: «Меня это по самолюбию так ударило, я два года добивался хоть каких-то новостей, рвался туда поехать, разыскать ее...» А поскольку она ни на одно его письмо не отвечала, он решил: ладно, не хочешь меня, ну и не надо.

Естественно, что письмо написала не моя мама. Но он этого не знал. Мама в это время уже сидела на Лубянке, как предатель советского народа.

— Когда ваш папа узнал, что у него есть ребенок?

— Мне было тогда 15 лет, когда ему Ирина Кёрк позвонила и сказала (она в конце концов его адрес нашла, в связи с разными обстоятельствами она не могла раньше с ним связаться), она вся такая женщина — «таинственная незнакомка» — в судьбе моей семьи сыграла не последнюю роль. Она позвонила и сказала: «Значит ли что-нибудь для вас имя Зоя?» По-

том была долгая пауза, и папа сказал: «Все». И в первый раз она сказала: «А знаете ли вы, что у вас есть дочь в Советском Союзе?» И он спросил: «Ее зовут Виктория?» Она сказала: да. Он начал плакать и сказал: я перезвоню вам... Папа, когда я узнала о нем, уже ушел из флота, он был адмирал в отставке. Жил он во Флориде, и я не видела своего отца 29 лет. Умер он от рака, его последние слова были обо мне... Я помню, он сказал, когда я его навещала в больнице: «Передай обязательно Зое, что она была единственной женщиной, которую я действительно очень-очень любил».

— О вашем детстве?

— Родилась я в январе 46-го года. Когда мне было 11 месяцев, маму арестовали. Ей было повешено 7 или 8 статей, что она шпионка, террористка, что она собиралась подрывать тоннель под Кремль и разбомбить там все: 58-я — I, 58 — II, 58 — VI, в общем, много ей дали статей — шпионаж и террор! — но в основном она была «шпионка для Америки». На допросе ей сказали: «Если бы вы сделали аборт, то мы бы вас простили, а поскольку вы еще и родили «врага народа» (то есть меня...), вот этого мы вам простить не можем». Меня забрала тетка, сестра моей мамы, но через несколько месяцев и ее вышвырнули из Москвы вместе с детьми (она была в разводе). И послали нас в Северный Казахстан, село Полудино, куда мы и приехали с двумя тюками. Тетя была бухгалтером, она работала. И так мы и жили: жрать было нечего, спать было негде, я помню, мы иногда просыпались, на стенках внутренних дома лед был — такой холод. Мамину сестру я называла мама, потому что я не знала, что у меня есть другая мама, и они мне решили не говорить, так как маме дали 25 лет и они думали, что мама там и умрет. Она



действительно считала, что свою сестру уже никогда не увидит.

Значит, она мне была мама и ее дети — моими братом и сестрой.

— Ваша первая встреча с мамой?

— Первая встреча с мамой у меня произошла на вокзале. Когда маму амнистировали и выпустили из тюрьмы, в которую она вошла, когда ей было 33, а вышла в 41. (Новый следователь лишь извинился — ошибка. «Ошибка» стоила восемь лет жизни в тюрьме, разрушенной любви, семьи, потерянной дочери и многого, многого другого.)

Она прислала телеграмму нам в Казахстан, чтобы выслали меня. Во-вторых, она прислала огромное количество еды, я помню, мы открыли этот ящик. Я первый раз в жизни увидела апельсины и яблоки, я понятия не имела, что это такое. Яблоки я знала, как они выглядят, но я их никогда не трогала.

И меня отправили в Москву, ничего не объяснив, кто меня будет встречать. Я ехала на поезде четыре дня и очень была горда, что еду совершенно одна. Поезд опоздал часов на семь примерно. Меня только предупредили, что в Москве меня встретит моя «тетя» (тетя с мамой «поменялись» ролями) и чтобы я от вагона не отходила. В шапке конусом вверх, с чемоданчиком деревянным, в котором было два платья, одно школьное и одно мое, я вышла на перрон. Я увидела самую прекрасную женщину, самую красивую, то есть она была для меня идеалом красоты (я не знала, что она была моя мама).

Она была в шубе (которую, как я впоследствии узнала, она заняла у своей бывшей тюремной подружки Руслановой, и не заняла, а Русланова сказала: «Зоя, ты должна появиться как прилично одетая женщина».) Шаль у нее была такая на плечах, — и она очень

была красивая... Она побежала ко мне, она меня сразу узнала, хотя не знала, не видела ни моих фотографий, ничего. И... упала на колени, и рыдала, и целовала меня. Я была очень смущена, потому что все смотрели, люди знали, кто мама была, люди ее узнавали. Я ее еще, глупая, отталкивала, потому что мне было ужасно неприятно, что все на нас смотрят и почему она плачет? Она на меня посмотрела и сказала: «Ты знаешь, кто я тебе?» Я говорю: «Да, ты моя тетя». Это была наша первая встреча.

— Когда мама вам рассказала о тюремных годах?

— Сразу. Никто ничего не утаивал, ни она, ни родственники. Говорили: мама сидела в тюрьме, время такое было в стране, неправильное. Сама мама на протяжении всей жизни вспоминала годы, проведенные в тюрьме, свои чувства, мысли.

Мне было лет 13, наверно, когда я начала задавать маме вопросы о моем отце. И она мне сказала, что папа был летчик и он погиб во время войны. Кстати, у нее был очень большой роман с летчиком, которого звали Иван, он жутко был в нее влюблен, и мама его очень любила, он разбился действительно. Он во время войны, когда есть вообще было нечего, достал где-то утку к Рождеству и полетел к маме, — и разбился. И если бы этого не случилось, меня бы не было, потому что мама рассказывала, что она его очень любила. Поэтому, когда она мне рассказала эту историю, это было не так далеко от правды, у нее в голове был этот летчик. Потом я стала опять истории слышать, что отец у меня был вроде американец, доносились отголоски их романа. И в один прекрасный вечер мама села со мной за стол и рассказала мне всю историю с моим отцом. Что произошло и за что ее действительно посадили. (До этого она говорила, что миллионы сажали за анекдоты и так

далее.) Я была жутко заинтересована и заинтригована, и я спросила: «Мама, а у тебя есть его фотография?» Она сказала, что все забрали и конфисковали, я говорю, ну, у тебя есть хоть что-нибудь посмотреть, как он выглядел, она говорит, пойди, посмотри на себя в зеркало.

...Я сказала: «Его же нужно найти!» Мама ответила: «Вика, меня за это в тюрьму посадили, я не хочу, чтобы у тебя такая же судьба была. Забудь о нем».

И это забылось на несколько лет. Потом приехала женщина одна из Америки, мама рассказала ей эту историю, и она сказала, что, если это возможно, я попытаюсь его найти. Звали ее Ирина Кёрк. У нее ушло 15 лет на это «попытаюсь». Но все-таки они нашли друг друга, пятнадцать лет на поиски... Хотя могло все это произойти и раньше. Ну да ладно, видимо, что написано на роду, никуда не денешься.

В 1974 году я обратилась за визой к советским, после того как получила приглашение из Америки от своего папы.

После убийства Зои Федоровой были подняты на ноги милиция и прокуратура Москвы. Отработаны многочисленные связи, знакомства и контакты. На причастность к убийству проверили свыше четырех тысяч человек. К рассмотрению принимались самые разные версии — от убийства на бытовой почве до убийства по политическим мотивам. Но ни одна не дала положительного результата.

## ДЕЛИКАТНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Спецслужбы — очень деликатная сфера деятельности, она прячет свое оружие, но должна иметь свою философию. Опыт спецслужб подлежит изучению как пример умелого использования глубин сознания и подсознания человека. Не менее интересна эта сфера и с точки зрения морали. Спецслужбы не прекращают своей деятельности и тогда, когда враждующие армии заключают мир.

А вот еще один хороший пример того, как спецслужбы используют женщин. Рассказывает Марина Николаевна Голубева. «В 1972 году я окончила филологический факультет МГУ. Немецкий знала отлично, английский — неплохо. Мой отец, полковник, ожидавший генеральского звания, работал в Генштабе; он и устроил меня в престижную по тем временам контору «Интурист».

Возила зарубежных туристов по золотому кольцу, по Москве и Ленинграду, работала с учеными, деятелями культуры, приезжавшими в СССР на разные мероприятия. Замужем я не была — хотелось пожить в свое удовольствие. Часто заводила романы с гостями, хотя это было строго запрещено. Прелесть этих знакомств была в том, что длились они максимум две недели. Наслаждалась я всю: рестораны, подарки, а то и большие по тем временам деньги.

Со многими своими ухажерами я спала. Но это были мужчины, которые мне нравились, так что ничего плохого я здесь не вижу. Хотя, если бы кто-нибудь узнал обо всем этом, я тут же бы вылетела с работы с волчьим билетом.

Большой проблемой всегда было остаться на ночь в номере своего друга. Я маскировалась — надевала парик и красилась в дикие цвета. Но тут был риск, что гостиничная милиция примет меня за проститутку, поэтому все личные дела приходилось делать днем.

Я жила хорошо, пока не настал день, круто изменивший всю мою жизнь...

У подъезда дома, где я жила, ко мне подошел молодой человек, показал удостоверение, на котором было написано «КГБ СССР», и пригласил прокатиться на машине. Ноги сразу стали ватными. Что-то невнятное лопочу... Минут через двадцать я была в кабинете угрюмого человека в черном костюме, который порылся в ворохе бумаг, а потом поднял на меня глаза:

— Ну как, Марина Николаевна, сами все расскажете?

— Что?

— Все с самого начала. Как было.

— Что «как было»?

— Хорошо, я вам помогу. Валютной проституцией давно занимаетесь?

— Да вы что?! Я гид-переводчик «Интуриста»!

— Тогда потрудитесь объяснить, с какой целью вы в неурочное время, используя служебное положение, встречались с Вольфгангом Либеркнехтом? Как долго вы являлись любовницей офицера БНД (немецкая разведка)? Зачем использовали парик и макияж? За какие услуги Либеркнехт передал вам деньги, если вы не проститутка?

— Он не давал мне денег... — пролепетала я в ужасе.

— Поверьте, мы знаем все. У нас есть оперативная съемка вашей интимной встречи с Либеркнехтом. Взгляните... — и он протянул мне три фотографии, сделанные, видимо, с той самой пленки. Я рыдала от стыда и обиды.

— Да, я валютная проститутка... — в почти бессознательном состоянии произнесла я эти слова.

Тон его смягчился, он объяснил мне, что проституция и валюта — это еще не все. Связь с немецкой разведкой — дело посерьезнее и тянет на измену Родине и расстрел. Но есть что-то еще очень важное. Ведь в «Интурист» меня устроил мой отец, сотрудник Генштаба. Именно он, по мнению КГБ, и передавал через меня иностранным агентам секретные сведения.

Если до этого я еще надеялась, что все как-то разрешится, то теперь поняла: все пропало. Слез не было, я оцепенела. «Черный костюм» протянул мне бумагу и ручку:

— Марина Николаевна, напишите всю правду. Через час я вернусь — и мы продолжим.

Я ничего не написала, но, когда он пришел, сказала ему все, что у меня было, без утайки.

— Я верю вам, — сказал он тихо, — постараюсь помочь. Но и вы должны быть благоразумной.

— Я сделаю все, что скажете!

— Мы встретимся с вами через несколько дней и решим, что делать дальше. И помните: ваше молчание — залог безопасности, вашей и вашего отца.

Я уже не помню подробностей. Все случилось так неожиданно и быстро, что я ничего не успела осмыслить. Просто поняла, что беззаботной жизни у меня больше не будет.

Как я узнала позже, многие номера в крупных советских гостиницах были оборудованы кинокамерами; туда селили иностранцев, которые представляли интерес для КГБ. Съемку вели не только в ходе слежки, но и для возможного шантажа, как в моем случае. Не знаю, был ли Вольфганг Либеркнехт агентом немецкой разведки или в КГБ блефовали. О судьбе моего кавалера я больше ничего не знала. А моя изменилась коренным образом.

Через пару дней меня привезли к тому же «черному костюму».

Представившись Сергеем Сергеевичем, он сказал, что я имею возможность искупить свою вину перед Родиной. Ни меня, ни моего отца не тронут, пока я буду честно выполнять свои новые обязанности.

— И никаких романов с иностранцами, Марина Николаевна! По крайней мере, без нашего согласия. Но об этом потом. Пока будете еженедельно писать отчеты о своей работе, а мы посмотрим, насколько вы оправдываете оказанное вам доверие. Какой псевдоним вы хотите взять?

Каждый четверг я писала в этом кабинете свои отчеты, поливая грязью дев из «Интуриста». Я была уверена, что и они так же поливали меня. Приходил Сергей Сергеевич, задавал вопросы... Было ясно, что мои отчеты, подписанные псевдонимом Багира (мне с детства нравилось имя пантеры из Киплинга), он читает.

Прошло около трех месяцев, и Сергей Сергеевич сообщил мне, что «руководство» довольно моей работой. Мне хотят поручить более серьезное дело. Для этого еще предстоит многому научиться; начинать же надо с малого. Он добавил, что работа у ме-

ня будет даже опасная, надо быть готовой к неожиданностям.

Для начала меня приставили в качестве переводчика к немецкому коммерсанту. Он приезжал для участия в выставке промышленного оборудования. Наше сотрудничество, по планам КГБ, должно было окончиться в постели. Сергей Сергеевич объяснил, что нашу встречу отснимут и в случае необходимости этот материал будут использовать против немца.

Было во всем этом, конечно, много унизительного, но я старалась ни о чем не думать. Честно говоря, мне даже нравилось такое предложение — у меня была страсть к авантюрам... С этого дня я начала получать прибавку к зарплате в размере 55 рублей — в Тушино, в специальной кассе. Вместе с моей интуристовской зарплатой у меня выходило 144 рубля в месяц — совсем немало для того времени...

Вернусь, однако, к ситуации с немецким бюргером. Сергей Сергеевич нарисовал мне план номера, показал, где находится камера. В постели я должна все делать так, чтобы немец как можно чаще поворачивался лицом к камере. Более того: чем откровенней будут сцены, тем лучше. Я представила, как Сергей Сергеевич с коллегами будут просматривать эти сцены и обсуждать мои достоинства и недостатки... Не успела еще ничего ему сказать, но он, видимо, почувствовал мое настроение и быстро поставил на место: «Вы участвуете в секретной и ответственной операции советской разведки. Держите себя в руках».

До того как мы вошли в номер, я вела себя очень уверенно. Мне даже нравилась эта игра ощущением моей тайной власти над мужчиной. Я чувствовала, что нравлюсь моему Отто, но, когда оказалась с ним



в номере, забыла обо всем на свете. Боялась, что после ужина он сядет в кресло и просто уснет, — ведь ему было под шестьдесят (мне, кстати, не исполнилось тогда и двадцати шести). Но вышло все, как хотел Сергей Сергеевич. Немец даже сам попросил не выключать свет. Я для приличия поломалась, а потом согласилась.

Немец уехал в свой Гамбург... Как выяснилось, КГБ не зря собирало на него компромат: он действительно был связан с БНД. Отто попытался, как выразился Сергей Сергеевич, «прижать» одного нашего, работавшего в ФРГ; вот тут-то и пригодились наши съемки. Через два дня после его разговора с нашим специалистом к нему в ресторане подсел приятный молодой человек и, завязав беседу, показал несколько фотографий. Расчет оказался верен: дело в том, что своей карьерой, деньгами, всем, что имел, Отто был обязан своей жене — дочке очень богатого бизнесмена. Если бы эти фотографии показали ей, бедный муженек лишился бы всего. Понятно, что он навсегда оставил попытки вербовать советских граждан.

Успех был налицо, и меня стали привлекать к подобным операциям раз в два-три месяца. Учитывая мой блестящий немецкий, меня приставляли к немцам, австрийцам и швейцарцам. Один раз был австралиец. В случае с ним комитетчиками была использована ситуация в его семье. Его жена была болезненно ревнива и угрожала, что, если он изменит ей хотя бы еще один раз, она уйдет из жизни, да не одна, а вместе с их маленьким сыном. Поэтому австралиец, когда еще в Москве увидел на фото нашу интимную сцену, сломался практически сразу, и его завербовали.

Это рассказал мне Сергей Сергеевич — может

быть, затем, чтобы я прониклась сознанием собственной значимости и работала еще лучше. А может, и потому, что я нравилась ему как женщина. Это и понятно — ведь он осматривал съемки, где я в постели вытворяла черт знает что. Надо было выполнять любые желания моих «объектов»: чем изощреннее и развратнее секс, тем лучше компромат. Но надо сказать, что Сергей Сергеевич ни разу не выдал своих эмоций, не говоря уже о каких-то предложениях...

По ходу работы всплыл один неприятный момент: мне дали понять, что перспектива моего брака с кем бы то ни было, мягко говоря, нежелательна, как и контакты на стороне. Я должна была докладывать о них Сергею Сергеевичу, и когда я это делала, каждый раз отношение было резко отрицательным.

Проявил КГБ заботу и о контрацепции. Мне выдавали упаковки таблеток без опознавательных знаков. Одну нужно было принять за день до полового контакта, одну перед и одну на следующий день. Если все случалось неожиданно, выпивала по две штуки сразу. После каждого контакта и раз в месяц профилактически меня осматривал венеролог. Уколы пришлось делать всего один раз — тот самый австралиец оказался больным. К врачу меня отправили в поликлинику в Варсонофьевском переулке. Именно там я впервые встретила сестер по оружию. Впечатлениями мы обменивались нечасто. Многие лечились серьезно, особенно те, кто работал с латиноамериканцами и неграми. Про азиатов говорили, что они очень чистоплотные. Не знаю — не было случая проверить.

Бывали и неудачи. То объект не был способен ни на что, кроме комплиментов, то был слишком

умен и соглашался трахаться только в ванне и лифте. Один раз меня приставили к австрийцу, который оказался голубым... Тут уже село в лужу мое руководство. Приставь они к нему мужчину (такие тоже есть), задача была бы выполнена. А он всего на три дня приезжал. Плохо разведали о его пристрастиях...

Но был и другой случай, смешной и вместе с тем страшный. Объект оказался извращенцем. Мало того, что он меня связал и исхлестал ремнем, так еще был и любителем анального секса. От боли и обиды я разозлилась и начала орать, чтобы он меня развязал, но мои крики доставляли ему особое удовольствие. Он взялся за меня с удвоенной силой. Я думала: если жива останусь, потребую увеличения зарплаты вдвое. Истязание длилось часа два, а потом он притомился. Развязал и сделал пару комплиментов. Я его по-русски обматерила и скорей рванула оттуда, пока он спать не передумал. А у лифта встретил меня наш сотрудник Владик (он отвечал за меня и мою безопасность) и шепотом сообщил, что мне надо вернуться в номер и побудить этого садиста к новым истязаниям. У них, оказывается, камера немного барахла! Тогда только-только начали устанавливать видео. Новые камеры были гораздо удобнее, но сбоев в их работе было поначалу много.

Вернулась я обратно — что делать? К счастью, на подобное дебила еще раз не хватило. После этого меня наградили путевкой в Геленджик и премией в размере 20 рублей. Что касается извращенца, то возможность «прижать» его у КГБ появилась в полной мере. Он был сотрудником церковной католической радиостанции, которая вещала на страны социалистического лагеря, делал там блестящую карьеру. По

данным госбезопасности, готовился занять на радиостанции руководящий пост. Вот тут-то и пригодились бы наши фотографии, особенно кинокадры с участием главного радиоцерковника».

Можно только посочувствовать многострадальному племени западных советологов, которым приходится, сравнивая и сопоставляя разрозненные факты, по крупице восстанавливать — словно доисторического динозавра по нескольким позвонкам — подлинную картину происходящего за стенами Кремля.

## УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

«История болезни» — небольшая книжечка с картонной обложкой. Обычно такая «история» обычного человека не привлечет внимания. Но если она принадлежит вождю, то картон мгновенно превращается в роскошный переплет. Тогда такую книгу пишут не только врачи, но и историки, журналисты, политики. «Истории» могут быть разного прочтения и интерпретации. Но так или иначе они расширяют еще одну важную тему: власть и здоровье.

Историю медсестры Н. и Леонида Ильича Брежнева рассказал Е. Чазов.

«Начиная с весны 1973 года у Брежнева изредка, видимо в связи с переутомлением, начали появляться периоды слабости функции центральной нервной системы, сопровождавшиеся бессонницей. Он пытался избавиться от нее приемом успокаивающих и снотворных средств. Когда это регулировалось нами, удавалось быстро восстановить и его активность, и его работоспособность. Он не скрывал своего состояния от близкого окружения, и они (некоторые — из искреннего желания помочь, другие — из подхалимства) наперебой предлагали ему различные препараты, в том числе и сильнодействующие, вызывавшие у него депрессию и вялость.

Вот с такими ситуациями мне и пришлось столкнуться во время визита Брежнева в США. Но, так как его организм был еще достаточно крепок, нам удалось очень быстро выводить его из таких состояний, и никто из сопровождавших лиц, из американцев, встречавшихся с ним, не знал и не догадывался о возникавших осложнениях. Заметить их внешние проявления было почти невозможно. Мне казалось, что, вернувшись домой, отдохнув и придя в себя, Брежнев вновь обретет привычную активность и работоспособность, забудет о том, что происходило с ним в США. Однако этого не произошло. Помогли «сердобольные» друзья, каждый из которых предлагал свой рецепт лечения, и роковая для Брежнева встреча с медсестрой Н. Я не называю ее фамилию только по одной причине — она жива, у нее дочь, и, главное, ее судьба сложилась непросто. Ее близость к Брежневу принесла ей немало льгот: трехкомнатную квартиру в одном из домов ЦК КПСС, определенное независимое положение, материальное благополучие, быстрый взлет от капитана до генерала ее недалекого во всех отношениях мужа. К сожалению, я слишком поздно, да и, откровенно говоря, случайно, узнал всю пагубность ее влияния на Брежнева.

Однажды раздался звонок Андропова. Смущенно, как это было с ним всегда, когда он передавал просьбы или распоряжения Брежнева, которые противоречили его принципам и с которыми он внутренне не соглашался, он предложил в 24 часа перевести старшую сестру отделения, где работала Н., на другую работу. Когда я поинтересовался причинами и заметил с определенной долей иронии, что вряд ли председатель КГБ должен заниматься такими мелкими вопросами, как организация работы медсестер,

он сердито ответил, что просьба исходит не от него, для меня лучше ее выполнить. Мне искренне жалко было старшую медсестру, прошедшую фронт, пользовавшуюся в коллективе авторитетом, и, чтобы выяснить все подробности и попытаться исправить положение, я встретился с лечащим врачом Брежнева Н. Родионовым.

Оказалось, что именно он, который должен был строго следить за режимом и регулировать лекарственную терапию, передоверил все это сестре, которую привлек к наблюдению за Брежневым. Мягкий, несколько беспечный, интеллигентный человек, он и не заметил, как ловкая медицинская сестра, используя слабость Брежнева, особенно периоды апатии и бессонницы, когда он нуждался в лекарственных средствах, фактически отстранила врача от наблюдения за ним. Мой визит к Брежневу не дал никаких результатов — он наотрез, с повелительными нотками в голосе, отказался разговаривать и о режиме, и о необходимости регулирования лекарственных средств, и о характере наблюдений медсестры.

Представляю историков, политологов, дипломатов, обществоведов, которые сейчас в архивах ищут материалы и документы, которые бы позволили выяснить причины взлета и падения Брежнева, истоки того процесса, который в конце концов привел великую страну социализма к событиям апреля 1995 года...

Вероятно, эти ученые мужи не согласятся с моим видением событий, приведших к кризису середины 80-х годов. Но я, как и все врачи, прагматик и ищу всегда корни возникающих процессов в логике конкретных фактов и в действиях конкретных лиц.

С этих позиций пагубное влияние медицинской сестры Н. на Брежнева, ускоряющее его деградацию, — конкретный объективный факт, способствовавший развалу руководства страной, значивший больше, чем десятки выступлений различных групп «диссидентов».

А разве не вложили камень в здание кризиса так называемые друзья Брежнева, не только потакавшие его слабостям, но и усугублявшие их? Поистине, от великого до смешного один шаг...

Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что от нашей врачебной деятельности, от нашей активности и позиции будущее страны зависело в не меньшей степени, чем от расстановки политических и общественных сил. Реально оценивая складывающуюся ситуацию, я стал искать союзников в борьбе за здоровье Брежнева, сохранение его работоспособности, активности и мышления государственного деятеля. Прежде всего я решил обратиться к семье, а конкретнее — к жене Брежнева, Виктории Петровне, тем более что у нас сложились хорошие, добрые отношения. Они поддерживались и тем, что тяжелобольная Брежнева понимала, что живет только за счет активной помощи врачей. Не хочу уподобиться многочисленным «борзописцам», смакующим несчастье и злой рок в семействе Брежневых. Большинство из этих несчастий выносила на своих плечах жена Брежнева, которая была опорой семьи. Она никогда не интересовалась политическими и государственными делами и не вмешивалась в них, так же, впрочем, как и жена Андропова. Ей хватало забот с детьми. Сам Брежнев старался не вмешиваться в домашние дела. При малейшей возможности он «вырывался» на охоту в Завидово, которое стало его вторым домом. Как



правило, он уезжал днем в пятницу и возвращался домой только в воскресенье вечером.

В последние годы жизни Брежнева у меня создавалось впечатление, что и домашние рады этим поездкам. Думаю, что охота была для Брежнева лишь причиной, чтобы вырваться из дома. Уверен, что семейные неприятности были одной из причин, способствующих болезни Брежнева. Единственно, кого он искренне любил, это свою внучку Галю. Вообще, взаимоотношения в семье были сложные. И не был Чурбанов, как это пытаются представить, ни любимцем Брежнева, ни очень близким ему человеком.

Всю заботу о Брежневе в последнее десятилетие его жизни взяли на себя начальник его охраны А. Рябенко, который прошел с ним полжизни, и трое прикрепленных: В. Медведев, В. Собаченков и Г. Федотов. Более преданных Брежневу людей я не встречал. Когда Брежнев начал превращаться в беспомощного старика, он мог обойтись без детей, без жены, но ни минуты не мог остаться без них. Они ухаживали за ним, как за маленьким ребенком. Как оказалось, в конце концов именно они стали нашими союзниками в борьбе за здоровье и работоспособность Брежнева.

К моему удивлению, меня ждало полное разочарование в возможности привлечь жену Брежнева в союзники. Она совершенно спокойно прореагировала и на мое замечание о пагубном влиянии Н. на Брежнева, и на мое предупреждение о начавшихся изменениях в функции центральной нервной системы, которые могут постепенно привести к определенной деградации личности. В двух словах ответ можно сформулировать так: «Вы — врачи, вам доверены здоровье и работоспособность Гене-

рального секретаря, вот вы и занимайтесь возникающими проблемами, а я портить отношения с мужем не хочу». Более того, в конце 70-х годов, когда у Брежнева на фоне уже развившихся изменений центральной нервной системы произошел срыв, связанный с семейным конфликтом у его внуки, никого из близких не оказалось на его стороне. Уверен, что этот срыв усугубил процессы, происходившие и в сосудах мозга, и в центральной нервной системе.

Не получив поддержки в семье Брежнева, я обратился к единственному человеку в руководстве страны, с которым у меня сложились доверительные отношения, — к Андропову. Мне казалось, что он, обязанный своим положением Брежневу, прекрасно разбирающийся в политической ситуации и положении в стране, поможет решить возникшие проблемы, от которых зависит будущее руководство партией и страной. По крайней мере, пользуясь авторитетом и доверием Брежнева, сможет обрисовать ему тяжелое будущее, если тот не примет наших советов. Несмотря на близость к Андропову на протяжении 18 лет, наши длительные откровенные беседы на самые разнообразные темы, сложные ситуации, из которых нам приходилось выходить вместе, несмотря на все это, он и сейчас представляет для меня загадку. Загадку, может быть, даже бóльшую, чем двадцать лет назад, когда я ему во многом слепо доверял. Но это отдельный разговор.

Тогда же, в 1973 году, я ехал на площадь Дзержинского с большими надеждами...

Коротко, суть поставленных вопросов сводилась к следующему: каким образом воздействовать на Брежнева, чтобы он вернулся к прежнему ре-

жиму и принимал успокаивающие средства только под контролем врачей? Как удалить Н. из его окружения и исключить пагубное влияние некоторых его друзей? И самое главное — в какой степени и надо ли вообще информировать Политбюро или отдельных его членов о возникающей ситуации?

Андропов довольно долго молчал после того, как я закончил перечислять свои вопросы, а потом, как будто бы разговаривая сам с собой, начал скрупулезно анализировать положение, в котором мы оказались. «Прежде всего, — сказал он, — никто, кроме вас, не поставит перед Брежневым вопроса о режиме или средствах, которые он использует. Если я заведу об этом разговор, он сразу спросит: «А откуда ты знаешь?» Надо ссылаться на вас, а это его насторожит: почему мы с вами обсуждаем вопросы его здоровья и будущего. Может появиться барьер между мной и Брежневым. Исчезнет возможность влиять на него. Многие, например Щелоков, обрадуются. Точно так же не могу я вам ничем помочь и с удалением Н. из его окружения. Я как будто бы между прочим рассказал Брежневу о Н., даже не о ней, а о ее муже, который работает в нашей системе и довольно много распространяется на тему об их взаимоотношениях. И знаете, что он мне на это ответил? «Знаешь, Юрий, это моя проблема, и прошу больше ее никогда не затрагивать». Так что, как видите, — продолжал Андропов, — мои возможности помочь вам крайне ограничены, их почти нет. Сложнее другой ваш вопрос: должны ли мы ставить в известность о складывающейся ситуации Политбюро или кого-то из его членов? Давайте мыслить реально. Сегодня Брежнев признанный лидер, глава партии и государства, достигшего больших вы-

сот. В настоящее время только начало болезни, периоды астении редки, и видите их только вы и, может быть, ограниченный круг ваших специалистов. Никто ни в Политбюро, ни в ЦК нас не поймет и постараются нашу информацию представить не как заботу о будущем Брежнева, а как определенную интригу. Надо думать нам с вами и о другом. Эта информация может вновь активизировать борьбу за власть в Политбюро. Нельзя забывать, что кое-кто может если не сегодня, то завтра воспользоваться возникающей ситуацией. Тот же Шелепин, хотя и перестал претендовать на роль лидера, но потенциально опасен. Кто еще? — размышлял Андропов. — Суслов вряд ли будет ввязываться в эту борьбу за власть. Во всех случаях он всегда будет поддерживать Брежнева. Во-первых он уже стар, его устраивает Брежнев, тем более Брежнев со своими слабостями. Сегодня Суслов для Брежнева, который слабо разбирается в проблемах идеологии, непререкаемый авторитет в этой области, и ему даны большие полномочия. Брежнев очень боится Косыгина, признанного народом, талантливого организатора. Этого у него не отнимешь. Но он не борец за власть. Так что основная фигура — Подгорный. Это — ограниченная личность, но с большими политическими амбициями. Такие люди опасны. У них отсутствует критическое отношение к своим возможностям. Кроме того, Подгорный пользуется поддержкой определенной части партийных руководителей, таких же по характеру и стилю, как и он сам. Не исключено, что и Кириленко может включиться в эту борьбу. Так что, видите, претенденты есть. Вот почему для спокойствия страны и партии, для благополучия народа нам надо сейчас молчать и, более того, постараться скры-

вать недостатки Брежнева. Если начнется борьба за власть в условиях анархии, когда не будет твердого руководства, то это приведет к развалу и хозяйства, и системы. Но нам надо активизировать борьбу за Брежнева, и здесь основная задача падает на вас. Но я всегда с вами и готов вместе решать вопросы, которые будут появляться».

Андропов рассуждал логично, и с ним нельзя было не согласиться. Но я понял, что остаюсь один на один и с начинающейся болезнью Брежнева, и с его слабостями...

После состоявшегося разговора с Андроповым я решил, выбрав подходящий момент, еще раз откровенно поговорить с Брежневым. Воспользовавшись моментом, когда Брежнев остался один, о чем мне сообщил Рябенко, искренне помогавший мне все 15 лет, я приехал на дачу. Брежнев был в хорошем состоянии и был удивлен моим неожиданным визитом. Мы поднялись на 3-й этаж, в его неуютный кабинет, которым он пользовался редко. Волнуясь, я начал заранее продуманный разговор о проблемах его здоровья и его будущем.

Понимая, что обычными призывами к соблюдению здорового образа жизни таких людей, как Брежнев, не убедишь, я, памятуя разговор с Андроповым, перенес всю остроту на политическую основу проблемы, обсуждая его возможности сохранять в будущем позиции политического лидера и главы государства, когда его астения, склероз мозговых сосудов, мышечная слабость станут видны не только его друзьям, но и врагам, а самое главное — широким массам. Надо сказать, что Брежнев не отмахнулся от меня, как это было раньше.

«Ты все преувеличиваешь, — ответил он на мои призывы. — Товарищи ко мне относятся хорошо, и я

уверен, что никто из них и в мыслях не держит выступать против меня. Я им нужен. Косыгин, хотя и себе на уме, но большой поддержкой в Политбюро не пользуется. Что касается Подгорного, то он мой друг, мы с ним откровенны, и я уверен в его добром отношении ко мне (через 3 года он будет говорить противоположное). Что касается режима, то я постараюсь его выполнять. Если надо, каждый день буду плавать в бассейне. (Только в этом он сдержал слово, и до последних дней его утро начиналось с бассейна, даже в периоды, когда он плохо ходил. Это хоть как-то его поддерживало.) В отношении успокаивающих средств ты подумай с профессорами, что надо сделать, чтобы у меня не появлялась бессонница. Ты зря нападаешь на Н. Она мне помогает и, как говорит, ничего лишнего не дает. А в целом, тебе по-человечески спасибо за заботу обо мне и моем будущем».

Насколько я помню, это была наша последняя обстоятельная и разумная беседа, в которой Брежнев мог критически оценивать и свое состояние, и ситуацию, которая складывалась вокруг него. Действительно, почти год после нашего разговора, до середины 1974 года, он старался держаться и чувствовал себя удовлетворительно...

Первый достаточно серьезный срыв произошел накануне визита Брежнева в Польшу во главе делегации на празднование 30-летия провозглашения Польской Народной Республики. За два дня до отъезда новый личный врач Брежнева М. Т. Косарев (прежний умер от рака легких) с тревогой сообщил, что, приехав на дачу, застал Брежнева в астеническом состоянии. Что сыграло роль в этом срыве, разбираться было трудно, да и некогда. Отменить заранее объявленный визит в Польшу было невозможно.

Надо было срочно постараться вывести Брежнева из этого состояния. С большим трудом это удалось сделать, и 19 июля восторженная Варшава встречала руководителя братского Советского Союза. Руководитель был зол на нас, заставивших его выдерживать режим, но зато держался при встрече хорошо и выглядел бодро. На следующий день предполагалось выступление Брежнева на торжественном заседании, и мы просили его выдержать намеченный режим, причем предупредили присутствующую при разговоре Н. об ответственности момента. В ответ была бурная реакция Брежнева в наш с Косаревым адрес с угрозами, криком, требованиями оставить его в покое. Косарев, который впервые присутствовал при такой реакции, побледнел и растерялся. Мне уже приходилось быть свидетелем подобных взрывов, связанных с болезнью, и я реагировал на них спокойнее.

Вечером, когда мы попытались встретиться с Брежневым, нам объявили, что он запретил пускать нас в свою резиденцию, которая находилась в 300 метрах от гостиницы, в которой мы жили. Без нас, вечером, Брежнев принял успокаивающие средства, полученные от кого-то из окружения, вероятнее всего от Н., которая оставалась с ним. Утром мы с трудом привели его в божеский вид. Что было дальше, описывает Э. Герек в своих «Воспоминаниях», в которых Брежнев предстает как странный или неменяемый человек. Мне, больше чем ему, было стыдно, когда Брежнев начал дирижировать залом, поющим «Интернационал».

Я подробно останавливаюсь на этом случае не только потому, что его описание объясняет историю, рассказанную Герекком, но и потому, что подобные ситуации возникали в дальнейшем не раз в

ответственные моменты политических и дипломатических событий.

Теря способность аналитического мышления, быстроту реакции, Брежнев все чаще и чаще не выдерживал рабочих нагрузок, сложных ситуаций. Происходили срывы, которые скрыть было уже невозможно. Их пытались объяснить по-разному: нарушением мозгового кровообращения, сердечными приступами, нередко им придавали политический оттенок.

Не так давно мне позвонил академик Г. А. Арба-тов, один из тех, кто участвовал в формировании внешнеполитического курса при Брежневе, и попросил в связи с необходимостью уточнения материалов его воспоминаний ответить, что же на самом деле происходило с Брежневым во время переговоров с Фордом во Владивостоке в ноябре 1974 года? Это, кстати, подтверждает тот факт, что даже ближайшее окружение Брежнева не знало в то время истины его срывов.

Во Владивосток Брежнев летел в крайнем напряжении. Предстояло вести сложные переговоры по дальнейшему уменьшению военного противостояния США и СССР, причем каждая из сторон боялась, как бы другая сторона ее не обманула. Кроме того, надо было принимать решения в ходе переговоров, что уже представляло трудности для Брежнева. Первые признаки начинающегося срыва мы обнаружили еще в Хабаровске, где пришлось приземлиться из-за плохой погоды во Владивостоке.

Обстановка переговоров, по моим представлениям, была сложной. Они не раз прерывались, и я видел, как американская делегация спешила на улицу в бронированный автомобиль, который они



привезли с собой, чтобы связаться с Вашингтоном, а Брежнев долго, по специальной связи, о чем-то спорил с министром обороны А. Гречко. Брежнев нервничал, был напряжен, злился на окружающих. Начальник охраны А. Рябенко, видя его состояние, сказал мне: «Евгений Иванович, он на пределе, ждите очередного срыва». Да я и сам при встречах с Брежневым видел, что он держится из последних сил.

Тяжелейший срыв произошел в поезде, когда, проводив американскую делегацию, Брежнев поехал в Монголию с официальным визитом. Из поезда я позвонил по спецсвязи Андропову и сказал, что все наши надежды рухнули, все вернулось на «круги своя» и что скрывать состояние Брежнева будет трудно, учитывая, что впервые не врачи и охрана, а вся делегация, находившаяся в поезде, видела Брежнева в неменяемом астеническом состоянии.

Действительно, многие (об этом пишет и Арбатов) считали, что у Брежнева возникло динамическое нарушение мозгового кровообращения. С этого времени и ведут отсчет болезни Брежнева. Надо сказать, что в какой-то степени нам удалось компенсировать нарушенные функции в связи с астенией и депрессией. Более или менее спокойно прошел визит в Монголию, а затем, в начале декабря, и во Францию.

После Франции Брежнев перестал обращать внимание на наши рекомендации, не стесняясь, под любым предлогом, стал принимать сильнодействующие успокаивающие средства, которыми его снабжала Н. и некоторые его друзья. Периодически, еще сознавая, что сам губит себя, он соглашался на госпитализацию в больницу или санаторий «Барвиха»,

но, выйдя из тяжелого состояния, тут же «убегал», чаще всего в свое любимое Завидово.

Брежнев все больше и больше терял способность к критическому анализу, снижались его работоспособность и активность, срывы становились более продолжительными и глубокими. В 1975 году скрывать их практически не удавалось. Да и он сам, окруженный толпой подхалимов, все больше и больше уверовав в свою непогрешимость и свое величие, стал меньше обращать внимания на реакцию окружающих.

Приглашая, например, в Завидово своих, как ему казалось, друзей-охотников Н. Подгорного и Д. Полянского, он не только усаживал за стол медсестру Н., но и обсуждал в ее присутствии государственные проблемы.

Мне позвонил возмущенный Д. Полянский и заявил, что это безобразие, что медицинская сестра нашего учреждения садится за стол вместе с членами Политбюро, которые обсуждают важные государственные проблемы. Что это не только неэтично, но и бестактно. Согласившись с ним, я поинтересовался: сказал ли он то же самое хозяину дома? Несколько замаявшийся Полянский ответил, что что-то в этом духе он Брежневу сказал, но считает, что прежде всего я обязан удалить Н. из Завидова и предупредить ее о необходимости строго соблюдать профессиональную этику. Не знаю, что на самом деле сказал Полянский Брежневу, но в их отношениях появился холодок, который в конце концов привел к разрыву.

Несмотря на углубляющиеся изменения личности Генерального секретаря, учащающиеся приступы срывов в его состоянии, страна в 1975 году продолжала еще жить активно и творчески.

Некоторый спад внешнеполитической деятельности, особенно в отношениях с США, прервал период разрядки. К августу 1975 года было подготовлено Соглашение по безопасности в Европе. Подписание соглашения, о котором так мечтал Брежнев, должно было состояться в августе в Хельсинки. Естественно, на этот период надо было обеспечить активность Генерального секретаря. Мы изучили все известные мировой медицине методы стимуляции функций организма, в том числе и центральной нервной системы...

Брежнева нам удалось перед поездкой в Хельсинки вывести из состояния мышечной астении и депрессии. Андропов очень волновался перед поездкой Брежнева в Хельсинки. Разработанный план дезинформации общественного мнения в отношении здоровья Брежнева рушился. Внутри страны еще можно было как-то мириться с ситуацией, связанной с болезнью Брежнева. Другой вопрос — как ее воспримут на Западе? Не будут ли болезнь лидера, его слабость влиять на позиции нашей страны? Не поднимут ли голову ее недруги? Боялся Андропов, да и я, и не без оснований, возможного срыва в ходе Хельсинкского совещания. Чтобы предупредить разговоры внутри страны, делегация и число сопровождающих лиц были сведены к минимуму — А. А. Громыко и начавший набирать силу К. У. Черненко. Мы поставили условие: чтобы во время поездки (в Хельсинки мы ехали поездом) и в период пребывания в Финляндии у Брежнева были только официальные встречи и ни Н., ни кто-либо другой не встречались с ним наедине (кроме Громыко и Черненко).

Надо сказать, что в этот период, и в последующих сложных политических ситуациях, когда надо было

проявлять хоть минимум воли и мышления, Брежнев с нами соглашался...

Возвращение в страну из Финляндии было триумфальным, а для нас печальным. В Москве Брежнев был всего сутки, после чего улетел к себе на дачу в Крым, в Нижнюю Ореанду. Все встало на «круги своя». Опять успокаивающие средства, астения, депрессия, нарастающая мышечная слабость, доходящая до прострации. Три раза в неделю, скрывая от всех свои визиты, я утром улетал в Крым, а вечером возвращался в Москву. Все наши усилия вывести Брежнева из этого состояния оканчивались неудачей. Положение становилось угрожающим.

При встрече я сказал Андропову, что больше мы не имеем права скрывать от Политбюро ситуацию, связанную со здоровьем Брежнева и его возможностью работать. Андропов явно растерялся. Целеустремленный, волевой человек, с жесткой хваткой, он терялся в некоторых сложных ситуациях, когда ему трудно было найти выход, который устраивал бы и дело, которому он честно и преданно служил, и отвечал его собственным интересам. Более того, мне казалось, что в такие моменты у него появлялось чувство страха.

Так было и в этом случае. Чтобы не принимать опрометчивого решения, он сам вылетел в Крым, к Брежневу. Что было в Крыму, в каком виде Андропов застал Брежнева, о чем шел разговор между ними, я не знаю, но вернулся он из поездки удрученным и сказал, что согласен с моим мнением о необходимости более широкой информации Политбюро о состоянии здоровья Брежнева. Перебирая все возможные варианты — официальное письмо, ознакомление всего состава Политбюро

или отдельных его членов со сложившейся ситуацией, — мы пришли к заключению, что должны информировать второго человека в партии — Суслова. Он был, по нашему мнению, единственным, кого еще побаивался или стеснялся Брежнев. Разъясняя всю суть проблемы Суслову, мы как бы перекладывали на него ответственность за дальнейшие шаги.

Андропов взял на себя миссию встретиться с Сусловым и все ему рассказать. Вернулся он в плохом настроении — Суслов хотя и пообещал поговорить с Брежневым о его здоровье и режиме, но сделал это весьма неохотно и, кроме того, был недоволен тем, что оказался лицом, которому необходимо принимать решение. Он согласился с Андроповым, что пока расширять круг лиц, знакомых с истинным положением дел, не следует, ибо может начаться политическая борьба, которая нарушит сложившийся статус-кво в руководстве и спокойствие в стране. Суслов проявил наивность, если он действительно думал, что все встанет на свои места и никто не начнет интересоваться, а тем более использовать болезнь Брежнева в своих целях...

Мнение о том, что лидеру необходимо периодически показываться, независимо от того, как он себя чувствует, которое впоследствии касалось не только Брежнева, но и многих других руководителей партии и государства, стало почти официальным и носило, по моему мнению, не только лицемерный, но и садистский характер. Садистским по отношению к этим несчастным, обуреваемым политическими амбициями и жаждой власти и пытающимся пересилить свою немощь, свои болезни, чтобы казаться здоровыми и работоспособными в глазах народа.

И вот уже разрабатывается система телевизионного освещения заседаний и встреч с участием Брежнева, а потом и Андропова, где режиссер и оператор точно знают ракурс и точки, с которых они должны вести передачу. В новом помещении для пленумов ЦК КПСС в Кремле устанавливаются специальные перила для выхода руководителей на трибуну. Разрабатываются специальные трапы для подъема в самолет и на Мавзолей Ленина на Красной площади. Кстати, если мне память не изменяет, создателей трапа удостоивают Государственной премии. Верхом лицемерия становится телевизионная передача выступления К. У. Черненко накануне выборов в Верховный Совет СССР в 1985 году. Ради того, чтобы показать народу его руководителя, несмотря на наши категорические возражения, вытаскивают (в присутствии члена Политбюро В. В. Гришина) умирающего К. У. Черненко из постели и усаживают перед объективом телекамеры. Я и сегодня стыжусь этого момента в моей врачебной жизни. Каюсь, что не очень сопротивлялся проведению этой передачи, будучи уверен, что она вызовет в народе реакцию, противоположную той, какую ожидали ее организаторы: что она еще раз продемонстрирует болезнь руководителя нашей страны, чего не признавало, а вернее не хотело признать, узкое окружение советского лидера...

Между тем события, связанные с болезнью Брежнева, начали приобретать политический характер. Не могу сказать, каким образом, вероятнее от Подгорного и его друзей, но слухи о тяжелой болезни Брежнева начали широко обсуждаться не только среди членов Политбюро, но и среди членов ЦК. Во время одной из очередных встреч со

мной как врачом ближайший друг Брежнева Устинов, который в то время еще не был членом Политбюро, сказал мне: «Евгений Иванович, обстановка становится сложной. Вы должны использовать все, что есть в медицине, чтобы поставить Леонида Ильича на ноги. Вам с Юрием Владимировичем надо продумать и всю тактику подготовки его к съезду партии. Я в свою очередь постараюсь на него воздействовать...»

При очередном визите я не узнал Брежнева. Прав был Щербицкий, говоря, что он сильный человек и может «собраться». Мне он прямо сказал: «Предстоит XXV съезд партии, я должен хорошо на нем выступить и должен быть к этому времени активен. Давай подумай, что надо сделать».

Первое условие, которое я поставил, — удалить из окружения Н., уехать на время подготовки к съезду в Завидово, ограничив круг лиц, которые там будут находиться, и, конечно, самое главное — соблюдать режим и предписания врачей.

Сейчас я с улыбкой вспоминаю те напряженные два месяца, которые потребовались нам для того, чтобы вывести Брежнева из тяжелого состояния. С улыбкой, потому что некоторые ситуации, как, например, удаление из Завидова медицинской сестры Н., носили трагикомический характер. Конечно, это сегодняшнее мое ощущение, но в то время мне было не до улыбок. Чтобы оторвать Н. от Брежнева, был разработан специальный график работы медицинского персонала, Н. заявила, что не уедет, без того чтобы не проститься с Брежневым. Узнав об этом, расстроенный начальник охраны А. Рябенко сказал мне: «Евгений Иванович, ничего из этой затеи не выйдет. Не устоит Леонид Ильич, несмотря на все ваши уговоры, и все останется по-прежнему». Дове-

денный до отчаяния сложившейся обстановкой, я ответил: «Александр Яковлевич, прощание организуем на улице, в нашем присутствии. Ни на минуту ни вы, ни охрана не должны отходить от Брежнева. А остальное я беру на себя».

Кавалькада, вышедшая из дома навстречу Н., выглядела, по крайней мере, странно. Генерального секретаря я держал под руку, а вокруг, тесно прижавшись, шла охрана, как будто мы не в изолированном от мира Завидове, а в городе, полном террористов. Почувствовав, как замешкался Брежнев, когда Н. начала с ним прощаться, не дав ей договорить, мы пожелали ей хорошего отдыха. Кто-то из охраны сказал, что машина уже ждет. Окинув всех нас, стоящих стеной вокруг Брежнева, соответствующим взглядом, Н. уехала. Это было нашим первым успехом.

То ли сыграли роль политические амбиции, о которых говорил Андропов, то ли сила воли, которая еще сохранялась у Брежнева, на что рассчитывал Щербицкий, но он на глазах стал преобразаться. Дважды в день плавал в бассейне, начал выезжать на охоту, гулять по парку. Дней через десять он заявил: «Хватит бездельничать, надо приглашать товарищей и садиться за подготовку к съезду».

Зная его истинное состояние, мы порекомендовали ему не делать длинного доклада, а, раздав текст, выступить только с изложением основных положений. Он ответил так, как тогда отвечали многие руководители: «Такого у нас еще не было, есть сложившийся стиль партийных съездов, и менять его я не намерен. Да и не хочу, чтобы кто-то мог подумать, что я немоощный и больной».

24 февраля 1976 года 5 тысяч делегатов XXV съезда партии бурно приветствовали своего Генерального секретаря.



Доклад продолжался более четырех часов, и только небольшая группа — его лечащий врач М. Косарев, я да охрана знали, чего стоило Брежневу выступить на съезде. Когда в перерыве после первых двух часов выступления мы пришли к нему в комнату для отдыха, он сидел в прострации, а рубашка была настолько мокрая, как будто он в ней искупался. Пришлось ее сменить. Но мыслил он четко и, перебивая себя, даже с определенным воодушевлением пошел заканчивать свой доклад.

Конечно, даже неискушенным взглядом было видно, что Брежнев уже не тот, который выступал на XXIV съезде партии. Появились дизартрия, вялость, старческая шаркающая походка, «привязанность» к тексту, характерные для человека с атеросклерозом мозговых сосудов.

Но для большинства партийного актива, присутствовавшего на съезде, главное было то, что, несмотря на все разговоры и домыслы, Генеральный секретарь на трибуне, излагает конкретные предложения, рассказывает об успехах внешней политики, предлагает новые подходы, а это значит, что жизнь будет идти по-прежнему, не будет больших перемен и можно быть спокойным за свое личное будущее...»

У Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева два законных наследника — Галина и Юрий, но мало кто знает, что в жилах еще 11 мальчиков и 9 девочек течет высокородная кровь бывшего генсека.

Небольшая двухкомнатная «хрущевка» на окраине Днепропетровска. По всему видно, ее хозяйка Мария К. — лаборантка одного из цехов металлургического комбината — любит уют в стиле ретро: вы в плену безделушек из стекла и керамики, салфе-

точек, ковриков, а на телевизоре красуется бело-розовая фарфоровая копилка в виде скучающей кошки, глаза которой тем не менее зорко следят за каждым вашим шагом. Роскоши нет, но и бедности не чувствуется, хотя женщина одна воспитывает двоих детей на мизерную по нынешним временам зарплату. Что отличает эту квартиру от других, так это огромный, почти на всю стену портрет Л. И. Брежнева в маршальском мундире при всех неисчислимых регалиях.

— А что?! — с вызовом спрашивает Мария. — Красивый мужчина! Разве нет?

— Бесспорно! — охотно соглашаюсь я. — Знаете, внешность Леонида Ильича, тогда еще партийного вожака Молдавии, заметил еще Сталин, выделив его среди всех на очередном Пленуме ЦК.

— На своих детей не нарадуюсь, все завидуют, — с гордостью сообщает женщина. — Леня — назвала сына в его честь — умница, отличник, а девочка Леля — писаная красавица: статная, чернобровая. Они у меня двойняшки. И в этом деле, как видите, Леонид Ильич оказался на высоте.

— Дети знают, кто их отец?

— Упаси Бог! — машет рукой Мария. — Это тайна. Раз Люська, сучка, проболталась, так я уже не буду отрицать.

В сентябре 1979 года в Днепропетровск с частным визитом приехал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Маршал Советского Союза Л. И. Брежнев. Маршрут выбрал традиционный: горком партии, металлургический комбинат, дом, где когда-то жил с семьей. В тот приезд необычно долго стоял у своего бюста:

— Как-то странно видеть свое изображение в

бронзе. Хотя теперь я вроде бы всегда на родной земле нахожусь... — И неожиданно для всех добавил: — Может быть, последний раз приезжаю. Возраст...

И смахнул слезу. Огромная свита сразу и не сообразила, как на это прореагировать, замешательство было явным. Конфуз вышел.

Кортеж автомобилей направился к историческому дому. Это был обычный дом, где жили обычные люди. Выбежали соседи. Окружили, запричитали, выкрикивали здравицы, почему-то в основном КПСС, а не гостю. Наверное, от волнения или по привычке.

Кто-то робко предложил:

— Леонид Ильич, сфотографируйтесь с нами!

— Можно, товарищи, — согласился именитый гость.

Сразу выскочило из толпы с десятков фотографов. Люся М. из соседнего дома по воле судьбы оказалась рядом с Леонидом Ильичом. А была она, надо сказать, баба-огонь — ни одна кофточка не могла уместить ее сдобные телеса. Во всем крутая. Кустодиевская фактура.

Брежнев окинул наметанным взглядом свою соседку и остался доволен. Бережно взял Люську за локоток:

— Не дают проходу мужики, а?

— Были мужики, Леонид Ильич, да все перевелись, — расцвела женщина.

— Куда смотрит ваш горком партии? — пробасил генсек. Окружение, как по команде, громко засмеялось.

— Вот нам бы такого мужика, как вы, — осмелела соседка, — нарожали бы богатырей.

— Укатали Сивку крутые горки, — добродушно прошамкал высокий гость.

— А вы... — и Люська (только подумать!) прижалась губами к самому уху генсека и что-то страстно стала шептать. На людей в черных костюмах больно было смотреть: их словно било током. Не знали, как поступить. Вдруг Брежнев по-мальчишески захихикал:

— Есть желающие? Ну, ну... Мы посоветуемся...

Когда фотографы сделали исторический снимок и генсек шел к машине, он будто что-то вспомнил и подозвал генерала, который в последние годы не отходил от него ни на шаг. Они минут пять шушукались, а дальше пошло все своим ходом без сучка и задоринки. Около генсека уже сидели те, кто был назначен еще в столице.

Так вот, через недели три Люсю вызвали в Москву, а еще через месяц с 23 женщинами она снова отправилась в столицу, и там в Кремлевской больнице жаждающим сделали искусственное осеменение «для коммунистического эксперимента», как им объяснили. В числе осчастливленных была и Мария.

Результат того брачного путешествия таков: родили 19 женщин, двойня получилась только у Марии. И вот что любопытно: две женщины из «команды» были... замужем и поехали с согласия своих супругов.

Мария рассказывала, что физически все — крепыши. Три отличника, шесть хорошистов, остальные — активные общественники.

— Выходит, семья без урода?

— Есть, есть! — засмеялась Мария. — У Оксаны сынок кроме танцев не хочет ни о чем думать. Представьте, двенадцать лет, а уже свидание девчонкам назначает. Правда, ловок и пригож, бесенок!

Это же счастье, настоящее счастье выпало на

нашу долю. Так что дело Л. И. Брежнева живет в Днепродзержинске в самом буквальном смысле слова.

— Мария, а вы и ваши товарки материальную помощь получали?

— Никогда! Мы были сразу предупреждены, чтобы не рассчитывали на алименты. Хватит, сказали в больнице, и того, что получили. Да мы и не претендовали. Вскоре же осиротели, так что и спрашивать то не с кого было. Жил бы, может, не забыл бы... Жаль, рано умер.

— А по какому принципу подбирали «жен» для генсека?

— Ни по какому. Все Люськины подружки. Доверился он ей с первого взгляда. Все равно, что полюбил.

## **ОТ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА ДО ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЫ – ОДИН ШАГ**

«19 декабря 1981 года в Кремле торжественно отпраздновали 75-летие Леонида Ильича Брежнева — юбилей, которому суждено было стать последним в его жизни, — пишут В. Соловьев и Е. Клепикова. — Трудно сказать, насколько доходило до сознания кремлевского вождя то, что происходило вокруг него: больной и немощный после нескольких ударов и инфарктов, с неуправляемыми движениями, со спотыкающейся походкой, со стянутыми, неподвижными мускулами лица, с запинаящейся и невнятной речью, с тяжелым, прерывистым дыханием, он производил тягостное впечатление. Дни рождения были последней отрадой этого впавшего в детство старика. В предыдущем году даже пришлось, дабы не омрачать день рождения, на несколько дней отложить сообщение о смерти премьера Косыгина: он умер как раз накануне назначенного торжества. Брежнев стал сентиментален и плакал при упоминании своего имени, при вручении подарков и орденов. Последних на этот раз было особенно много: помимо советских он получил высшие ордена стран так называемого социалистического содружества, которые привезли их руководители. Вместе с ними и президент Афганистана Бабрак Кармаль прицепил к лацкану брежневского пиджака афганский орден

Свободы. Кремлевский старец обнял благодарного сатрапа, трижды расцеловал его и в очередной раз прослезился.

Заметил ли при этом Брежнев, что среди полученных в ходе празднества орденов не хватало польского, а среди гостей отсутствовал диктатор Польши Войцех Ярузельский, совершивший неделю назад военный переворот? Генералу было сейчас, конечно, не до юбилеев: хватало дел у себя дома. Но тем не менее он совершал серьезное нарушение византийского церемониала Кремля: сам не приехал, так хоть бы орден прислал... В иные времена Кремль не замедлил бы отреагировать. На сей раз смолчал. Но вовсе не потому, что признавал более либеральные по сравнению со сталинскими порядки. Заниматься Ярузельским стало сейчас недосуг. За фасадом славословий и поздравлений увешанному орденами и регалиями, впадшему в детство старику борьба за власть вступила в решающую силу. По сути, здесь, в Москве, положение складывалось ничуть не менее, если даже не более, напряженно, чем в Польше, и хотя сюжет русской пьесы, в отличие от польской, разворачивался не на улицах, а в кабинетах, кремлевский юбилей еще больше стимулировал ее действие.

Что касается Брежнева, то по состоянию здоровья он в этой борьбе почти никак не участвовал. Скорее всего, он даже не заметил отсутствия Войцеха Ярузельского на своем юбилее. Напротив, оказись рядом гордый польский генерал с негнущейся спиной и в темных непроницаемых очках, это выглядело бы диссонансом на кремлевском празднестве и стало, вероятно, ложкой дегтя в той бочке меда, которую советский вождь вкушал последний раз в жизни. Ведь именно с этого юбилея и начались зло-

ключения, которые неотступно сопровождали Брежнева уже до самого конца. Ибо как ни удобен был медленно умирающий вождь в качестве ширмы для сложных маневров шефа тайной полиции, Андропов стал под конец проявлять нетерпение и резко изменил тактику: продолжая борьбу с официальными наследниками Брежнева, начал борьбу с ним самим. Когда Брежнев наконец умер, в Москве шутили, что Андропов не поменял ему вовремя батарейки. Одно несомненно: могилу предшественнику он начал рыть еще при его жизни, причем первый взмах лопаты сделал как раз в день рождения Брежнева.

Спустя ровно месяц, 19 января 1982 года, первый заместитель Юрия Андропова по Комитету государственной безопасности, муж сестры брежневской жены генерал Семен Кузьмич Цвигун найден у себя в кабинете с простреленной головой. А еще через шесть дней от сердечного приступа неожиданно умирает главный партийный идеолог и распределитель высших должностей в стране Михаил Суслов, который стоял за спиной антихрущевского переворота 1964 года и из рук которого Брежнев получил власть. Менее всего мог рассчитывать на такой же подарок от «серого кардинала» Андропов: идеологический ортодокс предпочитал держать бонапартов на расстоянии от власти, а тем более Бонапарта из тайной полиции. Перед тем как тело Суслова опустили в могилу у Кремлевской стены, неподалеку от могилы Сталина, при котором началась карьера этого самого высокого и тощего в Политбюро человека, Брежнев, поддерживаемый двумя помощниками, тяжело дыша и не очень внятно произнес прощальное слово над открытым гробом своего покровителя: «Прощаясь с нашим товарищем, я хочу сказать ему: «Спи спокойно, дорогой друг, ты прожил великую и



славную жизнь». Увы, пожеланию не суждено исполниться: сразу же вслед за смертью Сулова проведена грандиозная чистка партийного и государственного аппарата, из которых удалены 4 тысячи его ставленников.

А в самый день похорон, 29 января, когда кремлевские геронтократы находились на Красной площади, арестован Борис Бурятовский, певец Большого театра, под именем Борис Цыган известный по всей Москве купеческими аксессуарами своей жизни — от соболиной шубы и бриллиантового кулона в галстук до зеленого «мерседеса». При обыске в его квартире найден тайник с бриллиантами, которые, как он показал, принадлежали не ему, а его любовнице Галине Чурбановой. На нее же сослался и арестованный вслед за Борисом Цыганом директор Госцирка Анатолий Колеватов, в чьей квартире обнаружены 200 тысяч долларов в твердой валюте и более чем на один миллион бриллиантов и других драгоценностей. Действительно, оба — близкие приятели Галины Чурбановой еще со времен ее первого супружества с цирковым тренером. Теперь она была замужем за первым заместителем министра внутренних дел СССР генерал-лейтенантом Юрием Чурбановым. Но главное в том, что 53-летняя Галина — дочь Леонида Ильича Брежнева, а ее страсть к антикварным драгоценностям также известна всей Москве».

Почему женщина продолжает совершать преступления, несмотря на тяжесть установленного наказания? Почему идет на корыстные преступления, не испытывая материальной нужды? Ломброзо и его последователи называли эту потребность «преступным импульсом».

Чезаре Ломброзо изучал строение черепов муж-

чин и женщин, содержащихся в тюрьмах. В результате вышла книга под названием «Преступный человек», в которой изложена теория, что все черепа людей, преступивших закон, имеют определенные отклонения от нормы, что сближает их с животными. Среди «врожденных аномалий» он назвал низкий лоб, сплюснутый лоб, бледное лицо, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза и т. д. Ломброзо считал, что преступники являются атавистическим явлением, шагом назад на пути эволюции. А главный вывод был таков: преступниками не становятся, а рождаются; преступление — явление естественное.

Сторонники биологической теории утверждали, что во всем виновата непобедимая наследственность. Их противники винили во всем общество и объясняли женскую преступность социальными причинами. Но были и другие теории... Без всяких теорий ясно: у каждой женщины свой мужчина.

Жизнь зятя Брежнева до определенного момента выглядела как праздник.

«Великий праздник пришел на узбекскую землю! — пишет Д. Лиханов. — Для участия во Всесоюзной конференции МВД СССР и Союза писателей СССР, посвященной морально-нравственным и правовым проблемам в художественной литературе, в Узбекистан прибыл зять Генерального секретаря ЦК КПСС генерал-лейтенант Юрий Михайлович Чурбанов.

В Ташкентском аэропорту личный самолет министра внутренних дел с почетным гостем на борту торжественно встречали члены бюро ЦК Компартии Узбекистана во главе с товарищем Рашидовым, руководители Президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР, представители министерств и ведомств республики. В праздничном

убранстве улицы и площади солнечного Ташкента. Кортёж правительственных автомашин направляется к зданию резиденции ЦК Компартии Узбекистана на Шелковичной улице.

Чурбанов приехал в Ташкент не один. Как и положено генералу, он притащил с собой целую свору всевозможных помощников, денщиков, адъютантов и порученцев, а поскольку конференция писательская, то еще и команду заказных шелкоперов. Весь этот шевутной народец табунами пассаж вокруг Чурбанова, шептал благодетелю ласковые слова и каждый наперебой предлагал свои услуги: кто коробочку поднесет, кто калиточку откроет, кто сдует с генеральского мундира волосок.

Местная братия во главе с министром внутренних дел Кудратом Эргашевым тоже соревновалась в верноподданнических чувствах. Юрию Михайловичу показывали город, водили в музеи и магазины, демонстрировали новые жилые кварталы и базар.

Вечерами же Юрий Михайлович принимал в своей резиденции высоких гостей, впрочем, и здесь, в резиденции, они решали отнюдь не деловые вопросы.

По воспоминаниям администратора резиденции Мироненко, здесь каждый день устраивались обильные застолья с непременною участиием большого числа местных руководителей. Да и вообще, как ей тогда показалось, Чурбанов приехал в Ташкент скорее для развлечений, нежели для серьезных дел.

«Бывало так, что только уйдет один, как придет другой. И так до часу ночи у Чурбанова кто-нибудь был. Было какое-то паломничество. Время от времени по вечерам Чурбанов выходил на улицу, где также был не один. И так до самого его отъезда».

На второй день Всесоюзной конференции деле-

гация вылетела в Бухару, во владения Абдувахида Каримова. Заняв должность первого секретаря Бухарского обкома партии в начале семьдесят седьмого года, Абдувахид Каримович в короткий срок сумел заменить на своих людей почти всех первых секретарей райкомов и горкомов партии, всех секретарей обкома и многих других руководителей.

А в скором времени в Бухару начали съезжаться на постоянное жительство многочисленные родственники и земляки Каримова из Кашкадарьинской области. Именно этих людей назначал Абдувахид Каримович на самые ключевые посты. Остальным должности продавались за взятки. В конечном итоге это привело к тому, что коррупция проникла во все сферы бухарской жизни: на предприятия и в учреждения, в колхозы и совхозы, в советские и партийные органы, в школы и институты, в кровь и мозг людей. Деньги сыпались к Каримову буквально каждый день, и он порой даже не успевал их пересчитывать, просто сваливал в кучу.

Особенно щедрым источником финансирования первого секретаря обкома был директор Бухарского горпромторга Шоди Кудратов. В свое время Абдувахид Каримович оказал ему маленькую услугу, устроив его шурина Камила Халилова директором фирменного магазина «Алмаз», да и вообще старался закрывать глаза на то, что происходит в городской торговле. С тех пор у Шоди Кудратова появилась прекрасная возможность превращать презренные купюры в стойкую валюту драгметаллов. Почти ежемесячно он скупал в «Алмазе» крупные партии золота и бриллиантов. Кроме этого, у него были какие-то свои отношения с подпольными торговцами драгоценностями, поставлявшими Шоди Кудратову золотые монеты царской чеканки. По рассказам сы-

на Каримова Беходира, Шоди довольно часто появлялся в отцовском доме и каждый раз приносил с собой туго набитый деньгами портфель, золото и драгоценности.

Вряд ли догадывался заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Михайлович Чурбанов, что встречающий его человек с депутатским значком на лацкане пиджака обладает состоянием, за которое среднему советскому рабочему придется трудиться четыреста шестнадцать лет. Однако прием, оказанный высокому гостю, давал все основания полагать, что первый секретарь обкома щедрый хозяин. Все бы хорошо, если бы не маленькая неприятность.

Прямо из аэропорта отправились в город Газли. Здесь не так давно произошло землетрясение, были разрушены некоторые дома, пострадали люди. И поэтому Юрий Михайлович высказал желание посетить этот маленький городишко.<sup>6</sup>

Возле одного из магазинов Чурбанов велел притормозить. Вылез из машины, долго смотрел на витрины, потом прошел внутрь. Спросил продавщицу: чем, мол, торгуете. Та резонно ответила: дескать, что с базы присылают, тем и торгуем. Тут еще какая-то вздорная тетка подскочила, стала жаловаться насчет мяса и вообще плохого снабжения. Они, конечно, не знали, что перед ними человек от торговли далекий, но уж если кругом него крутятся областные начальники, значит, не иначе шишка, которой можно излить все свои горести и печали. Чурбанов хмурился и все больше мрачнел. Каримов почувствовал, как по позвоночнику стекает холодная струйка пота. Еще на улице Юрий Михайлович наговорил Абдувахиду Каримову массу неприятных слов, да и в машине, по пути в Бухару, склонял его на разные лады. Послать бы Абдувахиду Каримову этого мальчишку куда по-

дальше, однако ж нельзя: какой-никакой, а все же начальник, особо приближенное лицо к генсеку, крутится в высших сферах, того и гляди, ляпнет что-нибудь нехорошее об области.

Днем приехали в загородную резиденцию обкома, известную под названием «Красная дача». Здесь высоких гостей уже ждал плотный обед, состоявший из ароматного бухарского плова, специально приготовленного по этому поводу национального блюда «тандыркабоб» — зажаренного целиком барашка, наваристого лагмана с тонкими полосками лапши, свежайших — в росе — кистей кишмиша и нежных, бархатистых абрикосов.

За обедом Юрию Михайловичу накинули на плечи шикарный золотошвейный чапан. Такие халаты бухарские мастерицы вышивали по несколько месяцев, ценились они очень высоко, а потому преподносились только самым уважаемым гостям, вроде Юрия Чурбанова. Материалы дела.

Чурбанов: «Когда обед завершился, то мы с Каримовым поднялись на второй этаж дачи... и во время осмотра он сунул мне в карман то ли брюк, то ли кителя сверток из бумаги... Было понятно, что передается взятка, что в свертке находятся деньги. Вечером в номере я вскрыл сверток и обнаружил там деньги в сумме 10 000 рублей. Как я понимал, Каримов дал мне эту взятку для того, чтобы заручиться моей поддержкой. Было видно, что ему хотелось оставить о себе хорошее впечатление, видимо, он опасался и того, что об увиденных недостатках я могу сообщить в ЦК КПСС».

Сколько таких сверточков и упаковок привез Юрий Михайлович из того вояжа по Узбекистану, никому не известно. Даже самому Юрию Михайловичу. Вернувшись к себе домой на улицу Щусева, он

с удивлением обнаруживал в карманах, в коробках с фруктами, в портфелях и чемоданах новенькие банкноты и даже не мог припомнить, от кого и когда их получил. Все смешалось в голове Юрия Михайловича, генеральские мундиры, водка, шумные застолья, азиатские лица, червонцы и звуки военных маршей. Он рассеянно раскладывал деньги по ящикам своего рабочего стола, сам еще недостаточно хорошо понимая, что он будет делать с такой проворой хрустящих купюр.

В самом деле, зачем ему столько? Зачем вообще брал взятки Юрий Михайлович Чурбанов?

Стоит ли говорить, что Чурбанов в деньгах практически не нуждался. Кормились они с Галиной Леонидовной из спецраспределителя на улице Грановского, который почему-то для отвода глаз был назван столовой лечебного питания; лечились в поликлинике Четвертого Главного управления Минздрава, и им не нужно было доплачивать стоматологу, чтобы поставить хорошую пломбу; ездил Юрий Михайлович на служебной машине и лишь изредка на своем любимом «мерседесе»; партвзносы со взяток, естественно, не платил, строительство дачи финансировал тесть, был он и одет, и обут, и не было нужды платить кому-нибудь «наверх», за покровительство — его и так двигали, дай бог каждому. Конечно, кое-какие расходы имелись: там за квартиру заплатить, за бензин, подкинуть денег родственным, и то только одним, поскольку другие в этом абсолютно не нуждались. Словом, на необходимые расходы семьи из двух человек жалованья Чурбанова с лихвой хватило бы.

Правда, в последнее время все больше приходилось тратить на выпивку, к которой чрезмерно пристрастился Юрий Михайлович после женитьбы на

Галине Леонидовне. Но и эти расходы были лишь каплей в море щедрых узбекских подношений. Ну тысяча, другая в месяц от силы.

Галина Леонидовна, впрочем, особенно явно проявляла склонность к драгоценностям. Генеральские жены и по сей день не могут забыть, в каких умопомрачительных бриллиантах, ожерельях и перстнях появлялась супруга Чурбанова на концертах, посвященных Дню советской милиции. А москвичи и гости столицы часто могли видеть эту полную, стареющую женщину возле арбатского магазина «Самоцветы». Любовь к дорогим побрякушкам стоила больших денег.

Живи Юрий Михайлович где-нибудь в Калифорнии или, положим, на Сейшельских островах, он давно бы вложил свои взятки в какой-нибудь заводик или ферму, давал стране молоко либо калоши, — все бы была от этого польза. Однако Чурбанов жил в Москве, на улице Щусева и потому, конечно же, не мог вложить деньги ни во что, кроме собственной семьи.

На что он рассчитывал? Прожить до тысячи лет? Обеспечить безбедную старость семьи и детей? Не скитаться на склоне лет в поисках хлеба? Купить океанскую яхту? Съездить на Таити? Или чего там ему еще на этом свете не хватало? Да нет же, все у него было. Обеспеченная старость, кусок хлеба с маслом и даже паюсной икрой, звание, кресло, тесть — отец народов, захотел бы, так и яхту б себе купил, и домик на Таити.

Он лгал, когда объяснялся в любви Галине, потому что вряд ли любил эту женщину, лгал, надевая генеральскую форму, потому что был и остался всего лишь комсомольским инструктором, он не любил своего дела и поэтому лгал, садясь в министерское кресло, лгал, лгал, лгал...



Что же ему еще оставалось, если за все эти сиюминутные блага он запродавал собственную душу, даже собственного сына запродавал, бросив его в далеком шестьдесят четвертом, да так с тех пор и не увидев ни разу.

Потом во время одного из допросов Юрий Михайлович скажет: «Почему же я это допустил? Я смалодушничал, не проявил со своей стороны достаточной твердости, хотя этих людей, совавших мне деньги, можно было предать куда подальше, цыкнуть на них...»

Незадолго до новогодних праздников в МВД СССР произошло событие, потрясшее буквально каждого: застрелился первый заместитель министра внутренних дел Виктор Семенович Папутин. В МВД СССР появилась отличная вакансия. К тому времени Брежнев однажды уже заводил разговор о карьере своего зятя: вскоре после замужества дочери Генеральный секретарь предложил назначить Юрия Чурбанова заместителем министра внутренних дел по кадрам. Однако сделать человека, без году неделя проработавшего в органах, заместителем министра было, по крайней мере, неразумно. Приходилось отговаривать Леонида Ильича, влиять на него через Михаила Андреевича Суслова, чтобы не допускать столь поспешного, а главное, неоправданного решения. Словом, несмотря на заинтересованность Брежнева в этом деле, назначение Чурбанова удалось оттянуть на шесть лет. В шестьдесят девятом Леонид Ильич вновь заговорил о карьере зятя. Видимо, от него он и узнал об освободившейся вакансии. Кроме этого, представление на повышение Чурбанова написал и сам министр. Вряд ли Щелоков страстно желал видеть Юрия в своих первых заместителях. Скорее всего это был дружеский жест по отно-

шению к Генеральному секретарю. Так или иначе вскоре после похорон Папутина Юрий Михайлович перебрался в его кабинет.

Первым делом Чурбанов решил сменить машину. Ему, как заместителю министра, по табелю о рангах полагалась черная «Волга». Однако первый заместитель Председателя КГБ СССР Семен Кузьмич Цвигун уже давно ездил на «Чайке». Чурбанову хотелось такую же!

В один из дней, по рассказам Николая Анисимовича Щелокова, Юра пришел к нему в кабинет и начал говорить, что ему как-то несолидно на «Волге». В ответ Николай Анисимович резонно ответил, что заместителю так положено.

— Но ведь я все-таки первый заместитель министра внутренних дел, а не сельского хозяйства, — подчеркнул Юрий Михайлович. — Позвоните Косыгину.

— По этому поводу я ему звонить не буду, — отрубил Щелоков.

Тогда Чурбанов снял трубку аппарата «кремлевки», набрал нужный номер. Через мгновение проговорил:

— Алексей Николаевич, нельзя ли помочь с «Чайкой»? Думаю, мы решим этот вопрос без отца.

Наутро перед домом Юрия Михайловича уже стоял новенький правительственный лимузин, снабженный рацией и кремлевским телефоном, по которому он мог в считанные секунды связаться с любым членом Политбюро.

С тех пор чурбановская «Чайка» в сопровождении двух специальных автомобилей ГАИ начала разъезжать по улицам и площадям столицы. И лишь только отруливала от министерского подъезда машина Щелокова, на ее место тут же парковалась ма-

шина Чурбанова, словно бы намекая тем самым: по-сторонись!

Сделавшись первым заместителем министра, Юрий Михайлович и сам изменился, приобрел целый ряд не совсем обычных привычек. Он пристрастился встречать и провожать правительственные и зарубежные делегации, часто бывал на приемах в Кремле, приходил на работу к восьми, сидел допоздна, но после обеда непременно укладывался вздремнуть на пару часиков. Кроме этого каждое утро Чурбанов вызывал в свой кабинет парикмахера с обязательной коробочкой первоклассного бриолина. И, что бы ни случилось — война или атомная бомбардировка, беспокоить Юрия Михайловича в эти минуты строго-настрого запрещалось.

Подчиненные относились к чурбановским причудам с нескрываемой долей иронии, но когда утренний парикмахер вдруг зачастил и к Щелокову, всем стало ясно, что дядя Коля сдает. Мелочь, но все-таки симптом.

Яхъяев: «Вскоре в министерстве по существу установилось двоевластие, где формально руководителем являлся Щелоков, а фактически всем управлял Чурбанов. Хотя и Чурбанов, и Щелоков являлись взяточниками, но это были совершенно разные люди. Щелоков был эрудированным, грамотным человеком, был профессионалом, умел организовать работу. Он старался окружить себя профессионально грамотными работниками, чтобы решались вопросы, делалось дело, шла работа. При всех недостатках, которыми обладал Щелоков, в целом в аппарате в своем большинстве работали специалисты, механизм был отлажен и работа шла. Совсем другого склада был Чурбанов. Он совершенно не разбирался в специфике деятельности органов внутренних дел,

среди профессионалов выглядел «белой вороной», был недостаточно эрудирован для столь высокого поста, а самое главное, не имел никакого желания познать эту деятельность, подняться до уровня опытных специалистов, заработать себе авторитет у подчиненных работой больше и лучше других. Весь «авторитет» его был в том, что он являлся членом семьи Л. И. Брежнева... Внутреннее содержание работы его не интересовало, а лишь внешняя сторона: как одет, как стоит, отдает ли честь, имеется ли внешний блеск и лоск, воздаются ли ему почести и т. п. С его появлением стали насаждаться муштра и солдафонство, к чему он привык во внутренних войсках и что неприемлемо в полувоенной, полугражданской организации. С первых дней Чурбанов стал проявлять субъективизм в оценке тех или иных работников, стал окружать себя любимчиками и, наоборот, изводить мелочными придирками других грамотных работников, которые его в чем-то не устраивали. С его приходом резко нарушилась стабильность, ритм работы центрального аппарата министерства, потому что многие должностные лица стали чувствовать себя неуверенно, проявлялась нервозность... Началась кадровая чехарда с назначениями, переводами, увольнениями руководителей. Куда бы ни выезжал Чурбанов, везде его встречали на самом высоком уровне, везде были «дары» в виде денег, подарков со всех сторон. Все это в конечном итоге и привело к тому печальному результату, когда разложение в системе органов внутренних дел достигло в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов своего апогея».

Позиции Николая Анисимовича Щелокова падали день ото дня. За последнее время в его жизни произошло несколько очень неприятных событий,

которые, как понимал министр, коренным образом могут повлиять на его дальнейшую карьеру.

Прежде всего неважно обстояли дела в самом министерстве. То и дело Николаю Анисимовичу становилось известно о рукоприкладстве работников милиции, применении недозволенных методов дознания; на местах стало уже правилом укрывать преступления от учета, а зачастую и фальсифицировать уголовные дела в отношении тех или иных граждан.

Все это в конечном счете влияло на рост преступности. По стране участились квартирные кражи, разбойные нападения и другие преступления против личности. Практически все предприятия страны, включая военные, в той или иной степени были поражены эпидемией хозяйственных преступлений. И это было заметно даже невооруженным глазом. Словом, ситуация была самая плачевная.

Николая Анисимовича несколько раз вызывали на заседания Секретариата и Политбюро, где также высказывалась неудовлетворенность работой вверенного ему министерства.

Правда, робкие попытки сгладить обстановку иногда предпринимал Брежнев. И, однако, Щелоков получал серьезные упреки за слабую работу.

Еще больше ослабила его позиции пренеприятнейшая история в Ереване. Во время одной из своих командировок в Армению Николаю Анисимовичу очень понравилась картина Мартироса Сарьяна. И Министерство внутренних дел Армении приобрело ее Щелокову в подарок за 10 000 рублей. Вскоре об этом стало известно в ЦК КПСС. Щелокову были высказаны серьезные предупреждения и картину предложили вернуть в музей.

На каком-то этапе у Брежнева возникла идея назначить Щелокова на должность заместителя Председателя Совета Министров СССР. Было предложено Орготделу ЦК и Отделу адморганов подобрать человека на должность министра внутренних дел. Однако решение о новом назначении Щелокова не состоялось, и он остался министром.

Тем временем первый заместитель Щелокова Юрий Михайлович Чурбанов рос как на дрожжах. В октябре 1981 года ему присвоили воинское звание генерал-полковника. Чурбанов тут же сшил себе новый мундир, приделал на него орденские планки, по поводу которых шутили, что их у Юрия Михайловича не меньше, чем у маршала Жукова, и теперь появлялся в МВД эдаким холеным баринном — не подступись! А подступиться к нему и впрямь теперь было сложно. Чтобы сотруднику аппарата попасть на прием к первому заместителю министра, необходимо было заранее записаться на прием, выстоять очередь, да не забыть почиститься и надраить ботинки — Чурбанов так и не смог отделаться от своей привычки встречать по одежке.

Вскоре, неожиданно для всех, пример тестя, видимо, оказался заразительным, Юрий Михайлович начал проявлять интерес к литературному творчеству. Вокруг него то и дело крутились московские литераторы, готовые за Юркину дружбу запродать и честь, и совесть, и собственное перо. А в 1980 году в издательстве «Юридическая литература» под редакцией Чурбанова вышла книжка. История ее издания сама подобна детективу.

В далеком 1976 году одно из харьковских издательств выпустило в свет сборник статей под весьма прозаическим названием «Политико-воспитательная работа в органах внутренних дел».

13 ноября 1980 года Николай Анисимович Щелоков отмечал свой семидесятилетний юбилей. К этой дате сотрудники Министерства внутренних дел СССР начали готовиться загодя: сочинялись поздравительные адреса от управлений, собирались в дорогу делегаты областных, краевых и республиканских подразделений милиции, готовились подношения и подарки.

Готовил свой подарок и Юрий Михайлович Чурбанов.

Незадолго до знаменательной даты он вызвал к себе начальника хозяйственного управления МВД СССР Калинина и осведомился, как обстоят дела с его заказом. Массивные золотые часы с крупной, золотой же, цепочкой Калинин присмотрел некоторое время тому назад в спецхране Главного управления Министерства финансов СССР, где за массивными дверями сейфов находилась государственная казна, вскоре часы были переданы в розничную торговлю, где и куплены за четыре тысячи министерских рублей. Оставалось одно: куда-нибудь списать истраченные деньги. Спросил об этом Чурбанова. Немного подумав, Юрий Михайлович предложил: «Спиши на наших демократических друзей». А вскоре уже составили акт, согласно которому импортные золотые часы с цепочкой были подарены руководителю одной из братских стран. Юрий Михайлович подмахнул этот акт почти не глядя. Потом проинструктировал Калинина: «Будешь стоять в дверях. Когда все заместители поздравят Щелокова и выйдут, ты никого не пускай. Я ему это вручу». Так оно и случилось.

Юбилей... Их много отмечалось в то время. Какое ведомство, министерство или даже мало-мальски значимую контору ни возьми, везде день рождения

начальника превращался в событие поистине эпохальное. Самые расторопные чиновники кучковались в специальные оргкомитеты, ответственные за добывание цветов, подношение памятных подарков и устройство грандиозных банкетов. В день юбилея сотрудники уже почти не работали и каждый норовил попасться имениннику на глаза, ручку пожать, елеинным голосом проговорить: «С праздничком, Иван Иванович!», выразив таким образом свои самые верноподданнические чувства. Днем руководители отчаливали на неофициальную часть торжеств, а чиновники рангом пониже устраивали в отделах собственные пьянки во здравие, благо некоторые начальники отваливали «конторе» с барского стола несколько ящичков водки.

Однако все это было лишь жалкой копией того, что делалось в высших эшелонах государственной власти. Ибо тон беспрерывным празднествам задавался именно там.

Первые симптомы этого повального заболевания обнаружили, пожалуй, еще в 1976 году, когда страна торжественно отмечала семидесятилетие Леонида Ильича Брежнева. 19 декабря в Большом Кремлевском дворце Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный вручил Генеральному секретарю ЦК КПСС орден Ленина, вторую медаль «Золотая Звезда», Героя Советского Союза и Почетное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР. Вручая награды, Николай Викторович подчеркнул, что этот юбилей имеет «поистине международное значение». И он был по-своему прав. Незадолго до этого Президент Финляндии Урхо Кекконен вручил Брежневу высшую награду республики — большой крест ордена «Белой розы Финляндии», а Густав Гусак и



Тодор Живков наградили Генерального секретаря, уже во второй раз, Золотыми Звездами Героя НРБ и ЧССР. Руководители двенадцати (!) стран вручили в те дни свои высшие правительственные награды «неутомимому» Леониду Ильичу.

По воспоминаниям сослуживцев, в последние годы своей жизни Брежнев был практически беспомощным человеком и, что самое ужасное, поддавался любым влияниям извне. Утром он мог принять одно решение, а вечером изменить его на противоположное. И некоторые пользовались слабостью вождя в своих корыстных целях. Среди них был и Юрий Чурбанов. Отношениям Брежнева со своим зятем мог позавидовать, наверное, каждый. Леониду Ильичу, безусловно, импонировало, что Юрий Михайлович, в отличие от своего предшественника Милаева, занимается серьезными делами. Причастность Чурбанова к внутренним войскам и генеральское звание напоминали Брежневу о военном прошлом, становились темой долгих, задушевных разговоров. Кроме этого, Юрию Михайловичу еще какое-то время удавалось держать в руках свою супругу, что тоже радовало Леонида Ильича.

Чурбанов же просто боготворил своего тестя. Не каждому удавалось вот так запросто проводить вечера в компании лидера сверхдержавы, и уж почти никто не мог называть этого человека «папой». Все это, несомненно, льстило донельзя развитому самолюбию Юрия Михайловича. Он сходил с Леонидом Ильичом все ближе и ближе, старался предупредить каждый его шаг, был ласков, даже по-своему нежен, поверял ему свои самые сокровенные тайны. Без преувеличения можно сказать, что их отношения были даже более тесными, чем с дочерью Галиной. Та все же тяготела к матери.

Наверное, нет нужды повторяться о том, что своим званием и положением Чурбанов был обязан родству с главой государства. Однако посмотрим на другой аспект дела: что значит для главы государства подобное родство? Поднимая Чурбанова до степеней известных, Леонид Ильич не мог не осознавать, какой сокрушительный удар наносит тем самым понятию социальной справедливости.

В августе восемьдесят пятого были задержаны заместитель министра внутренних дел Бегельман и начальник УВД Кашкадарьинской области Норбутаев, чуть позже попал в следственный изолятор Хайдар Халикович Яхъяев.

Все эти люди были достаточно тесно связаны с прежним руководством МВД СССР и теперь без стеснения рассказывали об этом на допросах. Но Щелков был уже мертв. Остался Чурбанов.

Материалы о его преступной деятельности откладывались в отдельную папку. Однако Юрий Михайлович все еще сохранял вес в обществе, у него оставались прежние связи, знакомства.

Следственной группе пришлось пойти на крайние меры: докладная записка о преступлениях Чурбанова и других осенью 1986 года ушла в ЦК КПСС. И только после этого была получена санкция на его арест.

В августе 1986 года Юрий Михайлович Чурбанов был освобожден от занимаемой должности, а в сентябре уволен из органов МВД.

Четырнадцатого января к полудню Юрия Михайловича вызвали в следственную часть Прокуратуры СССР в Благовещенском переулке. Юрий Михайлович уже бывал здесь дважды на очных ставках с Абдувахидом Каримовым. Он не спеша шел по морозной улице Горького, обдуваемый ветром и автомо-

бильными выхлопами. На ботинках таял соленый снег. В вестибюле встретил следователь прокуратуры Олег Литвак — невысокий человек с мягким украинским выговором.

— Здравствуйте, Юрий Михайлович! Как-то вы изменились.

— После больницы, наверное. Знаете, воспаление легких.

Зашли в лифт, Литван нажал кнопку четвертого этажа. Через мгновение кабина остановилась. «Прошу вас, Юрий Михайлович». Вскоре начальник следственной части Прокуратуры СССР Герман Каракозов предъявит Чурбанову санкцию на арест.

При обыске у Чурбанова нашли пластиковую расческу, пенсионное удостоверение и пропуск в Кремлевскую больницу.

Через сорок минут в 411-м кабинете следственной части Прокуратуры СССР он начнет давать первые показания. А в 16.00 с наручниками на запястьях будет доставлен в Лефортовскую тюрьму, где к его приезду заново покрасят и побелят просторную камеру.

Много позже в одной из бесед он спросит следователей:

— Скажите, правда ли говорят, что в Москве нет мяса и колбасы? А вот во времена Леонида Ильича все это было. Как объяснить?

— Но в ваше время не было правды. Это куда как хуже, — ответят ему.

Чурбанов задумался, улыбнулся едва заметно:

— Время покажет...

Власть, богатство, разврат и преступление всегда шли рядом.

## ДВА ЗЯТЯ

«Для Брежнева я был непрестижный зять», — сказал Игорь Кио журналистке Т. Секридовой.

Его отец — знаменитый фокусник Эмиль Теодорович Кио — первым в нашей стране перенес свои выступления с эстрады на арену цирка и стал подавать свое искусство с юмором и иронией, как бы разоблачая свое волшебство и делая его доступным публике. И своих сыновей он довольно рано приобщил к загадочному миру иллюзии. Но младшего из них Игоря в юности манила другая арена, футбольная: свободное время мальчишка отдавал тренировкам. Однако судьбе было угодно, чтобы продолжилось дело династии, и уже в 15 лет Игорю Кио пришлось подменить в выступлениях заболевшего отца.

— А как же футбол? Кстати, каким ветром занесло вас в этот вид спорта?

— Совершенно случайно. Открылась тогда в Москве футбольная молодежная школа, опекал которую Константин Иванович Бесков. Я и записался туда. Надо сказать, что поставлено в школе все было очень серьезно. Даже сборы тренировочные в Лужниках проводились. А еще нам выдавали бесплатные билеты на матчи чемпионата Союза, чтобы мы могли смотреть, учиться у взрослых игроков... Кто знает, во что бы переросло это мое очень серьезное увле-

чение, если бы не болезнь отца и не необходимость выйти вместо него на арену.

— А кем были ваша мама, бабушки и дедушки?

— Мама работала артисткой балета в цирке, где они и познакомились с отцом в 1939 году. Деда и бабушку по отцу я не знал, они рано умерли. Но к цирку отношения не имели. А мамина мама Любовь Степановна была для меня замечательной бабушкой, с которой я оставался, когда папа и мама уезжали на гастроли. А по крови я... Намешались во мне и немецкая кровь, и польская, и еврейская, и русская. Ничего себе коктейльчик, правда?!

— Интересно, а как вас воспринимали в школе? Там ведь наверняка знали, что вы — сын известнейшего иллюзиониста.

— После того как я стал гастролировать вместе с отцом по стране, учиться приходилось в тех городах, где мы выступали. Администратор подыскивал мне школу, где занятия были утром или днем два-три раза в неделю. И, конечно, моих знаний по-настоящему никто не контролировал. В Тбилиси, например, учитель физики говорил мне: «Слушай, дорогой, неудобно тебя спрашивать о законах, ведь в твоих номерах они используются на практике, а мы всего лишь теоретики»... Я их не разуверял, хотя разбирался в той же физике крайне слабо.

— На уроках, наверное, все больше фокусы показывали?

— Помню такую историю. Однажды на экзамене выхожу за билетом и говорю классу: какой вытащить? Они мне: четырнадцатый. И я по чистой случайности вытаскиваю именно 14-й. У педагогов уже вопросов больше не было.

— Девочки-то в школе вас, наверное, особенно жаловали?

— Да уж грех жаловаться, девочки меня любили... И первая влюбленность, естественно, была в школе.

— А первая серьезная любовь?

— Была к моей первой жене — Гале Брежневой. Начался наш роман в 1961 году, на гастролях цирка в Японии. А расписались мы в 1962-м, после того как она разошлась с первым мужем — тоже работавшим в цирке Евгением Милаевым. Правда, продлился наш официальный брак и семейная идиллия всего лишь... девять дней. Потом нас развели и начались мытарства.

— Она ведь была намного старше вас?

— Да. Но стояла на такой позиции: пусть будет для счастья три года, четыре, но проживет она их в любви... Галина Леонидовна и тогда, кстати, была очень умной женщиной. Обстоятельства ее сломали.

— Так почему же ваш брак был таким скоротечным?

— Расписавшись, мы с Галей уехали в свадебное путешествие в Сочи. Она оставила родителям записку: мол, извините, что без предупреждения, но я вышла замуж за Игоря Кио, ему 25 лет (хотя мне тогда только стукнуло 18), и мы уехали в Сочи... И когда позвонила из Сочи домой, Леонид Ильич записывал, заявил: мол, хватит ему артистов цирка, чтоб ноги ее в доме не было и чтоб никто с ней не общался... Но Брежнев, как известно, любил свою дочь и был отходчив. Если б не досадная случайность, все могло сложиться и по-другому. Милаев, узнав, что Галя вышла за меня замуж, тоже разозлился и стал искать зацепки, чтобы разрушить наш союз. И нашел: по закону свидетельство о расторжении брака должно было выдаваться сторонам на руки по истечении 10 дней, а Галя получила его через 8. И с этим «фактом» он отправился к Брежневу. А Леонид Ильич в тот пе-

риод был председателем Президиума Верховного Совета и ярким поборником правового государства и верности букве Закона. Вот и дал он команду с нами разобраться! В Сочи одна за другой полетели две телеграммы на правительственных бланках. Одна — моему администратору Фрадкису, проработавшему в цирке более 40 лет, другая — начальнику УВД Сочи за подписью генерального прокурора Руденко. Фрадкису, который организовывал нам все загсовые дела, предписывалось «за нарушение того-то и того-то, в связи с компрометирующими данными и т. п.» явиться в прокуратуру для дачи показаний. Он, бедный, пришел к нам, смеясь и плача одновременно. А когда мы спустились в фойе гостиницы, там нас встретили нервные и трясущиеся работники сочинского УВД, — им приказано было забрать у нас паспорта. Они-то нам и показали вторую телеграмму, где сообщалось, что «в связи с нарушениями таких-то пунктов брак считается недействительным». Долго извинялись, понимая: отец с дочерью завтра помирятся, а они могут оказаться крайними... Но Галя ехать в Москву категорически отказалась. И тогда КГБ устроило за нами настоящую слежку. Причем в открытую: где бы мы ни появлялись, нас снимали на камеру, чуть ли не в постель к нам залезали... В общем, всячески вынуждали возвратиться в Москву. Да еще и мать звонила Гале постоянно, просила вернуться... И мы решили: чтобы не пострадали другие люди, ей надо лететь в Москву. Я провожаю ее в аэропорт, два человека стоят рядом со мной у трапа самолета. Ну, думаю, вот сейчас она взлетит, а меня заберут... Нет, пронесло. Правда, потом с недельку таскали в КГБ нашего администратора. Но Галя уговорила отца, чтоб и его оставили в покое.

— На том и расстались?

— Нет, конечно. Еще два года продолжали встречаться. Я молодой был, легкий на подъем и из каждого города, где бы ни гастролировал цирк, летал к ней на выходной в Москву. Иногда и Галя приезжала. Но ей сложнее было. Она ведь считалась незамужней, а значит, должна была каждый вечер возвращаться домой и там ночевать. Такие были в семье нравы. И все же она умудрялась ускользнуть из дома. Однажды прилетела ко мне в Одессу, сказав своим, что поехала к подруге на дачу. А зимой в Одессе бывают такие дни, когда вдруг ни с того ни с сего на несколько суток — нелетная погода. И, как назло, случилось такое во время ее очередного ко мне визита. Уже и мама ей звонит, узнав, где она, чтоб немедленно приезжала, а то хуже будет... При первой же возможности Галя улетела. Но после этого взялись за меня. Возвращаюсь я вечером в гостиницу, вдруг звонит директор цирка: «Извини, Игорь, но тут тебя ищут товарищи из местного КГБ».

Утром за мной приехали, посадили в машину и увезли. Привели в пустую комнату, дали ручку, лист бумаги и сказали: «Пиши всю правду и подробно, что к тебе приезжала гражданка такая-то, когда, с какой целью, на чьи деньги были куплены билеты и чем вы здесь занимались...» И оставили одного, закрыв дверь на ключ. Психологический расчет: вроде и не в камере, но под замком. За 15 минут я разделался с «признанием», но продержали меня под замком часов шесть. Потом отвели к местному начальнику КГБ, который внешне очень был похож на Берию: лысоватый и в пенсне. Начал он по-хорошему: надо, дескать, заканчивать с этими отношениями... А я молодой, глупый: «Люблю ее!» Тогда он: «А как бы ты поступил, если б пришлось выбирать: или — любовь, или — жизнь твоего отца?» Бред какой-то! Я по глу-



пости продолжаю: «Не понимаю, товарищ генерал, это что же — шантаж?» Так он мне: «Подумайте! Это вам информация к размышлению...» А напоследок предупредил: пока я работаю в Одессе, в выходные дни в Москву больше летать не смогу — никто и нигде мне билета не продаст. Да еще установили круглосуточную за мной слежку.

Наконец вернулся в Москву. С Галей мы продолжали встречаться. Тогда они придумали другой способ, как от меня избавиться. У меня было освобождение от службы в армии по состоянию здоровья из-за лимфаденита. Время от времени возникала у меня между шеей и щекой опухоль, которая, как признавали, была туберкулезного происхождения. И вдруг является нарочный с повесткой от военкома Москвы: я срочно должен ехать в Подольск, в главный госпиталь МВО для переосвидетельствования. Меня привезли и сдали главному врачу. В тот момент у меня по закону подлости, естественно, на щеке ничего не было. Врач говорит: будем резать, чтобы определить, есть ли заболевание. К счастью, резать не стали, собрали консилиум, и тот подтвердил мою непригодность к службе.

— Но почему Брежнев так противился вашим отношениям?

— Во-первых, 14-летняя у нас с Галей разница в возрасте. Во-вторых, артист цирка — несолидно для дочери главы государства. Тем более что и первый муж оттуда. И это ему тоже не нравилось.

Из-за всех перипетий наши отношения с Галей стали потихоньку угасать. В конце концов мужем дочери, к удовольствию генсека, стал офицер милиции Чурбанов.

Потом уже, когда цирк был в Москве, Брежнев пришел посмотреть мое выступление. Галя позво-

нила и предупредила, что отец, собираясь на представление, сказал ей: «Посмотрю, какой он, твой бывший...»

— Говорят, что в своих аттракционах вы все время распиливаете жен. Галю пилили?

— Ее нет. А вот вторую распиливал. Нынешнюю — сжигаю. Но все время убеждаю, что для нее это не опасно, пока я ее люблю.

— А кто была вторая?

— Артистка цирка. Мы прожили с ней 12 лет, у нас дочь. А как разошлись, через пару лет она вышла замуж за моего родного брата и живет с ним по сей день. Представьте: я несколько лет платил алименты за свою дочь моему же брату!

— Чем занимается дочь?

— Много лет отработала в цирке дрессировщицей собак — унаследовала профессию от своей бабушки. Но сейчас переквалифицировалась — вышла замуж за балетмейстера Андрея Новикова, стала солисткой балета. И сейчас этот балет — в моем шоу.

— Кстати, Игорь Эмильевич, очень давно ни о вас, ни о ваших творческих проектах ничего не слышно. Где вы пропадали?

— Точное слово: буквально пропал полгода в Японии, на севере страны, в ночном клубе. На первых порах все казалось неплохо: горный курорт, снег, мороз, постоянная смена зрителей. И в то же время — полная изоляция от общества. Такое впечатление, что я провел пять месяцев в больнице. И настолько истосковался по нормальным российским зрителям, что, думаю, пора о себе напомнить.

— Как?

— 7 марта в цирке на проспекте Вернадского состоится премьера супершоу «Игорь Кио представля-

ет». А представляю я, как художественный руководитель и «крестный отец», замечательный иллюзионный аттракцион под руководством Юрия Кукуса и Татьяны Кох. Зрители впервые смогут увидеть там такие чудеса, что и Дэвиду Копперфильду не снились. Впрочем, о них лучше не рассказывать... Приходите — убедитесь сами!

«Расскажу все, как было», — доверительно обещает Юрий Чурбанов.

«В один из январских вечеров 1972 года я с товарищем приехал поужинать в Дом архитектора на улице Щусева. Пришли в ресторан, сели за столик, заказали, как помню, холодный ростбиф, салаты и бутылку вина. Не знаю, как сейчас, но тогда в ресторане Дома архитектора был большой камин, и вот, когда его разожгли, я заметил, что в глубине зала за двумя столиками, сдвинутыми вместе, сидит знакомая компания. Разумеется, мы с товарищем тут же подошли, поздоровались, присели, и нас познакомили с теми, кого мы не знали, и в том числе с молодой, внешне интересной женщиной, которая представилась скромно и просто: «Галина». Я и понятия не имел, что это Галина Брежнева.

Прошло какое-то время, и получилось так, что Галина Леонидовна сама позвонила мне на работу. В удобной и оригинально-шутливой форме спросила, куда же я исчез, почему не звоню. Не скрою, я обрадовался такому звонку. Мы тут же решили встретиться. После работы Галина Леонидовна заехала за мной, и мы провели вместе целый вечер. Мне было очень интересно. Эта женщина нравилась мне все больше и больше. Потом я уехал в отпуск, отдыхал в Подмоскowie, Галина Леонидовна несколько раз приезжала ко мне, и я тоже ездил в Москву. Наши от-

ношения стали сердечными. И только тут она призналась, чьей дочерью является.

Может быть, и не стоит об этом подробно говорить, но читатель сам помнит, какой ажиотаж был поднят в газетах и журналах вокруг нашей семьи. Лучше я сам скажу, как же все было на самом деле.

Когда мы с Галей решили пожениться, она пригласила меня на дачу к отцу.

Сколько же было публикаций об этой даче Генерального секретаря! Вся беда в том, что я, например, не видел ни одной фотографии к этим публикациям. А кто-нибудь их видел? Интересно, почему бы не показать? Ведь Леонид Ильич жил не на какой-нибудь супердаче: это был обычный трехэтажный кирпичный дом с плоской крышей. Наверху располагалась спальня Леонида Ильича и Виктории Петровны, они все время предпочитали быть вместе, а когда Леонид Ильич 10 ноября 1982 года принял смерть, Виктория Петровна спала рядом; небольшой холл, где он брился (сам, но чаще приглашая парикмахера). На втором этаже — две или три спальни для детей, очень маленькие, кстати говоря, от силы 9—12 метров, с совмещенным туалетом и ванной. Мы спали на обычных кроватях из дерева. Внизу жилых комнат не было, там находились столовая, рядом кухня и небольшой холл. На третьем этаже Леонид Ильич имел уютный, но совсем крошечный кабинет. Там же была библиотека. Обычно он отдыхал здесь после обеда, и никто не имел права ему мешать.

В доме был бассейн, где-то метров пятнадцать в длину, а в ширину и того меньше — метров шесть. Утром Леонид Ильич под наблюдением врачей делал здесь гимнастику. Рядом с домом был запущенный теннисный корт, на нем никто не играл, и он быстро пришел в негодность, зарос травой.

Вот сюда, на загородную дачу, Галина Леонидовна и пригласила меня для встречи с Леонидом Ильичом. Это был обычный день, мой отпуск шел к концу. Приехали где-то к обеду, Галя сразу познакомила меня с Викторией Петровной, и я увидел очень простую, удивительно обаятельную женщину. Сели за стол, и она как-то так повернула разговор, что моя скованность, давайте употребим это слово, быстро прошла. И если посмотреть со стороны — за столом сидели два хорошо знакомых человека и мирно беседовали на самые разные житейские темы. Вечером мы с Галей были в кинозале, смотрели фильм, и я даже не сразу заметил, как вошел Леонид Ильич. Только вдруг на фоне света увидел: стоит коренастый человек в серой каракулевой шапке-пирожке. Я поднялся, а он спрашивает: «Ты — Юрий?» — «Я». Тут он говорит: «А чего ты такой высокий?» Я хотел отделаться шуткой, но она у меня как-то не получилась, а он сказал: «Хорошо, я сейчас пойду разденусь, потом поужинаем и поговорим». Вот так состоялась знакомство. Потом был ужин: Леонид Ильич, Виктория Петровна и мы с Галей. Он задал вопрос: «Ваше решение серьезно?» И меня, и Галю спросил. «Да, мы подумали». И с моей стороны было сказано: «Да».

Видимо, я все-таки понравился ему. И не потому, что, как пишут, высокого роста (181 сантиметр), широкий в плечах, кареглазый... наверное, не только поэтому. В то время у Галины Леонидовны недостатка в женихах не было. И уровня они были повыше, чем подполковник Чурбанов. Молодой офицер, еще неизвестно, как у него сложится служебная карьера, не споткнется ли он... Но — понравился.

Мы расписались в загсе Гагаринского района. Леонид Ильич категорически запретил нам обращаться во дворцы бракосочетания; он хотел, чтобы все

прошло как можно скромнее. Мы специально выбрали день, когда в загсе был выходной, приехали, нам его открыли, мы расписались, поздравили друг друга, — что и говорить, пышное получилось торжество при пустом-то зале. Свадебный ужин проходил на даче и длился часа три. Можно представить себе робость моих родителей, когда их доставили на большой правительственной машине на дачу Генерального секретаря ЦК КПСС. Из двух костюмов отец выбрал самый лучший, что-то подыскала мама, все считали, что они нарядно одеты, а мне их было до слез жалко. Конечно, они очень стеснялись, мама вдобавок ко всему еще и плохо слышит, но отец держался с достоинством, не подкачал. Гостями с моей стороны были брат, сестра, несколько товарищей по работе, Галя тоже пригласила двух-трех подруг — в общем, очень узкий круг.

Расписавшись, мы с Галиной Леонидовной около года снимали квартиру в обычном доме на Садовом кольце, недалеко от американского посольства. Хозяева, муж и жена, уехали за границу, одна комната была закрыта на замок, там находились их вещи, а в нашем распоряжении имелась другая комната, ванная и кухня. У нас не было даже своей мебели, и мы весь год пользовались мебелью наших хозяев. А какая это была мебель? Квартирантам хорошие вещи люди не оставляют. Потом мы еще очень долго жили в моей однокомнатной холостяцкой квартире на проспекте Мира у метро Щербаковская. Леонид Ильич не торопился. Он не был человеком опрометчивых решений. Разумеется, никакой служебной машины у меня в тот период не было. Чтобы добраться до работы, жена тоже довольно редко вызывала «семейную машину». Единственное, когда заказывали продукты, тогда машина приезжала. Никаких машин

в качестве свадебного подарка мы с Галей от Леонида Ильича не получали. У Галины до замужества, кстати говоря жившей с родителями, была своя малолитражка, так называемая «блоха», которую она сама же и разбила. После ремонта мы сдали ее в комиссионный магазин по цене, утвержденной государством.

По складу характера Галина Леонидовна очень мягкий, очень добрый человек; вот эту мягкость, доброту, уважительное отношение к людям Галина Леонидовна взяла от Леонида Ильича. Сразу скажу, что у нее не было каких-то шикарных сверхтуалетов. Причем так: если дочь, приезжая к отцу и матери на дачу, была как-то вычурно одета, она получала от них нагоняй и в следующий раз одевалась уже так, чтобы не раздражать родителей. Конечно, драгоценные украшения, которые любит каждая женщина, у жены были и есть. Но ведь это дарили родители. С другой стороны, я все деньги приносил домой. Впрочем, о каких деньгах идет речь? Должностной оклад заместителя министра внутренних дел, я уже не говорю — первого заместителя министра, — порядка 550 рублей. Выплата за генеральское звание — 120—130 рублей. Плюс — выслуга лет. На момент увольнения у меня выслуга лет составляла 29 с хвостиком, то есть я расписывался в ведомости за 1100 рублей. Нам с женой, которая тоже работала и имела оклад 250 рублей, вполне хватало. Кроме того, как член коллегии я имел талоны на питание. Детей у нас с Галиной Леонидовной не было. От зарплаты я оставлял себе деньги на уплату партвзносов, на питание в столовой и на сигареты; остальные деньги я в конверте приносил жене, у нас такая традиция была, никем не установленная: я их клал сверху на холодильник. Она распоряжалась моими деньгами, плюс — своих 250 рублей, но и роди-

тельская помощь, конечно, ее никто со счетов не сбрасывает. Почему же, спрашивается, не иметь хорошее украшение, которое идет женщине? Но никакой россыпи бриллиантов, о чем сейчас судачат на всех углах, у жены не было. Очень контактная по складу характера и излишне доверчивая, Галина Леонидовна быстро отзывалась на человеческие просьбы. Вот это, видимо, ее слабость, потому что она не всегда замечала, что за обычной, казалось бы, просьбой кроется какое-то гнильцо. В общем, почти каждый человек пытался нажиться на этих просьбах, кого что интересовало — продвижение по службе или что-то еще, — а Галина Леонидовна не обладала гибкой ориентировкой и всегда старалась помочь этим просителям.

До своего замужества Галина Леонидовна жила с родителями, собственной квартиры у нее не было. Родители Галю не отпускали, были очень привязаны к ней, поэтому она всегда была под контролем. Каких-то больших шалостей — не прощали. Не знаю, как складывалась личная жизнь Галины Леонидовны до встречи со мной, была ли это счастливая жизнь, все ли в ней ладилось, — мы редко или почти не касались этой темы. Я давно заметил, что люди всегда охотнее говорят о настоящем, тем более если прошлое не оставило какой-то яркий след. Галина Леонидовна редко подчеркивала, что она дочь руководителя страны, у нас никогда не было уборщицы, квартиру убирала она, а уж посудомоечные дела целиком лежали на ее плечах. Так же, как все, по выходным дням мы отвозили вещи в прачечную и химчистку, свободного времени почти не было, Галина Леонидовна работала до самой смерти отца, да и потом еще несколько лет: сначала редактором в Агентстве печати «Новости», потом — у Громыко в МИДе,



где она занимала должность заместителя начальника отдела историко-архивного управления. Очень редко (несколько раз в жизни) она бывала в зарубежных командировках, причем только в социалистических странах. Мы никогда и не отдыхали за границей, как об этом писали в газетах, чаще всего это был Крым, реже — Подмосковье, а после ухода Леонида Ильича из жизни мы, по сути, вообще никуда не ездили. Трудно сказать почему: была, наверное, какая-то ложная стеснительность, нам казалось, что на нас смотрят, шушукаются на наш счет, — поэтому все отпуска мы теперь в основном проводили на даче. Так, наверное, было лучше.

Первому заместителю министра внутренних дел полагалась государственная дача, но я никогда этой «привилегией» не пользовался. В 1979 году на деньги Леонида Ильича, но и добавив, конечно, собственные сбережения, мы построили свою дачу. Получилось, что все заместители министра и члены коллегии пользовались госдачей, кроме первого заместителя министра. Причем это были весьма шикарные дачи, я уж не говорю о даче министра, на которой жить было одно удовольствие.

Галина Леонидовна очень вкусно готовила. Виктория Петровна старалась ей помогать, иногда она давала ей какую-то сумму денег на продукты, но нечасто, — в общем, у них были обычные родственные отношения. Мое любимое блюдо — это омлет с колбасой и сосиски. Сейчас бы их покушать...

Затворниками мы, конечно, не жили, но и приемом гостей тоже не злоупотребляли. Будучи хорошей хозяйкой, Галина Леонидовна всегда радовалась, если гости оставались довольны. Иногда мы тоже выезжали к нашим друзьям. В основном это были мои товарищи по службе, по линии жены — никого знако-

мых не было. Другая категория друзей — это те, с кем я работал в комсомоле, но они почти отошли от нас после смерти Леонида Ильича. Таких, ярко преданных, что ли, людей почти не осталось. Тут, видно, действует какая-то своеобразная формула: когда человек при должности, при положении, если угодно — при власти, он не испытывает недостатка в друзьях и товарищах. Но стоит ему чуть-чуть пошатнуться, как от него все бегут, как от прокаженного. И как только не трепали газеты имя дочери покойного Генерального секретаря ЦК КПСС! Все шло по одной и той же схеме: бриллианты, любовники, вечно пьяный муж, какие-то цирковые дела и прочая «сладкая» жизнь. Могу сказать одно: во всем этом очень много наносного. Если бы и была у Галины Леонидовны «сладкая» жизнь, то я бы, конечно, все знал.

Бывший председатель КГБ СССР Семичастный сейчас вообще договорился в своих «воспоминаниях» до того, что генерал армии Семен Кузьмич Цвигун, при Андропове работавший в КГБ СССР первым заместителем председателя, покончил с собой, якобы потрясенный своим же собственным докладом Леониду Ильичу о каких-то неблагоприятных поступках его дочери. Правда, Семичастный тут же добавил, что он не верит этой «побасенке». Так вот, товарищ Семичастный, я тоже не верю. Более того, могу совершенно определенно сказать, что все это полная чушь. И кому бы, как не Семичастному, знать это! Если угодно, то ведь тут — деликатная информация, она не подлежит разглашению. Докладывает тот человек, который обладает информацией, причем только тому, кто в этой информации нуждается. Все. В таких делах не нужен посредник. Наличие посредника, кстати сказать, и вызовет самое большое неудовольствие, если уж на то пошло. Тот же Семи-

частный утверждает, что Брежнев дважды приказывал ему убить Никиту Сергеевича Хрущева. Что же это происходит у нас с бывшими руководящими работниками, люди добрые?! Как же так можно? А доказательства? Или у товарища Семичастного это уже... чисто возрастное явление?

С братом Юрием у Гали не было, по-моему, близких отношений. По каким-то этическим соображениям мне не очень удобно об этом говорить, но раз в прессе опять-таки появились статьи, то я сразу скажу, что Леонид Ильич часто упрекал его за опрометчивые поступки, за — бывало и такое — неэтичное поведение в заграничных поездках. Леониду Ильичу ведь все докладывали. Утаить от него что-либо было практически невозможно, тем более что Юрий работал у Патоличева — в министерстве внешней торговли. Человек слабый и безвольный, Юрий еще как-то держался, когда был торговым представителем в Швеции. Но перейдя на работу в министерство, он попал под влияние своей жены, умной и образованной женщины из Днепропетровска, и тут, в общем, не все было так, как надо.

Если же кто-то из детей или внуков вдруг провинился и все это приобретало огласку, то Леонид Ильич всегда спрашивал очень строго, и взбучка бывала. Ну, какие это могли быть проступки? Допустим, кто-то нарушил правила дорожного движения или, скажем, высокомерно повел себя с сотрудниками ГАИ, — Леонид Ильич обо всем этом быстро узнавал, как это делалось, мы знали, и от него доставалось на «полную катушку». Впрочем, если говорить о внуках, то я не помню, честно говоря, чтобы они позволяли себе развязный образ жизни и были возмутителями спокойствия: ребята всегда держались в определенных «рамках» и воспитывались довольно строго. Не-

сколько раз, по-моему, Леонид Ильич и Виктория Петровна бывали на днях рождения у своего сына Юры. А вот у нас с Галей он не был ни разу. Виктория Петровна иногда, хотя и редко, приезжала к дочери, а он нет. Может, мы не очень настойчиво приглашали, может **быть**, это совпадало с его нездоровьем, но факт есть факт: у нас он никогда не был. Зато Леонид Ильич иногда навещал внуков. Если это были семейные праздники, он обычно дарил какой-то подарок, говорил слова приветствия, немного общался с гостями и уезжал.

Рой Медведев писал, что моя жена имела орден Ленина. (И еще много что написал: что я был «подполковником ГАИ», родился в Подмосковьё, — все это полностью не соответствует действительности.) А отец бы ей просто голову оторвал за такие награды. Какой орден Ленина? Она даже в КПСС никогда не состояла. Еще когда Галина Леонидовна работала редактором в Агентстве печати «Новости», у нее как-то раз была попытка на этот счет, но Леонид Ильич тут же запретил ей даже думать об этом и сказал: «Хватит того, что у тебя отец Генеральный секретарь, я в партии и без тебя разберусь что к чему».

10 ноября 1982 года, утром, в начале девятого, мне на работу позвонила Витуся, дочь Галины Леонидовны, и сказала: «Срочно приезжайте на дачу». На мой вопрос: «Что случилось?» — ответа не последовало. Я заехал за женой в МИД, и в скором времени мы уже были на даче. Поднялись в спальню, на кровати лежал мертвый Леонид Ильич, рядом с ним находились Виктория Петровна и сотрудники охраны. Юрий Владимирович Андропов уже был там. Позже подъехал Чазов. Прощание шло четыре дня.

Галина Леонидовна старалась еще как-то держаться. Только у гроба, у самой могилы, сказала:

«Прощай, папа». Слез уже не осталось, все было выплакано. Виктории Петровне предложили машину, чтобы доехать до Красной площади, но она наотрез отказалась: «Этот последний путь с моим мужем я пройду сама».

Я шел за гробом, поддерживая с одной стороны Викторию Петровну, с другой — Галину Леонидовну. Потом шел Юрий Леонидович с женой, племянники, Вера Ильинична и Яков Ильич, внуки Леонида Ильича — Андрей и Леня. Никто из нас на трибуну Мавзолея не поднимался, мы остались там, где находились гости.

О чем я думал там, на Красной площади? Конечно, я спрашивал себя, что же будет с нами, прежде всего с Викторией Петровной, что ее ждет, как она будет жить дальше?

Официально своим преемником Леонид Ильич никого не называл. Он, как я уже говорил, не собирался умирать. Но если он и думал о преемнике, то это был именно Андропов.

Уже после суда я виделся с женой в стенах Лефортовского изолятора. Пока шел суд, от Галины Леонидовны никаких весточек не было, а тут вдруг нам дали короткое свидание. Но меня и здесь не оставляли одного. Во время разговора присутствовал заместитель начальника изолятора, фамилию его я не помню; он живо интересовался беседой, потом мы пили чай с лимоном. Впрочем, тогда еще лимон в разряд дефицита не входил и деньги на этот чай, судя по моей тюремной «зарплате», не высчитали.

В общем, встретились мы с Галиной Леонидовной и попили чайку. Она сказала: «Где бы ты ни находился, я буду тебя ждать».

Вот так мы и простились.

Отсюда, из Лефортова, меня отправили в пересыльную тюрьму на Красной Пресне.

...Никто не знает, что пережила эта женщина за последний год. И я тоже не знаю, ведь я был уже под арестом. О том, сколько слез она выплакала, сколько ночей проведено без сна, можно было догадаться по ее лицу. Тяжелый «пресс» обрушился на Галину Леонидовну с первых же дней моего ареста. Тот же полковник Миртов во время следствия все время твердил: «Пусть ваша жена сдаст свои драгоценности и скажет, что вы привезли их от Рашидова из Узбекистана». Это повторяли Гдлян и Иванов. Я отвечал: «Что вы все ко мне, вы сами предложите это Галине Леонидовне, пусть она их и сдает». Вот такие были разговоры. А если бы я пошел на это «предложение», то... в общем, Гдлян все время сулил мне какую-то поблажку. Драгоценности Галины Леонидовны — это серьги, кольца, кулон и браслет, подаренные родителями. Что-то из своих украшений она приобретала сама, но среди всех этих «цацек» ничего сногшибательного не было. Единственное, Гале всегда очень нравились серьги, среди них одна пара, я помню, была действительно дорогая — это золото с бриллиантами на сумму в несколько тысяч рублей. Но зато другая пара серег стоила уже всего несколько сот рублей — то есть Галина Леонидовна имела лишь то, что ей действительно нравилось и шло. Ни о каком коллекционировании бриллиантов и речи быть не могло. Леонид Ильич бы и не позволил. Повторяю, он хорошо знал, как мы жили.

Так вот, Галина Леонидовна сказала: «Пусть все забирают, за имущество я бороться не стану. Пусть и квартиру забирают. Все равно я пока буду жить у друзей». Галина Леонидовна сама хотела подать заявление, чтобы у нас забрали четырехкомнатную

квартиру и дали бы ей квартиру из двух комнат в любом районе Москвы. Я не отговаривал. В наших четырех комнатах было чуть больше 80 метров, квартира удобная, но не «двухэтажная», как писали в газетах, — это новый дом на улице Щусева, рядом с тем самым Домом архитектора, где мы 15 лет назад встретили друг друга.

А через 10 дней, уже около шести часов вечера, раздалась команда — «на выход с вещами!».

Бывели нас на улицу, погрузили в автозак, привезли на вокзал и воткнули в знаменитые «столыпинские» вагоны.

Когда я был первым заместителем министра, я эти вагоны видел, но, разумеется, никогда в них не был и просто не представлял себе, что это такое на самом деле. Полутемный вагон, в нем камеры на 6—12 человек каждая. Есть камеры для особо опасных преступников, таких как Чурбанов, — они на три человека, хотя меня везли одного и в сопроводительном «наряде» было написано: строгая изоляция. Это значит, что я ни с кем не должен общаться и со мной — под страхом наказания — тоже никто не имеет права разговаривать.

Я ехал, смотрел и все время вспоминал последние встречи с Галиной Леонидовной. Что с ней будет? Как ей жить? По постановлению суда, все наше имущество подлежало конфискации. Ну хорошо, меня осудили. Но она в чем виновата? Тут еще вопрос, виноват ли сам отбывающий наказание, — почему же его семья должна влачить нищенский образ жизни? Осужденный, допустим, как-то проживет, государство, которое изолировало его от общества, гарантирует ему питание, спальное место и прочее. Но что будет с его семьей, она, его семья, это что же, не люди они, что ли? Получается, что если человек

провинился, так его нужно обязательно раздеть до трусов, да еще без резинки оставить, чтобы он просто был гол как сокол. И не его одного — всю его семью. Вот наши законы.

А когда вернешься из заключения, то живи как хочешь.

О многом передумал я за эти три дня, пока наш «столыпин» катил на Урал».

Брежнев и его сподвижники, как известно, совсем не были склонны обременять себя доверительными беседами с управляемым ими народом. И советские журналисты не спешили оповестить мир о том, что происходит за закрытыми дверями ЦК. И в советском Генштабе не устраивали регулярных «брифингов» для инкоров. Наоборот — и чекисты, и обслуживающая их пресса вкупе с КГБ и цензурой были озабочены тем, как бы понадежнее упрятать концы в воду и скрыть тайну. Так что вещи мандельштамовские слова — «мы живем, под собою не чуя страны» — в Советском Союзе оставались актуальны.



## РАЗЪЯРЕННЫЙ КРИТИК ГОРБАЧЕВА

Нина Андреева была той женщиной, которая должна была разбудить и стимулировать реакционные силы КПСС.

Перед вами интервью Нины Андреевой, данное ею московскому корреспонденту влиятельной американской газеты «Вашингтон пост» Дейвиду Ремнику.

Нина Александровна Андреева выглянула в окно. Экскурсионные автобусы все утро с ревом подъезжали к царскому дворцу и уезжали вниз по дороге. Раздавались радостные возгласы плавающих в мутном бассейне, где часто купались Романовы. Но на улице Коминтерна было тихо. Магазины закрыты. Воздух недвижим, пахнет жасмином и бензином.

Она стала знаменитой. Или скорее печально известной — после публикации в «Советской России» 1988 ее длинного письма, в котором она оправдывала великие чистки («их слишком раздули») и задавалась вопросом об искренности сидящих ныне в Кремле. Имя Нины Александровны стало синонимом реакционера, сталиниста, антисемита. Она уже не была незаметной провинциальной преподавательницей химии. Она была Ниной Андреевой, мрачным мстителем Петродворца, голосом прошлого.

И кто же за ней стоял? Людям хотелось знать. По чьему темному сценарию она разыгрывала спектакль? Сколько еще людей думало так же, как она? Весь мир хотел знать. В ее маленькую квартиру пришло 7 тысяч писем, бóльшая часть приветствующих ее, но некоторые — с угрозами.

И все же, казалось, она не создана для роли спорщика хотя бы внешне. Завитые волосы, узкие, глубоко сидящие глаза, одутловатое лицо — она скорее похожа на старшую медсестру: чопорная, сердитая женщина 51 года, пытающаяся, когда позволит случай, выглядеть милой.

Ожидался гость, американский репортер. Нина Александровна полтора года избегала советских журналистов, чувствуя, что ни одна газета в ее родной стране не осмелится выслушать ее беспристрастно. Они не напечатают ни ее писем, ни ее новую статью «Время не ждет», где она нападает на Кремль и «сбившихся с пути» западников и сионистских шпионов. Ее высмеяли. Один комментатор назвал ее по всесоюзному телевидению бандершей. Но она, по ее словам, «настоящий коммунист», истинно верящий в эпоху опасных «уклонений». И теперь, когда ей есть что рассказать, например об образовании группы под названием «Единство», чья цель — сохранить власть пролетариата, она решила рассказать об этом прежде всего капиталистам.

«Так получилось, — говорит Нина Александровна. — Для советских людей общение со мной означает, что они поддерживают Андрееву, а этого нельзя допустить. Все равно что дразнить красной тряпкой быка. Я стала символом, и многие люди зарабатывают себе на жизнь просто упоминанием моего имени».

Ее гость прибыл, представился. Натянута улыба-

ясь, она повторила его имя, смещая ударения, казалось, пытаясь уловить в фамилии этнические корни. Но все же вежливость не позволяла ей задавать вопросы впрямую. Так ничего и не обнаружив, она улыбнулась и пригласила гостя выпить чаю с конфетами.

Журналист преподнес ей коробку немецких шоколадных конфет и бутылку бордо.

«Как мило», — сказала Нина Александровна.

Разговор перескакивал с предмета на предмет, бессвязно и сумбурно, как полет шмеля между двумя оконными стеклами. Наконец темой беседы неожиданно стал рок-н-ролл.

«Вам очень нравится рок?» — спросил репортер.

Глаза Нины Александровны расширились, она была шокирована. Рок — ведь это «безумные ритмы», песни, которые можно было назвать только «полуживотными непристойными имитациями секса».

Она прочла в ленинградских журналах о певце Юрии Шевчуке. «Он поет песню «Предчувствие гражданской войны». Господи, да что же это такое? И я видела его фотографию. На нем пара рваных джинсов и распахнутый жилет. Ладно, пускай, но извините, все расстегнуто, грудь видна и ниже, половой орган торчит! Он танцует с выпирающим членом перед всеми этими девчонками. О какой же чистоте можно говорить после этого?» Вопрос остался без ответа и, казалось, повис в воздухе.

Потом Нина Александровна изложила свою точку зрения. «Все дело в том, что нам, может, и не нужна железная рука, но в любом государстве должен быть порядок, — сказала она, повышая голос, касаясь этой более высокой темы. — Это не государство, это словно сборище анархистов. А при таком сборище нет ни государства, ни порядка, ниче-

го нет. Государство — это прежде всего порядок, порядок, порядок».

Ярлыки политической жизни давно ничего не означают в Советском Союзе. Если бы Михаил Горбачев был политиком в конце 20-х и говорил о переходе ферм в частное владение, демократизации управления и Коммунистической партии, свободном рынке, он был бы записан в «правые уклонисты». И тогда его поставили бы к стенке. «Левая оппозиция», последователи Троцкого, тоже были «врагами народа». Их тоже ссылали или пристреливали.

«Сейчас «правые» стали «левыми», а «левые» — «правыми», и никто не знает, что все это означает. Кто есть кто?» — говорит Нина Александровна. Глаза ее бегают, как у раздраженного подростка.

Она выпивает чай и несколько рюмочек коньяка. Ее муж Владимир Иванович Клушин, ученый, ничем не примечательной внешности, сидел за столом, часто прерывая разговор, давая жене возможность собраться с мыслями. Потом она продолжала: «Володя, тише. Я расскажу дальше сама, спасибо».

С 85-го года, говорит она, страна ждала результатов реформы Горбачева. Где же они? «Под руководством Ленина страна за четыре года успешно сделала революцию, победила в гражданской войне и отразила нападение иностранных захватчиков. За четыре года при Сталине народ разбил фашистскую армию и встал во главе мирового рабочего движения. Ровно столько же времени потребовалось, чтобы залечить раны, нанесенные войной, и достичь предвоенного уровня производства».

А каковы результаты перестройки, «детища мысли либеральной интеллигенции»? Сплошной обман, вздор.

«Политическая структура общества антисоциа-

листического движения выражается в форме демократических союзов и народных фронтов. Растет число экологических катастроф. Уровень морали падает. Существует культ денег. Упал престиж честного, производительного труда. Обострилась ситуация в социалистическом содружестве. Польша и Венгрия бегут впереди нас — и прямо в пропасть».

Именно эти отчаянные мысли — что страна свернула с истинного пути и мчится к пропасти — заставили Нину Александровну написать свое знаменитое письмо. Она защищала «традиционные ценности» — уютные сталинские истины о коллективизации, централизованной власти, господстве пролетариата, предательстве шпионов-«космополитов».

Она стала думать, не написать ли ей письмо после двух статей Александра Проханова об Афганистане и политике. Эти статьи были опубликованы в консервативной газете Союза писателей «Литературная Россия» и рабочей газете «Ленинградский рабочий». Она их одобрила, но решила, что «этого недостаточно». Написала несколько длинных писем, изложив волнующие ее вопросы, и разослала по разным изданиям. В газете «Советская Россия» ее попросили сделать статью из двух писем. Вопреки слухам, что редакция кардинально переделала статью, Нина Александровна сказала: «Это все мое». По ее словам, все, что исправили, так это убрали несколько цитат и добавили первый абзац о политических спорах со студентами.

Письмо называлось «Не могу поступаться принципами» и стало политическим событием сезона не столько из-за самой статьи, сколько из-за реакции на нее. По сей день многие в стране убеждены в том, что был заговор...

Это был решающий момент вечной игры большевиков в «кто есть кто?», и все же ни один из тех, кто об этом говорит, не знает всех фактов по «делу Андреевой», а те, кто знает, молчат.

Нина Александровна улыбнулась — грубоватая усмешка человека, притворяющегося, что скрывает секрет, который ни за что не выдаст, а, что еще вероятнее, она его и не знает.

«Я не могу быть на сто процентов уверена», — сказала она, но поняла «из московских источников», что «Лигачев читал и одобрил ее письмо к публикации». «Более того, и Горбачев читал статью еще до публикации. И не возражал».

Ее муж поднял руку, рискуя разрушить семейное спокойствие.

«Я не думаю, что Горбачев читал, — сказал он. — Ему просто принесли, показали, и он сказал: прекрасно, давайте. Не посмотрев даже. Потом из Монголии, где проходила встреча идеологических работников, приезжает Яковлев, и...»

И так далее. Если с письмом Андреевой и были связаны какие-то темные делишки, ни автор письма, ни ее муж не знали ничего, кроме сплетен. Все, что могла сказать Нина Александровна: да, из всех лидеров Кремля Егор Лигачев — единственный, «кто стоит на твердой марксистской позиции». Горбачев, наоборот, говорит о выкорчевывании старых деревьев и посадке новых. А так не пойдет.

Нина Александровна оставила гостя с мужем, повязала на своей полной талии фартук и ретировалась на кухню. Она готовила шикарный обед — салаты, жареная картошка, овощи, мясо и лишь изредка заглядывала в комнату, чтобы контролировать слова мужа.

Пока жена готовила, Владимир Иванович прямо ожил.

Он говорил мало, осознав знаменитость и строгость жены. В ее отсутствие он стал посвободнее, но как только он начал нудно рассказывать об «огромном значении Сталина», появилось ощущение, что он выступает за себя и за нее. Он не был знаменитостью, и это развязало ему язык. Там, где она бы сдержала эмоции, Владимир Иванович был непримирим.

«Что молодое поколение узнает из «Юности» и «Огонька»? Что Сталин был параноик, садист, пьяница, убийца, — начал он. — Его пытаются отождествить с Мао Цзэдуном, как будто при Сталине не было достижений.

Что касается репрессий, я не могу говорить об их масштабе. Ведь сейчас многие запросто подменяют цифры, когда речь идет о прошлом. Хрущев, работая в комиссии по расследованию репрессий, назвал число репрессированных — 870 тысяч. Это много, но не 20 или 50 миллионов, как некоторые пытаются сейчас выставить. Сейчас все основано на выдумке и подтасовке фактов.

Ведь борьба без жертв не бывает.

Но я был на фронте в 43-м году. Я знал простых солдат и офицеров. Они по-разному относились к Сталину... Большинство колхозников и интеллигенции уважало его. На любом празднике первую рюмку пили за главнокомандующего, за Сталина. Никого не заставляли этого делать.

И мой отец был репрессирован, по 58-й статье. И что из того?» Владимир Иванович рассказывает, как его отец, инженер, потерял «какие-то бумаги, государственную тайну... что-то в этом роде» во время войны. Жестокое наказание «за ошибку, — заключил он, — но в конце концов обвинение было не напрасным».

«Вы, — сказал он, указывая на гостя, — из более молодого поколения. Спросите своих родителей, может быть, они воевали. В то время человеческая жизнь была совсем не так ценна, как сейчас. В нашей стране войны шли с 14-го по 17-й год, потом опять с 18-го по 21-й. И во время войны людей казнят даже тогда, когда, может быть, нестроного наказания было бы достаточно. Это очень жестоко... но если бы такой жестокости не было, все просто разбежались бы в разные стороны. Иногда и жестокость оправданна».

Обед был горячим, длинным и сытным. Как правило, русские реакционеры прекрасно готовят. Нина Александровна готовила исключительно. Если еще принять во внимание, что продуктов в Ленинграде практически нет, а в провинции, за городом, дела обстоят еще хуже, обед действительно был чудом кулинарного искусства. Поев, Нина Александровна стала рассказывать о своей жизни.

«Я родилась 12 октября 1938 года в Ленинграде, в простой семье, — начала она. — Меня крестили, и я до сих пор помню звон колоколов на Пасху. Они возвышали душу... Но я верю в реальность. Религия — лишь красивая волшебная сказка о том, что пусть мы здесь страдаем, зато на том свете будет лучше. Коммунизм же основан на твоих реальных действиях, на том, что ты сделал сегодня.

Мои родители были крестьянами из Калининского района центральной России. В 29-м, когда начался голод, они переехали в город. Отец, мать и старший брат стали рабочими. У отца было только четырехклассное образование, а мама прошла ликбез. Ее семья считалась середняками. У них было 10 детей, лошадь и маленькая моторная лодка. Была еще и корова, но дети всегда ходили полуголодными.



В начале войны мать рыла окопы в Ленинграде. Она и одна из моих сестер работали в госпитале, где лежали раненые солдаты. Мне было три года, когда мы с двумя братьями и их школьным классом эвакуировались. Мама уехала из Ленинграда последним поездом, выходящим из города. После этого вся связь с Ленинградом прекратилась.

Старшая сестра ушла на фронт и погибла в 43-м году в Донбассе. Ее муж, комиссар противотанкового батальона, погиб через неделю после нее. Отец был на Ленинградском фронте, и старший брат тоже во-евал.

Сестры, мать и я жили в местечке под названием Углич до 44-го года. Квартира коммунальная, 22 или 24 квадратных метра, мы ее делили еще с двумя семьями. Был только стол — я всегда удивлялась, почему его не пустят на дрова, — пустая кровать и больше ничего. Ни чашек, ни ложек, ни тарелок. Абсолютный ноль. Однажды пришли и сообщили, что мой брат и мой отец, воевавший в артиллерийском батальоне, погибли.

В 53-м, вернувшись в Ленинград, мы узнали о смерти Сталина. Я была в 6-м или 7-м классе. Объявили общий траур. Все ребята стояли на линейке, а директор говорил нам о Сталине. Все учителя плакали. Мы все стояли там, еле сдерживая слезы. День был серым, весенний день без солнца. Мы надели пальто и вышли на Невский проспект к памятнику Екатерины Великой, по радио играла траурная музыка. Все были печальны, и все думали об одном: «Что же мы теперь будем делать?» Казалось, ожиданий Нины Александровны никто не оправдал.

Хрущев был неудавшимся реформатором, пытавшимся развенчать Сталина. Брежнев был продажен и глуп. А сейчас она переживала время, когда голоса

Солженицына, Медведева и Сахарова зазвучали легально, а Сталина по всесоюзному телевидению сравнивали с Гитлером. Когда Нина Александровна коснулась этого, ее глаза потемнели от холодной ярости.

«Сталин — вождь, под предводительством которого страна построила социализм за 30 лет, — говорит она. — Мы были бедны и неграмотны. Большинство крестьян были бедны настолько, что едва перебивались от урожая к урожаю.

Сегодня средства массовой информации все время лгут о Сталине. Они чернят нашу историю, вычеркивают миллионы людей, строивших социализм в очень тяжелых условиях. Мы говорим: «Смотрите, как ужасно мы жили». Ну что ж, жизнь была нелегкая, но каждый верил, что будет лучше, а уж дети и внуки будут жить совсем хорошо. Люди, у которых ничего не было, могли чего-то достичь. А что теперь? Есть ли сейчас вера в будущее? Я думаю, за четыре года перестройки вера рабочих людей пошатнулась — я подчеркиваю, рабочих, честных, обычных людей, — потому что наше прошлое оплевано.

Непредсказуемое будущее не может быть основой нормального рабочего состояния. Раньше человек, ложась спать, знал, что утром он пойдет на работу, и медицинская помощь для него бесплатна. Не очень квалифицированная помощь, но тем не менее бесплатная. А сейчас у нас нет даже этих гарантий».

После обеда втроем спустились по улице Коминтерна через небольшой парк к Петергофу, царскому дворцу...

Чезаре Ломброзо пишет: «Очень часто преступления, совершаемые женщинами из ненависти и мести, имеют очень сложную подкладку. Преступницы,

подобно детям, болезненно чувствительны ко всякого рода замечаниям. Они необыкновенно легко поддаются чувству ненависти, и малейшее препятствие или неудача в жизни возбуждают в них ярость, толкающую их на путь преступления. Всякое разочарование озлобляет их против причины, вызвавшей его, и каждое неудовлетворенное желание вселяет им ненависть к окружающим даже в том случае, когда придраться решительно не к чему. Неудача вызывает в их душе страшную злобу против того, кто счастливее их, особенно если эта неудача зависит от их личной неспособности. То же самое, но в более резкой форме, наблюдается и у детей, которые часто бьют кулаками предмет, толкнувшись о который они причинили себе боль».

## БИБЛИОГРАФИЯ

*Аллилуева С.* Двадцать писем к другу. — М.: Известия. 1990.

*Александров В.* Трудные годы советской биологии // Знание-сила. № 6. 1996.

*Ананий.* Сложный мужчина Алексей Максимович // Совершенно секретно. № 1. 1996.

*Баранов В.* Смерть буреветника // КОД № 6. 1996.

*Бениславская Г.* Дневник // Мила-плюс. Октябрь, 1993.

*Белоконь А.* Помощница Рихарда Зорге // Новости разведки и контрразведки. № 14. 1996.

*Бросс А.* Групповой портрет с дамой // Иностранная литература. № 12. 1989.

*Василькова Н.* Последняя любовь Льва Троцкого // Авантюрист. № 3. 1994.

*Викин А.* Жена генерала Эйтингона // Новости разведки и контрразведки. № 23—24. 1995.

*Гендлин Л.* Исповедь любовницы Сталина. — Мн., 1996.

*Гордон Б.-Ш.* Судьба советских перебежчиков // Иностранная литература. № 6. 1990.

*Гусев К. В.* Эсеровская богородица // ЛГ-досье. № 8. 1992.

*Голиков Д.* Крушение антисоветского подполья в СССР. — М.: Политическая литература. 1978.

*Дойчер И.* Адски темная ночь // Иностранная литература. № 3. 1989.

*Дружников Ю.* Вознесение Павлика Морозова // Родник. № 10 1990.

*Жак Л.* Женщины русской революции. — М.: Политическая литература. 1968.

*Жирмунская Т.* Женщины русской революции. — М.: Политическая литература. 1968.

*Кедров К.* Дьявол в деталях // Известия. 6 ноября 1996.

*Клещук Е.* Прыжок Багиры // Спид-инфо. № 4. 1997.

*Комиссаржевский Ф.* Москва во время революции // Театр. № 6. 1992.

*Кобзев И.* «Кавалерист-девица» из ЧК // Родина. № 8—9. 1993.

*Коптелов А.* Женщины русской революции. — М.: Политическая литература. 1968.

*Куценогий Ю.* Три эпизода из жизни Кшесинской // Нева. № 10. 1992.

*Латышев А.* Возлюбленная Ленина // ЛГ-досье. № 8. 1992.

*Минчин А.* Тепло ли нам дома // Огонек. № 42, октябрь. 1990.

*Медведев Р.* Они окружали Сталина // Юность. № 3. 1989.

*Наумов С.* Палачи // Молодая гвардия. № 3. 1994.

*Окуневская Т.* Татьянин день // ЛГ-досье. № 10, 1994.

*Пайкова Л.* Я пою, кричу, танцую и плачу // ЛГ-досье. № 10. 1994.

*Подлящук П.* Женщины русской революции. — М.: Политическая литература. 1986.

*Ремник Д.* Разъяренный критик Горбачева // Огонек. № 33, август. 1989.

*Родзинский Э.* Крупская пыталась дать яд Ильичу // Совершенно секретно. № 1. 1997.

*Сарнов Б.* Зачем мы открываем запасники // Огонек. № 3. 1990.

*Сирота Б.* Ген-секс. // Авантюрист. № 3. 1993.

*Секридова Т.* Для Брежнева я был непрестижный зять. // Частная жизнь. № 3. 1997.

*Соловьев В., Клепикова Е.* Заговорщики в Кремле. — М.: Арт, 1990.

*Сопильняк Б.* Загнанных лошадей пристреливают // Совершенно секретно. № 6. 1995.

*Спешнев А.* Портреты без ретуши // Дружба народов. № 4. 1991.

*Шарапов Э.* Полковник Зоя Рыбкина, разведчица и писательница // Новости разведки и контрразведки. № 1—2. 1995.

*Шейнис З. М. М.* Литвинов: возвращение в строй и последние годы жизни // Новая и новейшая история. № 4. 1988.

*Чазов Е.* От великого до смешного // ЛГ-досье. № 4. 1992.

*Чурбанов Ю.* Расскажу все как было // ЛГ-досье. № 11—12. 1994.

*Хрущев Н. С.* Воспоминания // Огонек. № 36, сентябрь. 1989.

*Цвейг С.* Поездка в Россию // Нева. № 7. 1992.

# СОДЕРЖАНИЕ

О ЖЕНЩИНАХ, КОТОРЫЕ СОЗДАВАЛИ ПРОБЛЕМЫ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ) . . . . .	3
«РАЗНУЗАННЫЙ БОЛЬШЕВИЗМ» И ФАВОРИТКА ИМПЕРАТОРА . . . . .	14
ГРЕХОПАДЕНИЕ ВОЖДЯ . . . . .	27
СЕМЬЯ ВАМПИРОВ . . . . .	52
СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА С БРАУНИНГОМ . . . . .	72
АБСОЛЮТ . . . . .	103
«КАКАЯ АТЛАСНАЯ ГРУДЬ, КАКОЕ ИЗЯЩНОЕ ТЕЛО...» . . . . .	120
ЗАБЫТЫЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ . . . . .	133
НИМФЫ В ВАЛЕНКАХ . . . . .	162
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ АНТОНИНЫ ПАЛЬШИНОЙ . . . . .	178
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ СОТРУДНИЦЫ СЕКРЕТАРИАТА ВЧК. . . . .	191
ДОРОГАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА . . . . .	206
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДАР ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ . . . . .	220
ЧАЙКА НАД МИНОНОСЦЕМ . . . . .	248
ПОЛПРЕД В ШЛЯПКЕ СО СТРАУСИНЫМ ПЕРОМ . . . . .	260
ОПЫТЫ ОЛЬГИ ЛЕПЕШИНСКОЙ . . . . .	278
БОЛЕЗНЬ ДУШИ . . . . .	301
«Я СЧИТАЮ, ЧТО УПРЕКОВ Я НЕ ЗАСЛУЖИЛА...» . . . . .	314
СТРАДАТЬ — ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ? . . . . .	333
ТРАГИЧЕСКИЙ РОМАН МИСС СТРИТЕР . . . . .	347
МНОГИЕ ЗНАЛИ ИХ МОЛОДЫМИ И КРАСИВЫМИ . . . . .	356
ДОНОЩИЦЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ . . . . .	378
КОМИТЕТ «СОВИНФОРМБЮРО» . . . . .	391
СЛУГИ И ГОСПОДА . . . . .	402
ЖЕНЩИНА-ТАЙНА . . . . .	418

<b>Она всегда была очень осторожна...</b> . . . . .	<b>439</b>
<b>Деликатная сфера деятельности</b> . . . . .	<b>451</b>
<b>Успокаивающие средства</b> . . . . .	<b>460</b>
<b>От праздничного стола до тюремной камеры —</b> <b>один шаг</b> . . . . .	<b>485</b>
<b>Два зятя</b> . . . . .	<b>507</b>
<b>Разъяренный критик Горбачева</b> . . . . .	<b>528</b>
<b>Библиография</b> . . . . .	<b>539</b>



*Литературно-художественное издание*

**Красная Галина Николаевна**  
**ТАЙНЫ КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН**

Ответственный за выпуск *Т. Г. Ничипорович*

Редактор *П. В. Кочеткова*

Корректор *Т. Б. Михеева*

OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа

Фирма «Литература». Лицензия ЛВ № 1181 от 08.08.95.

220050, Минск, ул. Ульяновская, 39.

При участии ИООО «Современное слово».

Лицензия ЛВ № 1398.

220117, Минск, проспект газеты «Известия», 43.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.10.97.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 28,56. Тираж 20 000 экз. Заказ 2515.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства «Белорусский Дом Печати». 220013, г. Минск, пр-т Ф.Скорины, 79.

Качество печати соответствует качеству предоставленных  
издательством диапозитивов.



66

II



\* 6 7 3 9 \*

26,00

III.8

0.50